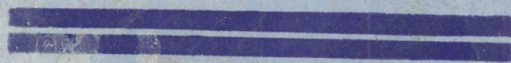


НОВАЯ  
МИР

|| 9 ||

НОВАЯ МИР

9



1977

|| 1977 ||



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Памяти К. А. Федина	3
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Перевалы, поэма	5
БОРИС ВАСИЛЬЕВ — Были и небыли, роман. Окончание	16
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Такое же — и все другое..., стихи	127
МАРК ЛИСЯНСКИЙ — «Скорая помощь», стихи	133
БОРИС ШАХОВ — Пироманы, стихи	137
МЮРИЭЛ СПАРК — Аббатиса Круская, повесть. Вступление и перевод с английского В. С. Муравьева	139

### ПУБЛИЦИСТИКА

ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ: Мария Прялежаева. Охранять духовные ценности.— В. А. Красильников. Все во имя человека.— А. И. Арнольдов. Документ революционного гуманизма	180
---	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВЛАДИМИР ИШИМОВ — Хенритс Нутъ, земля и биомашина	192
---	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МЭЛОР СТУРУА — Обитель Калыпсо	202
--------------------------------	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ — Побеждает дружба	215
--------------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. Б. ХРАПЧЕНКО — Литература и искусство в современном мире	231
---	-----

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>В. Оскоцкий. Из глубины веков к девятьсот семнадцатому...—Виктор Боков. Поэзия мысли.</b>	260
<i>Политика и наука</i>	
<b>Юрий Корольков. «Я не щажу себя никогда...».— Валентина Елисеева. Секретарь обкома.</b>	266
<b>КОРОТКО О КНИГАХ: К. Семенова.—М. Рольникайте. Я должна рассказать. ♦ К. Воробьева.—Марк Еленин. Добрый деловой человек. ♦ Васил Икономов.—Иван Скала. Утренний поезд надежды. ♦ А. Старков.—Вл. Воронов. Чингиз Айтматов. Очерк творчества. ♦ Георгий Кубатьян.—Н. А. Гончар. Вильям Сароян и его рассказы. ♦ Вильгельм Левик.—Н. Т. Федоренко. Меткость слова (Афористика как жанр словесного искусства). ♦ И. Евгеньева.—М. Ефетов. Письмо на панцире. Повесть. ♦ Е. Новачдова.—Юрий Окунев. Ответ. Лирика. ♦ С. Борисов.—В. Архангельский. Сердце, отданное людям. ♦ В. Левин.—И. Б. Литинецкий. Бионика. ♦ Д. Панков.—С. И. Руденко. Крылья победы. ♦ П. Черкасов.—Э. А. Поздняков. Системный подход и международные отношения. ♦ О. Добровольский.—Олег Волков. Чур, заповедано! ♦ Е. Полякова.—М. Кнебель. Поэзия педагогики</b>	276
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

## ПАМЯТИ К. А. ФЕДИНА

От нас ушел Константин Александрович Федин. Он принадлежал к тем людям, без которых трудно представить наше время. Свой выдающийся талант он безраздельно отдал родному народу. В библиотеку советской классики вошли его книги, по которым можно изучать историю нашего общества: «Города и годы», «Братья», «Похищение Европы», «Санаторий Арктур». Завершающим трудом его жизни явилась трилогия — поистине народная эпопея, проникнутая животворной идеей становления новой жизни. В «Первых радостях», «Необыкновенном лете», «Костре» прямым и ярким лучом освещаются ключевые события нашей истории: большевистское подполье и подготовка революции, гражданская и Великая Отечественная войны.

При последнем расставании важно оценить главное дело в жизни человека, что составляет его заслугу перед обществом и страной. Главным делом жизни Константина Фебина было страстное утверждение неразрывного единства интеллигенции и народа в общем революционном русле. То, что сейчас представляется очевидным, было далеко не ясно многим честным людям в первые годы советской власти. Литература и искусство десятилетия перед тем говорили о трагическом разрыве между интеллигенцией и народом. Только ленинское государство, ленинская партия ликвидировали этот разрыв. Молодой Федин стал решительным поборником этой великой тенденции и остался им до конца своих дней, когда она вылилась еще на его глазах в чеканные формулы новой конституции.

Константин Федин на протяжении своей долгой жизни много раз показывал, что в нем живет дух борца. Борца за передовые идеи человечества, за мир и прогресс. Ненависть к милитаризму вскормлена была еще тогда, когда он в первую мировую войну находился интернированным в Германии. Потом она переросла в твердый и последовательный антифашизм. Федин одним из первых в нашей литературе создал произведения, разоблачающие мир грабежа, насилия и войны. В них опять красной нитью проходит мысль, что, только идя одним путем с народом, может найти интеллигент свое подлинное место в борьбе с фашизмом.

К слову Фебина внимательно прислушивались прогрессивные люди за рубежами нашей страны. По своей духовной и художественной программе он примыкал к великой плеяде писателей-гуманистов XX века, возглавлявшейся Максимом Горьким. Разделяя высокие идеалы корифеев мировой литературы, продолжая их борьбу против сил реакции, Федин стоял в первом ряду отважных людей, сражающихся за мир и счастье народов на земле. Его личный авторитет приумножался тем значительным фактом, что советские писатели избрали его председателем своего союза. За ним стояло восемь тысяч писательских индивидуальностей, слитых воедино в своем стремлении к миру во всем мире.

Прекрасный стилист, блестящий мастер художественного слова, он вырастил немало талантливых писателей. Долгие годы он работал членом редколлегии журнала «Новый мир», совмещая требовательность и благожелательство в своих оценках.

Последовательность взглядов и убеждений Федина на протяжении многих лет вызывает глубокое уважение. Еще раз подчеркну, что художественная мысль его всегда была направлена на всестороннее обоснование прочной связи интеллигенции и народа. Это благородное стремление знаменитого писателя всегда получало в нашей стране встречный отклик. Рабочие и крестьянские читатели по достоинству оценили верную и точную позицию крупнейшего мастера слова. Коммунистическая партия, весь наш народ видели в Константине Александровиче Федине виднейшего представителя советской интеллигенции, усвоившей передовое ленинское мировоззрение.

Мы прощаемся со старейшиной советской литературы. Он ушел от нас, но мысли, чувства, образы прекрасного писателя навсегда останутся. И главная мысль, главная его идея — о неразрывности народа и интеллигенции.

**Сергей НАРОВЧАТОВ.**

---

---

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

## ПЕРЕВАЛЫ

*Поэма*

1

Когда-то писалось.  
Душа моя  
неба касалась.  
К бумаге слетали  
в трепете  
строчки, как белые лебеди,  
живые, сердцам адресованные,  
датами окольцованные.  
Писалось?  
Нет, пишется, как бывало!  
За дымкою —  
пройденные перевалы.

2

Семнадцатый год.  
Мы не знаем, какую  
тогда над Невой занималась заря,  
но в календарях  
навсегда дорогое  
число — двадцать пятое октября.  
Горжусь, что оно  
у меня в анкетах  
в графе не прочеркнуто  
при ответах.  
Уж ни перед кем  
не склоняя чела,  
страна становилась  
моложе и краше,  
суровым пером  
биографии наши,  
в грядущее глядя,  
писать начала.

3

Курсантская молодость.  
Конь, да седло,  
да пулям навстречу  
клинки наголо.

Судьбу свою  
и в девятнадцать лет  
старался я крепко держать в руках.  
В согласии были партийный билет  
и глупые ямочки на щеках.

Земля,  
ей не в труд,  
млечной пылью клубя,  
наматывать  
пряжу времен  
на себя.  
Минули и годы  
гражданской войны.  
В анналы истории  
занесены.

Страна пятилеткою первой жила.  
Железная ноша ее тяжела.

На память приходят под грузами краны,  
станки и турбины, но чаще всего  
скрипучие тачки, труда ветераны,  
с выносливостью колеса своего.  
Скрипели они деревянно и грубо,  
но множили славу отчизны. На то,  
что в деснах цинготных шатаются зубы,  
в ту пору не жаловался никто.

Те годы далеко.  
Уже из легенды  
нет-нет и пройдут по сердцам с киноленты.  
Все было еще  
где-то там, впереди.  
Всего не увидишь,  
гляди не гляди.  
Еще Днепрогэса торжественный свет  
не лился сиянием одам в ответ.

То ль время,  
то ль сердце само  
подказало  
ту смелость.  
О, эти высокие залы,  
где я научился и с Гегелем спорить  
и понял, сближая с землей небеса:  
политэкономия — это же море,  
где встретишь и алые паруса.  
Касались смелее всё  
мысли персты  
законов общественных  
в дымке мечты.

4

Шли годы.  
Мужала страна,  
раскрывала  
себя  
и все к новым звала перевалам.

Хоть было и горечи много,  
успехи  
ее приглушали.  
Шли новые вехи.  
Уж думалось чаще,  
что есть высота  
лазурного неба,  
что есть красота:

то, синею тучкой притемнена,  
степную дорогу обступит она,  
то вдруг обернется пчелой на цветке,  
то молнией (где-то еще вдалеке),  
то милым лицом под высокой луной  
мечтательной девушки рядом со мной,  
то первой снежинкой с холодных небес,  
чтоб вьюга за нею окутала лес,  
чтоб флаг над зубцами кремлевской стены  
от вьюги сжимался, как сердце страны.

## 5

Простился с Москвой.  
Назначение в кармане.  
Профессия скромная,  
но не обманет.  
Недаром бесстрашно с ней встала бок о бок  
и муза моя, как талант был ни робок.

Герой Севастополь.  
В нем серые плиты  
самую историей  
были избиты.  
Как воин,  
весь в шрамах  
Малахов курган...  
В столе у меня  
три патрона, наган.  
Курсантская шашка в ножнах на стене.  
На что она, политработнику, мне?  
Заботили книги, да лекций конспекты,  
да в международных вопросах аспекты,  
хотя  
Чатыр-Дагом и мысом Айя  
подолгу душа восхищалась моя.  
К тому же,  
какие ни дули б ветра,  
растить сыновей  
подоспела пора.  
Растить и в их судьбах  
угадывать что-то  
нелегкой порою  
отцовской заботой.  
Недаром уж где-то  
в приземистых залах  
тьень свастики  
по рукавам проползала.



Во дворике,  
 где начиналась дорожка  
 от каменной лестницы наискосок,  
 мой мальчик пересыпал в ладошках  
 горячий крымский песок.  
 Хватало для игр и ракушек и галек,  
 и в легкой прохладе у старой скамьи  
 ступать по дорожке ему помогали  
 заботливо руки мои.

За малую жизнь еще не было смято  
 ногами его и травинки одной.  
 Впервые младенческой нежности пяток  
 касался песчинками шар земной.

То было:  
 уж многое вспомнишь едва,  
 едва, как ни слушай,  
 расслышишь слова  
 за числами в тех календарных листках  
 до первых сединок моих  
 на висках.

## 6

Они дерматинными были  
 по данным  
 неслепнущей памяти,  
 те чемоданы.  
 О детской кровати (добро, раскладной)  
 не спорил, чтоб не препираться с женой.  
 Увязывал молча.  
 Теснило в груди.  
 Остался надолго  
 и Крым позади.

Дороги.  
 И после немало их было.  
 Ничто, что достойно того,  
 не забылось.

## 7

Под самым небом кручи  
 с Казбеком в стороне,  
 где лишь орлы да тучи  
 со мною наравне.

Стихи эти  
 в памяти я отыскал,  
 топча крутизну меж пугающих скал,  
 когда мне дорога себя открывала  
 в тумане Крестового перевала,  
 откуда, как с неба бросаясь, она  
 в цветущую Грузию устремлена.

Арагва.  
Родили ее ледники  
на кручах подзвездных.  
Сказали: беги,  
в садах утопай, в молодых зеленях,  
стихами звени о полуденных днях.  
Ах, реки!  
Пусть малые,  
те, что давали  
напиться с ладоней, ступни омывали,  
и те, что подвластными стали судам,  
тяжелой волною скользят по бортам,

не в сонной осоке,  
не между кустами —  
текут под грохочущими мостами.  
Еще я не все повидал, но со мной  
связала их родина все до одной.  
Красивы Арагва в цветущих долинах  
и Терек, ревущий в глубоких теснинах,  
и все же себя я на мысли ловлю:  
российские реки особо люблю.  
Иртыш,  
когда он под небом зябнет,  
когда над ним облака,  
поблескивает серою рябью,  
будто кольчугою Ермака.  
А Волга!  
Она синеока,  
красавица наша  
Волга.

## 8

Весна на исходе была.  
Тем дружнее  
природа жила с уходящею с ней.  
Полями, лугами родной стороны  
ходили дожди голубого мая,  
и каждый цветок в лугах травяных  
тянулся, их всею душой принимая.  
Коровы, закидывая рога,  
вдыхали  
на травах настоящий  
воздух,  
хотя уж давно над стогами в лугах  
катились по небу июньские звезды.

Увидеть бы  
тех пограничников лица...  
Еще тишиною дышала  
граница.  
Студеные зори,  
как прежде,  
на запад  
стекали с кустов.  
Так и будет, казалось...

На гусеницах, на железных лапах  
все ближе, таясь,  
к нам война подползала.

Суровая память  
над строчкой сутулит.  
Какою была она,  
первая пуля?  
На ветер пошла  
или в долгой войне  
она и открыла  
счет павшим в стране?

Шарахнула время  
война мировая  
вторая.  
В воронках — вода неживая.

Война!  
Вот уж датами время теснится.  
Она и сегодня  
кошмарами снится:  
то будто в плену я,  
то будто страна  
вся черною свастикой осквернена.  
Но снится,  
как многим, наверно,  
и это:  
сияние окон, салюты.  
Победа,  
пусть близок рассвет,  
в каждом доме в гостях,  
ликует на улицах, на площадях,  
солдатские имена называет  
еще не остывшая фронтовая.

Война!  
В ней найду ли свой след?  
Не о нем  
писала она  
пулеметным огнем.  
Его  
подо Ржевом, а ране у Пскова  
размяло  
не танком, так конской подковой.

Машина, бывало,  
дымится в кювете.  
Поэт и на фронте  
за музу в ответе:  
все ж штатной была единицей в газете.  
Все было:  
шли ливни, ломились метели  
в землянку,  
к которой и письма летели.

## 9

Дороги!  
Их было немало и после.  
Война еще шла.  
Я с заданьем был послан  
В Туву, за Саяны.  
Привет ей, привет!  
На скулах ее  
древней Азии цвет.  
Хожу по Кызылу.  
Толпятся араты.  
Не сразу, но понял я:  
звездочке рады.  
Подходят потрогать.  
Пусть звездочка эта  
помята на шапке,  
все ж красного цвета.

К тому же —  
из той из великой страны,  
из самого пламени  
страшной войны.

Копились подарки для фронта.  
Недели  
в разъездах моих  
незаметно летели.  
Вагоны  
сибирским снежком припорошены.  
Подарки —  
мешки облепихи мороженой.  
Пускай не одна она  
в красных вагонах  
утрачивалась  
на стольких перегонах,  
мне радостно вспомнить  
о ягоде этой  
с целительным соком,  
еще не воспетой.  
Слышал:  
будто раны  
от этого сока  
затягивались, заживали  
до срока.

## 10

Дороги!  
Пусть трудные,  
слава дорогам!  
Метели мели  
по саянским отрогам.  
На всех перекрестках  
мой след замели...

Хожу в Заполярье, у края земли.  
Где к пригоршне полюса — меридианы,

ступил на гранит, что омыт океаном,  
где мужество флота, да скал чернота,  
да в небе Полярная стынет звезда.

Казалась  
огромною рыбиной  
мне  
подводная лодка.  
На дне — не на дне,  
но мы разместились  
в отсеке каком-то.  
Читаю из лирики что-то негромко.  
Всем ясно — не зал.  
Пусть еще не знаком  
ни с кем я,  
матросы теснятся кружком.  
В сторонке чуть —  
мичман и два лейтенанта  
сидят с капитаном второго ранга.  
Читаю.  
И муза моя  
то взгрустнет,  
то снова с улыбкою что-то начнет.  
Не знаю, но, может, приметили все:  
босая она —  
по траве, по росе,  
как чья-то невеста,  
как чья-то жена.  
Тугою струной  
порвалась тишина.  
Плеснулись ладони.  
Никто на часы  
не глянул.  
А мичман, потрогав усы,  
поднялся  
и ленточку с якорями  
содрал с бескозырки бывалой.  
Она,  
овеянная  
ветрами, морями,  
признательно мною сохранена.

## 11

Шли годы,  
и, верится,  
шли не напрасно.  
Сменялись дороги,  
воздушные трассы.  
Мне было давно уж  
не тридцать, не сорок...  
В глазах  
синеву оставляли озера.  
Пески и сквозь обувь  
ступни обжигали,  
когда мы в пустыне  
колодец искали.

Спешить приходилось:  
в жару и в морозы  
локтями, локтями —  
сквозь даль паровозы.  
Травинку видал.  
Знал: проси не проси,  
не скажет,  
откуда она на шасси.

Я снова не дома.  
В провалах небес  
привычны меж кресел  
шажки стюардесс.  
Стекло в самолете задернуто шторкой.  
На тусклые звезды гляди не гляди:  
не где-то у крайних широт на задворках —  
летим между полюсами, посреди.  
Ворочаюсь в кресле.  
Читать темновато.  
Сосед ни словечка по-русски.  
Молчим.  
Коснется плечом невзначай,  
виновато.  
посмотрит —  
вот всё и общение с ним.  
Но мысли.  
Со мной они.  
Рифмой ловлю.  
Неслышно  
губами чуть-чуть шевелю.  
Слова.  
Я верчу их,  
ищу постоянность.  
То с этой взгляну,  
то с другой стороны.  
О чем бы ни думалось над океаном,  
словам . . . .  
все широты  
должны быть видны.  
Вот слово, а это — название цветка,  
звезды, что в себе отразила река.  
Вот слово, а это — родная страна  
далекими предками им названа.  
Вот слово, а это — планета людей  
им мир защищает с трибун, с площадей.

Мое Зауралье.  
Пусть меридианы  
его отдаляют,  
и над океаном  
стихи вдруг о нем:  
о далекой поре,  
о вьюжном,  
запомнившемся  
декабре.

Мы шли, а дороги не стало,  
следы от пимов заметало.

Не помню уж, сколько нас было,  
 парней деревенских, тогда.  
 Хлестало в лицо и в затылок,  
 и шли мы — не знали куда.  
 Она и такое успела,  
 уж где-то и ставни с петель:  
 бездомная, злая, вся в белом,  
 металась по полю метель.  
 Она и в ночи не устала,  
 в свистящей своей белизне,  
 студеною струйкою талой  
 текла по горячей спине.  
 Хлестало, толкало упруго,  
 но мы и сквозь плотную мглу,  
 взяв за руки крепко друг друга,  
 пробились к жилому теплу.  
 Ах, если бы так и народы,  
 чтоб им не ослепнуть в пурге,  
 держались на всех широтах —  
 рука к руке!

Лечу не один.  
 С делегацией.  
 Званный.  
 Культурная связь —  
 не пустые слова.  
 Эй, вы!  
 У кого на хлебах?  
 Иваны,  
 не помнящие родства.  
 Заботы отчизны.  
 Они и мои.  
 Не чьи-то, а курские соловьи  
 прославили речки, тенистые рощи  
 в студеные майские ночи.  
 Ах, жизни!  
 Ты чудесная все-таки штука!  
 Давай-ка, как в детстве, друг другу аукать.  
 Не важно, что где-то внизу подо мной  
 в ночи атлантической  
 шар земной  
 себя поворачивает  
 другой стороной.

## 12

На сердце все больше и больше замет.  
 Оно уж не раз над строкою сдавало.  
 Но, может, в горах обступающих лет  
 иду не к последнему перевалу.  
 Я не долгожитель, но долго живу.  
 Пусть шалость хмельная давно отбродила,  
 в глазах моих мартовскую синеву  
 декабрьская непогода не замутила.  
 Верна мне и память.  
 Все в нашей судьбе:  
 что было, что есть,  
 как колосья в гербе.

Семнадцатый год.  
Мы не знаем, какою  
тогда над Невой занималась заря,  
но в календарях  
нам навек дорогое  
число — двадцать пятое октября.  
Нет радости выше —  
пускай ты не дома,  
пускай у себя за рабочим столом —  
поздравить  
не только друзей и знакомых,  
а все человечество  
с этим числом.

*10 ноября 1976 — 10 мая 1977.*





---

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

★

## БЫЛИ И НЕБЫЛИ\*

Роман

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

**З**аместителем командира 74-го пехотного Ставропольского полка был полковник Евгений Вильгельмович Бордель фон Борделиус. Эта звучная фамилия служила предметом постоянных офицерских острот, однако острить дозволялось лишь однополчанам, да и то не в прямую, а с намеком: тонкостью этого намека и оценивалась глубина остроумия. Офицеры изоощрялись как только могли, ревниво следя за исполнением договорных условий; нарушителей одергивали неукоснительно и строго.

Сам Евгений Вильгельмович — человек отменного хладнокровия и уравновешенности, не позволявший себе повышать голос даже на солдат, — относился к шуткам в собственный адрес с живейшим любопытством, а наиболее удачные остроты записывал для памяти. И если они повторялись, говорил: «Вчера, поручик, вы изволили использовать остроумие трехмесячной давности: впервые на эту тему проехался капитан Дмитрий Афанасьевич Сашальский. Либо изобретите что-либо новенькое, либо смените цель. У нас в полку есть капитан Арендт, поручик Кандиляри, подпоручик Макроплио или младший врач Опеньховский. Попробуйте поговорить касательно «арендтной» платы, прикажите как-нибудь зажечь «кандиляри» или назовите подпоручика Микроплио: может быть, это поднимет ваш престиж острослова». Говорил он ровным скрипучим голосом, всегда длинно и нудно, и проштрафившийся надолго запоминал выволочку. Если же острота оказывалась свежей, полковник заносил ее в книжечку, ставил дату и с чувством жал руку автору.

Об этом рассказал портупей-юнkerу Владимиру Олексину подпоручик Герман Станиславович фон Геллер-Ровенбург — нервно-живой, скорее крикливый, чем звонкий, имеющий неприятную привычку хрустеть длинными костлявыми пальцами. Он был оставлен с дежурной частью при главной квартире в станице Крымской; сам же полк вот уже месяц как выступил в Майкоп на ежегодные дивизионные учения.

— Так что острите осторожно, юнкер. Осторожно и умно, если не хотите получить внушение.

Подпоручик старательно грассировал, но иногда забывался и говорил вполне правильно, поскольку картавил только для шика.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

— Я не собираюсь острить.

— Напрасно, юнкер, напрасно. Остроумие у нас ценится весьма и весьма. Признаться, скучновато, юнкер, скучновато. Днем служба, служба, служба, «неукоснительно и непременно», как говорит подполковник Ковалевский. Полагаете, вдалбливаем словесность? Черта-с два-с, юнкер, черта-с два-с! А по холмам на брюхе не желаете ли? А от стрельбы оглохнуть не стремитесь, нет? Странно, мы стремимся. Полк, извольте ли видеть, кавказский, большинство офицеров — старые вояки. «Вперед, молодцы, ура-ура-ура!» — вот что им снится. И в соответствии с этим — сами понимаете. Из кожи вон лезем.

С уходом полка в Крымской стало тихо: остались лишь тыловые части, лазареты, обозы да дежурная часть. Подпоручик изнемогал от скуки и до смерти рад был вцепиться в только что прибывшего неофита.

— А вечером, думаете, отдых? Какое там! Ни Лизетт, ни Аннет, ни даже цыганочек здесь не сыщете. А дочери офицеров на выданье — это же клюква в лампадном масле, юнкер, клюква в лампадном масле! Ну, играем по маленькой. Вы играете? Ага, отлично! Почему по маленькой, спросите? А потому, друг мой, что по большой начальство не велит. Да, да, представьте себе! Полковник лично меж столов ходит и на ставки поглядывает: каков антураж? Иметь долги здесь считается неприличным, чуть ли не оскорблением чести полка. Представляете, поручик Ростом Чекаидзе в прах проигрался в Тифлисе! Приехал герой героем, а Бордель дознался, тут же выплатил весь его долг и теперь изымает у Ростом из жалованья. А уж разговору-то было, разговору! И Чекаидзе из героя превратился чуть ли не в посмешище. В отставку просился, ей-богу, в отставку! Допекли, вот как-с, юнкер, вот как-с.

Старшим начальником в Крымской оказался подполковник Ковалевский — старый кавказский служака с орденами, одышкой и многочисленной семьей. Служил он старательно и исправно, новшество не любил и, получив два сабельных да одно огнестрельное ранение в стычках с немирными горцами, войны откровенно не хотел, за что и считался в полку чудаком. Когда Владимир по всей форме представился ему, спросил озабоченно:

— Война будет ай нет? Что в Москве-то говорят, голубчик?

— Ждут, господин полковник. С нетерпением и надеждой, уповая...

— Уповая, — вздохнул подполковник, покачав большой, бритой на кавказский манер головой. — Уповать на милость надо, юноша. На милость да на благо, неукоснительно и непременно.

— Однако, господин полковник, известные турецкие зверства заставляют нас вспомнить об оружии, — рискнул поспорить юнкер. — Если изволили читать о резне...

— Писать да читать — самое пустое занятие, — добродушно сказал подполковник. — Чего ради деньжат не сочинишь! А воевать — значит, убивать. Этак вот штыком душу выпустить. Каков бы ни был злодей — черкесец там, турка или чечня, — душа-то у него есть? Есть. А вы ее — наружу. Ох-хо-хо, нехорошо все это, голубчик. Сам грешен, знаю: нехорошо. Поверите ли, по сей день сплю плохо. То есть так скверно сплю, не приведи бог никому. Уж и молюсь до пота, и говею, и пощусь, а сон нейдет. Неidet сон, и все тут. Отчего неidet, а? От греха. От убийства, которое производил согласно должности и присяге. И сна за то лишен, так полагаю, что богом. Ох-хо-хо! — Подполковник еще раз вздохнул и сокрушенно покачал головой.

Однако как же вы, юноша, один-то, а? Господа офицеры в Майкопе, собрание закрыто — затоскуете, поди?

— Ничего. Как-нибудь.

— Как-нибудь — это где-нибудь, а не в Семьдесят четвертом Ставропольском. Пожалуйста ко мне вместе с подпоручиком Геллером, прошу покорнейше ему приглашение передать. Да, да. Жена пирога испечет, посидим, потолкуем. О Москве расскажете, жена и дочери рады будут. Не откажите, голубчик. Очень обяжете, очень...

— Зазвал-таки? — рассмеялся подпоручик фон Геллер-Ровенбург, когда Владимир поведал ему о результатах официального представления. — Ну, не завидую. Дочери у него — монстры. Три монстры, представляете? Ужас! Стихи заставят читать, вот увидите. зубрите заранее.

— Давайте вместе зубрить, Герман Станиславович. Не покидайте в тяжелую минуту, и это зачтется вам.

— Я? Туда? — Подпоручик был искренне поражен. — Окститесь, юнкер: там наши не бывают. Там же этакие, знаете ли... — он похрустел пальцами, — селяне. Да, да, самые натуральные: подполковник родом из сельских попиков — тех, знаете ли, что сами пашут, сами сеют. Дослужился верой и правдой, честь ему и хвала, дослужился — и не закрепил. Женится на казачке, этакой Ганке. Добро бы с приданым, а нет: по любви. По горячей страсти на полуграмотной казачке, хоть и дворянке по отцу: знаете это казачье дворянство за удаль? Нет, это немисливо, юнкер, немисливо!

Вероятно, это было действительно немисливо, но Олексин все же уговорил подпоручика. То ли фон Геллеру было тоскливо в опустевшей станице, то ли долг хозяина он ставил выше личных симпатий, то ли, несмотря ни на что, ему очень хотелось познакомиться поближе с кем-либо из «трех монстров», а только сопротивлялся он лениво и недолго. Сговорившись, молодые люди надели первосрочные мундиры и прибыли на скромный домашний чай точно на высочайший смотр.

Гостей было немного. Полковой священник отец Андрей Варацкевич; приземистый и длиннорукий, похожий на сельского коваля прапорщик Терехин; вислоусый, тоже по кавказской моде бритый наголо чернородый капитан Гедулянов да коллежский секретарь Иван Герасимович Ефимов. Батюшка и чиновник пришли с женами, но жены пока сидели в задних комнатах, у девочек, а гостей принимала круглолицая чернобровая хозяйка Прасковья Сидоровна. Собственно, весь прием заключался в улыбках с ямочками на персиковых щеках да бесконечной беготне на кухню, где вот-вот непременно должен был подгореть пирог. Суетилась она от смущения, а виной тому было появление молодых людей в мундирах и при оружии. Постоянные гости, к которым она давно привыкла, вели себя запросто: сидели в расстегнутых скюртуках, просили кваску похолоднее и по-своему звали ее Сидоровной.

Молодые люди тоже чувствовали себя не в своей тарелке. И хозяин и гости были старше их, давно знали друг друга не только по службе, а «монстры» что-то не появлялись, и разговор никак не клеился. Гедулянов вел скучнейшую беседу с Терехиным о преимуществах кабардинских лошадей, хозяин толковал о погоде, чиновник рассказывал на поясицу, а отец Андрей, умно улыбаясь в любовно расчесанную бороду, вставлял замечания большей частью загадочного свойства:

— Лошадь — тварь женского рода.

— Позвольте, а если жеребец?

— Все равно женского. Вы о ней как о женщине говорите, как о женщине думаете. Право, господа, проверьте.

— Кабардинки в лапе ушами прядут,— говорил прапорщик, прямо не соглашаясь признавать выдающихся свойств у местной породы.— Мне казаки рассказывали.

— Прядут те, которые выезжены скверно,— басил чернобородый мрачноватый капитан.— Извольте выехать, а уж потом требуйте с коня. А выносливы-то, батенька, выносливы-то каково! При особом театре военных действий, коим является Кавказ, незаменимая лошадь. Круч не страшится, жрет что ни попадя...

— Человек — скотина всеядная,— сказал отец Андрей; у него была способность говорить глупости, умно улыбаясь.— Потому и пост введен. Потому и соблюдать их надобно. Не токмо ради исполнения заветов, но и на пользу сущую.

— Для сущей пользы к столу прошу,— сказал хозяин, гостеприимно растопырив руки, точно сгоняя кур.— Прошу, господа, прошу, у хозяйки пироги перестоятся.

Не успели рассесться, как вошли дамы. Матушку и чиновницу Владимир почти и не заметил, потому что во все глаза смотрел на трех сестер Ковалевских.

«Монстры» выплыли, как гусыни: плавно, неторопливо, строго одна за другой. Были они погодками, похожими друг на друга, как патроны: крепенькие, кругленькие, с материнским пушком на крутых щеках. Только средняя, семнадцатилетняя Тая, путала это сходство: пшеничный ус отца перебил в ней материнскую южную жгучесть, породив копну огненно-рыжих кудрей, но оставив колючие черные бровки. Сестры заученно присели, пролепетали что-то, изо всех сил стараясь не глядеть на молодых людей, и с шелковым шелестом уселись на стулья.

— Благословим трапезу и почнем,— сказал отец Андрей, заправляя крест за вырез рясы.— Могии вместити да вместит.

Владимир оказался напротив рыженькой, но глазел на нее не только потому: сядь она в самый дальний угол, он бы и тогда нашел возможность косить глаза. Просто невысказано было оторваться от огненной головы, длинных, испуганно вспархивающих ресниц и румянца на пухлых, с ямочками щеках. Да, в такую нельзя было влюбиться: ни полной фигуркой, ни круглым тугим лицом (надавишь — кровь брызнет!) она не отвечала современной изнеженной моде и с этой точки зрения и впрямь была монстром. Но оторвать глаз от этого возмутительно молодого, переполненного жизнью монстра было совершенно невозможно.

— Не проглотите визави,— шепнул подпоручик.

— Да что вы! — Владимир очень смутился, забормотал.— Вы правы, поручик, селянский монстр, не более того. Если и смотреть на нее, так только сдерживая смех, ей-богу.

— Не скажите.— Герман Станиславович плотоядно прищурился.— При взгляде на нее я начинаю понимать каннибалов. Право, юнкер, я бы ее съел. Даже без соли.

За столом шло обильное возлияние, подкрепленное солидной закуской. Здесь пили и ели без затей, стол красноречиво доказывал это. Пили большей частью местное вино; оно очень понравилось Владимиру, но по молодости он малодушно отрекся от собственного вкуса:

— Кислятина с претензией.

— Да? — озадаченно спросил подпоручик; после обеда они вышли покурить в сад.— А мне, представьте, нравится. Право, что-то

есть. Что-то от земли, настоящее что-то, юнкер. И эта рыжая корона...

— Вы о ком?

— Я? Я о ней, о Тае-Лорелаяе. Огонь-девица: только и ждет, чтобы взорваться. Вот бы этот фитиль поджечь, а, юнкер? Сгорел бы в объятьях вместе со шпорами.

— Раньше не видели, что ли?

— Где же? На балы папахан с мамахеном старшую вывозят, а она черна, как головешка. А младших, естественно, придерживают: в этих семьях очередь за женишками.

Позвали в дом, где к тому времени подали чай, домашнее печенье, сладости. Мужчин хозяин пригласил к себе, что очень обидело Владимира, которого не пригласили; впрочем, он вскоре утешился, досыта вознагражденный застенчивыми улыбками девочек и заботливой суетой женщин. Отец Андрей, как старший, сидел во главе стола: он не жаловал карточной игры.

— Ну-с, юноша, всяко время отмерено. Сейчас ваше: жаждем рассказа, аки воды в песках. Что же в Москве слышать, кроме звона малинового?

— В Москве? Да что, собственно, в Москве...

Три пары девичьих глаз с живейшим любопытством уставились на него. Владимир по очереди заглянул в них, как в темные колодцы; выбрал те, что светились тем же тяжелым золотом, что и волосы, и не очень уверенно начал говорить о том, чем жила Москва: о Болгарии, Сербии, турецких зверствах. В Москве он как-то не слишком прислушивался к этим разговорам, занятый ученьями и строем; но здесь под девичьим прицелом сразу припомнил все, что знал и что слышал, и даже то, чего не знал и не слышал, но вполне мог знать. Он живописал трагедию Батака с такими подробностями, будто сам все видел, рассказывал о несчастном апрельском восстании, будто лично участвовал в нем, описывал башибузуков так, будто сам когда-то отражал их натиск. Женщины плакали, священник удрученно качал головой, но высшей наградой были блестящие от слез глазки, что уже без всякого стеснения смотрели на него.

— Терпелив господь,— со вздохом сказал отец Андрей.— Много-терпелив, но не бесконечно. Нет, не бесконечно!

— Какие страдания! — всхлипывала чувствительная матушка.

— Куда смотрит Европа? — строго спрашивала чиновница, когда-то с грехом пополам кончившая провинциальный пансион.— Турки творят бесчинства на священной земле Европы, а она потворствует им!

— Куда смотрим мы! — вдруг громко сказал Владимир.— Турки зверствуют не просто в Европе: они проливают славянскую кровь. Они подняли меч на славян — и горе им! Мой старший брат уже сражается с ними в Сербии, я добровольно попросился сюда, чтобы тоже сражаться. Чаша славянского терпения переполнилась!

Последнюю фразу он неоднократно читал в газетах, но здесь она прозвучала к месту. Внимательные глазки под рыжей копной вспыхнули таким восторгом, что Владимира кинуло в жар. И он впервые смело улыбнулся прямо в лицо рыжей девочке, вмиг покрасневшейся и очень мило опустившей голову.

Приподнятое настроение не оставляло юнкера весь вечер. Он удачно шутил, хорошо поговорил с Прасковеей Сидоровной о родных, получил ее материнский поцелуй, перемолвился с сестрами и даже с Таей и покинул гостеприимный дом с приглашением заходить запросто, когда захочется.

— Влюбилась, юнкер?— весьма желчно поинтересовался подпоручик.— Втюрились в казачью клетку.

Отменное настроение сразу покинуло Олексина. Он вдруг вспомнил далекую и недосыгаемую Лизоньку, утонченных, жеманных и — увы! — тоже недосыгаемых девиц Москвы, моды, от которых по молодости был несвободен и измену которым считал почти святотатством. Да, в рыжую казачью клетку можно, пожалуй, было бы и влюбиться, но хвастаться таким романом было немыслимо. И поэтому он решительно отверг все подозрения:

— Да что вы, поручик! Мне еще пока не изменял вкус.

— Кажется, вы славный товарищ, Олексин.— Фон Геллер ободряюще потрепал юнкера по плечу.— Кстати, ведь у вас нет лошади? Я вам дарю одну из своих. Будем друзьями, Олексин, и... И навестим, пожалуй, завтра же эту потешную семью. По рукам?

— По рукам, поручик!

Они крепко пожали друг другу руки, хотя где-то в самом затаенном уголке сердца Владимир чувствовал непонятную, но пока не тревожащую его горечь.

## 2

Девушка все же пошла с ними. В ответ на все аргументы Олексина Стоян лишь пожал плечами:

— У нее нет никого, кроме брата. А брат — это я.

— Но посудите сами, господин Пондев, уместно ли девице путешествовать с десятком мужчин? Я уж не говорю об опасностях. Естественно, мы защитим ее, но...

— Заодно защитите ее и от самих себя, поручик. Этого будет достаточно.

И Гавриил отступился. Любчо — а для всех она по-прежнему оставалась Любчо — шла в середине отряда, не жалуясь на переходы, ночевки на сырой земле и тяжесть поклажи. Олексин поначалу поглядывал на нее, но девушка упорно избегала его взгляда, ни с кем не заговаривала и старалась держаться возле брата, а если он уходил вперед, то возле вечно ухмыляющегося Митко. К ней быстро привыкли, только Захар непримиримо ворчал:

— Девка середь мужиков — последнее дело. Не божеское дело, господа офицеры.

Господа офицеры не разделяли его позиции, наперебой оказывая ординарцу знаки особого внимания. А Збигнев Отвиновский, подкрутив усы, отважился и на ухаживания, но получил афронт и на вторую попытку не решился.

— Дикарка, господа. Прелестная амазонка, но, увы, отрекшаяся от земных слабостей.

Несмотря на заверения штаба, что на пути возможны лишь встречи с отдельными отрядами пехоты, шли осторожно, избегая дорог, деревьев и открытых пространств. Бранко вел уверенно, свободно ориентируясь в сильно пересеченной местности, где горизонт зачастую был сужен до пределов лощины. С ним постоянно шли двое болгар, и чаще всего на эту опасную работу добровольно вызывался Христо Карагеоргиев, самый молчаливый, сдержанный и, видимо, образованный болгарин. Он словно избегал контактов с русскими, стараясь держаться в отдалении; если случалось вступать в разговор, отвечал кратко, сухо, а порой и неприязненно.

— Насолили мы ему, что ли?— удивлялся Совривович.— Остальные болгары как болгары — веселые, общительные, а этот бука. И явный русофоб, Олексин, явный. Потолкуйте с Пондевым при случае.

Гавриил потолковал. Стоян усмехнулся:

— Эта троица — Карагеоргиев и его приятели Тодор Ганчев и Хаджи Хаджиев — не наши. Сидели в Бухаресте при Комитете, писали письма да воззвания. Правда, Карагеоргиев уверяет, что ходил с Христо Ботевым, но я ему не верю: чета Ботева вся погибла, а он почему-то спасся.

— Вы не доверяете им, Стоян?

— Отчего же? Только мои люди проверены в боях, а эти — в спорах, стоит ли вести бои. Договорились до того, что некоторые прямо заявляют: не надо было в апреле поднимать восстание. А другие и того хуже: дескать, слава богу, что была батакская резня, этим мы привлекли внимание всей Европы к несчастной Болгарии. Привлекли внимание за счет мученической смерти детей и женщин! Как благородно это звучит, не правда ли, поручик?

— Да, Батак,— вздохнул Олексин.— Я читал о Батаке корреспонденцию Мак-Гахана. И слушал рассказ почти из первых уст. Там ведь, кажется, никто не спасся?

— Спасся,— помолчав, нехотя сказал Пондев.— Этот шрам — отсюда.

— Стойчо Меченый?— с удивлением спросил поручик.— Так вот вы какой... Газеты много писали о вас.

— Все тот же Мак-Гахан?

— Вы знакомы с ним?

— Нет, но хочу познакомиться. Кажется, он действительно любит Болгарию, горькую родину мою.

— Вы получили хорошее образование, Стоян?

— Небольшое: гимназия в Велико Тырново да два курса университета в Бухаресте. Мой отец — чорбаджи, состоятельный человек. Был.

— А вы один из самых знаменитых гайдуков Болгарии. О вас уже песни слагают.

— Песни слагают не обо мне, а о моем воеводе Цеко Петкове. Он более тридцати лет воюет с турками, три года просидел в Диарбекире прикованным к стене, бежал. А я, что я? Я такой же, как Кирчо или Митко.

— Но не такой, как Христо Карагеоргиев.

— Это он не такой, как мы. Многие из эмигрантов боятся России.

— Чем же их так испугала Россия?

— Самодержавием, поручик.

— У русского народа нет иной цели, кроме полного освобождения славян,— убежденно сказал Олексин.

— Вот они и беспокоятся, не придет ли вместе с освобождением и самодержавие.

— Странная мысль. И вы так же считаете?

— Я воин, а не политик. И как воин твердо знаю: без военной помощи Руси нам не обойтись. Воевать за нас никто не станет, а своими силами нам не свергнуть османов. Опыт апрельских восстаний доказал, что для того, чтобы победить, мало одной отваги. Нужны профессиональные офицерские кадры, а откуда их возьмет Болгария? Турки поступают разумно, не призывая наших юношей в свою армию: зачем готовить потенциальных бунтовщиков?.. Смотрите, как сердито озирается моя сестра. Это означает, что ужин готов.

Несмотря на большие переходы, усталость и ощущение опасности, ужин всегда проходил оживленно: сказывалась молодость и, главное, присутствие женщины. Болгары шутили, часто и с удовольствием смеялись, беззлобно задевая друг друга и даже неприступного ординарца. Офицеры не принимали участия в общем разговоре из-за плохого знания языка, но это никого не смущало.

— Наш Любчо опять плакал в похлебку от неразделенной любви! — шумел Митко. — Дайте мне скорее вина: надо же развести эту соль!

— Да ты просто пьяница, Митко, — улыбался мрачноватый Кирчо. — Ты нарочно подсыпаешь себе соли, чтобы выпросить лишний глоток.

— Никогда так вкусно не ел. — Бранко причмокивал от удовольствия. — Положи мне еще черпачок, Любчо.

Ему нравилась строгая и тихая девушка, и он не скрывал этого. Да и Любчо, привыкнув, вскоре стала улыбаться ему, как улыбалась только своим.

— Хорошо здесь, чудо как хорошо! — Совримович разглядывал звезды, щедро высыпавшие на темном осеннем небе. — Благословенный край, господа. Вот кончится эта война, и я убежден: Сербия никогда не будет воевать. Ведь кто в основном воюет? Воюют те, кто оказался на плохих землях, в дурном климате, то есть мы да немцы. Так сказать, от неуютности жизни.

— А французы? — лениво спросил Отвиновский. — Они не укладываются в вашу схему.

— Французы воюют только от легкомысленной любви к подвигам.

Спали под открытым небом, завернувшись в тонкие казенные одеяла; складную палатку ставили только для Любчо. Утренники были росными и холодными; случалось, Захар еще затемно не выдерживал. Поднимался, шепотом ругаясь, раздувал погасший костер, заботливо укутывал сладко спавшего командира. Ежась от холода, зевал подле костра; согревшись, шел за водой. Когда девушка поднималась, кипятилок был уже готов.

— Спасибо, — по-русски говорила она Захару.

А Захар вздыхал и сокрушенно качал косматой головой: не дело, когда девка одна середь мужиков, не дело!..

При этом они были добрыми друзьями; их дружбу скрепляла общая тайна: Захарова разведка и две ответные пощечины. Захар часто ловил на себе ее совершенно особый, лукавый, чисто девичий взгляд, улыбался и подмигивал: все в порядке, мол, девка, знай себе помалкивай в тряпочку.

И в это утро он проснулся от знобящей дрожи: все же постарше остальных был да и полшубочек коротковат достался. Покряхтел спросонок, поругался по привычке — он всегда по утрам ругался, иначе мужиков разбалует. Поглядел, как барин спит и остальные господа, поправил на Отвиновском сербскую шинельку, прошел к костру, разворошил угли, раздул. Затем подложил хворосту, скрутил сигарку и уселся греться. Часового в это туманное мглистое утро что-то не видно было. Обычно тоже на огонек приходил, а тут то ли не замерз еще, то ли службу нес исправно, то ли русского стеснялся.

Покурив и согревшись, Захар взял ведро и пошел к ручью. Для этого следовало осторожно, от ствола к стволу спуститься по крутизне на дно затянутой сплошным туманным облаком расселины, выйти ею до оврага, там в бочажке почерпнуть ведро и на четвереньках всползти наверх. Конечно, для молодых путь, что и говорить, но молодые еще неизвестно когда проснутся, а девушка вставала рано.

В самом начале спуска, в кустах, что окружали поляну, он наткнулся на часового. Парень мирно спал, привалившись спиной к дереву и обняв ружье. Захар хотел было разбудить его, но раздумал: пусть поспит, куда он с водой не вернется, а ругать всегда успеется. Доложит поручику, а тот уж решит, кому ругать: самому или Стояну. Может, даже Стояну сподручнее: все же свой брат, болгарин.

Размышляя так, Захар скатился по крутому откосу, нырнул в ту-



ман и задержался, отдыхая и прислушиваясь. Спускался он ловко, зажав дужку ведра: не брякнул, не громыхнул, но показалось, будто брякнул. Будто проплыл металлический звон, короткий и вроде бы не близкий. Неудобно замерев меж двух валунов, Захар старательно прислушивался и никак не мог понять, откуда донесся этот ясный железный звон: то ли он сам сплосховал с ведром, то ли звон этот приплыл к нему из туманной расщелины. Но ни звона, ни иных каких звуков не слышалось, и Захар с неудовольствием понял, что брякнул сам. А на всякие звуки металлические и Олексин, и Совримович, и Стоян упирали особо: звук в лесу — что костер в чистом поле. Приказывали, упрасивали, предупреждали: только не звенеть. Упаси бог не звенеть ничем.

Вздыхая и сокрушаясь, Захар ощупью лез по ущелью через огромные камни, придерживая ведро. Пробирался он словно в густом молоке, не видя, куда ставит ногу и за что сейчас хватается, но был еще очень силен, ловок, много охотился, умел ходить неслышно и невидно и не испытывал особых неудобств от такого передвижения.

Второй раз он услышал звенящий звук где-то совсем рядом и сразу понял, что звенит небрежно подтянутое стремя. Звенит где-то за плотной завесой тумана чуть впереди него. Замер, вслушиваясь и припоминая, что впереди овраг, что по этому оврагу петляет тропа, слышал тупой перестук обернутых тряпками копыт, тихий всхрап лошади и сообразил, что по оврагу, обтекая их лагерь, движется конный отряд. И мысленно возблагодарил бога, что не разбудил часового: он бы топал сейчас наверху, кашлял, брякал, ломал бы сучья. Но, по счастью, спал и ни единый шорох поэтому не доносился сверху. Набравшись смелости, Захар еще немного прополз вперед, удобно устроился, выглянул и успел разглядеть в сером туманном мареве смутные силуэты лошадей и всадников, что вели их в поводу: двое были в бурках, и Захар сразу догадался, кто тихо, по-волчьи обходил понизу их лагерь.

Забыв о ведре, он змеей пополз назад, к повороту расщелины: туман уже редел, ключьями сползая с утесов, и надо было успеть, успеть во что бы то ни стало добраться до спящих раньше, чем их обнаружат. Миновал выступ и, прикрытый им, полез наверх, к лагерю, торопясь и в кровь обдирая руки о колючие плети ежевики. Добрался до часового, растряс, знаками объяснил, что надо молчать, затоптал разгоревшийся костер и только после этого тронул за плечо поручика:

— Беда, Гаврила Иванович. Черкесы понизу обходят.

## 3

Василий Иванович переживал период острого душевного разлада. После гордых слов о лакеях в белых перчатках и измене идее, после столь горячего отказа, поддержанного Федором, в глубине души он все же надеялся, что Мария Ивановна начнет его разубеждать, уготваривать, а возможно, даже и просить. Но акушерка лишь недоуменно пожала плечами, повздыхала на слезы Екатерины Павловны и стала говорить о пустяках. Терпеливо высидела вечер, мило распрощалась и исчезла, и Василий Иванович изнемогал от борьбы с самим собой. То он вдруг вспоминал, что семья в долгах, что нет ни денег, ни доходов, ни перспектив, и терзался, что поспешил с отказом: метался по квартире, в отчаянии щипал редкую бородку, называл себя испанским ослом и торжественно клялся Федору, что пойдет черно-рабочим на оружейные заводы. То переполнялся невероятной гордостью, значительно покашливал и говорил, что только так и следует утверждать свое «я», что он беден, но не ничтожен, что идея его —

служить добру, а не знатности и богатству, что... При этом он опасливо поглядывал на жену, но Екатерина Павловна была женщиной умной и терпеливой, привыкшей плакать наедине и улыбаться сообща.

— Ничего, Васенька, мы и так проживем. Честь дороже всего.

— Напиши Варе, — сказал Федор. — Существует твоя и моя законные доли мамино наследство.

— Ни в коем случае! — категорически отвечал Василий Иванович. — Ты забыл нашу клятву никогда ни под каким видом не пользоваться несправедливым богатством?

— Клятву я помню. А Катя тут при чем?

— Ничего, ничего, уж как-нибудь. Признаться, мне лишь одного жаль: обидел хорошего человека. Я говорю о Марии Ивановне: видишь, не появляется более.

— Умна — так появится, — проворчал Федор. — А коли не очень, то и бог с нею.

— Все правильно, — бормотал Василий Иванович, думая о своем. — Все замечательно и все распрекрасно.

А думал он опять-таки о том, что же все-таки ему делать, и думал с отчаянием. Он не склонен был к панике, обычно трезво оценивая обстановку, но сейчас эта обстановка сама становилась панической. Они задолжали хозяину, кредит в лавочке держался лишь на улыбках Екатерины Павловны, Федору предстояло еще лечиться, и денег не было ни гроша.

Так продолжалось дней десять. Василий Иванович днем мыкался по городу в поисках приработка, а вечерами строил планы, которые тут же разрушал. Строил он не столько для себя, сколько для Федора, надеясь, что брат загорится и, как прежде, примется с увлечением кроить шубу из неубитого медведя. Но Федор только скептически усмехался.

— Угас ты, Федя, — озабоченно сказал Василий Иванович, исчерпав весь арсенал фантазий.

— То был бенгальский огонь, Вася, — усмехнулся Федор. — Ни света, ни тепла — один треск во всю Ивановскую.

— Да, брат, — вздохнул Василий Иванович. — Много у нас на Руси этого огонька. И Мария Ивановна что-то не едет, не едет, не едет.

Екатерина Павловна не ораторствовала, а бегала в поисках практики, экономя на извозчиках. Приходила, с ног валясь от усталости, и, наскоро переодевшись — шли дожди, мокрый подол хлестал по ногам, — торопилась к печи на хозяйскую половину. А сготовив и накормив младенцев — бородатых и безбородых, — садилась к лампе чинить и штопать, прислушиваясь, не постучат ли внезапные пациенты. Теперь она брала деньги со всех, кому помогала, брала, конфузясь и страдая, и плакала по ночам оттого, что вынуждена была их брать. А по утрам улыбалась:

— Вставайте, лежебоки! Завтракайте, я уже поела. Феде и Коленке по чашечке какао, а вы, сударь мой Василий Иванович, чайком обойдетесь.

И убегала без завтрака. По знакомым и незнакомым, по больницам и ночлежным домам, по рабочим казармам и полицейским участкам. Рожали везде. Рожали много и бестолково, плодя больных, нищих и бесприютных, в лютых муках расплачиваясь за свой, а чаще за чужой грех. И этот грех, куда больше оплаченный страданием, чем деньгами, и был практикой Екатерины Павловны. В богатых домах детей принимали другие.

— Напиши Варваре, Василий.

— Нет. Я стану презирать себя, если сделаю это. Я пойду работать. Я не боюсь никакого труда, я докажу, что не боюсь.

Но пока Василий Иванович говорил, ничего не доказывая. И Федор, назойливо упрасывая его написать Варе, сам такого письма не писал и писать не собирался. То ли боялся, что начнут жалеть, то ли просто пребывал в равнодушии, принимая все как должное и расплачиваясь унылыми советами.

Мария Ивановна приехала внезапно. Екатерины Павловны не было дома, и дверь открыл Василий Иванович.

— Извините, Василий Иванович, но я не одна. Не примете ли гостя?

— Бога ради, Мария Ивановна, бога ради, пожалуйста! — Василий Иванович суетился в некоторой растерянности, ибо как раз в этот вечер они отужинали с последним сахаром. — Прошу, прошу покорно.

Мария Ивановна выскользнула за дверь — братья недоуменно переглянулись — и вновь появилась в сопровождении неизвестного господина.

— Позвольте представить вам, Лев Николаевич, братьев Олексиных: Василия и Федора Ивановичей.

— Очень рад, господа, познакомиться, — сказал Толстой, снимая круглую шляпу. — Увидеть зараз двух нигилистов, да еще родственников, — редкость.

Василий Иванович очень растерялся и все еще по инерции кланялся, потирая руки. А Федор — он занимался с мальчиком за столом — откинулся к спинке стула и нахмурился:

— Если ваше сиятельство вкладывает в слово «нигилист» тот обывательский смысл, которым пестрят наши газеты, то я попросил бы...

— Да полноте, — махнула рукой Мария Ивановна. — Лев Николаевич шутит, а вы — сразу на дыбы. Садитесь, Лев Николаевич, современная молодежь ведь и стула не предложит: сразу в спор.

— Почему же непременно современная? Любая, — улыбнулся Толстой, садясь и продолжая с интересом разглядывать братьев. — Только вот насчет сиятельства вы, Федор Иванович, напрасно. Если не против, называйте Львом Николаевичем, а титулы оставим для господ из губернского правления.

— Блажь, — буркнул Федор.

Мария Ивановна нахмурилась и покосилась на Толстого. Василий Иванович растерялся еще более и засуетился еще более, хотя теряться и суетиться более уже было невозможно. И только Лев Николаевич улыбался добродушно и даже одобрительно.

— А пускай себе и блажь, что же в этом дурного, Федор Иванович?

Федор неопределенно пожал плечами и примолк. Василий Иванович поспешно отправил Колю в другую комнату, покрутился и сел на освободившийся стул, все еще нервно сцепляя и расцепляя руки.

— Господа, я в затруднении... — начал было он и замолчал.

Он имел в виду отсутствие сахара и невозможность предложить чаю. Но гости о сахаре ничего не знали и слова истолковали по-своему.

— Считайте, что гора пришла к Магомету, — улыбнулась Мария Ивановна.

— Признаюсь, обяжете, коль разъясните позицию, — сказал Толстой. — Мне любопытно знать, право, очень любопытно. Я ведь не воспоществование предлагаю, а работу, а от работы какой же резон отказываться? А коли есть такой резон, то готов выслушать, затем и приехал.

Василий Иванович развел руками, с надеждой посмотрел на сердитого Федора и неожиданно улыбнулся конфузливой и обезоруживающей олексинской улыбкой.

— Право, не знаю, как и начать.

— Позицию изложите, позицию,— проворчал Лев Николаевич.— Ведь есть же у вас позиция? Какая? Не работать? Не верю. Наслышан о вас, об идеях ваших, об американских приключениях — вот Мария Ивановна рассказывала. И вдруг — отказ. Признаюсь, не понял. Что здесь — фанаберия? Не верю, не могу поверить: вы человек страдательный. Страдать умеете и любите — за других, разумеется. Тогда почему же? Объяснитесь, сделайте милость.

Федор хотел что-то сказать — что-то непримиримое, резкое, — но раздумал. Василий Иванович глядел в стол, пальцами старательно разглаживая скатерть.

— Вероятно, все дело в форме вознаграждения за труды, — сказал он и тут же испуганно вскинул глаза. — Нет, не о сумме, боже упаси, не о сумме! О форме, понимаете? Ощущать ежемесячный конверт в руках, писать расписки... Вероятно, я горожу чушь, Лев Николаевич, даже наверное чушь несусветную, но... Но, боже мой, как мы спорили об этом на пароходе! Как делить доходы? Как измерить труд человеческий — не физический: физический труд зрим, его можно измерить, — а как определить труд неопределяемый? Труд учителя, инженера, агронома?.. Я не то говорю, извините, но мы спорили об этом.

— И к какому же выводу пришли? — заинтересованно спросил Толстой.

— Да ни к какому. Интеллигенция отдает знания, следовательно, ценятся знания как таковые, а не труд. К какому же выводу тут можно прийти?

— Я думаю, что форму мы уладим, — сказала Мария Ивановна: ее по преимуществу интересовали вопросы практические. — Я переговорю с Софьей Андреевной, не беспокойтесь.

— А Василия Ивановича не это беспокоит, — сказал Толстой, помолчав. — Денежная оценка собственных знаний — это всегда что-то не очень приятное, я понимаю вас. Но скажите, разве мужик не обладает знаниями? Обладает. А ведь он ничего не берет за совет, ему это и в голову не приходит — брать за совет. Отчего это, Василий Иванович?

— Мужик не ценит знаний. Пока, во всяком случае, не ценит.

— Вот-вот, а мы — ценим. Мужик не ценит знаний, потому что считает, что они ему не принадлежат: они принадлежат общине, миру, мужицкие знания — это коллективные знания. И наши знания тоже не нам принадлежат, если вдуматься, тоже переложены в нас из голов воспитателей, учителей, авторов книг, гувернеров, папенок и маменек. Но мы их присваиваем и начинаем торговать как своими собственными. Мы узурпируем чужую собственность и считаем, что это правильно и в высшей степени морально... Это в вас совесть шевельнулась, — неожиданно закончил Толстой и улыбнулся.

— Проповедовать надо за хлеб и воду, — хрипло сказал Федор: он очень волновался, пребывал в странном напряжении и от этого хрипел.

— Господа, господа, мы уклоняемся, — всполошилась Мария Ивановна, с опаской посмотрев на Федора: ждала, что вот-вот выпалит какую-нибудь колкость. — Решайтесь же, Василий Иванович. Сережа чудный мальчик, вам будет легко с ним.

— Вам будет трудно, не верьте Марии Ивановне, — сказал Толстой серьезно. — Вам всегда будет трудно. Есть люди, которым всегда трудно, что бы они ни делали; вы из их числа.

— Советуете ничего не делать? — спросил Федор, опять захрипев.

— Нет, не советую. Да и никакие советы тут не помогут, зачем же советовать? Человек должен прислушиваться только к советам собст-

венной совести, тогда он будет спокоен, а вы, Василий Иванович, извините, очень сейчас беспокойны. *Fais ce que dois, advienne que bougga*<sup>1</sup>.

— Ага, все же даете советы! — заметил Федор. — Не удержались.

— Это не совет, Федор Иванович, это просьба, — сказал Толстой и вновь обратился к старшему Олексину, все еще задумчиво поглаживающему скатерть. — Не хочу скрывать, вы мне нравитесь, и, думаю, мы с вами поладим, Василий Иванович. И — поспорим.

— Позвольте мне подумать, — сказал Василий Иванович, не поднимая головы.

Толстой улыбнулся, а Мария Ивановна сердито махнула рукой:

— Господь с вами, о чем же тут думать, голубчик мой?

— Отчего же, подумайте и известите меня. — Толстой встал, взял шляпу, повертел ее в руках. — Извините, один весьма нескромный вопрос. Вы не обвенчаны с Екатериной Павловной?

— И вас это шокирует? — вскинулся Федор.

— Это отличается от моих взглядов, почему я вынужден буду просить вас жить в деревне. Рядом с усадьбой, расстояние вас не затруднит. — Толстой откланялся. — Прощайте, господа. Очень рад был познакомиться с вами. Жду с надеждой еще более укрепить это знакомство.

— Решайтесь, милый Василий Иванович, решайтесь! — сказала Мария Ивановна, выходя вслед за графом.

Братья молча переглянулись, прислушиваясь. Хлопнула входная дверь, зацокали, удаляясь, копыта.

— Ну, что скажешь? — Федор вскочил, в волнении прошелся по комнате.

— Я откажусь, — сказал Василий Иванович, помолчав. — Ты совершенно прав, Федя.

— Что? — озадаченно спросил Федор, останавливаясь. — Мне нравится этот граф. Да, нравится! Он очень умен, что несомненно. И хорошо расположен...

— Да ты же... — Василий Иванович с удивлением смотрел на него. — Ты же все время пикировался с ним.

— А я проверял, — хитро улыбнулся Федор. — Я проверял, только и всего. И тебе непременно надо соглашаться. Завтра же, завтра же, Вася!

Василий Иванович с сомнением покачал головой:

— Катю не признают. На деревне жить. Унизительно это.

— Чушь! — крикнул Федор сердито. — Фанаберия олексинская! Не признают, так признают, дай срок! В конце концов, каждый имеет право на предрассудки. И обижаться на это — детство какое-то, еще худший предрассудок. Да, худший!

— Отчего вы так громко кричите? — спросила Екатерина Павловна, входя. — Что-то случилось?

— Мы переезжаем, — решительно объявил Федор. — Переезжаем в Ясную Поляну. Завтра же. Укладывайтесь. Все, все, все!..

Василий Иванович только беспомощно развел руками:

— А я им и чаю не предложил. Неудобно. Боже, как неудобно!

## 4

Гавриил лежал за камнем, сжимая винтовку и напряженно прислушиваясь, не раздастся ли в рассветной тишине цокот копыт, лязг оружия или людские голоса. Это был первый бой в его жизни, первое «дело», и он боялся не столько еще невидимого противника, сколько себя самого. Только теперь, в минуту опасности, он понял, что совер-

<sup>1</sup> Делай то, что должно делать, что бы ни случилось (франц.).

шенно не знает себя, не знает, как поведет бой, как будет командовать и как будет убивать. Единственно в чем он был совершенно уверен, так в том, что скорее умрет, чем побежит или спрячется. Но этого было мало для предстоящего дела. Этого было мало, он понимал, что мало, и потому нервничал и сжимал турецкую магазинку без всякой надобности.

Они обошли черкесов поверху, по горе, успели раньше и заперли выход из оврага. Правда, они не знали ни численности врага, ни его вооружения, ни намерений, но позиция представлялась на редкость удобной, и офицеры единогласно решили дать бой.

Рядом укрылись Захар, Отвиновский и мрачноватый Кирчо. Совривович и Стоян с остальными охватывали фланги. Гавриил искоса поглядывал на соседей, но вели они себя тихо и даже спокойно, спокойнее, чем он. Захар лежал недвижно, точно ждал зверя в засаде. Кирчо для удобства раскладывал перед собой патроны, а поляк рассеянно жевал травинку. И поглядывая на них, Гавриил бессознательно одобрял себя.

На единственном боевом совете, проведенном практически на бегу, договорились, что огонь открывают только по выстрелу Олексина. Ровно один залп, после которого черкесам будет предложено сложить оружие; если не согласятся, каждая группа ведет огонь самостоятельно до полного уничтожения противника. Поначалу Стоян был против того, чтобы предлагать черкесам сдаваться, но его убедили.

— Они все равно в ловушке,— сказал Совривович.— И потом, это не по-рыцарски, Стоян.

— Рыцарски?— Болгарин усмехнулся.— Черкесы и рыцарство — обратные понятия. Ну да ладно, будь по-вашему.

Туман редел, таял на глазах, но в низинах еще держался, сползая все ниже и ниже; и в этом особо плотном мареве уже слышался тупой перестук лошадиных копыт. Где-то слабо звякнуло то ли стремя, то ли плохо подтянутая шашка, и из белого клуба перед Гавриилом вдруг выросла мокрая лошадиная морда и бородатое лицо в черной папахе.

— Пли!— крикнул он и, не целясь, нажал на спуск.

Нестройный залп ударил по выходящим из оврага людям, гулко отдавшись в мокрых утесах. И сразу испуганно заржали кони, послышались крики, лязг выхваченных из ножен клинков и зычный раскати́стый бас:

— Рассыпайсь! Ложи-ись! Стрелки, вперед!

— Стой!— закричал Олексин, вскакивая.

Из тумана грохнуло несколько выстрелов, пуля прожужжала возле уха. Захар снизу дергал за ногу, но поручик уже ни на что не обращал внимания. Он ясно расслышал команду, отданную на чистейшем русском языке, и теперь, покрывшись вдруг липким противным потом, насадно кричал:

— Не стреляйте, свои! Не стреляйте, свои! Свои!

— Твою мать!— гаркнули из тумана.— А коли свои, так какого же вы... стреляете?

Единственный и, по счастью, неприцельный залп вывел из строя двух лошадей да ранил казака, шедшего в головном дозоре. Няпча перевязанную руку, кубанец бродил по лагерю, скрипел зубами и страшно ругался:

— Волонтеры, мать-перемать, стрелять ни хрена не умеют. Ты же мне дулом в грудь уперся, ваше благородие, а куды же тебя под левую-то руку занесло? Холера вам в бок, стрелки...

По оврагу пробиралась конная группа Медведовского. Сам полковник хриплым басом нещадно крыл офицеров:

— Куда же без разведки-то поперлись, сукины дети? Все на русский авось, нахрапом воюете? Нельзя же так, господа, вы не на маневрах! Бог ведь упас, не иначе: чудом своих не перестреляли. Кто нас обнаружил?

— Мой денщик, — виновато сказал Гавриил.

— Ты? — Корявый палец уперся в Захарову грудь как пистолет.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Аккурат по воду шел...

— Молодец! — рокотал полковник, любуясь собственным басом.

А что же своих не разглядел? Поджилки затряслись со страху?

— Никак нет. Бурки увидел, ну и...

— Бурки — видали дурака? Да в бурках пол-России ходит, дубина! Потому что удобно и тепло. А чего же не счел, сколько нас? Ведь нас три сотни с гаком: ежели бы черкесов столько было, они бы из вас котлет нарубили! Ладно, его понимаю, в деле не был. — Полковник пренебрежительно махнул рукой на Олексина и вцепился в Совримовича: — Но вы-то, вы-то не первый год замужем, должны бы, кажется, соображать. К болгарам претензий не имею, братушки действовали правильно, хвалю! А вас, господа соотечественники, драть надо за такую операцию. Драть!

— Слава богу, что обошлось, господин полковник, — вяло сказал Олексин: он чувствовал страшную усталость. — Это моя вина. Я сознаю.

— Вина, — проворчал Медведовский уже, впрочем, по инерции. — Я черкесов ловлю: крепкая банда просочилась. Хотел обходом взять, а тут вы со своей инициативой. Сорвали все планы, казака покалечили, лошадей. Эх, вояки! Теперь ищи ветра в поле, лови черкесов...

Полковник Медведовский был чрезвычайно расстроен именно последним обстоятельством, а отнюдь не случайной стычкой со своими. Он был старым воякой и к подобным анекдотам относился скорее с юмором, хоть и ругал при этом провинившихся со всей кавалерийской невоздержанностью.

У него был сборный отряд, основу которого составляли донские и кубанские казаки: именно кубанцы, идущие в авангарде, и попутали Захара. Отругавшись, казаки добродушно знакомились с болгарами, шулко хлопали их по спинам, приглашали к своим казанам на походный харч. Стоял держал Любчо при себе, в офицерском кругу, и она счастливо избегла грубоватых казачьих приветствий.

— Что же вы, господа, не завтракаете? — спросил полковник, со вкусом уничтожая кулеш. — Appetit отшибло или казачьим угощением брезгуете? Ну-ну, веселей, молодежь! На войне и не такие казусы случаются, на то она и война.

— Обидно, что из-за нас вы черкесов упустили, — сказал Совримович, садясь на гостеприимно раскинутую бурку. — Сорвали мы вам операцию.

— Сорвали, — добродушно подтвердил Медведовский. — Главное дело, выследили мы их: разведчики у меня бывалые. Черкесов выследить не просто, господа, очень не просто. Они вояки скрытные, любят нападать внезапно, врасплох. Нападут, порубят — и опять в кусты. Сущие абреки.

— Далеко они? — спросил Гавриил.

— Далеко ли? Эй, корнет, карту!

Безусый, совсем еще юный корнет бегом принес потрепанную карту, услужливо расстелил ее перед полковником и замер подле. Медведовский поглядел, ткнул пальцем:

— Вот тут вчера поутру были обнаружены на марше. Дорога одна, почему я и решил упредить их сим оврагом. Если бы не вы, они бы сами мне в руки вышли: извольте ли видеть — дефиле и я седлаю единственный проход.

— А если сейчас попытаться?

— Бессмыслица: и светло и время упущено. Судя по донесению моих пластунов, вот их маршрут.— Полковник еще раз ткнул в карту коричневым прокуренным пальцем.— С вами вроде бы они расходятся, но глядите в оба. Их около двух сотен: провороните — сомнут и изрубят. Запомнили диспозицию?

— Благодарю, полковник. Мы идем лесами и совсем в другую сторону.

— Стороны черкесам не заказаны.— Медведовский легко вскочил на ноги.— Кончай продовольствоваться, казаки! Седлай! Корнет, выводите кубанцев.

Шумный казачий бивак свернулся мгновенно: Медведовский любил дисциплину. Вскоре слышался только удаляющийся цокот копыт да игривый всхрап отдохнувших лошадей. Поляна опустела, болгары заливали казачьи костры.

— Не огорчайтесь, Олексин,— сказал Отвиновский.— Первый блин, что же поделаешь.

— Говорите так, будто у вас он не первый.

— Признаться, далеко не первый, поручик.

— Сколько же вам было лет, когда...— Олексин недоговорил.

Отвиновский понял и усмехнулся:

— Бойтесь произнести слово «восстание»? Не бойтесь, здесь за это пока не вешают. А лет мне было в ту пору ровнехонько пятнадцать.

— У вас злоба в глазах.

— От воспоминаний млеют только старички, Олексин. Оставим, пожалуй, этот разговор, он не доведет нас до добра. Сытый голодного не разумеет... Впрочем, вы не сытый. Вам только кажется, что вы сытый.

— Господа, от ваших иносказаний у меня голова кругом пошла,— сказал, подходя, Совримович.— Сытый, несытый, полусытый. Говорите проще, Отвиновский, тут все свои.

— Я уже высказался и теперь буду молчать долго и упорно,— улыбнулся Отвиновский.— Что, пора в дорогу?

В этот день шли особенно осторожно. Стоян сменил в головном дозоре Карагеоргиева на опытного Кирчо. Карагеоргиев очень оскорбился, хмуро поглядывал на Олексина. Когда Стойчо ушел вперед, не выдержал:

— Вам обязан, господин поручик?

— Да не мудрствуйте вы лукаво, Карагеоргиев,— сказал Совримович, вздохнув.— Пороха и крестов на всех хватит, не спешите в рай.

— У русских есть прелестная черта: с мягкой улыбкой навязывать свою волю. С немцами, признаться, как-то проще: всегда знаешь, чего они хотят.

— Как вам не стыдно, господин Карагеоргиев! — вспыхнула Любчо.

— Этот же вопрос уместнее задать вам, мадемуазель. Общество романтических разбойников хорошо смотрится на сцене: в жизни возникают более земные мысли.

— Еще одна острота в эту цель — и я вам снесу полчерепа,— тихо сказал Отвиновский.— Ровнехонько: у меня хороший удар.

Карагеоргиев усмехнулся, пожал плечами, но промолчал. Любчо ушла вперед, к Стояну, офицеры сделали вид, что не слышали этой ссоры.

— Пора бы и о привале подумать,— деланно зевнул Совримович.— Пожалуй, я нагоню Бранко, Олексин.



— Пожалуй..

Впереди вразнобой ударили торопливые выстрелы, слышались крики, визг, наметный конский топот. Весь отряд без команды бросился через лес напрямик, на выстрелы, сбрасывая с плеч поклажу. Олексин закричал, чтобы остановились, но его уже никто не слушал, и он тоже побежал туда, где дробно стучали выстрелы, слышался топот, конское ржание и дикие непривычные крики.

— Вот они, черкесы! — прокричал на бегу Совримович.

— А куда бежим?

— А черт его знает! Должно быть, атаквали Медведовского!

Лес кончился, впереди, скрывая дорогу, тянулся кустарник, и они, задыхаясь, остановились. За кустами где-то совсем рядом слышалась пальба и крики, ржание коней и звон шашек, но пальба начинала затихать, и Гавриил догадался, что невидимые противники сошлись лоб в лоб, рукопашную, и теперь все решают секунды.

— Вперед! — крикнул он. — Пали им в спину, ребята! Залпами в спину!

Он продрался к дороге вместе с Захаром и невесть откуда появившимся Бранко, увидел краем глаза, что кругом качаются и трещат кусты, что отряд его атакует дружно, и выбежал на открытое место.

Перед ним была узкая дорога, тесно забитая конными упряжками, орудиями на марше, передками, зарядными фурами, повозками и оттесненными к артиллерийскому обозу людьми в знакомой волонтерской форме. А вокруг, замкнув кольцо, вертелись на лошадях юркие всадники, сверкая клинками, с визгом, азартом и исступлением рубя сбитых в кучу артиллеристов. Кое-где еще отстреливались, еще отбивались палашами и банниками, но исход боя был уже решен: смятые конной атакой артиллеристы долго сопротивляться не могли.

— Пли! — срывая голос, крикнул поручик. — Бей их, ребята!

Он спешил, непрерывно передергивая затвор, и почти не видел мелькавших на мушке всадников. Рядом, стреляя на бегу, спешили болгары, неторопливо и хладнокровно бил из магазинки Отвиновский, орал яростную матерщину Захар. Все было безрассудно и стремительно, но черкесы уже разворачивали коней.

Олексин бежал вдоль разгромленного артиллерийского обоза. Патроны в магазинке кончились, он не стал перезаряжать её и бросил и теперь стрелял из кольта, но стрелял осторожно, считая выстрелы. Бежал, перепрыгивая через раненых и убитых, видя только беспорядочно уходивших черкесов, и кричал:

— Где командир? Командир ваш где?

Наконец он увидел командира. Рослый офицер привалился к орудийному колесу, опустив онемевшую руку с тяжелым артиллерийским палашом. Распахнутый волонтерский мундир был мокрым от пота и крови.

— Вы ранены? — еще издали крикнул поручик.

— Это чужая кровь, — задыхаясь, сказал офицер. — Опоздай вы — и была бы моя.

— Невероятная удача! — радостно воскликнул Олексин, подбегая. — Мы случайно шли...

И замолчал. Перед ним, с трудом переводя дыхание, стоял гвардии подпоручик Тюрберт.

##### 5

— Неисповедимы пути господни, — разглагольствовал Тюрберт, насмешливо кося бледно-голубыми глазами. — Они взяли нас в шашки на марше, а артиллерия, господа, неповоротлива и, как известно, безмятежна. Изрубили бы в капусту, если бы не ваша любезность.

Подпоручик уже отдышался, и веснушки вновь весело высыпали на щеках. Он сидел на лафете в распахнутом мундире,пил коньяк, угощал волонтеров и говорил не переставая. Гавриил изредка взглядывал на него, но видел почему-то не круглое, с кошачьими усиками лицо, а розовую, поросшую рыжим волосом, еще мокрую от пота грудь и мрачнел.

— Но я особо счастлив, что моим спасителем оказались именно вы, Олексин,— улыбаясь, продолжал Тюрберт.— Я непременно расскажу об этом моей невесте в самых восторженных красках и неоднократно. Можете себе представить, как она будет счастлива.

— Прошу вас на два слова,— сказал Гавриил, встав куда поспешнее, чем того требовала обстановка.— Совримович, узнайте потери...

— Потерь, слава богу, нет, Олексин. Правда, Стоян еще не вернулся...

— Так узнайте, где он! — с непонятной резкостью перебил поручик.— Прошу, Тюрберт.

— Признаться, я умирался,— говорил Тюрберт, идя за Гавриилом.— Одно дело отмахиваться эскадрой в фехтовальном зале и совсем иное, оказывается, спасти свою жизнь. У вас какие-то секреты, Олексин? Куда вы меня влечете?

— Вы постоянно оскорбляли меня в Москве, но не рассчитывайте на это в Сербии, Тюрберт. Здесь это не пройдет.

— Бог мой, уж не хотите ли вы со мной драться?

— За вами долг, подпоручик.

— Долг? — Тюрберт вдруг тихо рассмеялся и сел на землю.— Спасти человека лишь для того, чтобы тут же подстрелить его, как вальдшнепа,— знаете, Олексин, это уж слишком. Ну, что вы на меня смотрите? Я сел потому, что устал.

— Лжете, Тюрберт.

— Лгу,— согласился подпоручик без всякого промедления.— Мне как-то расхотелось умирать, если говорить начистоту.

— Вы правы, я не могу пристрелить вас, пока вы сидите. Но я могу дать вам пощечину.

— Оставьте, Олексин,— скривившись, как от зубной боли, вздохнул Тюрберт.— Оставьте вы оперетту, давайте говорить серьезно. Я только-только вышел из боя, я не успел еще похоронить своих людей, а вы толкуете про страсти роковые и готовы каждую секунду схватиться за револьвер. Нельзя же так, поручик, право, нельзя, не обижайтесь. Мы оба добровольно приехали в Сербию, оба хотим воевать против турок, оба — русские офицеры, облеченные доверием и обремененные долгом перед подчиненными. Перед подчиненными! И вдруг, забыв обо всем — о чести волонтера, о долге и положении,— начнем драку, как опившиеся шампанским юнкера. Естественно, я далек от того, чтобы предложить вам забыть прошлое, но я предлагаю перемирие. Вот уж вернемся в родное отечество — и прямо-таки победим к барьеру, если вы того желаете. Но не здесь же, Олексин, не здесь, опомнитесь!

Все это Тюрберт выложил без всякой аффектации, тоном усталым и слегка сварливым. И, как ни странно, именно эта сварливость подействовала на Гавриила успокаивающе. Он перестал метать молнии, хотя ус по-прежнему подкручивал, но уже не воинственно, а смущенно.

— Ну как, согласны, спаситель?

— По-моему, вы трус, Тюрберт,— сказал поручик спокойно.

— Трус? — Тюрберт легко вскочил с земли и пошел на Олексина, рыжий, гроздкий, как медведь.— Тут вы перегнули палку, Олексин, тут вы хватили через край...

— А говорили разумные вещи,— усмехнулся поручик.— Передохните, или вас хватит удар.

Тюрберт остановился, медленно провел ладонями по лицу, зевнул знакомым деланным зевком.

— Черт, щетина лезет. Утром поленился побриться — и пожалуйте... Хотите дуэль наоборот?

— Это что значит: кто быстрее застрелится, что ли?

— Чья смерть будет отважнее, тот и победил. Сообразили? И оставшийся в живых должен на могиле публично заявить, что трус — он, а не тот, кто лежит в земле. Публично, Олексин, слово чести!

С дороги ударил выстрел. Один-единственный и потому особо гулкий и особо тревожный. Офицеры дружно бросились сквозь кусты.

— Свалил! — торжествующе кричал Захар.— Одним патроном, ваше благородие! С ходу свалил!

Оказалось, в кустах прятался отставший от своих черкес. Когда все успокоилось, он галопом вылетел на дорогу, надеясь на резвость коня и собственную удачу. Проскакал мимо растерявшихся артиллеристов и почти достиг спасительного поворота, когда хладнокровный охотничий выстрел Захара свалил наземь коня.

— Я тут без вас распорядился,— докладывал Совримович, пока артиллеристы ловили оплошавшего всадника.— Отправил Бранко с Карагеоргиевым за Медведовским, а болгарам пока поручил охранение.

Солдаты привели черкеса. Его нарочно вели мимо еще небрунанных убитых, вели с матом и подзатыльниками. Но черкес внешне был спокоен, только чуть вздрагивали пальцы, перебиравшие узкий наборный ремешок.

— Ваше благородие, велите немедленно в расход! — громко сказал рослый унтер, передавая Тюрберту снятую с черкеса шашку.— Ведь сколько душ на тот свет отправили, стервы некрещеные!

— Ступай,— сказал подпоручик, рассматривая шашку.— А клинок-то кавказский. Ваше имя?

Пленный молчал.

— Я спрашиваю, как ваше имя? — строго повторил Тюрберт.— Желаете умереть безымянным?

— Почему вы считаете, что все обязаны понимать русский язык? — с неудовольствием спросил Отвиновский.

Но пленный не хотел объясняться даже по-турецки: Совримович неичного знал язык. Он молчал не по незнанию, а просто не желая вступать в переговоры, и не скрывал этого.

— Придется расстрелять,— сказал Тюрберт, искоса глянув на Олексина.

— Подождем Медведовского,— решил Гавриил: мысль о расстреле была для него мучительна.— Он старший по званию, ему и решать.

Пленного поместили в центре батареи под надежной охраной. Артиллеристы уже рыли могилу: у Тюрберта четверо были зарублены сразу и еще столько же умирали от потери крови. Обоз привели в порядок, перепрягли лошадей. Все делалось в спешке: от болгар поступили сведения, что черкесы упорно кружат поблизости.

— Двигаться нельзя,— сказал Тюрберт, ни к кому не обращаясь, но по-прежнему посматривая на Гавриила: он не делил с ним власть, но признавал равновесие положения.— На марше они повторят атаку.

— Подождем Медведовского,— упорно повторил Олексин, не желая принимать никаких совместных решений.

— А если Медведовский не придет до вечера? Прикажете ночевать?

— Приказываете здесь вы, Тюрберт.

— Ночевать,— сказал Совримович: ему была неприятна эта вежливая пикировка.— Загородимся орудиями и обозом, выставим усиленные караулы.

— Воля ваша, но все это до крайности нелепо,— вздохнул Тюрберт.

— Что именно?

— Все! — отрезал подпоручик.— Если такое же согласие царит среди всех офицеров в Сербии, то султан может отдать распоряжение о параде в Стамбуле. Ладно, займемся похоронами. Кто читает молитву? Я не помню ничего, кроме «отче наш».

— Какая разница, что читать? — пожал плечами Отвиновский.— Молитвы нужны живым, а не мертвым.

— Их-то я и имею в виду.

К закату все было готово, но в могилу пришлось опустить всех восьмерых. Среди артиллеристов нашелся пожилой солдат, знающий обрывки канона по единоумершему, которые он и пробормотал прокурренным басом:

— Мы же от земли тленни созданы быхом и в землю ту же возвратимся...

— Ту же, да не ту,— вздохнул Захар, горестно покачав головой.

Тюрберт сказал несколько слов, офицеры отсалютовали погибшим, солдаты бросили по горсти земли — и погребение было окончено. Засыпали яму, возвели холм, поставили крест, постояли, сняв шапки.

— Хуже нет, когда в чужой земле зарывают,— сказал Захар.— Хуже нет.

Первая смерть на чужбине не так мучила его, как первые похороны. Он все время возвращался к мысли о земле, хранившей прах отцов и прадедов. И ругательски ругал себя, что не захватил горсти родной земли.

От болгар по-прежнему поступали тревожные сведения: черкесы не уходили, кружась на расстоянии выстрела. А смены у охранения не было, так как артиллеристов использовать для этого не годилось: и ружья у них были старого образца и стреляли они из них плохо.

— Ничего,— сказал Стойчо; он сам пришел с последним донесением.— Мы привыкли не спать ночами.

По приказу Тюрберта солдаты развели костры, готовили ужин. Захар еще возился с котлом, когда к офицерскому костру подошел унтер.

— Ваше благородие, врет он, нехристь этот. Говорит он по-нашему и понимает!

— Откуда тебе известно?

— Так до ветру сам попросился!

— Своди до ветру и давай его сюда.

Через четверть часа пленный стоял перед Тюрбертом. Руки у него были связаны, конец веревки держал унтер.

— Развяжи и ступай.

— Сбежит, ваше благородие,— с сомнением сказал унтер.— Шустер!

— Побегит — получит пулю,— проворчал Отвиновский.

Унтер неодобрительно покачал головой, но руки пленному развязал. И сразу же ушел: в батарее у Тюрберта был порядок.

— Как приспичило, так и язык вспомнил? — усмехнулся подпоручик. — Как зовут? Как зовут, спрашиваю?

— Ислам-бек! — с вызовом выкрикнул черкес.

Офицеры переглянулись.

— Вот почему они не уходят, — тихо сказал Совримович. — Беспоятся о своем вожде.

— Садитесь, бек, — сказал, помолчав, Тюрберт. — Ваше место у этого костра. Вместе поужинаем и поговорим.

Помедлив, бек опустился на попону между Олексиным и Совримовичем, по-гурецки подвернув ноги. Теперь, когда стало известно, кто он, этот молчаливый пленный, офицеры совершенно по-иному и смотрели и видели его, оценив и тонкие черты лица, и скромную одежду, и старинное серебро газырей и наборного ремешка. Ислам-бек сидел недвижимо, строго глядя перед собой.

Захар разложил кулеш по мискам, подал. Совримович поставил свою порцию перед пленным.

— Ешьте, если голодны, — сказал Олексин. — Остынет.

— Я не ломаю хлеб с гурами! — резко ответил Ислам-бек.

Он говорил с сильным акцентом, не очень правильно произносил слова, но фразу строил легко и быстро.

— Откуда столько ненависти, бек? — вздохнул Совримович. — Мы не сделали вам ничего дурного.

— Дурного? — Бек неприятно улыбнулся; глаза оставались колющими, ненавидящими. — Вы не сделали, так другие сделали. Спросите себя: почему мой народ оказался здесь?

— Естественно: вы мусульмане, — лениво сказал Тюрберт.

— Естественно? — Пленный медленно повернулся к подпоручику. — Это вы назвали нас бандитами? Нет, мы мстители, а не бандиты. Жалею, что не зарубил вас сегодня.

— Да уж больше такой возможности у вас не будет, — усмехнулся Тюрберт. — Не хочу скрывать: вам предстоят неприятности, бек.

Черкес ничего не ответил.

— Вы когда-либо испытывали боль за деяния своей страны? — спросил Отвиновский. — Хоть раз в жизни, хоть по какому-нибудь поводу?

— Я люблю свое отечество и горжусь им, — немного напыщенно сказал Тюрберт. — Догадываюсь, что вам трудно это понять.

— Отчего же трудно? Вы эгоист, поручик, и любовь ваша к отечеству тоже эгоистична: она мирится с тем порядком вещей, который удобен вам лично. Вы не сострадаете своей отчизне, вы пользуетесь ею, как любовницей.

— Кажется, вы переходите границы, Отвиновский, — вздохнул Совримович. — В ваших словах заключено нечто, касающееся не только подпоручика Тюрберта. Сдоблаговолите объясниться.

— Объясниться? — Поляк поковырял угли костра, на миг вспыхнуло пламя. — Каждый народ считает себя избранным. Это пошло с тех времен, когда чувство особливости было инстинктом сохранения рода: ребенок тоже считает себя особым и лишь взрослея начинает понимать, что он ничем не лучше остальных. Не в этом ли понимании заложено то, что мы считаем чувством справедливости, господа? С этим чувством не рождаются: его постигают, учась сравнивать. Сравнить! Сравнить, то есть заранее считать всех равными...

— Хотите сказать, что мы народ пока еще младенческий?

— Дайте же человеку высказаться, Тюрберт, — с раздражением заметил Гавриил. — Он как раз горюет о том, что ему не дают говорить, а вы тут как тут со своими гвардейскими обидами.

Тюрберт насмешливо посмотрел на Олексина, но промолчал. Совримович, всегда близко к сердцу принимавший размолвки между друзьями, с беспокойством следил за Отвиновским, ставшим вдруг надменно, почти враждебно холодным. И лишь пленный бек отрешенно сидел у костра да Захар беззвучно убирал посуду.

— Вы благодетели по натуре, Олексин,— невесело усмехнулся поляк.— Благодетели искренние, бескорыстные, щедрые. Но вам лень подумать...

— Вот и лень появилась,— улыбнулся Тюрберт.— Признаться, ждал ее с нетерпением: как, думаю, вы без этого-то аргумента обойдетесь? А вы и не обошлись, и все сразу стало таким банальным, что, право, господа, захотелось поспать. Оставим банальности земским сердцеедам и предадимся самому безвинному из удовольствий: сну в обнимку с шинелью.

— Лениность не аргумент, леньность — результат,— сказал поляк.— Вся Европа, все ее страны и народы стоят или сидят, а вы лежите, пятками упираясь аж в Тихий океан. У вас — масштабы, у вас — размах, у вас — идеи под стать размерам. Я спросил вас о деяниях вашего отечества, об истории вашей. Да, великая история, есть чем гордиться, господа, есть, готов признать как воин, коему не чужды честь и отвага. Но сколько же в этой истории темного, сколько крови и слез, сколько обид! Когда-нибудь — не теперь, нет! — но когда-нибудь вы сочтете их. Хотя бы во имя справедливости, без которой не может жить ни человек, ни народ, ни государство.

— До чего же вы ненавидите нас, господин инсургент,— сказал Тюрберт, улыбаясь с привычной безмятежностью.— Но я не в претензии, поймите. Вы отвыкли служить отечеству, заменив отечество идеей. А идея — неадекватная замена, Отвиновский. Идеи приходят, идеи трансформируются, уходят или умирают, а отечество остается. И наша сила — в нем.

— Ваша сила вскоре явится сюда, и поэтому мне самое время присоединиться к тем, кто вроде меня еще не обрел своего отечества: я имею в виду болгар. Передать им что-нибудь, Олексин?

— Благодарю, ничего.

— Счастливо, господа, я заночую у Меченого.— Отвиновский двинулся было из освещенного круга, но остановился. Добавил, понизив голос: — Не хочу быть пророком, но почти убежден, что бравый рубака Медведовский повесит нашего гостя на его же собственном ремешке.

Отвиновский ушел; офицеры молчали, но молчали по-разному. Гавриил сосредоточенно размышлял о чем-то непривычном, что, может быть, и не было для него новым, но от чего прежде он легко отмахивался, а сейчас почему-то не мог отмахнуться, удивлялся, что не мог, и чуточку этим гордился. Тюрберту все всегда было ясно не потому, что он не умел или избегал думать, а потому что все, им услышанное, лежало за пределами его совести и чести, а значит, и не относилось к нему. Все это и подобное этому решалось за него, бралось на чью-то иную совесть, было делом государственным, и он не желал да и не считал себя вправе сомневаться. А Совримович страдальчески морщился, терзал цыганскую бороду и вздыхал.

— У меня скверно на душе, господа,— признался он.— Думаю, потому скверно, что Отвиновский в чем-то прав.

— Оставьте! — с непривычным раздражением крикнул Тюрберт.— Мы смотрим на мир с разных колоколен, и не перескакивайте на чужую, Совримович: наша и повыше и погромче. Эти господа думают только о себе, воюют только за себя и умирают за свою милую племенную ниву. А мы первыми в мире шагнули за племенные границы, мы первыми научились видеть дальше собственного порога и думать шире

родимой околицы. И то, что мы с вами здесь, в Сербии, то, что мы во имя братьев по вере покинули свои дома и готовы отдать свои жизни, лучшее доказательство вечной правоты России.

— Братья-славяне,— опять вздохнул Совримович.— А нужно это им, братьям-славянам, Тюрберт? Нужно?

— Что — это? Помощь?

— Помощь нужна, я не о помощи. Я приехал сюда по зову души своей и... и горжусь этим. Я готов помогать, готов сражаться, готов, если понадобится, умереть за свободу и счастье моих братьев, но... Ах, боже мой, я не знаю, как высказать то, что тревожит меня, господа. Нет чего-то общего, чего-то большего, чем все наши жизни. Нет! Почему же нет? Может быть, потому, что у нас нет знамени?

— С такими мыслями, Совримович, вам трудно служить в русской армии.

— Я кое-что понял, господа, не все, правда, не до конца, но кое-что понял,— не слушая Тюрберта, продолжал Совримович.— Знаете, и Карагеоргиев в чем-то прав и Отвиновский, а ведь они тоже славяне. Значит, что-то не так, господа. Значит, что-то мы напутали в московских салонах, что-то недодумали или незаметно для самих себя додумали за другие народы. А это неправильно. И — несправедливо.

— Послушайте, Совримович! — Тюрберт опять скривился, и опять в его тоне зазвучала некоторая сварливость.— Не раздувайте вы свою драгоценную совесть до вселенских размеров. В конечном итоге существует долг, существует честь, существует отечество — что еще нужно, чтобы всегда остаться правым?

— Существует, вероятно, нечто большее, чем личная честь и личный долг, Тюрберт. Вероятно, существует, только мы этого пока понять не можем.

— Ну и слава богу! Излишние представления обременительны для нашей с вами профессии.

— А ведь Медведовский и в самом деле повесит пленного,— вдруг тихо сказал Гавриил.— Повесит, а мы всю жизнь...

Он замолчал, так и недоговорив. Совримович сокрушенно вздохнул, а Тюрберт неожиданно зло расхохотался.

— Я к солдатикам,— сказал он, вскакивая.— К солдатушкам—бравым ребятушкам.

— Пойдите,— морщась, сказал Олексин.— Пленный — ваш, извольте решать его судьбу.

— Нет уж, увольте! — Тюрберт развел руками и картинно поклонился.— Во-первых, посадил его ваш денщик, стало быть, вам приз и принадлежит. А во-вторых, господа соотечественники, ваших людей он не убивал, вашей жизни не угрожал — вам, знаете ли, как-то проще проявлять нежные чувства. А посему разрешите удалиться для исполнения прямых командирских обязанностей. Вернусь через час, надеюсь, что к этому времени вы кончите страдать и обстановка прояснится.

Тюрберт еще раз церемонно поклонился и ушел. Офицеры молчали, старательно не глядя друг на друга. Ислам-бек, слышавший весь разговор — Тюрберт либо не умел, либо не желал говорить тихо,— сидел в прежней неподвижности, словно все это его не касалось.

— Все-таки этот ваш московский приятель — отменный наглец,— сердито сказал Совримович.— Он, видите ли, явится через час!

— Что вы скажете, Совримович, если я отпускаю бека на все четыре стороны? — спросил Олексин, упорно разглядывая папиросу.— Что вы молчите? Я исхожу из боевой обстановки: пока мы его не отпустим, черкесы не уйдут, а, напротив, ночью повторят атаку. Об этом никто не думает, а это и есть главное.

— Я не судья вам, Олексин,— сказал, помолчав, Совримович.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

## 1

Тетушка Софья Гавриловна выполнила данную себе самой торжественную клятву. Никому ничего не объясняя, вдруг укатила восвояси, но вскоре вернулась в Смоленск в сопровождении судуков, любимой болонки и шепотливой старушки-наперсницы Ксении Николаевны. К этому времени Варя привезла детей из Высокого, и привыкший к тишине и безлюдью смоленский дом зажил жизнью шумной, светлой и энергичной, поскольку энергию эту излучала почтенная Софья Гавриловна каждое божье утро:

— Сегодня французский день. Разговоры по-русски запрещены. Даже с прислугой.

— Боюсь, что прислуга не поймет,— пыталась возражать Варя.

— Захочет — поймет: русский человек все понимает, когда захочет. А вы, судари и сударыни, обленились и закоснели и извольте напрямч волю. Маша может музицировать, но не более двух часов, остальное — занятия и занятия. Пора думать о пансионе.

— О пансионе?

Спорить с тетушкой Маша не решалась не из боязни или малодушия — она была человеком прямым, — а из чувства благодарности. Своей неумной деятельностью, затратой сил, искренностью и заботой Софья Гавриловна обезоруживала спорщиков еще до спора. И Маша плакала по ночам, а днем жаловалась все понимающему Ивану:

— Да что же это творится, Ваня, я даже спорить не могу! Я боюсь неблагодарной оказаться: она ведь от души все, правда? Ну скажи, ведь от души, без хитрости?

— От души, Маша.

— Вот видишь. Как же тут спорить?

Иван молча улыбался. Он стал еще сдержаннее и нелюдимее, увлекся философией, а химию вдруг оставил, но то, чем он увлекался, видели, а что забрасывал, не замечали. Это было по-олексински: гордиться увлечениями и не замечать непостоянства. Они всегда чем-нибудь увлекались, но никогда не доводили до конца своих увлечений, и это было столь естественно для них, что упрись кто-либо в какое-нибудь одно дело и не измени ему — посчитали бы чудачком.

— Рабство благодарности, Маша, есть самое тяжкое рабство, ибо цепи для него человек выковывает сам.

— Оставь свою противную философию!

— А что изменится? Ты сразу сделаешься неблагодарной?

— Господи, она меня и вправду в пансион запрет! — Маша в отчаянии всплескивала руками. — А я не хочу туда. Не хочу, не хочу!

— Молодец! — Иван, улыбаясь, любовался сестрой. — Вот так прямо и скажи.

Но Маша могла говорить, спорить и возмущаться только с Иваном: боязнь огорчить тетушку была сильнее ее. Иван был прав, говоря о рабстве благодарности: в это мягкое улыбочное рабство постепенно втягивалась вся семья, и даже Варя, все еще пытавшаяся спорить, спорила только до известного предела, перейти который уже не могла. Дейтельно-ласковые ручки Софьи Гавриловны неторопливо, но крепко захватывали и дом и домочадцев.

— Завтра немецкий день. Дети, вы слышите? Георгий, я тебя спрашиваю.

— Да, ма тант.

— Немецкий, немецкий, а не французский!

— Все равно голодными будем, — улыбался Иван. — Прислуга опять



напутает, и мы получим желе вместо отбивной и паштет вместо варенья. Впрочем, голодный полиглот лучше сытого недоучки.

Ивану было проще всех: он с самого начала отгородился непроницаемо вежливой улыбкой, все принимал как должное и ничем не возмущался. Софья Гавриловна, с первых же дней озадаченная этой позицией, так и осталась озадаченной, в конце концов оставив его в покое.

— Знаешь, Варвара, я пугаюсь людей, которые не способны увлечься.

— Иван увлечен философией, тетя.

— Вот когда его философия зашелестит юбками, тогда я перестану пугаться. А потом непременно закричу «караул».

— Опять — караул?

— Помяни мои слова: он влюбится не в того, в кого надо.

— Полагаю, ему виднее, в кого влюбиться.

— Но он непременно напутает. И будет распутывать всю жизнь и запутает еще больше. Пожалуйста, не спорь, я знаю, что говорю.

Однако больше всех языков, свободное владение которыми Софья Гавриловна почитала основой воспитанности, больше всех хозяйских хлопот, детского ученья, занятий и развлечений тетушку занимал вопрос, из-за которого она то и дело намеревалась кричать «караул». Вопросом этим было будущее девочек, понимаемое как выгодное замужество. Она бы с удовольствием занялась и мужскими партиями, но все годные для этой роли мужчины разбежались, Иван в расчет не шел, и вся ее энергия отныне была направлена на поиски женихов. В этом вопросе она полагалась целиком на себя, ни с кем не советовалась, но и не спешила, проводя пока глубокую подспудную работу и нанося визиты предпочтительно одиноким дамам со связями и в возрасте. Верная Ксения Николаевна добывала необходимые сведения, вооружившись которыми Софья Гавриловна и шла в разведку боем.

— Выдадим Варю и Машеньку и передохнем,— говорила она наперснице, возвращаясь со свиданий, требовавших утонченной хитрости, высшей дипломатии и точного расчета, что сильно утомляло ее.— С Наденькой будет легче. Я чувствую, что легче.

Вдовствующей владычицей смоленского общества была Александра Андреевна Левашева, дама почтенного возраста, петербургских связей и независимого капитала, наезжавшая по хозяйственным надобностям в город. Когда-то Софья Гавриловна была ей представлена и рискнула явиться с поклоном, как только Александра Андреевна объявилась в Смоленске. Скужающая матрона приняла ее немедленно и вполне благосклонно; дамы пили чай и говорили о пустяках, но Софья Гавриловна умудрилась перевести разговор в нужном направлении, доверительно поведав хозяйке о своих заботах в связи с осиротевшей олексинской семьей.

— Буду рада познакомиться с вашими питомцами, Софья Гавриловна,— сказала Левашева.— Привозите в четверг, я люблю молодежь.

К четвергу готовились особо: шили платья, обсуждали разговоры. Маша скептически улыбалась, но не спорила: ей была любопытна эта суэта. А Варя относилась к предстоящему визиту не только со всей серьезностью, но и с определенными планами, будто там, у таинственной светской вдовы, ей должны были незамедлительно вручить того, кого она готова была полюбить вдруг и на всю жизнь. Теперь, когда Софья Гавриловна взяла на себя все семейные заботы, Варя начала ощущать такую потребность любить, что все остальное отошло на второй план, стало мелким, необязательным и неинтересным. У нее было чувство, будто та непосильная ноша, которую она, задыхаясь, тащила на своих плечах, уже доставлена, уже сброшена и она наконец-таки получила возможность выпрямиться, оглядеться и ощутить соб-

ственную неприютность и одинокость. И ощущение это было пугающим, потому что Варя уже считала свои годы.

— Ты суетишься неприлично, — сказала Маша в своей полудетской беспощадной манере.

Варя вспыхнула, но смолчала, хотя ей очень хотелось сказать, как легко быть спокойной, когда тебе всего семнадцать и все еще впереди. А у нее если и не позади, то вровень, в самый раз, когда промедление сродни забвению того, что жило в ней, должно было жить, но имело права не жить, не пользоваться жизнью, не отдаваться ей со всей накопленной силой. Варя смолчала, но мысли, вызванные бестактностью девчонки, у которой как раз-то все было впереди, остались, и прибыла она к Александре Андреевне несколько растерянной.

— Я хотела бы представить вам брата, — сказала хозяйка, когда переговорили о погоде, модах и новостях и девушки освоились. — Он спасается от сплина то в Европе, то в России попеременно и с равным успехом, однако не растерял еще желания знакомиться с очаровательными девицами. Рекомендую, князь Насекин.

Рано польсевший князь скользнул равнодушными глазами, на миг задержал взгляд на Маше и неожиданно улыбнулся одними губами:

— Боюсь, что я — скучная принадлежность дамских гостиных.

— За чаем мне случалось видеть тебя даже остроумным, — сказала Александра Андреевна, вставая. — Прошу вас.

Они прошли в столовую, где был подан чай по-английски — с молоком и без самовара. Князь сел напротив Маши, изредка изучающе поглядывая на нее, но молчал, не участвуя в общем разговоре и отделиваясь односложными замечаниями, когда его пытались втянуть в этот разговор. Потом сказал неожиданно и совершенно невпопад:

— Поразительно, но ведь только Россия тратит. Тратит деньги, тратит знания, время, душевные силы. Остальные народы ничего не тратят: они вкладывают. В будущее, в карьеру, в дело. Вкладывают, всегда думая о том, чтобы получить прибыль. Даже когда дело касается удовольствий, думают о процентах с вложенного капитала.

Гости растерянно примолкли, а хозяйка улыбнулась:

— Князь Сергей Андреевич — наша семейная загадка. Мы часами ломаем головы над его шарадами, но таков уж стиль, приходится с этим мириться.

— Может быть, князь пояснит, что он имел в виду? — улыбнулась Варя. — Признаться, я озадачена: говорили о провинциальной тишине — и вдруг ваша эскапада.

— Князь считает эти разговоры ненужной тратой сил, только и всего, — покраснев, сказала Маша. — Вероятно, это справедливо.

Князь молча улыбался одними губами. Глаза по-прежнему смотрели с усталым равнодушием.

— Придется разъяснить, Серж, иначе ты рискуешь быть превратно понятым, — вздохнула Александра Андреевна.

— Представьте, что потребность всюду искать абсолютную гармонию есть наше национальное свойство и наша национальная беда, — скучно, словно через силу начал он. — Европа — я беру ее в целом, ибо разница между ее народами практически несущественна, — так вот, Европа стремится к гармонии личной, суть которой сводится к формуле «мне должно быть хорошо». А мы этого стыдимся, даже если втайне и исповедуем. Стыдимся мучительно и искренне, готовы каяться, замаливать грех благотворительностью или... или чудачеством. Не потому ли у нас в России столь много совершенно особых русских чудачков? Куда-то рвемся, спешим, грешим и святотатствуем — и все не для себя, а если и для себя, то для утешения духа, а не тела, все скорее

для покоя внутреннего, нежели внешнего. Не отсюда ли наше пресловутое русское чувство вины перед всем миром?

— А вы еще не влюблялись,— объявила вдруг Маша, опять покрасневшись.— И поэтому вам легко.

Князь внезапно рассмеялся. Смех его был неровным и каким-то насильственным.

— Кажется, тебе тоже придется пояснить свою мысль,— не без желчи сказала Варя.

— Не буду.— Маша покраснела еще больше и по-детские обиженно надулась.

— И не надо.— В глазах Сергея Андреевича впервые появилось что-то живое: они сейчас улыбались вместе с ним.— Вы открыли истину, Мария Ивановна. И, как всякая истина, она достаточно горька, чтобы принести пользу.

Софья Гавриловна была очень недовольна направлением, которое приняла застольная беседа. Она шла в этот дом, где избегали смотреть в глаза, где не говорили, а изрекали, не ели, а пробовали, не пили, а пригубливали вопреки собственным симпатиям. Шла, рассчитывая на протекцию в сватовстве, а вместо протекции и серьезного разговора ей подсунили потрепанного и явно женатого человека, навязавшего обществу никчемный спор. Она все время ждала мгновения, в которое можно было бы вцепиться, чтобы поворотить все в нужную сторону, и поэтому с радостью ухватила за последнюю сентенцию князя.

— Да, да, вы совершенно правы, князь, совершенно. Горечь одиночества, отсутствие избранника сердца...

Разговор нехотя, со скрежетом и натугой переползал на иные рельсы. Варвара хмурилась. Маша сердито краснела, а князь вновь заزمелся улыбкой, приглушив лишь однажды вспыхнувшие глаза. Все стало привычно скучным, дамы вежливо поддерживали беседу, вылавливая в потоке светлых фраз имена и тут же придирчиво, но осторожно обсуждая их. Девушкам становилось все неуютнее и беспокойнее, но тетюшка уже увлеклась, уже позабыла о них, да и хозяйка оживилась. Князь молчал, привычно выдавливая улыбку и поглядывая на Машу. Маша хмуро отворачивалась, а потом глянула вдруг с отчаянной мольбой.

— Я привез любопытные журналы,— сразу же, точно только и ждал этого взгляда, сказал князь.— Если не возражаешь, сестра, я показал бы их пока в гостиной.

— Да, да, Серж, развлеки барышень, а мы поболтаем с любезной Софьей Гавриловной.

Прошли в гостиную, князь принес парижские журналы. Отдал пачку Варе, но один оставил у себя и просматривал его вместе с Машей, комментируя рисунки и фотографии, остроумно пересказывая последние сплетни и анекдоты. Маша окончательно перестала дичиться, смеялась, когда хотелось смеяться, переспрашивала, когда не понимала; князь оживился, говорил легко и весело, опять заулыбался оттаявшими глазами. Варя поначалу поддерживала общий разговор, поскольку Сергей Андреевич к ней обращался, но потом его обращения стали все более редкими, а вскоре и совсем прекратились. Варя изо всех сил изображала живую увлеченность журналами и даже смеялась в одиночестве, а когда возвращались, сказала, уже не пытаясь скрыть обиды и раздражения:

— Ты возмутительно вела себя с князем, Мария. Возмутительно!

— Возмутительно?

— Воображаю, что он мог подумать. Что он мог подумать!

Маша ничего не ответила. Что-то безнадежно горькое звучало

в тоне сестры, настолько горькое, настолько не соответствующее словам, что Маша не обиделась, а испугалась. И не хотела признаваться в этом страхе, чувствуя, что если признается в нем, то ей будет стыдно за Варю. Поскорее прошла к себе и постаралась тут же заплакать, еще по-детски веря, что слезы смывают все неприятности и скверны. Но поплакать влать ей не удалось: вошла Варя. Вошла так стремительно, что Маша не успела прикинуться равнодушной.

— Прости меня, Маша.

И опять слова были отделены от тона, и опять Маша слышала сначала тон, а уж потом то, что им говорилось.

— Ты уже взрослая,— продолжала Варя, старательно глядя в сторону.— Судя по двум примерам, вполне взрослая, и... и я решила говорить с тобой как со взрослой женщиной. Нам будет трудно, я догадываюсь, но разговора этого не избежать, и... и если ты не против...

— Я не против.

— Вот и прекрасно, прекрасно.— Варя решительно прошла по комнате, решительно нахмурила брови.— Мы — сестры, мы должны быть откровенны, и если даже откровенность эта покажется тебе обидной, то...

Она замолчала, глядя в сторону. Маша внимательно следила за нею, видела эту выставленную напоказ решительность, понимала, что Варе трудно, и с непонятным злорадством ждала, что же она скажет. Понимала, что поступает скверно, ругала себя за это вдруг пробудившееся в ней злорадство и — ждала.

— Мы родные сестры, но мы не одинаковы. Ты моложе и... и привлекательнее.— Варя с трудом выдавила из себя это признание.— Да, ты привлекательнее, ты умеешь легко увлекать, ты... ты обольстительна, если тебе угодна моя прямота.

— Это скверное слово, Варя,— тихо сказала Маша; в душе ее гремели сейчас фанфары, но она изо всех сил старалась быть скромной.— Я понимаю, что ты хотела сказать этим словом, и прощаю тебя.

— Ты прощаешь меня? — Варя близко заглянула в лицо и неприятно улыбнулась.— Премного благодарна вами, сестрица, премного благодарна. Я тащила на себе семью, Мария. Я, забыв обо всем, о молодости, о радостях, о соловьях в этом саду... — Она вдруг оборвала себя, словно проговорившись. Медленно провела рукой по лицу, отвернулась.— Мы не можем одновременно выйти в дверь: кто-то должен уступить дорогу,— как-то нехотя, словно уже утратив интерес к разговору, сказала она.— И я прошу тебя... Нет, я требую, чтобы ты...

— Не надо, Варя, милая, не надо! — Маша, не выдержав, бросилась к сестре, обняла сзади за плечи.— Прости меня, что я раньше не прервала, прости, что мучила. Я скверная, Варя, я эгоистка, вот кто я такая. Но я все поняла. Все! Не тревожься...

Варя холодно отстранила Машу и молча вышла из комнаты, старательно выпрямив и без того вызывающе гордую спину.

На второй день князь явился с ответным визитом. Маша пряталась в своей комнате, пыталась читать, но не видела строчек, а если и видела, то не понимала. Она слушала. Слушала напряженно, всем существом, всеми силами, хотя до гостиной, где Варя оживленно болтала с князем, было далеко и услышать она ничего не могла. И она знала, что не может услышать ни единого звука, и все равно слушала до звона в ушах. Такой напряженно прислушивающейся ее и застала Софья Гавриловна.

— Мари, это что за новости? Почему ты прячешься, как ребенок? Князь дважды спрашивал о тебе.

— Пусть.— Маша упрямо надула губы.— Я читаю и никого не хочу видеть.

— Но это же неприлично, сударыня, неприлично. Немедля извольте пройти в гостиную. Немедля!

— Не пойду. Хоть зарежьте.

Тетушка мгновение остолбенело глядела на нее, а потом безвольно рухнула на кушетку.

— Маша, не истребляй,— проникновенно сказала она.— Не истребляй во мне порыва. Не истребляй.

— Я ничего не истребляю.

— А я не сплю ночами,— строго поведала Софья Гавриловна.— Я думаю, задумываю и передумываю. Когда у тебя будут дети, ты поймешь и устыдишься. И это будет утешением в моей одинокой могиле.

— Тетушка,— почти с отчаянием сказала Маша, захлопывая книгу.— Вам хочется кого-нибудь осчастливить? Так осчастливьте Варю, она ждет этого. А я потерплю. Мне еще пансион кончить надо.

Про пансион она схитрила, ибо думала о нем почти с отвращением. Схитрила по-детски, в данный момент не задумываясь, что ее слова могут прозвучать обещанием. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое, в ее покое, который заставлял слушать то, что заведомо невозможно услышать, и читать, не понимая ни единого слова. Это был покой неустойчивого равновесия, но она не желала, чтобы кто-либо извне нарушал это равновесие. В нем заключалась сладкая возможность выбора, и этой возможностью Маша сейчас дорожила пуще всего на свете.

— Ну что же,— проговорила тетушка после глубокого размышления.— Ну что же, по-своему ты права. Ты не эгоистка, а значит, еще не влюбилась. Только не думаю, чтобы князь приехал еще раз.

Маша тоже не думала, и ей было чуточку грустно. Но грусть эта была торжественной, как в церкви.

Князь и вправду больше не появлялся, подчеркнув тем самым, что визит его был всего лишь вежливо-ответным. Более они не встречали его, хотя дважды выезжали вместе с Александрой Андреевной: тетушка стремилась расширить круг знакомств. Но поскольку сама Софья Гавриловна в князе не была заинтересована, полагая его женатым, а потому как бы уже и не первого сорта, то и не задавала наводящих вопросов. И тусклые глаза усталого аристократа стали забываться вкупе с его приклеенной улыбкой.

## 2

Полковник Хорватович был плечист и высок, а походный зипун, который он никогда не застегивал, и широченные, заправленные в высокие австрийские сапоги шаровары делали его громоздким и неуклюжим. Но впечатление было обманчиво: двигался командир корпуса легко и стремительно, говорил, энергично отрубая фразы, действовал без колебаний, и сорокалетние глаза его до сей поры не растеряли юношеской синевы.

Для подробного рассказа он оставил в палатке одного Олексина, попросив выйти даже собственного начальника штаба. При докладе не перебивал, лишь коротко осведомился, когда Гавриил закончил:

— Это все?

— Все, господин полковник.

— Больше нечего доложить?

Олексин пожал плечами. Хорватович пристально посмотрел ему в глаза, кивнул:

— Садитесь.

Прошелся по палатке, взмахнув полами распахнутого зипуна, вы-

глянул наружу. Потом, размышляя, постоял над поручиком и сел по другую сторону дощатого стола.

— Нет, не все, поручик.

— Простите, полковник, я вас не понимаю.

Хорватович не глядя выхватил из лежавшей на столе папки письмо, протянул Гавриилу, продолжая в упор глядеть на него синими глазами:

— Ознакомьтесь.

Это было донесение Медведовского. Он объяснял изменение своего маршрута в связи с нападением черкесов и вынужденным сопровождением батареи Тюрберта до сербских позиций. Все было правильно, но все это не касалось ни поручика, ни его доклада. Он читал, не понимая, зачем Хорватович знакомит его с рапортом, и лишь в конце, в приписке, понял, в чем дело.

*«При внезапной атаке черкесов русско-болгарским отрядом поручика Олексина был захвачен в плен командир черкесов Ислам-бек, имя которого, безусловно, знакомо Вашему превосходительству. За час до моего прибытия указанный пленный бек был отпущен на свободу лично поручиком Олексиним. Ставлю Вас об этом в известность, усматривая в этом проступке не просто доверчивость офицера, но прямое попрание им воинского долга, почему и ходатайствую о немедленном откомандировании поручика Олексина в распоряжение штаба генерала Черняева с последующим лишением волонтерских прав и принудительной высылкой в Россию...»*

В приписке было что-то еще, но Гавриил не стал читать до конца: так засосало, заняло вдруг под ложечкой. Аккуратно сложил письмо по сгибам, протянул Хорватовичу:

— Прикажете сдать оружие?

— Объяснитесь.

— Долго, полковник. Да и вряд ли вы поймете.

Хорватович помолчал, постукивая сложенным рапортом о плохо струганные доски стола. Потом сказал:

— Ислам-бек вырезал два села. Вырезал буквально, не пощадив ни детей, ни стариков, за что и объявлен вне закона. Я понимаю, вы могли об этом не знать, но незнание не является оправданием, поручик.

— Я не пытаюсь оправдываться.

— И по-прежнему считаете себя правым?

Олексин долго молчал. Потом встал, извлек из кобуры револьвер и положил его на стол.

— Жду ваших приказаний, господин полковник.

— Приказаний? — Хорватович зябко поежился, запахнул зипун.— Проклятая лихорадка, бьет второй месяц. В центре нашей позиции находится возвышенность. Она выдвинута вперед, делит корпус пополам, и пока она у меня в руках, турки не могут продвинуться ни на шаг. Я поставил на эту высоту батарею Тюрберта, а прикрывать ее будет рота, усиленная вашим отрядом. Рота наполовину состоит из сербских бойцов; естественно, они не будут знать о вашем великодушии, но вы об этом помнить должны. Возьмите оружие и извольте принять роту.

Олексин неуверенно протянул руку к револьверу и снова отдернул, продолжая с молчаливым удивлением смотреть на полковника.

— Вы не расслышали приказа? — Хорватович вздохнул, потрогал пальцами лоб.— Все правильно, сейчас свалюсь.

— Может быть, врача? — спросил Гавриил, заталкивая кольт в кобуру.

— Врач умеет только отпиливать конечности. Слушайте, поручик, почему вы так неумеренно пьете?

— Я не пью неумеренно, господин полковник.

— Да не вы лично, господа русские офицеры, во всяком случае многие из них.— Он неожиданно усмехнулся.— Из-за этого пристрастия я вынужден держать в своей палатке ведерную бутылку ракии.

— Угощаете господ русских офицеров?— Гавриил попытался сказать это легко, но улыбка вышла кривой, да и вопрос прозвучал достаточно криво.

— Мне надоели постоянные жалобы на вашу невоздержанность, и чтобы положить этому конец, я объявил пьяницей себя.— Улыбка у Хорватовича тоже не получилась.— Жалобы прекратились, но пьянство осталось. Вы догадались, у кого вам предстоит принять роту? У пьяницы, поручик. Прискорбно, но этот пьяница — отставной полковник русской службы. Он явился сюда с претензией на бригаду; но у меня была только эта несчастная рота. Полковник покорился судьбе, но впал в амбицию: месяц беспробудно пил и от роты осталось чуть более половины. Учтите это и постарайтесь сдержаться, когда будете принимать людей и хозяйство: мне и так хватает ссор. Удивлены?

— Признаться, да.

— В моем корпусе восемнадцать национальностей. Восемнадцать, поручик! Все горят желанием помочь несчастной Сербии, но все — на свой лад. Оркестра нет — есть музыканты, а единых нот штаб так и не удосужился выслать. И все играют свою музыку и кричат, что фальшивит сосед. На разбор их пустопорожних жалоб я тратил уйму времени, пока не завел должность адъютанта по национальным претензиям.

— А славянские идеи что же, больше не помогают?

— А какое дело немцам, итальянцам, венграм или грекам до ваших славянских идей?

— Ваших? Я полагал, полковник, что это наши общие идеи. Разве не так?

— Мы — народ маленький, куда уж нам до панславизма,— вздохнул Хорватович.— Ну да ладно, поживете — сами увидите. Фамилия пьяницы-полковника Устинов, а найдете вы его в кафане у маркитантов. Ступайте, мне, кажется, придется лечь. Ступайте, поручик, приказ о вашем назначении вам передадут утром.

Гавриил щелкнул каблуками и пошел к выходу.

— Если отдадите пушки туркам...— Хорватович помолчал, а потом тихо и очень буднично закончил: — Я расстреляю вас за все грехи разом.

Поручик молча поклонился и вышел из палатки.

Он никому не стал рассказывать о рапорте Медведовского: это было его дело, за которое он отныне нес полную меру ответственности. Поручик до сих пор ощущал холодок в спине от последних слов Хорватовича и понимал, что синеглазый командир корпуса сказал их не ради фразы. Здесь яростно боролись за дисциплину и боеспособность и не стеснялись подчас прибегать к самым крутым мерам: полковник лично расстрелял войника, бросившего в бою раненого товарища, об этом писали все газеты.

Тюрберт уже увел свои пушки на позицию, а болгары держались в стороне, ожидая указаний. После истории с черкесом, о которой они, к счастью, не знали подробностей, между ними и Гавриилом словно пробежала кошка: внешне все оставалось по-прежнему, но ошутимый ледок появился. А угрюмый Кирчо спросил напрямик:

— Отпустили или вправду сбежал?

— Сбежал,— сказал Отвиновский.— Не уследили, виноваты.

Кирчо выругался и ушел. И появился ледок в отношениях.

— Идем на пополнение стрелковой роты,— сказал Олексин.— Сообщите об этом болгарам, Отвиновский. Мы с Совривичем поцем командира.

По дороге в кафану, которая стояла на отшибе, за строгими линиями штабных палаток и шалашей, говорил один Совривич. Рассказывал о встрече со знакомым офицером, о турках, редких боях и о слухах. Он был равнодушен к слухам, любил извлекать из них доказательства собственных выводов, за время похода скучал без новостей и с удовольствием сыпал ими. О Черняеве, о докладе сербского военного министерства, о злоупотреблениях интендантства, о князе Милане, тайком примерявшем королевскую корону, о демонстративном отъезде группы русских волонтеров в Россию...

— Студенты,— несколько пренебрежительно комментировал он.— Недовольны позицией сербских властей, обвиняя их в саботаже и чуть ли не в тайномговоре с Портой...

Олексин не слушал. Он вновь с ужасом вспоминал рапорт Медведовского и внутренне благодарил судьбу, что счастливо избежал позорной высылки на родину. Нет, он и сейчас не жалел, что отпустил Ислам-бека, и хотя упоминание Хорватовича о вырезанных селах тревожило его совесть, поручик твердо был убежден, что полковник сильно преувеличил жестокости, творимые черкесами в Сербии.

И все же главное место в его размышлениях занимал сейчас Хорватович. Поручик думал о нем почти с восторгом не только потому, что сербский полковник спас его честь и карьеру, а высоко оценивая ловкость, с которой Хорватович использовал рапорт в общих боевых целях. Да, он взвалил на плечи поручика нелегкую ношу, но взвалил, понимая, что Олексин с благодарной радостью ухватится за нее. «А все-таки все к лучшему,— с неистребимой юношеской верой в счастливую звезду думал Гавриил, входя в шумную кафану.— Если бы не случай, ни за что бы мне не получить такого участка».

В тесной кафане было дымно и людно, но толстый хозяин в грязном фартуке мгновенно нашел для них место, поспешно выпроводив из-за столика двух сербских бойцов. Совривичу это не понравилось:

— Напрасно вы их потревожили.

— Никак не можно, никак не можно! — на плохом русском языке кричал хозяин, проникновенно прижимая к засаленной груди волосатые пальцы.— Все — для господ русских волонтеров. Вы проливаете кровь за нашу Сербию!

— Но мы не затем пришли...

— Никак не можно! Бутылочку вина, одну бутылочку! — Тут хозяин понизил голос до интимной доверительности: — Есть настоящее французское. Только для вас, господа, только для вас.

Он тут же исчез, с профессиональной ловкостью обходя посетителей. Офицеры сели, оглядывая набитое людьми помещение.

Русских здесь было много, и поэтому на них никто не обращал внимания. Ели и пили с той грубоватой бесцеремонностью, к которой с удовольствием прибегают мужчины, сойдясь по случаю, изо всех сил изображая бывалых рубак и хвастаясь бесшабашной свободой. Громко говорили, громко смеялись, вмешиваясь в разговоры соседей и не стесняясь в шутках. В основном это была молодежь, хотя попадались лица, довольно потрепанные возрастом и жизнью. Офицеры и солдаты придерживались своих компаний, но столы располагались рядом, плечи касались друг друга, а разговоры и шутки часто пересекались: волонтерское платье несколько уравнивало социальные группы и Совривич сразу обратил на это внимание.



— Этак мы потеряем армию, Олексин: солдат не должен видеть пьяного офицера. А уж коль начнет пить с ним, в атаку его не поднимешь.

— Они хоть за разными столами, Совримович. Вы посмотрите направо.

Правее них за большим графином ракии сидели худой, сморщенный старик в русском полковничьем мундире и рослый краснорожий волонтер. Оба одинаково навалились на столик, едва не касаясь друг друга низко склоненными лбами, и одинаково молчали.

— Держу пари, это и есть полковник Устинов, у которого мне надлежит принимать роту.

— Я вам не пешка! — вдруг побагровев, крикнул полковник. — Да-с, не пешка! Я — русский офицер, я тридцать лет верой и правдой! Да-с! А меня — в пешки, в пешки! Почему не русские командуют, почему, я вас спрашиваю? Почему? Интриги, господа? Не позволю! Не позволю, чтоб русский мундир... — Он ткнул солдата в плечо. — Ты видишь этот мундир? Видишь?

— Так точно, — невнятно пробормотал солдат, привычно думая о своем. — Как же. Мундир — это точно.

— Этот мундир свят, — с пьяной проникновенностью сказал полковник. — Он вознесен волею его императорского величества и матушки России. Вознесен! Во всех столицах славой покрыт. Во всех, милостивый государь, не извольте спорить. Все — дерьмо, только русские воюют. Только русские! А меня — в подчинение. К кому? К австрийскому сербу?

— Ах ты горе горькое! — крикнул солдат, хватив кулаком по столу.

За столиком воцарилась тишина. Полковник долго и тупо глядел на собутельника пьяными красными глазками.

— Горе? Какое у тебя может быть горе, дубина?

— Детки мои, детки, — всхлипнул волонтер. — Троиخ оставил. Троих!

— Детки?.. Да. Наливай. Наливай, Белиберда, за деток. Ты зачем сюда ехал? Какая твоя идея?

— Чего?

— Доложи.

— Я, это... Турку бить!

— Молодец! — Полковник чокнулся глиняной кружкой и лихо отправил ее содержимое в неаккуратно заросший рот. — Я православный, милостивый государь, да-с. И горжусь! Когда российский человек жизни своей не щадит, извольте в ножки ему за это. В ножки! А мне — роту. Роту! А серб воевать не хочет. Ты заметил? Не хочет, подлец этакий!

— Не хочет, Зиновий Лукич. Ох-хо-хо! — громко вздохнул солдат и пригорюнился. — А у нас на семь сел один вол, да и тот без рог.

— Не смей! — строгим шепотом сказал полковник. — Не смей отчизну порочить. Не смей!

— Да нешто я... — растерялся солдат.

— Не смей! — Полковник строго погрозил пальцем, хлебнул из кружки и сказал уже более спокойно: — Мне говорить: снимайте мундир, потому сербы косятся. А зачем? Зачем мне снимать мундир? Я — русский полковник с мундиром и пенсионом в отставке. Я — кавалер российских орденов! Я служил беспорочно тридцать лет! Я по Белграду в мундире ходил, я у Черняева в мундире ходил, я и здесь в мундире хожу. Пусть видят, кто их от турок спасает, пусть! Нате, мол, смотрите! Я — русский полковник. Русский! И не смей здесь отчизну порочить. Не смей!

— Виноват, ваше высокоблагородие.

— То-то. Наливай, Белиберда. Белиберда ты и есть.

Отставной полковник кричал, стучал по столу, призывал свидетелей, но в переполненной кафане никто не обращал на него внимания. То ли потому, что в нем видели завсегда, к которому привыкли, то ли потому, что здесь вообще было принято ничему не удивляться и ни к чему не прислушиваться, то ли потому, что Устинов был скандально обидчив и никто не хотел связываться с ним. Как бы там ни было, а кафана жила своей жизнью: у окна волонтеры вслух читали письмо из дома, обсуждая каждую новость; в углу негромко пел под гитару молодой офицер; из-за дальнего стола доносился хохот: там рассказывали что-то веселое и, судя по отдельным словам, весьма соленое. И, возможно, именно поэтому полковник и повышал голос до крика.

— Удивительно, Совримович: чем благороднее идея, тем она беззащитнее. Возле нее вдруг оказывается такое количество спекулятивной гнуси, что диву даешься, как ты сам до сей поры еще не изверился в ней. Причем, заметьте, за границей это как-то особенно бросается в глаза.

— Либо мы уведем его, Олексин, либо уйдем сами,— сказал Совримович.— Меня тошнит от его патриотизма.

— Попробую,— вздохнул Гавриил.

Он нехотя поднялся, оглядел зал, прикидывая, на кого можно тут рассчитывать, если разразится скандал, не встретил ни одного взгляда и, помедлив, подошел к Устинову.

— Честь имею представиться, господин полковник: поручик Олексин. Назначен командиром роты, которую вам надлежит немедля сдать мне.

— Немедля? — Полковник, тупо моргая, смотрел на него снизу вверх, пытаясь осознать, что услышал, и хотя бы частично разогнать хмель.— Вторая отставка. А известно ли вам, милостивый государь...

— Мне известно, что мы на войне, где промедление недопустимо.

— Совершенно верно.— Полковник тряхнул остатками седых волос.— Садитесь, поручик. Начнем.

— Я не обсуждаю служебных дел в присутствии денщиков, господин полковник.

— Совершенно правильно.— Полковник опять тряхнул головой.— Я его Белибердой зову. Как твоя фамилия, Белиберда?

— Валибеда! — гаркнул солдат.

— А я его — Белибердой. Белиберда и есть. Садитесь, поручик. Вы не имеете права пренебрегать. Я старше чином и... и возрастом, да-с! И на мне, извольте видеть, русский мундир.

— Так не позорьте его, господин полковник,— тихо сказал Гавриил.

— Я? Позорю? Я?..

Качнувшись, Устинов встал. Он был невелик ростом, и Олексин по-прежнему созерцал его розовую лысину, опущенную седыми, вразной торчащими космами. Лысина эта стала апоплексически наливать кровью, а полковник, наоборот, бледнел, точно кровь его, минувшая щеки, вся без остатка ринулась в голову.

— Я позорю? Я?.. Нет-с, милостивый государь, вы позорите. Вы! Мундирчик-то скинули? Скинули? На волонтерское тряпье заменили? А я — нет-с! Вместе с кожей, только вместе с кожей! С сербами заигрываете? С немчурой? С полячишками? Со всеми заигрываете, о демократии рассуждать позволяете, о свободе! Книжечки, в отечестве запрещенные, почитываете, разговорчики разговариваете — тем и

Россию позорите. Да-с! Не смей! Позорите! Тем позорите, что под сомнение ставите. Все — под сомнение, даже власти предержажие. Наслышан, многому наслышан и от студентиков, и от жидовствующих, и от демократов, и от господ офицеров, как сие ни прискорбно. Вот что Россию позорит: сомнения. Сомнения ее позорят, сударь, а во мне нет сомнений. Ни грана нет, и я не позорю, а утверждаю. Наш, российский дух утверждаю, нашу веру во власти верховныя, нашу силу через мундир сей утверждаю. И не смей мне, не смей!

— Через пьянство утверждаете, полковник? — шепотом сказал Гавриил. — Через пренебрежение ко всем и вся? Через постыдный маскарад? Вы компрометируете нас. Даже не нас, нет: вы Россию компрометируете, ее порыв, ее искренность. Вы...

— Молчать! — Полковник затрясся. — Да я вас... На дуэль! К барьеру! Через платок, через платок-с!

— Я не стреляюсь с пьяными стариками.

Кажется, в кафане стало тихо. Или это только показалось Гавриилу: ему тоже бросилась в голову кровь, и он не видел и не слышал никого, кроме этого трясущегося красного полковника.

— Заставлю! — со смешком, нараспев проговорил Устинов. — Заставлю!..

Он замахнулся. Олексин непроизвольно дернул головой, но поднятую руку полковника уже перехватила молодая и крепкая рука.

— Спокойно, Устинов, — негромко сказал невысокий плотный офицер. — Вас уже трижды выбрасывали отсюда, а сейчас выбросят в четвертый раз, если вы не образумитесь.

— Ах, господин капитан Брянов! — Устинов пытался раскланяться, но это ему плохо удалось, так как Брянов по-прежнему крепко держал его руку. — А как с нигилистами-то, отчизны лишенными, беседки вели — знаю. Знаю, Брянов, знаю! В Сибирь пойдете, сударь, в Сибирь!

Но капитан не обращал на него внимания. Он в упор смотрел на краснорожего Валибеду, и под этим взглядом собутыльник полковника спрятал бессмысленную улыбку и заметно сник.

— Встать! — негромко скомандовал Брянов. — Забирай своего бабина и марш отсюда.

Валибеда привычно встал, но, посмотрев на Устинова, опять глупо заулыбался:

— А может, не хотят они? Не желают уходить?

— Выполняй. Ослушаешься — завтра же, пьянь тыловая, в строй переvedу. В такое пекло окуну — мать с отцом забудешь.

Валибеда глубоко вздохнул, точно собираясь с силами. Достал из кармана потрепанный кошелек, долго копался в нем, выудил несколько монет и положил на стол.

— Три хранка, — сказал он. — Тут за прошлое, значит.

Подошел к полковнику, с привычной ловкостью подхватил так, что ноги Устинова уже не касались пола, и вежливо повлек к выходу.

— Куда? — кричал полковник, стуча сухоньким кулачком по гулкой спине денщика. — Не желаю!

— Бай-бай, — сурово пояснил волонтер.

Кафана весело смеялась. Брянов с улыбкой глянул на Олексина:

— Не стоит из-за этого расстраиваться, поручик.

— Благодарю вас от всего сердца, — с чувством сказал Гавриил. — Я рисковал получить пощечину, на которую не мог бы ответить.

— Я ваш командир батальона капитан Брянов. И очень рад, что от меня наконец-то убрали эту старую лохань. Надеюсь, будем друзьями, поручик?

— Будем, капитан,— улыбнулся Олексин: его подкупила эта прямолинейность.

— С вами, кажется, друг? Забирайте его, и прошу за наш столик.

— Прощения просим,— робко, с покашливанием сказали за их спинами.

Офицеры оглянулись: перед ними стоял Валибеда.

— Прощения просим,— повторил он, снова покашляв.— Ваше благородие, возьмите меня в строй. Явите милость божескую: не затем же я деток своих бросил, чтоб в Сербии ракию ихнюю пить. Спасите вы меня от господина Устинова, ваше благородие!

## 3

Прием роты оказался чистойшей формальностью: хозяйства не было никакого, а все снабжение лежало на плечах пеших носильщиков — комоджиев, обязанных доставлять продовольствие и патроны на передовую. Правда, за ротой числилась пара лошадей и повозка для транспортировки раненых, но полковник Устинов так мучительно путался, объясняя, где она находится, что Олексин махнул рукой:

— Не страдайте, господин полковник. Потом разберемся.

Ему было стыдно за вчерашнюю сцену. Правда, Устинов был безобразно пьян, но оставался офицером, старшим по званию, при мундире и орденах, и Гавриил ругательски ругал себя, что не сдержался в переполненной кафане.

Поименного списка роты тоже не оказалось, и Устинов напрасно перекадывал с места на место потрепанные листочки в своем шалаше. Ни списков людей, ни учета оружия, ни даже фамилий взводных командиров не смог выяснить поручик у тихого и вялого старика. Поняв, что ничего не добьется, подписал рапорт о вступлении в должность и отпустил полковника с миром.

— Будем начинать сначала. Стройте людей, Совривович.

Выстроилось чуть больше сотни вместе с болгарями. Олексин медленно шел вдоль фронта, останавливаясь перед каждым войником. Тот делал шаг вперед, называя имя и фамилию, которые Совривович заносил в список.

— Серб,— помечал он при этом.— Черногорец, серб, румын, опять серб. Грек, чех, венгр... Похоже, тут вся Европа.

— Добавьте французов — и будет вся,— сказал Гавриил.

На левом фланге впритык к болгарам стояли его давешние спутники по речному плаванью. Миллье добродушно улыбался, Лео весело подмигивал, и даже итальянец чуть приподнял руку в знак приветствия.

— Попросите этих господ пройти ко мне,— сказал Олексин.

Он сразу же прошел в шалаш, ставший уже его шалашом, но еще хранивший в себе стойкий запах ракийного перегара. Прошелся перед колченогим столиком, еще не решив, что сейчас скажет, но твердо зная, что этим людям не служить под его началом. Их поступок был для него омерзителен: он не мог забыть клетчатого трупа в придорожной корчме.

Французы вошли один за другим. Миллье с добродушной улыбкой шагнул к поручику и протянул руку:

— Вот нам и пришлось встретиться, командир.

Олексин не принял протянутой руки. Французы переглянулись, а Лео криво усмехнулся:

— Кажется, от папаши ждут другого обращения.

— Что случилось, месье Олексин? — спросил Этьен.

Гавриил со стуком положил на стол складной нож.

— Смотри-ка, он нашел нож, что ты утерял,— удивился Лео, подтолкнув итальянца.

— Я нашел его в спине вашего соотечественника.— Поручик старался говорить спокойно.— Полагаю, господа, что эта находка освобождает меня от данного когда-то слова чести. Также полагаю, что нам следует незамедлительно расстаться: прошу извинить, но мне как-то не приходилось командовать убийцами.

— Но позвольте, сударь...— растерянно начал Миллье.

— Это все, господа,— решительно перебил Олексин.— Прошу тотчас же покинуть вверенный мне участок.

— Так вот каким образом мы освободились от слезки,— вздохнул Миллье.— Я понимаю вас, господин офицер.

— Прошу немедленно покинуть мою роту.

— Но позвольте нам...— начал было Этьен.

— Никаких «но».

Весь день Гавриил занимался неотложными делами: знакомился с людьми, местностью, линией своих стрелков, расположением секретов, передовых ложементов противника, состоянием оборонительных позиций. Земляные работы были сделаны кое-как, укрепления не доведены до конца, всюду он находил следы небрежности и упущений, всюду приходилось начинать чуть ли не сначала. Он был все время с людьми, все время в работе, но постоянно возвращался к мыслям о французах. Их растерянные лица часто возникали в памяти, а последние слова Миллье звучали до сих пор, и он никак не мог понять, хитрил тогда француз или говорил правду.

Под вечер зашел капитан Брянов. Он только что посетил Тюрберта и остался очень доволен энергией и распорядительностью командира батареи. Обошел с Олексиним его позиции, долго разглядывал турецкие укрепления.

— Прямо скажу, Олексин, мне не нравятся эти ложементы. Я говорил об этом Устинову, но без толку, как вы легко можете догадаться.

— А что вы предлагаете?

— Вылазку. Надо заставить турок попытаться и срыть аванпостные укрепления. В противном случае они сделают то же самое.

— Вылазку силами одной роты?

— Я помогу, Олексин. А может, и артиллеристы поддержат: им ведь тоже пристреляться не грех. Планируйте свою задачу, я спланирую общую — и завтра все покажем Хорватовичу.

— Миную командира бригады?

Брянов улыбнулся:

— Здесь не та армия, с которой вы привыкли иметь дело, поручик. Командир бригады майор Яковлич нерешителен и неуверен, как старая дева: он будет только благодарен, если мы все возьмем на себя. Пройдем ко мне, я покажу вам общую систему укреплений.

Было уже поздно, когда Гавриил возвращался домой. Домой, ибо теперь у него был свой дом — его рота, своя семья — его рота, своя ответственность — его рота. И он был счастлив и горд, что у него есть эта рота, он мечтал сделать ее лучшей ротой корпуса, мечтал заслужить одобрение Хорватовича, мечтал совершить отчаянно дерзкую вылазку, чтобы о нем и о его роте заговорили по всей Сербии, а может быть, даже в России. Мечтал восторженно и безгрешно, как мечтают только в юности, ища не выгод, а подвигов, не славы, а похвалы.

Впереди показался человек. Он явно ждал его, и Гавриил чуть замедлил шаги и расстегнул клапан кобуры.

— Не беспокойтесь, сударь,— по-французски сказал ожидавший, и поручик узнал Этьена.— Это всего лишь ваш покорный слуга.

— Я приказал покинуть расположение моей роты.

— Мы помним об этом. Но нам кажется, что следует выслушать и нас. Если и после этого вы укажете нам на дверь, мы уйдем.

Под деревом сидели Миллье и Лео, итальянца видно не было. Рядом лежали тощие волонтерские мешки.

— Наши богатства при нас, сударь, и мы ни на что не претендуем,— сказал Миллье.— Но мы уважаем вас, командир, и нам бы не хотелось расстаться так, как мы расстались. Уделите нам пять минут, а потом решайте. Это будет только справедливо.

— Присаживайтесь,— сказал Лео, указывая на толстый обрубок дерева.— Я для вас приволок этот пенек.

Он не привык к вежливости, говорил утрюмо, набычившись, и Гавриил сразу сел на предложенное место, вдвойне оценив услугу. При этом он, однако, держался настороженно, поглядывая по сторонам и положив руку на расстегнутый клапан кобуры: французы были вооружены. Миллье заметил его воинственную позицию и грустно улыбнулся.

— С нами нет четвертого, сударь, нет и не будет, поскольку нам с ним не по дороге. Не было его с нами и тогда, когда мы мирно храпели в корчме... Точнее, нас не было с ним, когда он не спал. Короче, сударь, до сегодняшнего дня, до вашего появления, мы трое ничего не знали об этом убийстве. Хотите верьте, хотите нет, но я говорю правду.

— Лучше верьте,— тихо сказал Лео.

Этьен подавленно молчал, изредка поглядывая на поручика. Гавриил дважды поймал его потерянный взгляд, застегнул кобуру и закурил.

— Нас много лет гоняли по всей Европе как бешеных собак,— помолчав, продолжал Миллье.— И если бы нас где-либо схватили, нам бы грозил неправый суд и бессрочная каторга. Нет, мы не убийцы, мы не совершили ничего противозаконного, потому что борьба за свободу всегда законна. Но руки наши чисты, сударь, мы не пачкали их убийством и не испачкаем никогда. Хотя мы и не аристократы, у нас тоже имеется честь, которой мы дорожим не меньше вашего. Скажу откровенно: если бы тот человек прижал нас к стене, мы бы сопротивлялись сколько могли, сударь, сопротивлялись бы до последнего, и никто бы не поставил нам этого в упрек. Но ударить пожом в спину — нет, сударь, нам это не подходит, и поэтому мы расстались с тем, кто это сделал.

— Я рад это слышать, господа.

— Но это не все, что мы хотели сказать, не торопитесь, командир,— усмехнулся Миллье.— Мы не просто беглецы, которые ищут, где бы им зацепиться и как бы им уцелеть. Мы сознательные борцы за свободу против любой тирании. Мы готовы защищать эту свободу с оружием в руках, не щадя жизни. Сегодня мы защищаем ее в Сербии, но не спрашивайте, где мы защищали ее вчера, и не интересуйтесь, где будем сражаться завтра.

— Мы — за справедливость,— негромко сказал Лео.

— Да, мы — за всеобщую справедливость, и во имя этой справедливости мы от многого отказались. Мы отказались от родины, от церкви, от государства, потому что и родина, и вера, и государство несправедливы к большинству и не в состоянии дать народам истинной свободы.

— А кто же в состоянии?

— Сам народ,— негромко сказал Этьен.— Только народ может

быть справедливым, и только он в состоянии обеспечить настоящую свободу. Любые привилегированные группы, будь то аристократия или буржуазия, прежде всего охраняют свои интересы. Свои, а не народные.

— Утопия,— вздохнул Гавриил.— Извините, господа, но это из области фантазий. Никакая страна не может обойтись без армии, без полиции, без тюрем, судов, налогов, законов, наказаний и поощрений — словом, без государства. А государство немислимо без подавления чьей-то воли, без принуждения, подчинения, зависимости — одним словом, без служебной иерархии. А иерархия — это лестница, где стоящий выше всегда давит на стоящего ниже и не может не давить, даже если бы и хотел этого. Не может, потому что его, в свою очередь, давят сверху, не может, потому что он по долгу службы обязан заставлять работать тех, кто под ним, и, значит...

— Значит, справедливости вообще не может быть,— перебил Миллье.

— В абсолютном смысле — да, не может. Всегда будут существовать те, кто посчитает себя обойденным.

— Конечно, будут,— согласился Этьен.— Мы не мечтаем о том, чтобы их вообще не было,— мы боремся за то, чтобы их становилось все меньше и меньше.

— Просто мы говорим о разных свободах,— сказал Миллье.— Мы говорим о свободе народов, а вы толкуете о свободе личности. И наша свобода совсем уж не такая утопия, как ваша, сударь. Мы за полную ликвидацию сословий, денег, религий и системы государственного угнетения. Мы хотели бы создать такое общество, где все были бы равны перед законом, где у всех были бы равные возможности и равные условия жизни. Но это далекая мечта. А пока, сегодня, мы хотим помочь Сербии сбросить турецкое иго, только и всего.

— Я тоже хочу этого. Мы расходимся в деталях, а это несущественно.

Французы переглянулись. Лео облегченно рассмеялся и крепко хлопнул себя по бедрам.

— Если это не так существенно, то, может быть, вы отмените свой приказ? — спросил Этьен.

— Я верю вам,— сказал поручик, вставая.— Кажется, ваш шалаш еще никто не занял. Мне остается только предупредить, что в строю я не признаю дружеских отношений.

— Это мы поняли,— улыбнулся Этьен.

— Минуточку, командир! Пока мы не в строю, такую хорошую сделку надо бы спрыснуть. Достань-ка бутылочку, сынок. Ту, заветную, что я припрятал до добрых вестей.

## 4

— Я сам солдат,— улыбаясь, говорил Хорватович.— Я глубоко уважаю боевой пыл молодых людей, но я знаю моих сербов лучше, чем знают их русские: не только ночью, но и днем они вяло идут в огонь. Они еще не солдаты, они крестьяне; они умеют стойко защищаться, но не умеют хорошо атаковать.

— Мы подадим им пример,— сказал Олексин.

— Русских и так пало слишком много на этой земле,— вздохнул полковник.

— Но, господин полковник, нельзя же допустить, чтобы турки достроили укрепления,— сказал Бряннов.— И вам тоже должно быть понятно, что наш упреждающий удар...

В палатку вошел Тюрберт, и капитан замолчал. Тюрберт с гвардейской лихостью вскинул руку к фуражке, отрапортовал, что явился по

приказанию. Хорватович подозвал его к столу, где была расстелена выполненная от руки схема позиций, коротко ознакомил с предложением о ночной вылазке.

— Что скажете, подпоручик?

— Если бы у меня было достаточно снарядов, я бы за три часа разметал эти ложементы. Но снарядов вы мне все равно не дадите, не так ли, полковник?

— Не более десяти на орудие.

— Десять на непристрелянное орудие? — Тюрберт улыбнулся. — Я уступаю лавры пехоте, полковник. Тем более когда она столь безудержно рвется к ним.

— Признаюсь, господа, я в затруднении, — озабоченно сказал Хорватович. — Не окажется ли плата дороже покупки?

Все же они уломали командира корпуса. Олексину необходимо было не только проверить, но и сплотить роту в деле, Брянов опасался турецкой угрозы, а Тюрберт хотел пристрелять свои орудия по ориентирам. Хорватович понял это и в конце концов разрешил ночную вылазку силами одной роты при скромной поддержке артиллерии. Офицеры согласовали свои действия, условились о сигналах, помощи и связи и вышли от командира корпуса весьма довольные одержанной победой.

— С ним можно иметь дело, — говорил Брянов. — Командир он стоящий, а что упрямя иногда, так не без того, господа, не без того.

— Смотрите, Тюрберт, по своим не пальните, — сказал Гавриил, избегая глядеть в насмешливо улыбающееся лицо.

— Окститесь, Олексин, зачем мне ваша героическая гибель? Я помню о нашем договоре.

Весь день Гавриил готовил роту. Несколько раз проинструктировал взводных, заранее разослал в передовые секреты болгар, чтобы они за четверть часа до атаки без шума сняли турецких наблюдателей, лично проверил оружие передового отряда, который вел сам. Фланговыми отрядами командовали Совримович и Отвиновский: они должны были ввязаться в бой чуть позже, одновременно с группой, которую выделял капитан Брянов для поддержки. Все было сделано, проверено и перепроверено, но Гавриил не мог усидеть на месте и метался по шалашу.

— Отдохните, Гаврила Иванович, — урезонивал Захар; он набивал для поручика папиросы. — Еще часа четыре спокойно поспать можно, я разбужу.

— Да, да, отдохнуть надо. — Гавриил сбросил сапоги, прилег на топчан, но тут же вскочил. — Ужин роте не давать!

— Ясное дело, не давать, — подтвердил Захар. — Мы этот ужин аккурат в обед съели, чего же давать-то?

— Как считаешь, Захар, я все сделал?

— А остальное в руках божьих, — сказал Захар степенно. — Как выйдет, так и выйдет. Спи, Гаврила Иванович, разбужу, когда время твое придет.

Поручик послушно лег, но долго еще метался на жестком ложе, хотя думал уже не столько о предстоящем сражении, сколько о себе. То он метким выстрелом повергал наземь рослого турка, занесшего ятаган над Бряновым; то впереди своих солдат захватывал батарею и с торжеством дарил турецкие пушки Тюрберту; то по великому везенью и личной отваге врывался в глубину турецкого расположения, а потом гордо кидал к ногам Хорватовича захваченное знамя. В голову лезли мысли дерзкие и наивные, но ни на одно мгновение он не подумал, что может быть ранен или даже убит, что этот первый бой в его жизни может оказаться последним. И не потому, что гнал от себя та-



кие думы, а потому, что дум этих не было вообще: после двух скоротечных перестрелок он уверовал не только в то, что не струсит, но и в то, что его никогда не убьют. Война начала рисоваться просторной ареной для подвигов, в мечтах о которых он наконец-таки и уснул.

Захар тихо возился в шалаше. Он мог бы и не делать того, что делал, мог бы оставить до будущего, но не только не оставял, а, наоборот, искал себе работу, неодобрительно прислушиваясь к вздохам Гавриила. И только когда вздохи эти прекратились, когда он убедился, что барин его уснул крепко и безмятежно, он оставил все дела. Посидел, сосредоточенно глядя перед собой, а потом опустился на колени и начал беззвучно молиться, истово кладя поклоны. Он не знал ни одной подходящей молитвы, но горячо и искренне просил сохранить жизнь ему и рабу божию Гавриилу.

— Потом жизнь возьмешь, господи,— бормотал он.— Потом, на родине: не дай на чужбине дух испустить, господи, боже ты наш...

Закончив эту полуязыческую молитву, он степенно перекрестился, лег на солому, укрылся полшубком и через минуту храпел мощно и мирно, будто собирался на рассвете не в бой, а на покос.

Передовой отряд выступил, когда чуть забрезжил рассвет. По поводу начала атаки спорили долго: Брянову и Олексину нужна была темнота, но Тюрберт справедливо требовал хоть какой-то видимости. В конце концов сошлись на этом рассветном часе, когда черная мгла еще прикрывает низины, когда только-только начинают обозначаться контуры предметов и когда всем часовым на свете так мучительно хочется спать.

— Пора,— шепнул Меченый.— Кирчо, берешь левого, Митко — правого. Хаджиев, прикройте их: вы хвастались, что хорошо стреляете.

Хаджиев пробурчал что-то невнятное, взяв на мушку еле различимый турецкий окоп. Кирчо и Митко, распластавшись, уже ползли к нему.

Рядом нетерпеливо заворочался Бранко. Стоял улыбнулся, положил руку на плечо:

— Главная доблесть на войне — стерпеть. На том, кто горяч, давно уже черти угли возят.

Рассветный ветерок донес чуть слышный сдавленный стон. Меченый недовольно поморщился:

— Опять Митко погорячился. Всем скрытно вперед. Карагеоргиев, останетесь ждать поручика.

Болгары, пригнувшись, бежали к турецкому секрету. Карагеоргиев проводил их взглядом и приник ухом к земле, пытаясь уловить шаги передового отряда. Земля пока молчала.

Поручик вел отряд неторопливо и осторожно. Осторожность эта возникла, как только они спустились с высоты на ничейную полосу, но возникла не от опыта командира, а скорее от его неопытности: Гавриил все время напряженно ожидал выстрелов, окрика, внезапной атаки и поэтому крался там, где можно было бы идти спокойно. И глядя на командира, крадущегося впереди, сербские войники тоже пригнулись и затаили дыхание, точно так же без надобности стискивая потными ладонями старые, однозарядные ружья. Поэтому добрались они до Карагеоргиева не только с овозданием, которое само по себе было еще допустимо, но уже исчерпав изрядный запас сил и мужества там, где врага не было, где болгарские пластуны уже расчистили путь. Азарта еще хватило до турецкого секрета, занятого Меченым, но достигнув его, отряд Олексина свалился в полном изнеможении.

— Пора,— шепнул Стойчо поручику.— Давать сигнал?

— Подождите,— задыхаясь, сказал Гавриил.— Дайте отдышаться.

— Светает. Если турки заметят и откроют огонь, мы не сможем даже отойти.

— Еще хотя бы пять минут...

— Нет пяти минут! — отрезал Меченый и, подняв винтовку, трижды выстрелил в воздух.

— Ну наконец-то! — с облегчением крикнул Тюрберт, давно уже до слез всматриваясь в однообразно серое марево. — Первое, пли!

В рассветной тишине глухо рывкнула пушка. Снаряд с воем пронесся над головами и разорвался внизу, отметив падение слабой вспышкой желтого пламени.

— Недолет! Редькин, доверни чуть! Заряжай, ребята! Первое, пли!

Он кричал, пребывая в радостном возбуждении. Насмешливое лицо его раскраснелось и ожило, и весь он точно ожил, утратив вдруг столь обычную для себя развинченную леность. Сейчас он был собран и энергичен, весел и напорист, и артиллеристы, глядя на своего командира, тоже старались быть озорными, веселыми и энергичными. Тюрберт занимался делом, которое любил, знал до тонкостей, которым гордился и в которое верил как в свое призвание.

— Молодцы, ребята, всем по глотку из моей фляжки! Наводить по первому, батарея — пять снарядов беглым... пли!..

Отряд Олексина лежал, вжавшись в землю. Снаряды рвались на гребне турецких укреплений, но отдельные осколки долетали и сюда: Тюрберт, бравируя, стрелял впритирочку, с высшим артиллерийским шиком. Земля тяжело вздрагивала, ветер нес дым на пехоту; солдаты кашляли, закрываясь шинелями.

— Кончится стрельба — все вперед, вперед! — кричал Олексин, уже позабыв о желании передохнуть «хотя бы пять минут». — Захар, задержись тут и гони всех в шею!

Артиллерийская стрельба оборвалась так же внезапно, как и началась, выпустив считанное количество снарядов. Турки пока молчали.

— Вперед! — Поручик вскочил, взмахнув саблей. — Не выдавай, ребята! За мной! Ура!

Дружно поднялись болгары, французы, краснорожий и трезвый Валибеда, кто-то еще — уже с промедлением, вразнобой; Олексин не оглядывался. Он бежал к турецким ложементам, размахивая саблей и путаясь в ножнах. А Захар, матерясь, метался по полю, подгоняя отставших:

— Вперед, православные! Вперед, братки, вперед!

Гавриил уже видел красные фески, мелькавшие за развороченным бруствером. Оттуда ударило несколько выстрелов, пули с протяжным жужжанием прочертили воздух над головой; поручик инстинктивно хотел упасть, укрыться, но пересилил это желание, только запнулся на бегу. Огонь противника был неорганизованным и случайным, а слева и справа уже доносилось «ура»: Совримович и Отвиновский подняли свои отряды.

— Скорее! — кричал поручик, задыхаясь. — Скорее!

Кричал он сам себе, потому что в топоте, тяжком дыхании бегущих и выстрелах турок все равно никто не слышал его. Атака перешла в неуправляемую фазу развития, когда все зависело уже не от командира и команд, а только от солдат, от их решимости, скорости и боевого задора. Гавриил еще не понимал этого, еще свято верил, что уставы предусмотрели все что только возможно и поэтому продолжал кричать, пытался командовать, старался сообразить, где сейчас могут быть Совримович и Отвиновский, выступил ли Бряннов и почему Тюрберт сделал так мало выстрелов. И замешкался на подъеме к брустверу.

— Ложись! — Кирчо дернул его за ногу, упал сам, и над ними тонко просвистели две револьверные пули. — Зачем по сторонаммотришь, командир? Вперед надо, вперед!

Прокричав это почти без пауз, болгарин невероятным прыжком перемахнул через бруствер. Там тонко, дико закричал кто-то. Гавриил не смог сразу вскочить, на четвереньках вскарабкался наверх и свалился в окоп на еще теплое, еще бьющееся в коңвульсиях тело в синем турецком мундире.

Когда он поднялся, схватка в первом ложементе уже закончилась. Турки почти не приняли ее, сразу начав отход на вторые линии, а кто принял, тот лежал на земле, приколотый болгарскими штыками. В узкий окоп враз набилось множество народа, топча мертвых и еще живых, азартно и бесцельно стреляя по убежавшим туркам. Оказавшийся рядом с поручиком потный, пышущий жаром и усердием Валибеда все совал ему в руки винтовку с окровавленным штыком:

— Гляди, ваше благородие, гляди! Я его наскрозь, наскрозь! Я не за ракию, я за идею сюда! Вот она, кровь-то его, вот, пощупай!

— Цел, Гаврила Иванович? — Захар лежал на бруствере, свесив голову. — Ну и слава богу. Я последних подогнал, отставших больше нет.

— Вперед надо! — кричал Меченый, проталкиваясь к Олексину. — Вперед, пока они не опомнились! Здесь укрыться негде!

Грохнул залп. Закричали раненые, заматались уцелевшие, пытаясь спрятаться от прицельного огня. Ударил второй залп, третий — турки методически расстреливали сбившихся в кучу людей.

— Отходить надо! — отчаянно закричал кто-то. — Перестреляют! Всех перестреляют!

— Отходи-ить!

Уже бежали, бросая захваченный ложемент и раненых товарищей. Паника охватывала людей, паника, следствием которой, как ясно понял вдруг Олексин, будет повальное бегство, провал всей операции и — позор. Его личный позор, от которого уже не избавиться вовеки и который не смыть никакой отвагой. Оттолкнув испуганно прижавшегося к нему Валибеду, он прыгнул на бруствер.

— Стой! Ложись! Застрелю! Застрелю, кто побежит без приказа! Застрелю-у!

Бежавшие остановились, кое-кто уже послушно ложился на землю. Ударил новый залп, с поручика сорвало фуражку.

— Ложись! — крикнул он, падая на землю.

С ревом пронесли над головами снаряды. Разрывы легли точно по турецкой стрелковой цепи, и стрельба сразу прекратилась.

— Спасибо, Тюрберт! — закричал Гавриил, вскочив. — Вперед, ребята! Там спасение! Там!

Вторая атака была стремительным рывком на едином дыхании. Олексин одним из первых ворвался во вторую линию, но турки опять не приняли рукопашной, опять откатились за следующие валы.

— Укрепляться! — сорванным до хрипа голосом скомандовал поручик. — Здесь их залпы нам не страшны.

На флангах слышалась стрельба, далекие крики. Олексин разослал связных, распорядился, чтоб уносили раненых, и в полном изнеможении опустился на землю. Бойцы его кое-как укреплялись, но что следовало делать дальше, он плохо представлял.

— Отходить, — пожал плечами Стоян.

— Без боя?

— Бой будет, но уходить лучше без боя, поручик. Мы достигли цели: потревожили турок, сбили их с передовых ложементов.

— Побегать, пострелять, поваляться по земле — и отойти? Странное занятие, вы не находите?

— Если хотите разобраться в этой странности, спросите своих войников, откуда у них яблоки. Кое-что я понял сам, кое-что мне растолковал Шошич.

— Какой Шошич? Мой взводный?

— Хороший командир.— Меченый одобрительно кивнул.— Его взвод поднимался в атаку первым. Он серб, но из Боснии, с левого берега Дрины, а это большая разница. Там власть султана проявляется в полную меру.

— Почему там проявляется, а здесь...

— Потому что по Дрине проходит граница Сербского княжества и Османской империи. Княжество автономно и практически независимо: оно лишь платит султану дань. А левый берег турки считают своей территорией, и сербы там — райя, то есть неверные. И для них не существует ни свободы, ни закона, как в Болгарии...

Грохот близкого разрыва заглушил слова: турецкая артиллерия открыла огонь по собственным укреплениям, занятым отрядом Олексина. Била она часто, не жалея снарядов, но пока неточно: снаряды ложились в стороне, с перелетом.

— Вот и дождались! — прокричал Меченый.— У них снарядов хватает!

— Так это же превосходно, Стойчо! — смеялся поручик.— Они сами разрушат то, из-за чего мы шли на вылазку!

Однако турки вскоре ослабили обстрел, а потом и вовсе прекратили его, перенеся значительно левее, где удачно атаковал отряд Отвиновского. У Олексина оказалось пятеро тяжелораненых и трое убитых, патроны были на исходе, турки часто постреливали, явно готовясь к атаке. Пора было отходить.

На отходе потеряли еще одного, но отошли в порядке, без оставших, своевременно выведя из боя Совримовича и Отвиновского. Вспомогательный удар Брянова пришелся весьма кстати, а сейчас и он выводил своих людей из-под огня. Дело было сделано, добились, правда, не очень многого, но и офицеры и солдаты были довольны. Опасности остались позади, и теперь вдоволь можно было и наговориться и похвастаться.

— Благодарю, Тюрберт,— сказал Олексин, когда офицеры сошлись, чтобы обсудить вылазку.— Ваша помощь была вовремя.

— Не воображайте, что я так уж стремился оказать ее вам,— с привычной артистичностью ответил подпоручик.— Я заботился о чести русской артиллерии, не более того.

— Ну что же, общие потери — всего девять убитых,— отметил Брянов.— Турки потеряли явно больше, сбиты с передовых ложементов, ошарашены нашей внезапностью. Результат в нашу пользу, господа, с чем я вас и поздравляю.

— А что это за история с яблоками, Брянов? — спросил Олексин.— Вы что-нибудь знаете об этом?

Брянов усмехнулся, покачал круглой, как у мальчишки, головой.

— Ходят мои сербы за яблоками. Левее нас в низинке — брошенный сад. Вот туда и ходят. И турки тоже.

— Турки?

— Там у них что-то вроде клуба. Существует джентльменское соглашение: не стрелять, когда кто-то спускается в сад.

— Веселая война,— усмехнулся Отвиновский.

— Ваше благородие, Гаврила Иванович!

Олексин оглянулся. Невдалеке маячил Захар, не решаясь подойти к офицерам.

— Француза ранило, Гаврила Иванович, в лазарете он. Вас спрашивал.

Миллье лежал под кустом на соломе, кое-как прикрытой бурой от крови холстиной. Круглое добродушное лицо его осунулось и постарело, и даже пышные усы поникли, и седина в них стала еще заметнее. Рядом, понурившись, стояли Этьен и Лео, все время зло вытиравший мокрые глаза.

— Куда его?

— В живот,— сказал Этьен.— Осколком.

— Когда же это случилось?

— Он бежал медленнее нас, когда отходили. Как раз последним разрывом.

— Старый человек,— с отчаянием сказал Лео.— Он не мог воевать, не мог! Он и убивать никого не мог, если хотите знать. Он и на баррикадах всегда стрелял мимо и приговаривал: «Господи, только бы не попасть!» А тут вы с этим ножом, ну он и пошел..

— Осторожнее, сынок,— не открывая глаз, сказал Миллье.— Зачем грузить на человека чужие грехи?

— Его смотрел доктор?

— Посмотрел, махнул рукой и сказал, что все равно помрет,— тихо сказал Этьен.— Он спрашивал о вас.

— Подождите! — Гавриил рванулся к выгоревшей на солнце санитарной палатке, откуда как раз в эту минуту донесся отчаянный мальчишеский крик.

Он вбежал в палатку и остановился у входа. Два дюжих санитаров, навалившись, держали на окровавленном столе по пояс обнаженное юношеское тело, и врач, потный, взлохмаченный, в залитом кровью кожаном фартуке, с ожесточением рвал что-то длинными загнутыми щипцами.

— Яду! — по-русски отчаянно кричал юноша.— Дайте мне яду, изверги!

— Ремня тебе, а не яду,— бормотал доктор, хладнокровноковыряясь в разрезанной ране.— Ну вот, опять упустил, ищи ее тут, в кровице. Да держите же вы его крепче, болваны!

— Яду! Яду мне, яду!

— Терпи, волонтер. Еще чуть... Вот она!

Он вырвал глубоко засевшую в плече пулю, с торжеством поднял над головой. Юноша сразу перестал кричать, только дышал тяжело, со всхлипами.

— Сейчас зашьем тебя, будешь как новенький. Что у вас, поручик?

— Тяжело ранен один из моих людей. В живот.

— Ах, этот... француз? С этим все, голубчик, такие ранения не штопают даже в госпиталях. А у меня околоток.

— Неужели умрет?

— Часа через два,— спокойно подтвердил доктор, склоняясь над раненым.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Ступайте, голубчик, ступайте. У меня еще четверо необработанных, а я один и уже три часа на ногах. Ступайте.

Миллье по-прежнему лежал не шевелясь, опустив серые веки на глубоко ввалившиеся глаза. Лицо его еще более заострилось, дышал он коротко и часто, беспрестанно облизывая пересохшие губы.

— Спрашивал вас,— пѣпнул Этьен.

Опустившись на колени, Гавриил склонился к умирающему. Серые веки дрогнули, и усы тоже дрогнули в попытке улыбнуться.

— Не хлопчите, сударь, обо мне.

— Доктор займетесь вами. Сейчас у него раненые...

— Не лгите. Никогда не лгите даже во спасение. Ложь съедает человека, как моль. От лгунов к старости остается одна голая шкура. А вы молоды и... честны. Честны, я сразу это понял. Еще там, в Будапеште...

Миллье с трудом открыл глаза, и Олексин вздрогнул, в упор увидел огромные, расширенные болью зрачки. Он хотел сказать что-то обнадеживающее, бодрое, но не смог. Не смог солгать.

— Люди достойны лучшей жизни, мальчик,— с трудом, задышавшись на каждом слове, сказал француз.— Люди, понимаешь? Не протестанты, не католики, не мусульмане — люди. Они хотят справедливости...

Голос вдруг замер, и поручик с ужасом подумал, что Миллье мертв. Растерянно оглянувшись, но старик заговорил снова:

— Люди хотят справедливости, запомни мои слова. Ты молод, а значит, тебя будут обманывать, и ты... ты будешь верить в обманы. О, старики выдумали массу способов, чтобы заставить верить таких, как ты. Помни о справедливости. Помни. Помни...

Последние слова он выговорил еле слышно и вновь прикрыл тяжелые серые веки. Гавриил поднялся, машинально отряхнул брюки. Лео сказал с отчаянием:

— Не надо было ему ходить в атаку. Не надо!

— Не надо,— со вздохом согласился Гавриил.

Лео посмотрел на него и замолчал. Из палатки вышел доктор, щелкнул крышкой портсигара, но прикуривать не стал. Подошел, тронул рукой лоб умирающего, покрытый крупными каплями пота.

— Он все сказал, что хотел?

— Все,— кивнул Этьен.

— Я сделаю укол морфия, чтобы он уснул и... и не мучился.

— Значит, он...— Лео гулко проглотил ком,— он больше не проснется?

Врач выразительно посмотрел на Олексина.

— Решать вам,— тихо сказал поручик Этьену.— Я не вправе.

— Решать мне,— внятно сказал Миллье.— Спасибо, доктор. Делайте свое дело, а ты, сынок, нацеди мне стаканчик вина.

— Вам нельзя пить,— неуверенно сказал доктор.

— А умирать можно? Ну если можно умирать, то можно и выпить. Последний глоток. За Францию.

Желтая слеза медленно выползла из закрытого глаза и нехотя скатилась вниз, оставив блестящий след на серой щеке волонтера.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Портупей-юнкер Владимир Олексин наслаждался свободой. Щедрый подарок нового друга подпоручика фон Геллер-Ровенбурга оказался резвой кобылкой, еще достаточно молодой, чтобы ощутить буйный восторг седока. А полк по-прежнему пребывал в Майкопе (в Крымской поговаривали, что оттуда он двинется прямо на Тифлис и далее, к турецкой границе), обязанностей у юнкера не было никаких, но он не скучал, целые дни проводя либо в седле, либо на охоте.

Правда, за подарок приходилось платить визитами к Ковалевским, но эта дружеская потачка странным образом фон Геллера тоже была приятной. И добрая, такая домашняя Прасковья Сидорова, и сам подполковник, превращавшийся дома в неизменно радушного хозяина, и его постоянные друзья, к которым Олексин очень

скоро привык, и, главное, три «монстры», три сестрички-погодки, прекрасные юностью и желанием нравиться,— все делало жизнь похожей на затяжной праздник. И Владимир ощущал свое пребывание в Крымской именно как праздник, искренне предполагая в каждом те же запасы радости, восторженности и великодушия, которые испытывал сам. И постоянно пребывая в этом состоянии, уже не замечал, что визиты к Ковалевским планирует не он, а подпоручик по какой-то своей системе, что место подле рыжей девочки выбирает тоже подпоручик из каких-то своих соображений, что разговоры с нею ведет только он, предоставляя юнкеру возможность развлекать остальных сестер.

— Друг мой, извините, но вы производите странное впечатление в сочетании с этой рыжей ватрушкой,— старательно грассировал фон Геллер, время от времени поучая Олексина.— Вашему порывистому экстерьеру нужна более благородная оправка. Вот вернутся наши, я введу вас в общество, представлю барышням действительно утонченным. Вы не в претензии, юнкер, за эти дружеские слова?

— Что вы, поручик! Я и сам догадываюсь, что оттачивать оружие следует на тонком оселке.

— Вы прекрасно сказали, Олексин: оттачивать оружие надо на тонком оселке. Прекрасно, рад за вас, дружище!

Жизнь была как праздник, но иногда — особенно по возвращении от Ковалевских — праздник этот вдруг как бы отступал и на смену радужно-восторженному настроению приходила грусть и странная безадресная досада. В грусти этой являлась Тая, ее рыжие волосы, детские веснушки на круглых щеках, глаза, в которых можно было утонуть. Владимир вертелся на постели, гнал рыжую девочку, нещадно курил и ругал себя остолопом. А утром снова вставало солнце, и в его огненной короне окончательно плавилась и исчезали все ночные видения. Под Олексиним чутко вздрагивала лошадь, послушная любому его желанию, и мир, видимый с казачьего седла, обещал одни радости. И он скакал по этому распахнутому лично для него миру с ощущением неистребимого молодого восторга.

Из Майкопа неожиданно пришло известие, что в Крымскую возвращается полковник Бордель фон Борделиус. Известие это касалось только начальства, но в тесном мирке полковых тылов о нем мгновенно узнали все. Узнали и засуетились, развивая непривычную энергию и приводя в порядок то, что следовало привести в порядок, дабы избежать нотаций строгого и уныло-пунктуального заместителя командира полка. Срочно проверяли людей и лошадей, караулы и помещения, что-то подкрашивали, приколачивали, чинили, чистили, гоняли солдат, и Владимир на время забыл о безмятежной жизни, так как и ему нашлась работа. Но и здесь он не огорчился, а радовался, с упоением муштруя на плацу нестроевые команды. А подпоручик фон Геллер-Ровенбург огорчился. Сутки пребывал в меланхолии, а потом развил бурную и непонятную деятельность: куда-то уезжал, с кем-то встречался, беспрепятственно гонял денщика с записочками к Ковалевским, оставаясь при этом настроенным чрезвычайно нервно. Потратив на эти тайные дела еще двое суток, вдруг угомонился, сказался больным, полдня провалялся на койке, а затем послал денщика за Олексиним.

— Друг мой, вы верите в любовь? Горячую, безрассудную, от которой теряют голову?

— Верю,— сказал Владимир, и сердце его сжалось в неприятном предчувствии.

— Перед вами жертва такой любви,— несколько картинно вздохнул подпоручик.— Да, да, не говорите мне, что я ставлю на карту

свою карьеру, что двери общества отныне закроются для меня навсегда. Это выше меня, выше спекулятивных соображений. Надеюсь, вы понимаете, о каком предмете я говорю?

Олексин молчал, растерянно вертя в пальцах папиросу. Все это так не вязалось с избалованно-ломаным фон Геллером, с милой уютной семьей, в которую юнкер радостно спешил каждый вечер, с тем ощущением вечного праздника, в котором он жил.

— Мы с Таем любим друг друга. Удивлены? Ах, Тая, Тая, бедняжка, и надо же было ей влюбиться в такого никчемного человека, как я! — Вздох подпоручика был тоже достаточно фальшив. — Скажу откровенно, я это делаю только ради нее.

— А при чем тут я? — угрюмо спросил Владимир. — Зачем вам понадобился поверенный в сердечных делах? Носить записки? Извините, поручик, я не гожусь в пажи. Я вырос из этих штанишек.

— Бросьте дуться, Олексин. Я догадываюсь, вам неприятно ощущение, будто вас водили за нос. Но ведь я и сам не понимал, что влюблен, друг мой, не понимал до последнего объяснения, до ее слез, до ее отчаяния! А увидев все это, я уже не мог остаться прежним, Олексин, не мог! Меня потащило как в половодье, и... и я счастлив, что меня потащило! Я вдруг точно очнулся, понимаете? Очнулся от дремы, в которой пребывал сызмальства, открыл глаза и увидел жизнь. Да, да, друг мой, я прозрел и увидел жизнь!

Даже сейчас он фальшивил, хотя фальшивил почти восторженно. Владимир чувствовал это, но еще сильнее он чувствовал незнакомую ноющую боль в сердце.

— Я бы не рискнул вас просить, но об этом просит она. Наша Тая-Лорелая.

Кажется, он сознательно сказал «наша» вместо «моя»: так, во всяком случае, почудилось Владимиру. Но сознательно это было сказано или случайно, Олексину важным казалось не это. Самым важным оставалась просьба, с которой обращались к нему.

— О чем она просит?

— Быть свидетелем при нашем венчании. Мы не можем ждать согласия родных, оглашения, разрешения командования, уже не можем, понимаете? Поэтому нас обвенчают тайно: я условился со священником в соседней станице. Но нам нужен свидетель, чтобы все было по закону. И Тая выбрала вас.

— Вам придется уйти из полка, — помолчав, сказал юнкер.

— Я знаю. Я перешлю рапорт почтой.

— И на что же вы будете жить?

— У меня есть средства, не беспокойтесь. Решайтесь, юнкер. Наше счастье в ваших руках.

Олексин молчал: что-то мешало ему сказать «да», протянуть руку или хотя бы согласно кивнуть. Нет, он не сомневался в правдивости подпоручика, хотя ощущал какую-то фальшь, какую-то нечистую игру. И все же искренне верил ему, потому что за этим стояла Тая, ее решение, ее любовь и счастье. И потому что за этой просьбой стояла именно она, он и молчал. Молчал, ощущая тревожную боль в сердце.

— Неужели вы откажете Таем в ее просьбе?

— Хорошо, — сдавленно сказал Владимир. — Что я должен делать?

— Все расскажу, друг мой, все! — обрадованно засуетился фон Геллер. — Посвящу во все тайны, но сначала выпьем шампанского. Эй, Кузьма, неси!

Венчание состоялось в ночь накануне возвращения фон Борделиуса в Крымскую; правда, эту особенность Олексин отметил позднее, когда вообще все открылось и когда ему пришлось думать так



много, как не приходилось никогда. Церковь оказалась не в соседней станице, а черт знает в какой глухомани, откуда Владимир добирался обратно весь остаток ночи и добрый кусок утра. Венчал маленький, неприлично пьяный попик, венчал с постыдной поспешностью и в полном одиночестве, гнусаво подпевая себе за всех разом; церковная книга тоже была странной, и запись в ней была сделана странно, и даже подпись Олексина выглядела странно. Но все эти странности и несуразности всплыли потом, а тогда, там, в скупо освещенной церкви, Олексину было не до того, чтобы замечать что-либо. Он был подавлен самим фактом, суетливостью фон Геллера, отчаянными глазами Таи и собственной болью в сердце.

Он вернулся в Крымскую, когда на плацу уже маршировали, а возле штаба суетились вестовые, счастливо миновал знакомых и, расседлав коня, завалился спать, решив, если разбудят, сказать больным. Не хотелось встречаться с благодушным, всегда ласково улыбавшимся ему подполковником Ковалевским.

Разбудили его уже после обеда. Довольно бесцеремонно растрясли за плечо. Он открыл глаза и узнал капитана Гедулянова.

— Юнкер, в штаб. Немедля!

— Я болен, господин капитан.

Гедулянов смотрел зло и пронзительно, и Олексин ощутил вдруг почти детский страх.

— Я правда болен, господин капитан.

— Вас вызывает полковник фон Борделиус. Без всякого промедления.

В кабинете полковника сидел Ковалевский; сердце Владимира сжалось, когда он увидел его опущенные плечи, непривычно ссутуленную спину, руки, которые не находили покоя, то потирая друг друга, то теребя мундир, то поглаживая старательно выбритый череп. Юнкер сразу отвел глаза и, доложившись, смотрел только на полковника. И полковник смотрел на него, не торопясь с вопросами. Смотрел усталыми строгими глазами, точно ожидая чего-то. И спросил, так и не дождавшись:

— Что же вы замолчали, юнкер? Доложите, где были ночью.

— Ночью? — Владимир глянул на Ковалевского и сразу опустил глаза. — Ночью я присутствовал на венчанье, господин полковник.

— Венчанье? — Подполковник Ковалевский весь подался вперед, к Олексину. — Тая обвенчалась с фон Геллером? Где?

— Я не знаю, такая маленькая церквушка. Но брак освящен, я присутствовал. И расписался в книге как свидетель.

— Следовательно, обвенчались, — не то подтвердил, не то спросил фон Борделиус. — И все же это странно. Неприлично странно.

— У меня одно состояние, ваше высокоблагородие, — с глухим отчаянием сказал Ковалевский. — Доброе имя — мое богатство, вы знаете это. Не дайте пятну пасть. Не дайте.

Полковник промолчал. Медленно прошелся по кабинету, аккуратно, всякий раз почти складываясь пополам, заглянул в каждое из трех окошек, постоял перед юнкером, размышляя. Потом открыл дверь, велел, чтобы позвали Гедулянова, и снова остановился перед Олексиним, заложив руки за спину.

— Следовательно, обвенчались?

— Так точно, господин полковник.

— Вы сознаете, что скверно начали службу в Семьдесят четвертом Ставропольском полку?

— Кроме долга службы, есть долг чести, господин полковник.

— Вот именно, — задумчиво повторил фон Борделиус. — Долг че-

сти. Именно поэтому я и говорю, что вы скверно начали свою карьеру, юнкер. Скверно.

Вошел Гедулянов. Не отрапортовав, остановился у порога.

— Поедете с юнкером в церковь, капитан, он покажет дорогу. Поговорите со священником, попросите предъявить записи о ночном венчании. Даже если все совершенно соблюдено, выразите священнослужителю мое крайнее удивление о сем прискорбном факте. И скажите, что донесение о нарушении им закона мною будет по-слано незамедлительно.

— Дозвольте мне.— Ковалевский сделал попытку встать, но полковник удержал его.— Дозвольте лично, Евгений Вильгельмович...

— Не надо вам ехать,— грубовато сказал Гедулянов.— Идите, юнкер.

Ехали рядом, стремя в стремя, и молчали. И если Гедулянов был вообще из молчаливой породы, то Олексину это молчание казалось уже нестерпимым. Он не чувствовал за собой большой вины, с тайным торжеством ожидая, что в конечном итоге все образуется, законный брак вступит в силу и Ковалевские, отплакавшись, начнут радоваться счастью дочери, а холодно-непроницаемый фон Борделиус однажды улыбнется и скажет: «Знаете, юнкер, а вы, пожалуй, поступили правильно, хотя и не совсем по правилам». И тогда все офицеры полка будут наперебой жать ему руку, говорить, что он отчаянная голова и, главное, надежный товарищ, на которого можно положиться. И Тая, вернувшись вместе с мужем после прощения,— а ее и фон Геллера не могут не простить, потому что люди всегда прощают влюбленных,— вернувшись после прощения, Тая встретит его как брата, благодарно посмотрит в глаза и — поцелует. И сладкая горечь этого поцелуя будет ему наградой за все сегодняшние неприятности.

— Знаете, капитан, все будет замечательно, вот увидите,— весело сказал он, хотя ему было сейчас совсем не так уж весело, как он пытался изображать.— И тогда убедитесь, что я поступил правильно, что просто не мог, не имел права поступить иначе. Когда вас друзья просят помочь...

— Столичная шушера,— глухо, с ненавистью выдавил Гедулянов и выругался сочным казачьим матом.— Привыкли над людьми измываться, барчуки проклятые. Старика, старуху, девчонку — всех готовы в грязь втоптать ради удовольствия. Ни чести, ни совести у вас нет, шаркуны.

— Как вы смеете...— возмущенно начал Олексин.

— Молчать! — гаркнул капитан.— Марш вперед, пока я тебя нагайкой не полоснул, дрянь!

Владимир съезжился в седле и покорно тронул коня. Он не испугался ни окрика, ни угрозы, но в тоне Гедулянова было такое презрение, что юнкер вдруг понял легкомыслие собственных мальчишеских самообольщений и впервые ощутил леденящий позор бесчестия.

— Знать ничего не знаю и ведать не ведаю,— бойко говорил старенький попик, истово глядя безгрешными светлыми глазками.— Ночью спал без греха, как богом заповедано, о чем у матушки справиться можете. А что до венчанья, то я законы блюду, господин офицер. И законы, и уложения, и честь свою пастырскую, не извольте сомнения иметь. Как же можно сие — без родительского благословения, без дозволения отца-командира? Да господь с вами, молодые люди, не пугайте вы меня, ради Христа.

— Но ведь вы же венчали,— с тупым усталым отчаянием повторял Владимир.— Вы же венчали вот здесь, на этом самом месте. Ведь это же было, было, не приснилось же мне все это! Батюшка, опомнитесь: вы честь мою, честь под сомнение ставите.

— Я грешен, грешен, могу и запомнить,— суетливой скороговоркой отвечал старичок.— Но книги, книги суть истинная правда. Извольте, господа офицеры, извольте глянуть.

Не та была книга, не таким был попик, и даже церковь, весело просвеченная покойным осенним солнцем, сегодня казалась не той.

— Это не та книга,— тихо сказал Владимир.— Та новая была, я еще, помню, удивился, что новая.

— А поп тот?

— Тот самый, только трезвый. Ночью пьян был сильно: Геллер в него две бутылки шампанского влил, пока Тая готовилась.

— И церковь та? Не ошибаетесь?

— Не ошибаюсь.

— Значит, не венчали? — громко спросил Гедулянов.

— Да поразит меня гнев твой, господи! — Священник широко перекрестился.— Да падет проклятье твое на весь род и племя мое...

— Хватит, отче, кощунствовать,— резко оборвал капитан.— В клятвах твоих наш полковой священник отец Андрей лучше меня разберется. Жди его к вечеру, не отлучайся. Поехали, Олексин.

— Это все ложь! — крикнул Владимир.— Это страшная ложь, клянусь вам всем святым! Честью своей клянусь!

Обратно ехали тоже молча, только теперь лошадь Гедулянова шла впереди. А Владимир тащился сзади, плакал от бессильного стыда и отчаяния и не замечал, что плачет. Капитан оглянулся, придержал коня; когда поравнялись, обнял вдруг Владимира за плечи, встряхнул:

— Перестань реветь. Ну?

— Я подлец,— дрожащими губами выговорил Олексин.— Я не могу больше жить.

— Ты дурак, а не подлец. Подлец там, в Тифлисе, с девчонкой. Слезь, умойся и не реви больше: к постам подъезжаем.

Ковалевского у заместителя командира полка не было. Владимир с облегчением отметил это и тут же яростно выругал себя за малодушие. Он теперь все понял и ничего не хотел больше утаивать. После краткого доклада Гедулянова, что венчание фиктивное, сам рассказал все, что знал. Рассказывал, не щадя себя, но всячески выгораживая Таю, будто это могло хоть как-то облегчить ее положение.

— Натешится — бросит,— вздохнул Гедулянов.— Хорошая девочка, господин полковник.

— Суд чести,— сказал фон Борделиус.— Я не потерплю такого пятна на чести полка.

— Он подаст рапорт об отставке.

— Рапорт мы отклоним. Суд чести,— сурово повторил полковник.— Завтра я уведомяю командира...

— Господин полковник,— с отчаянием перебил Олексин.— Разрешите мне доставить подпоручика фон Геллер-Ровенбурга в Крымскую.

— Подпоручика доставит Гедулянов.

— Господин полковник, позвольте мне. Я умоляю вас, я на колени встану, я... Я не смогу жить, если вы откажете!

— Позвольте юнкеру,— хмуро попросил Гедулянов.— Он тоже обманут, господин полковник.

— Хорошо,— подумав, сказал фон Борделиус.— Учитывая, что вы тоже в какой-то мере обмануты, я разрешаю вам это. По возвращении напишите рапорт.

— Какой рапорт? — тихо спросил Владимир.

— Рапорт о переводе в другой полк,— жестко пояснил полков-

ник.— И это единственное, что я могу для вас сделать. В Тифлис выедете завтра, утром явитесь ко мне. Ступайте.

Владимир вышел. Фон Борделиус проводил его взглядом, похмурился и сказал, глядя в стол и будучи очень недовольным тем, что говорит:

— Переночуйте сегодня у него, Гедулянов. Как бы этот мальчишка глупостей не наделал.

## 2

Гедулянов боялся заснуть, а спать, как на грех, очень хотелось. До этого он плохо и мало спал двое суток, занимаясь фуражировкой по дальним хуторам и станицам. Конечно, такое дело можно было бы перепоручить толковому фельдфебелю, как и поступало большинство офицеров, но Гедулянов был солдатским сыном, вырос из низов, опираясь лишь на собственные способности, старательность и неистовую работоспособность, ценил достигнутое, но не довольствовался им, настойчиво идя к мечте. А мечтою было выслужить дворянство, вытянуть его потной лямкой армейской службы, добившись либо звания полковника, либо высокого ордена, а тогда уж и жениться, нарожать детей и дать им то, чего сам был лишен, что завоевывал трудом, верностью и исполнительностью. Он мечтал не для себя и добивался мечты тоже не для себя: он мечтал облегчить жизнь и будущее своим детям и внукам, хотя и до сей поры не знал, когда сможет обзавестись семьей. Ему, сыну бессрочного николаевского солдата, никто, естественно, не мог запретить мечтать, но не более того; превращение мечты в реальность зависело уже не от него, и никакие сроки установить тут было невозможно.

Он погасил свет, оставив лишь одну свечу у изголовья, чтобы видеть юнкера, бессильно, ничком рухнувшего на кровать. Он тогда заставил его встать, раздеться, лечь под одеяло, сам накрыл шинелью, надеясь, что быстрее заснет, пригревшись. А сейчас боролся со сном, слушал, как дышит Олексин, и не мог понять, спит он или лежит, ожидая, когда заснет приставленный к нему надзиратель. Теперь Гедулянов не испытывал к нему и тени той ненависти, которая неожиданно для него прорвалась вдруг при их совместной поездке в дальнюю церковь. Живя бок о бок с офицерами-дворянами, он никогда не ощущал ничего, кроме привычной, с молоком матери всосанной настороженности: эти дворяне тащили ту же полковую лямку — кто лучше, кто хуже, но тащили, не жалуясь и не увиливая. И до этого дня не предполагал, что она живет в нем, эта ненависть, тоже, вероятно, всосанная с материнским молоком. Живет, как живет под пеплом огонь ночных бивачных костров: достаточно было дунуть, чтобы вспыхнуло это опалившее его пламя, чтобы он понял, что ненавидит не одного-единственного подлеца, а всех их разом, потому что этот один-единственный мог совершить свою подлость, лишь опираясь на что-то общее, глубоко чуждое и презираемое им. Мог допустить в мыслях, что ему дозволено сделать то, что он сделал, что рано или поздно его поймут, простят, вновь примут в свой круг и даже будут восторгаться его беспардонной наглостью. И то, что Геллер мог это допустить, было для капитана Гедулянова открытием мерзостей во всех тех, на кого рассчитывал Геллер как на будущих союзников. Их нравственность была иной, более расплывчатой и более избирательной в одно и то же время, и осознание этого особенно мучило сегодня угрюмого солдатского сына. Перед ним запахнулось окно, но мир за окном оказался совсем не таким, каким представлял его старательный армейский служака.

Однако ощутив тяжелую потаенную ненависть к тому сословию, принадлежать к которому мечтал, Гедулянов к юнкеру подобного чувства не испытывал, несмотря на то, что именно этот безусый, всегда радостно-восторженный шенск был, пожалуй, виноватее всех виноватых. Его отчаяние было настолько глубоким и искренним, что капитан не отпустил бы его от себя и без всякого распоряжения заместителя командира полка. Он сразу безоговорочно поверил в глубину этого отчаяния, а поверив, понял, что юнкер Олексин тоже распахнул окно и тоже увидел мир таким, каким увидел его сам капитан Гедулянов. И эта странная общность увиденного и была главным звеном, связавшим в эту ночь потомка крепостных с юношей столбового дворянского рода.

Вечером они не разговаривали, и Гедулянов не спешил завязывать беседу. Он всегда был не очень-то разговорчив, если дело касалось не строя, лошадей или оружия, а в этой истории вообще предпочел помалкивать, полагая, что юнкер сам начнет разговор или подаст для него осязаемый повод. И тихо лежал, мучительно борясь со сном. Вероятно, он все же задремал, потому что увидел вдруг Владимира у стола: он искал что-то в полутьме.

— Что вы там ищете, юнкер?

— Стакан, — глухо ответил Владимир. — Я хочу пить.

Гедулянов встал, накинул на плечи шинель и сел к столу.

— Садитесь, Олексин, — сказал он, с трудом проглотив мучительный зев.

Он сразу понял, что юнкера мучает не жажда, а желание поговорить. Что он еще настолько молод, что не может, не умеет размышлять, что ему еще нужен собеседник не только для того, чтобы понять, но и для того, чтобы собеседник этот непременно доказал что-то очень важное, чтобы не просто помог ему уяснить нечто, а опрокинул бы это нечто, разгромил его, внушил бы, что все прекрасно, что это всего лишь частный случай, что мир по-прежнему добр, великодушен, чист и благороден в сути своей. «Кутенок, — со странной теплотой подумал Гедулянов. — Ах ты господи, не надо бы ему в Тифлис...»

— Садись, — повторил он, сознательно обращаясь на «ты», потому что ощутил себя не просто старшим, а единственно старшим во всем мире для этого мальчишки.

— Вы бы домой пошли, — сказал Владимир, надев шинель поверх белья и послушно усаживаясь напротив. — Шли бы к себе на квартиру, выпались бы. Зачем это? Я не застрелюсь, не бойтесь. Это глупо — застрелиться сейчас. Это малодушие, я понял и слово готов дать, что все будет хорошо.

— Хорошо не будет, — вздохнул капитан. — Ты себя не обманывай и меня тоже не обманывай. Хорошо быть совесть не позволит.

— Совесть. — Владимир грустно усмехнулся. — А что это такое — совесть? Почему у одного она есть, а у другого труха одна, гнилушки? Почему?

— Почему?

Гедулянов не был готов к такому разговору, в этих категориях особо не разбирался, но знал: ни юлить, ни лгать было нельзя. От него ждали правды, ждали жадно и нетерпеливо, и чтобы выиграть время, он начал медленно набивать трубку.

— Вино местное пил? В одной хате одно, в другой другое — не спутаешь. И солнце вроде для всех одинаковое, и дождик одинаковый, и ветер, а сок в гроздьях разный. От чего же разный? А от земли, юнкер. Все главное — от земли, сок наш от земли идет. И честь наша, и храбрость, и сила — все от земли. И совесть — она тоже от

земли. Солнце для всех одинаковое, а земля для каждого своя. От дедов и прадедов что пришло, то и твое. Особое. Они-то и есть земля наша, отечество. Думаешь, вокруг нас оно, отечество-то наше? Нет, то — родина. Родиной то зовется, что вокруг нас. А отечество — то, что под нами: земля. И соки наши — от нее. От земли той, что под каждым из нас напластована.

Очень довольный, что не просто отговорился, а объяснил, Гедулянов откинулся на спинку стула и закурил. Найдя пример, он готов был строить на нем любой ответ, разяснить любые сомнения, потому что теперь все стало ясным и для него.

— Земля, — вздохнул Олексин. — Может быть, не знаю. Нет, вы даже правы, если о Геллере думаете. Только я о нем не думаю, господин капитан: он — подлец, зачем же о подлеце думать? Я о другом думаю. Я думаю... — Он замолчал, вздохнул несколько раз, точно собираясь нырнуть в омут, в котором заведомо не было дна. — Я думаю, что бога-то нет, господин капитан. Нету бога, выдумки это все.

Гедулянов ожидал вопросов, спора, несогласий — чего угодно, вплоть до слез, отчаяния или гнева. Но юнкер ни о чем не спрашивал и ни о чем не спорил: он утверждал. Знакомил собеседника с открытием, которое сделал сам, и знакомил спокойно, без желания поразить и даже без особого интереса. И вот это-то спокойствие, это отсутствие желания спорить и испугало капитана: так мог говорить человек, уже решивший для себя все вопросы.

— Вы что это, юнкер? Вы... Опомнитесь!

— Опомился. — Олексин упрямо мотнул головой. — Если человек лжет — мерзко, но могу понять. Вашу ли теорию вспомню или свою выдумую, но пойму, отчего он лжет, зачем и почему. Но если слуга господа бога лжет, тогда какая теория? Тогда как понять? Как тогда понять, если он в лицо вам черное за белое выдает, и язык его не костенеет, и во прах он не обращается? Уж коли священнослужитель солгал, тогда что же, нет бога? Нет, господин капитан, нету его, пустота там, обман один, дыра в небе. Дыра в небе-то оказалась — вот ведь что главное. Дыра! И хоть миллион свечей под нее ставьте, все равно ничего вы не осветите, ничего: пустота. Дырка вместо бога оказалась, дырка, дырка, дырка!..

Последние слова Владимир выкрикнул звонко, в полный голос. Выкрикнул с болью и горечью, стиснул лицо руками и упал грудью на стол. Узкие мальчишеские плечи жалко тряслись под небрежно наброшенной шинелью.

## 3

Следующим утром Олексин выехал в Тифлис, снабженный письменным приказом фон Борделиуса и наставлениями Гедулянова, где искать беглецов. Путь был неблизким и достаточно опасным, но Владимиру посчастливилось вскоре присоединиться к эстафетному отряду. С ним вместе он благополучно добрался до Тифлиса, устроился в рекомендованной Гедуляновым гостинице и уже через сутки раздобыл адрес фон Геллер-Ровенбурга: Гедулянов поступил мудро, посоветовав обратиться к родственникам своего однополчанина поручика Ростова Чекаидзе.

— Если вам понадобится моя помощь, господин Олексин, я буду счастлив, — многозначительно сказал сопровождавший его молодой чиновник, родной брат лихого поручика. — А гостиница перед вами, почемуй и позвольте откланяться и пожелать успеха во всех делах.

Гостиница оказалась маленькой, в узком коридорчике не было ни души. Владимир не стал звать коридорного, отыскал требуемый номер, поправил португепю, снял фуражку и постучал. Сердце его

билось так сильно, что он не расслышал, что именно сказали за дверью. Но поскольку что-то сказали, то распахнул ее и вошел в комнату.

Геллер в домашней куртке полулежал на низкой кушетке с книгой в руке, рядом на стуле сидела Тая; кажется, подпоручик читал стихи, строчки еще звучали в воздухе, но что это были за строчки, Владимир не разобрал. Он слышал только стук собственного сердца и, мельком глянув на Геллера, смотрел на Таю. Она медленно поднялась со стула и начала краснеть.

— Олексин, вы ли это? — Подпоручик мигом вскочил с кушетки. — Какими судьбами, дорогой друг?

Юнкер не видел протянутой руки. Он по-прежнему смотрел на Таю, боялся заговорить, опасаясь, что задрожит голос, но все же сказал:

— Извините, мадемуазель Тая, но я прошу вас покинуть эту комнату. У меня служебный разговор.

Тая молча пошла в другую комнату, все время оглядываясь. Во взгляде ее была отчаянная мольба, но Владимир изо всех сил не хотел ее понимать.

— Что это значит? — сухо спросил Геллер, когда Тая вышла.

— Потрудитесь прочесть приказ и исполнить его. — Олексин подал пакет, впервые глянув подпоручику в лицо.

— Я подал в отставку, и приказы меня не касаются. — Подпоручик бросил конверт на стол. — А вас, невежливый юнец, я прошу немедленно убраться отсюда.

— Я буду драться с вами, Геллер, — тихо сказал Олексин. — Вы подлец, Геллер, да, да, подлец. Вы обманули девушку, которая вас любит, обманули ее родителей, обманули меня, которого называли другом...

— Довольно, юнкер! — перебил Геллер. — Уходите, или я вышвырну вас в коридор.

— Вы трус и ничтожество, Геллер, — вздохнул Владимир. — Трус и ничтожество, как я раньше не разглядел?

И, коротко размахнувшись, с силой ударил подпоручика по щеке. Пощечина прозвучала неприлично звонко, и Тая вскрикнула в соседней комнате.

— Мой секундант — Автандил Чекаидзе, вы найдете его в городской управе, — сказал Владимир, торопливо стаскивая перчатки. — Я остановился в гостинице «Бристоль» и жду ваших секундантов.

Он швырнул перчатки на стол и вышел, аккуратно притворив двери. В нем все бушевало, но сейчас, как ни странно, он начал успокаиваться. Он вновь ощущал себя честным и благородным, будто для чести и благородства было достаточно одной пощечины подлецу. И рад был, что Тая слышала эту пощечину и теперь уж фон Геллеру не удастся отказать от дуэли. И даже если на этой дуэли Владимиру суждено быть убитым, никто и никогда не усомнится более в его честности. Отныне он может смело глядеть людям в глаза, радоваться радостям и смеяться, когда захочет. И он почти бежал, гремя саблей и улыбаясь такой торжествующей улыбкой, что прохожие оборачивались ему вслед.

— Разрешите от всей души позжать вашу руку, — с чувством сказал Автандил Чекаидзе, когда Владимир разыскал его и поведал, что произошло. — А если этот ублюдок испугается и убежит, его найдет мой брат поручик Ростом Чекаидзе. Позвольте попросить вас оказать мне честь — отобедать со мной и моими друзьями.

Было прекрасное и шумное застолье с пышными грузинскими тостами и бесконечными подарками в виде шампанского с соседних столиков в честь гостя. Были красивые песни и разговоры о чести и

благородстве, и голова Владимира сладко кружилась и от шампанского и от этих разговоров. Его долго провожали по пустынным улицам, долго прощались, уважительно пожимая руку.

— Завтра, — многозначительно сказал Автандил, прощаясь последним. — Если он, как трусливый шакал, не ответит на вызов завтра, послезавтра в Майкоп поедет мой родственник и все расскажет моему дорогому брату поручику Ростому Чекаидзе. Мы найдем этого ублюдка, дорогой друг, и задушим его, как ехидну!

Радостно-взволнованный и изрядно пьяный, Владимир наконец распрощался, картинно отдал честь новым друзьям и вошел в гостиницу. Поднялся на второй этаж...

— Господин! — с невероятным акцентом закричал снизу коридорный. — Тебя давно женщина ждет, где ходишь, понимаешь?

— Какая женщина?

— Такая молодая, такая красивая, уходить не хотела. Плакала немножко, понимаешь...

Недослушав, Владимир бросился к своему номеру, распахнул дверь. У стола возле тускло горевшей лампы сидела женщина в шляпке и накидке. Увидев его, она отбросила вуаль.

— Тая?.. — Владимир сел, забыв закрыть дверь. Тотчас же вскочил, прикрыл ее, подошел к столу. — Я не понимаю, простите... Почему? Почему вы здесь?

— Я ждала вас. Внизу ждать неудобно, сказала, что ваша знакомая, и вот. Пустили.

Говоря это, она все время пыталась улыбаться. А у Владимира все плыло перед глазами: сумеречная комната, странно улыбающееся лицо Тая, фон Геллер, тосты грузинских друзей — все это медленно вертелось перед глазами, звучало в ушах, а мыслей не было. Ничего не было, кроме крайнего удивления и попыток что-то сказать.

— Извините, — заплетающимся языком выговорил он. — Я сейчас. Извините.

Швырнул фуражку, схватил полотенце, громыхая саблей, выбежал. В умывальной вылил на голову кувшин холодной воды, долго, с яростным ожесточением тер затылок вафельным полотенцем. Кое-как расчесал мокрые волосы, одернул мундир. Уставился в тусклое зеркало, пытаясь сообразить, почему Тая оказалась здесь в такой неурочный час, ни до чего не додумался, но вернулся в номер твердыми шагами, почти протрезвев. Прибавил огня в лампе, сел напротив.

— Извините, мадемуазель Тая, я не ожидал и было не очень... Но теперь все в порядке. Теперь говорите, Тая, теперь все говорите.

— Дорогой Владимир Иванович, — Тая глубоко вздохнула, — я очень виновата перед вами...

— Не вы, мадемуазель, не вы! Вы ни в чем не виноваты, ни в чем.

— Я очень виновата перед вами, — с прежней интонацией, точно повторяя урок, продолжала она. — Я буду нести эту вину всю жизнь, как крест. Да, да, не говорите, пожалуйста, ничего сейчас не говорите! Вы вправе презирать меня, но вы не вправе заставить меня молчать.

— Говорите, — сказал Владимир. — Говорите, я больше не перебую ни разу. Говорите все, что хотели сказать.

— Я глупая, я очень глупая, Владимир Иванович. Я всю жизнь прожила в станице, я ничего не видела, а если что узнала, то только из книжек. У меня очень добрая мама, очень, очень добрая и чудная, но она — простая казачка и умеет только любить семью да стряпать пироги. Нас учили полковые дамы да случайные учителя, да еще книжки, потому что папа приучил нас читать, и отец Андрей тоже хотел, чтобы мы читали, и капитан Гедулянов, и даже... Даже



полковник Евгений Вильгельмович присылал нам книжки. И я все читала, и читала, и... мечтала. Годами глядела на пыльный плац и годами мечтала об одном. Ради бога, не смейтесь надо мной... Или нет, смейтесь, смейтесь сколько хотите, потому что это все очень смешно. Очень. Мне семнадцать лет, и вот мне кажется — нет, не кажется, а я убеждена, что все семнадцать лет я мечтала, что меня украдут. Украдут из этого окошка, из которого виден только пыльный плац.

Последние слова она сказала еле слышно, с трудом сдерживая слезы. Помолчала, старательно вытерев платочком покрасневший носик, робко глянула на Владимира и вновь потупилась, разглаживая пыльную бархатную скатерть. Юнкер терпеливо ждал, стараясь не встречаться с ней взглядом, чтобы не смутить ее окончательно.

— Извините, — сердито (а сердилась она сейчас на себя за слезы и слабость) сказала Тая. — Я огорчаю вас, это неблагоприятно.

— Рассказывайте, все рассказывайте. — Владимир покашлял, скрывая вздох. — Я понимаю вас, поверьте, очень понимаю. Когда веришь во что-то, а потом — дырка, это ведь не где-то дырка, не в небе даже, это в тебе дырка, в тебе самом.

— Да, да, — согласно кивнула она, почти не расслышав его слов. — Я убеждена была, что вы поймете, потому что... — Тая вдруг замолчала, еще ниже склонив голову. — Да уж не важно теперь почему. Теперь ничего уже не важно, потому что мы оба обманувшиеся. Не просто обманутые, а обманувшиеся. Мы себя обманули, вот и все. А он... Что же он-то? Он не обманывал.

— Не обманывал?

— Нет, не обманывал, не хочу грешить: это я хотела, чтобы меня обманули. Он ведь и в любви мне объяснился и руки просил.

— Знал, что не разрешат, потому и просил.

Владимир сказал зло, тотчас же пожалел об этом зле, но Тая восприняла его как должное. Опять покивала, соглашаясь.

— Конечно, должности-то у него нет, кто же позволит семью заводить? И об этом говорили, он в отставку уйти хотел. Господи, совсем я голову тогда потеряла! Только маму еще боялась обманывать и сказала ей все. Ночь проплакали и решили, что нечего мне мечтать попусту, что не по мне эта любовь. И приданого у меня нет и связей. И я ему отказала тогда, совсем отказала, как с мамой решили. А он... Он расстроился очень, до слез расстроился. И сказал, что все равно любит, что никому не отдаст и чтоб только ждала я, а уж он решит, как наше счастье устроить. И я такая счастливая была, такая счастливая! И так ждала...

У нее перехватило голос, но она справилась. Помолчала, строго глядя в пыльную скатерть. И Владимир молчал, не поднимая глаз.

— И вот дождалась. — Она готовилась к этой фразе, пыталась произнести ее с беспешабной насмешливостью, но фраза все равно прозвучала горько. — Дождалась. Вы вправе спросить меня, на что я рассчитывала, а я ни на что не рассчитывала. Я дождалась, вот и все.

Она опять замолчала, и поскольку молчание затянулось, Владимир не выдержал:

— Вам известно... известно, что никакого венчанья не было, что все это недостойная комедия, разыгранная человеком холодным, жестоким и... и нечестным?

— Теперь да. — Она горько покачала головой. — А сначала я верила и... радовалась очень. А потом, после вашего ухода, он все рассказал. Бегал по комнатам и рассказывал, а я... — она помолчала, — я все ждала, что же потом-то будет, что же скажет-то он. Все ждала, ждала, с таким страхом ждала... Ну и опять дождалась.

— Он предложил вам вернуться к родителям?

— Нет, он предложил завтра же обвенчаться с ним. Сказал, что добьется разрешения губернатора, что все будет совершенно официально, что напишет покаянные письма своим родным и убежден, что они поймут его.

— Ну и... ну и прекрасно! — с деланной радостью воскликнула Владимир. — Я очень, очень рад, что так разрешилось...

— Я отказала ему, — тихо перебила Тая. — Я сказала, что он свободен и волен отправляться куда хочет.

— Как?

— Понимаете, я очень ждала, что он скажет. Ждала, что хоть словечко обо мне будет, хоть словечко. А он не сказал этого словечка. Он о себе говорил, только о себе. Говорил, что ошибся, что запутался, что теперь единственное, что может спасти его честь, его карьеру, его положение в свете, это немедленная женитьба.

— Он прочитал приказ фон Борделиуса? — сообразил Владимир.

— Кроме приказа, там было письмо. Я не знаю, что это за письмо, но со слов Геллера поняла, что они с Евгением Вильгельмовичем дальние родственники и что мой отважный похититель до крайности чем-то испуган. И предлагая мне руку, исполняет не свое желание, даже не долг чести, а предписание этого письма. И я сказала, что никакого венчания не будет. И собрала вещи.

— А... а где они? — с некоторым беспокойством спросил юнкер, оглядываясь.

Тая впервые открыто посмотрела на него и почти весело улыбнулась:

— Не беспокойтесь, я не переехала к вам. Вещи пока там, у него. Завтра я сниму комнату и пошлю за ними.

— У вас есть деньги?

— Есть. — Тая горько вздохнула. — Это очень стыдно и противно, но я взяла деньги у него. Если бы вы видели, как он обрадовался, когда я сказала, что мне нужны деньги на первое время, пока я не устроюсь! Он с таким облегчением совал их мне... А я твердила про себя: «Так тебе и надо, подлая. Продавай себя, продавай, продавай».

Она задохнулась в рыданиях, торопливо прикрывшись платочком, Владимир вскочил, прошелся по номеру, опять сел напротив.

— Что вы намереваетесь делать?

— Я умею шить, — тихо сказала она, ладошками, по-детски отирая слезы. — Конечно, не так изящно, но я буду стараться. Поступаю к кому-нибудь в ученицы, а там, может быть, открою свою мастерскую.

— Завтра он заплатит за каждую вашу слезинку, — с юношеским пафосом сказал Олексин. — За каждую, Тая!

Тая сразу перестала плакать и очень серьезно, почти испуганно посмотрела на него. Владимир не выдержал и улыбнулся: он очень гордился тем, что сказал.

— Ни за что, — с расстановкой произнесла Тая, строго покачав головой. — Ради этого я и шла сюда, ради этого и ждала вас, хотя коридорный так смотрел и так подмигивал, что мне хотелось провалиться в подвал.

— Это невозможно. — Владимир заулыбался еще шире: ему вдруг стало радостно. — Я отпустил ему полновесную пощечину и не могу отказаться, если он завтра вызовет меня. А он вызовет, он не имеет права струсить, если не хочет еще раз получить...

— Володя, милый, я умоляю вас, — говорила Тая, не опуская темных, как колодцы, глаз; в них опять было отчаяние, но иное, более глубокое и более выстраданное. — Извините, что говорю так с вами, но

я уже имею на это право. Я теперь старше вас, да, да, старше, и... и я виновата перед вами, так не усугубляйте же моей вины. Уезжайте в Крымскую, уезжайте немедленно. Вы исполнили свой долг, вы покрыли его позором и можете ехать со спокойной душой. Уезжайте, я прошу вас и... и буду просить, пока вы не согласитесь. Пусть он вас ищет, если он не трус.

— Я тоже не трус!

Владимир упорствовал со все возраставшей радостью. Прекрасная и несчастная юная женщина пришла сюда ради него, умоляла его не рисковать жизнью — это было ново и необыкновенно, настолько необыкновенно, что он даже не смел и мечтать об этом. И теперь ощущал ни разу еще не испытанное им чувство гордого мужского торжества. И Тая напрасно просила его, напрасно плакала, порывалась встать на колени, умоляла всем святым — все это только укрепляло его в уже принятом решении.

— Да он же убьет вас, убьет! — в отчаянии выкрикнула она, исчерпав все аргументы.

— Убьет? — Владимир насмешливо улыбнулся. — Что вы, Тая, этого не может быть. У подлецов всегда дрожат руки, разве вы не знаете?

— Господи! — в изнеможении вздохнула Тая. — Господи, как мне страшно и как я устала!

Олексин спустился вниз, растолкал спящего коридорного, спросил еще номер и строго приказал спрятать глупую ухмылку. Получив ключ, проводил Таю: было уже за полночь, она устала да и самому Владимиру следовало отдохнуть и выспаться перед завтрашним днем. Прощаясь, задержал ее руку и сказал то, что готовил давно и для чего собрал все свое мужество:

— Почему же не я украл вас из вашего окошечка?

— Действительно, почему не вы? — грустно улыбнулась она.

— Но я вас еще украду, — краснея, сказал он, и сердце его отчаянно и весело забилося. — Я непременно украду вас, Тая, ждите. Клянусь вам, что украду!

А вернувшись к себе, долго ходил по номеру, глупо и счастливо улыбаясь. Он уже думал о том, как увезет Таю из Тифлиса, как позначкомит ее с Варей и Машенькой, как и Варя и Машенька полюбят Таю и как им будет прекрасно в Высоком вчетвером. С этими приятными мечтами он и прилег. Подумал было, что полагалось бы написать письма отцу и в Смоленск — так просто, ради исполнения дуэльного ритуала, — но подумал мельком; вставать не хотелось, а хотелось мечтать дальше. И он мечтал, пока не уснул.

Рано утром его разбудил Автандил Чекаидзе:

— Сегодня в два часа.

— Прекрасно! — сказал Владимир. — Успею переделать множество дел.

— Надо отдыхать, дорогой. — Чекаидзе с неудовольствием покачал головой. — Рука должна быть твердой.

— Рука не дрогнет, господин Чекаидзе!

Он позавтракал с Таей. Она была молчалива и печальна и смотрела на него с тревожной тоской. Он улыбнулся:

— Вы прощаетесь со мной, Тая? Смотрите, это дурная примета.

— Бог с вами, Володя, бог с вами! — испуганно закричалась Тая.

Потом они взяли извозчика, поехали в город и вскоре нашли скромную квартирку. Владимир уплатил за два месяца вперед, а когда Тая хотела вернуть ему деньги, сказал:

— Не надо, Тая, я загадал. Если все будет хорошо, даю слово, что возьму у вас эти деньги.

Извозчик съездил за вещами, но пропал долго, так как Геллера на месте не оказалось. А когда вернулся, то времени уже оставалось совсем мало, и Владимиру пришлось ехать в свою гостиницу на этом же извозчике. И все было впопыхах, они даже не попрощались; Тая махала рукой, пока пролетка не свернула за угол.

Возле гостиницы уже ждал Автандил Чекаидзе; в старомодной пароконной коляске сидел пожилой, очень недовольный доктор.

— Господа, я еду против собственного желания, предупреждаю! — Так, может быть, вам не стоит ехать? — с улыбкой спросил Владимир.

Доктор надулся и промолчал. А Владимир был очень оживлен и всю дорогу острил, но большей частью неудачно. Он изо всех сил бравировал, скрывая волнение. Чекаидзе понял это и сокрушенно цокал языком.

Добрались вовремя: пока шли до поляны, оставив экипаж у дороги, прискакали и противники. Высокий сутулый капитан, секундانت подпоручика, увидев Олексина, стал что-то быстро говорить фон Геллеру. Геллер отрицательно покачал головой; капитан подошел к Владимиру, представился. Юнкер не разобрал его фамилии, сказал, поживаясь:

— Тут очень ветрено. Это отчего же ветрено, оттого, что дырка в небе?

— По долгу чести и человеколюбия призываю вас, господа, забыть обиды и протянуть руки друг другу.

— Этому не бывать! — крикнул издали фон Геллер-Ровенбург.

— Этому не бывать, капитан, вы слышали? — улыбаясь, спросил Олексин. — Давайте все же поскорее, господа, этак и простуду схватить недолго.

Он чувствовал нарастающую внутреннюю дрожь и очень боялся, что ее заметят другие. И нервничал, что секунданты ведут глупый спор из-за солнца, мест и ветра, который так раздражал его сейчас. Наконец они поладили, и сутулый капитан предложил пистолеты. Владимир взял первый попавшийся и быстро пошел на указанную ему позицию. Пистолет был неудобен и тяжел, не то что привычный револьвер, но признаться в том, что он ни разу не стрелял из подобного оружия, юнкер не решился: право выбора принадлежало оскорбленному.

Он стал на свою точку и повернулся лицом к противнику. Ветер порывами бил в левую щеку, и он подумал, что на этот ветер следует сделать поправку при стрельбе. Сердце его вдруг заколотилось, и он стал медленно и глубоко вдыхать, как учили его в училище перед стрельбами. Но там это помогало, а тут почему-то нет; сердце никак не желало успокаиваться, и он испугался, подумав, что промахнется. И так занят был всем этим, что не расслышал команды, а увидел вдруг, что к нему идет подпоручик, медленно поднимая пистолет в вытянутой руке. И шагнул навстречу, но нес свой пистолет у плеча и теперь стал опускать его, лоя фон Геллера не мушкой, а всем тяжелым вздрагивающим стволом. «А ведь он промажет, — подумал юнкер. — Непременно, непременно промажет! Такой ветер...» Он не расслышал выстрела и не ощутил боли. Почувствовал сильный удар в грудь и вдруг ясно-ясно увидел мать. Она, улыбаясь, шла ему навстречу. И падая, он успел удивиться и громко крикнуть ей:

— Mama...

После похорон Миллье осиротевшие французы прибились к Олексину, даже обменяли шалаши, чтобы быть поближе. Они тяжело переживали потерю товарища, который был для них не просто старшим по

возрасту. Лео совсем захандрил, целыми днями валялся на соломе. Их следовало занять делом, но поручик ничего толкового придумать не мог: французы не знали сербского языка. Выручил Стоян, зашедший как-то вместе с Бранко. Была пора полного затишья: турки не стреляли, восстанавливать разрушенные ложементы не стремились и над всем участком повисло тягостное безделье. Участились случаи отлучек с позиций, разговоров в секретах, сна на постах: безделье рождало падение дисциплины.

— Яблочки, поручик, — улыбался Стоян. — Все дело в этих яблоках.

— Какие еще яблоки?

— Попробуйте. — Бранко протянул Олексину яблоко. — Яблоки добрые.

Яблоки действительно были вкусные, но Гавриил ничего не понял. Попросил разъяснить без аллегорий.

— Хотите, покажу, где растут? — предложил Бранко. — Сейчас самое время.

За яблоками Олексин пригласил и французов; они очень обрадовались, устав от безделья. Шли вчетвером: Бранко указывал дорогу. На подходе к аванпостам их нагнал немолодой хмурый взводный командир Шошич; Олексин запомнил его еще по ночному бою, где Шошич всегда первым поднимался в атаку. Миновали секрет, не обративший на них никакого внимания, спустились в заброшенный сад. Гавриил шел настороженно, но Бранко топал, как прежде, не заботясь о том, что с каждым шагом приближается к турецким позициям.

Впереди послышался голоса. Олексин остановился, цапнув рукой кобуру. Глядя на него, остановились и французы, Лео сбросил с плеча винтовку, перевернул затвор. Бранко оглянулся на знакомый звук, замахал рукой, молча указал вперед. Гавриил подошел, выглянул из-за куста.

Под старой, усыпанной плодами яблоней мирно сидели четверо турецких низамов и пятеро сербских войников. Противники со вкусом жевали яблоки и говорили по-сербски: двое турок хорошо знали язык и тут же переводили товарищам.

— Нет, я табак редко поливаю, — говорил немолодой серб. — Редко поливать — злее будет. Не пробовал?

— Лист плохо идет, — сомневался полный и очень добродушный турок. — Сам себя обижаешь, если листу расти не даешь.

— Это-то верно, только лучше один лютый лист, чем три слабых.

Поручик шагнул из-за куста. Увидев его, сербы и турки поспешно встали.

— Это что за беседы?

— Яблоки собираем, господин четоводник, яблоки, — поспешно пояснил пожилой войник.

— И турки тоже яблоки собирают?

— Коран разрешает, — сказал добродушный турок. — Кто ты есть? Командир?

— Да, да, командир, — объяснил серб. — Русский брат, офицер.

— О, великий христианин? — с уважением отметил турок.

— Они вас, русских, великими христианами называют, — улыбнулся Бранко.

— Великие христиане — великие воины, — сказал турок, и все с уважением закивали. — Знаменитый воин Хорват-паша недаром так ценит помощь великих христиан.

— Ваши офицеры знают, что вы здесь? — спросил поручик.

— Конечно, знают, ага, как не знать.

— Пусть один из вас сходит за вашим офицером. Остальным приказываю оставаться на местах.

Турки пошептались, и самый молодой бегом устремился к позициям. Олексин пригласил садиться, и турки тут же послушно уселись, без всякого смущения и страха разглядывая русского офицера.

— Скоро будет мир,— помолчав, сказал добродушный турок.— Мы пойдем к своим домам, а вы к своим.

— Дай-то бог,— вздохнули сербы, с опаской поглядев на Олексина.

— Бога молитесь? — вдруг высоким голосом выкрикнул молчавший доселе Шошич.— Не о том бога молитесь, сербы, не о том! Вы же братья мои, братья, только я в Боснии родился, за Дриной. И я — райя!.. — Он ткнул пальцем в добродушного турка.— Спросите у него, что значит, когда вас считают райя, спросите! Райя для них — это не люди, это неверные, это псы, у которых можно забрать дочь, изнасиловать жену, угнать последнюю скотину со двора. Нас душат податями, над нами измываются как хотят, нас грабят, нас убивают без суда, и терпение наше кончилось. Райя восстали, райя предпочли смерть в бою той проклятой жизни, на которую нас обрекли вот эти вот, в красных фесках! — Шошич метался по кругу, выкрикивая фразы то туркам, то волонтерам, то сербам.— Мы просили помощи у княжества, мы верили, что все сербы — братья, а вы.. Яблоки с ними жрете? — Он ногой ударил по куче яблок, собранных турками про запас.— О мире бога молитесь? А нам — тем, кто в Боснии живет, за Дриной,— нам-то что делать, о чем молить?..

— Что здесь происходит? — спросил Этьен.

Гавриил объяснил, о чем говорили солдаты.

Приближался конский топот; к ним подскакал молодой офицер на прекрасном гнедом жеребце. Ловко осадил его, склонился в седле, мягким жестом правой руки коснувшись сердца и лба.

— Вы звали меня, господин русский офицер? — на хорошем французском языке спросил он.

— На нашем с вами участке, кажется, началось замирение,— сказал Олексин.— Вас это не тревожит, господин турецкий офицер?

— Стремление к миру должно тревожить меньше, чем стремление к войне,— улыбнулся турок.— Разговоры о перемирии вполне реальны, уверяю вас.

— Я не получил соответствующего приказа и поэтому продолжаю считать реальностью войну.

— Даже в момент нашего разговора? — продолжал улыбаться офицер.

— Через полчаса я прикажу стрелять в любого, кто выйдет на нейтральную полосу.

— Мы приехали сюда драться с вами! — выкрикнул Лео.— Да, да, именно с вами! Вы убили папашу Миллье!

— О, я слышу голос парижанина! — Турок вновь отвесил изящный поклон.— А что касается меня, господа, то я бы давно покончил с этой глупой комедией, рождающей, к сожалению, столь много трагедий. Я бы высек и сербов и турок и разогнал бы их по домам. Значит, война, господин русский упрямец? Прощайте, до встречи в бою!

Он резко выкрикнул команду, поднял коня на дыбы, круто развернул его и бросил в карьер. Турки поспешно вскочили и побежали к своим позициям, теряя яблоки.

— Поручите нам это место, командир,— попросил Этьен.— И считайте, что с этой проблемой покончено.

На следующий день Олексин и Бряннов доложили обо всем Хорватовичу.

— Я устал, господа,— вздохнул полковник.— Страна оказалась неготовой к затяжной войне, неготовой психологически. Прежде всего психологически.

— Вы верите слухам о перемирии? — спросил Брянов.

— Ходят такие слухи,— уклончиво сказал Хорватович.— Поговаривают, будто генерал Черняев вступил в неофициальные переговоры с Абдул-Керимом.

Возвращались, когда солнце уже садилось. Брянов рассеянно хлестал прутиком по сапогам и поглядывал на Олексина, ожидая, когда он заговорит. Но поручик думал о последних словах Хорватовича.

— За что мы воюем, Брянов? — вдруг спросил он и, поймав удивленный взгляд капитана, поспешно разъяснил: — То есть за что воюют русские волонтеры, мне понятно. Но за что воюют французы, поляки, болгары? Хорватович как-то сказал, что у него в корпусе восемнадцать национальностей. Отбросим сербов, черногорцев, хорватов, боснийцев и русских — за что воюет остальная дюжина? За крест? За сербов? За свободу? За наши византийские сновидения?

— За веру,— весомо сказал Брянов.

— Бросьте, не верю! — Олексин раздраженно отмахнулся.— Это какая-то средневековая чушь. Вести религиозные войны в конце девятнадцатого столетия — нелепость. И, извините, даже думать так — тоже нелепость. Атавизм вроде хвостатого человека.

— Так ведь я не бога православного имею в виду,— улыбнулся капитан.— Вы ехали в Сербию через Будапешт, а я через Бухарест, причем значительно раньше вас. Настолько раньше, что мне пришлось задержаться в Бухаресте. Я скучал, шатался по городу, читал запоем и однажды... — Брянов вдруг замолчал.

— Говорите, я слушаю.

— И однажды выучился читать по-болгарски. И прочитал... новую молитву: «Верую во единую общую силу рода человеческого на земном шаре — творить добро». Ну а раз есть новая молитва, значит, есть и новая вера, Олексин. Вера возникает раньше молитв, если это действительно вера.

— И что же дальше в этой молитве?

— Не помню, поручик.

— Не хитрите, Брянов.

— Право, не помню.

— Жаль,— вздохнул Олексин.— То ли мне постоянно что-то недоговаривают, то ли я безнадежно туп и чего-то не понимаю. Жаль!..

Он замолчал. Брянов искоса внимательно глянул на него, сказал негромко:

— Кажется, у вас в роте служит некий Карагеоргиев?

— Да, в болгарском отряде. Вы знаете его?

— Поговорите с Карагеоргиевым об этой молитве,— сказал капитан, так и не ответив на прямой вопрос.— Он более компетентен, нежели я.

— Слушайте, Брянов, зачем вы прячетесь? У вас есть какая-то тайна? Так либо доверьтесь мне, либо не намекайте.

— Не сердитесь, Олексин.— Брянов улыбнулся.— Просто мне не хочется подвергать вас неприятностям, только и всего.

— Каким неприятностям?

Брянов долго шел молча. Поручик не повторял вопроса, но все время поглядывал на командира, чувствуя, что капитан колеблется.

— Как вы считаете, Олексин, справедливо устроено наше общество? Да, мы освободили мужика, мы стремимся дать образование юношам всех сословий, мы учредили гласный суд и самоуправление земст-

ва. И все равно богатый помыкает бедным, мужику не хватает земли, а мы, дворяне, пользуемся привилегиями, которых лично не заслужили.

— Это... — Поручик неуверенно пожал плечами и замолчал.

— Это обычно, вы хотели сказать? Но обычай еще не есть справедливость. Обычай может устареть, вам не кажется?

— Я как-то не думал об этом.

— Понимаю. А я думал. И думы эти привели меня однажды к людям, которые думают так же. Кстати, их много, и не только в России.

— Например, мой Карагеоргиев?

— Он многое понял и многое узнал.

— Он не любит русских.

— А вам непременно нужно, чтобы вас любили? — насмешливо спросил Брянов. — Какая девичья обидчивость! Не предъявляйте векселей, которые давно просрочены.

— Бат-гарея, к стрельбе готовься! — вдруг совсем рядом почти пропел веселый голос. — Наводить по ориентирам...

— Тревога! — ахнул Брянов и, подхватив саблю, первым бросился наверх, к батарее.

Когда они выбежали на поляну, где стояли пушки, Тюрберт, согнувшись в три погибели, проверял прицел второго орудия.

— Ма-лад-ца! — нараспев с гвардейским шиком кричал он. — Первому расчету по глотку из моей фляжки, а второму аж по два! Сподобились, орлы-орелики!

— Что случилось? — задыхаясь, выкрикнул Брянов. — Турки?

— Турки падают, как чурки, а наши, слава богу, стоят безгловы! — солдатской прибауткой ответил Тюрберт и весело расхохотался. — Чего вас принесло, господа пехота?

— А что вы делаете? — спросил Олексин.

— Репете, — пояснил подпоручик; лицо его было в поту, фуражка сбита на затылок. — Отбой, молодцы! Любушек наших помыть, почистить, привести в бальный вид! Гусев, вина дорогим гостям!

Все это рыжий командир прокричал с веселым озорством, и с таким же веселым озорством его артиллеристы принялись драить пушки, хотя пушки прямо-таки сверкали. Под деревьями был расстелен ковер, брошены подушки, появилось вино, груши и виноград. Здесь не было унылых, скучных, даже просто не улыбававшихся лиц: все шутили, смеялись, задевали друг друга, обливались водой, но дело делало споро и с явным удовольствием.

— Насчет фляжки не позабыли, ваше благородие? — басом крикнул рослый унтер-офицер.

— Гусев, отнеси ребятам фляжку. Помнить счет!

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие! — весело отозвались артиллеристы. — Нам по два, первому по глотку, а третье рукавом утретя!

— Верно! — одобрил Тюрберт, с лета всем телом бросаясь на ковер. — Располагайтесь, господа, как дома. Пока жарница, попьем винища, а придет холодище — добудем винища. Наливайте, Олексин, что вы на меня уставились?

— У вас ученье? — спросил поручик, разливая вино по глиняным кружкам.

— Хорошо пехоте! — сказал Тюрберт, обращаясь почему-то к одному Брянову. — Нет атаки — суй руки в рукава и дрыхни до побудки. А мы — артиллерия. Мы, господа, первые скрипки той великой симфонии, которая называется войной. И как всяким скрипачам, нам нужно упражняться. И не менее двух раз в день: на рассвете, когда солнышко нам глазки застит, и на закате, когда оно застит глазки



противнику. Дабы не посрамить чести русской артиллерии, за славу которой я, как всегда, поднимаю первый тост. Ура, господа, ура!

Бряннов отхлебнул вина, глянул на Олексина, спрягал скользнувшую усмешку. Сказал, помолчал:

— Мне кажется, Тюрберт, что вы приехали в Сербию только из любви к боевым стрельбам.

— Откровенно говоря, да,— беспечно согласился подпоручик, со вкусом — а он все делал со вкусом, шумно и несколько картинно — расправляясь с грушей.— Я люблю свое дело и горжусь им. Может быть, потому, что я — потомственный артиллерист: моего прадеда взял на службу Петр Великий и прадед оказался неплохим бомбардиром. Вот с той поры мы, Тюрберты, и стараемся не ударить лицом в грязь. А чтобы не ударить в эту самую грязь, надо хорошо стрелять, господа, вот и весь секрет.

— Значит, Сербия для вас — артиллерийский полигон? — спросил Гавриил.

— В ваших словах звучит какой-то непонятный мне упрек, Олексин. Я офицер и уже имел честь заявить вам, что мне плевать на все так называемые идеи. Тем паче что их развелось больше, чем голов, для коих они предназначены. Давайте, не мудрствуя лукаво, пить вино и говорить о чем-нибудь приятном. Например, о стрельбе картечью при кавалерийской атаке лавой.

Поручик, горячася, влез в бесконечный и бестолковый спор, Тюрберт насмешливо иронизировал, а Бряннов слушал их, пил вино и усмехался. Когда покинули гостеприимных артиллеристов, сказал:

— Вам хочется подтвердить свою жизнь идеей, Олексин, дабы она не выглядела пустопорожней. А может быть, истина как раз в обратном? Может быть, истина заключается в том, чтобы идею подтвердить всей своей жизнью?

— Какую идею?

— То-то и оно, что такой идеи нет. Та, которую исповедуете вы, вряд ли стоит того, чтобы тратить на нее жизнь, это вы, кажется, уже понимаете. А иной в запасе у нас с вами нет. И может быть, правда за Тюрбертами? Служи честно своему делу — вот и все, что от тебя требуется. И будет в душе твоей покой, а в глазах вечная синева. И будете вы прекрасно стрелять картечью сегодня в турок, завтра в поляков, а послезавтра в русских крестьян, которые слишком уж громко попросят хлеба и справедливости.

— Нет, Бряннов, мне эта тюрбертская философия не подходит. Я должен знать, зачем я стреляю.

— Как ни странно, мне тоже, Олексин. Мне тоже хочется знать, зачем я стреляю и в кого: ведь не стану же я от этого стрелять хуже, правда? Или стану? И может быть, все-таки прав Тюрберт, утверждая, что идеи обременительны для нашей с вами профессии?

Бряннов внезапно крепко пожал Гавриилу руку и свернул к себе. Он задавал вопросы, не ожидая ответов и вроде бы не очень интересуюсь ими, но вопросы остались, и Олексин шел домой, в смутном раздражении ощущая, что вопросы эти, столь щедро рассыпанные капитаном, прицепились к нему надолго, что ответов на них ему не отыскать и что если он даже и отыщет эти ответы, легче от этого ему не станет.

Рота его спала, из шалашей доносился храп и сонное бормотание. Поручик невольно подхватил саблю, сбавил шаг и теперь почти крался.

— Справно живете,— вздохнул в темноте голос, и Олексин узнал Захара.— И говядина у вас, и свинина, и птица домашняя, и вино, и табак, и фрукт разный, и овощ. И что же получается: круглый год так?

— Едим хорошо, — ответил из тьмы Бранко.

— Да поглядел бы ты, парень, как наш мужик живет. Поглядел бы.

— Как живет?

— Хреново живет, вот как, — опять вздохнул Захар. — Лук с хлебом да щи пустые — не хочешь ли каждый дежь? Одна надежда — хлебушко, а ежели неурожай, то хоть по миру гуляй. Детишки молочко не каждый день пьют, не все да и не досыта, вот так-то, братушка. А уж мясо...

— Мясо — да, — подтвердил Бранко. — Мясо много кушать надо, чтобы работать сила была.

— А раз в году мяса не хочешь? — вдруг озлившись, грубо выругался Захар. — Раз в году мужик мясо досыта ест, раз в году — на Василия Свинятника!

— Не истина! — сердито крикнул Бранко. — Не истина то! Зачем обманываешь?

— Не истина? — злоеще переспросил Захар. — Вру, значит, так выходит? А тюрю с квасом не хочешь каждый день? А хлеб с мякиной жевал когда? Пожуй, попробуй: его и солить не надо — все одно крови полон рот будет. Не истина... А что пьет русский — истина? То-то что истина. Что пьет, это Европа видит да посмеивается, а с чего пьет — это ей невдомек. А с голоду она пьет, Россия-то, с голоду, да с холоду, да с обиды великой. Работаем поболее остальных, потом умываемся, горем утираемся, а жизни все одно нет. Тыщу лет все жизни нет, все как в прорву какую идет, в руках не задерживается. Выть от такого житья захочется, а выпьешь — и ничего вроде. И сыт ты вроде, и согрелся ты вроде, и, главное тебе скажу, человеком опять себя чувствуешь. Выпьешь — и вроде ты вровень со всеми, вроде уважают тебя все, вроде и горя никакого нет. Вот ведь в чем дело-то, братишка ты мой сербский. Все народы, погляжу я, с радости пьют, покушав плотно. А мы с горя пьем, натошак глушим. А поскольку горя у нас — ого! — то и пьем мы тоже — ого! Пока оно не забудется, горе-то, до той поры и пьем... Это кому там не спится?

— Это я, Захар. — Олексин подошел к шалашу. — Все спокойно?

— Спокойно, Гаврила Иванович, вас дожидаемся.

— Не стреляли турки?

— Бог миловал. Тихо живем.

— Тихо, — сердито повторил поручик. — Ученья нужны, а то разбалуемся на позициях. Завтра собери мне всех господ офицеров.

— Слушаюсь, Гаврила Иванович. Ужинать не прикажете?

— Спасибо, Захар, артиллеристы накормили.

Олексин прошел в шалаш, разделся, прилег на жесткий топчан. Хотел подумать об ученьях, о возможных вылазках к туркам, но думал почему-то о Тюрберте и его батарее — веселой, дружной, сплоченной напористым и звонким азартом командира. И думал с завистью.

Утром его разбудил Захар:

— Перемирие, ваше благородие! По всей линии перемирие! Турки роте в подарок пятнадцать бычков прислали!

Телеграмма о гибели портупей-юнкера Владимира Олексина пришла в Смоленск с большим запозданием: судя по дате, на второй день после похорон. Телеграмма была пространной, но как и почему погиб Владимир, не объясняла, а слова «верный долгу чести» пролить какой-либо свет на обстоятельства никак не могли.

— Не верю! Не верю ни единому слову! Не верю! — кричала

Софья Гавриловна.— Нет такой фамилии Бордель фон Борделиус! Нет и не может быть! Это все идиотские гусарские шутки, слышите? Бордель с фоном выдумали!

Тетушка бегала по дому, всем показывая телеграмму и жадно, ищуще заглядывая в глаза. Дворня послушно соглашалась:

— Не может того быть. Ваша правда, барыня.

— Вот видите, видите? — с торжеством кричала Софья Гавриловна.— Это форменное издевательство над родными! Я буду жаловаться, я государю напишу. Да, да, государю! Это все полковое остроумие, не больше.

— Не надо,— не выдержав криков и столь оскорбительной сейчас суеты, сказала Варя.— Не надо так, тетушка, милая. Нет больше Володеньки нашего. Нету.

— Нету? — тихо, по-детски растерянно переспросила тетушка.— Не уберегла. Не уберегла!

Затряслась, закрыла лицо руками, Варя пыталась подхватить ее, но не успела: Софья Гавриловна сползла с кресла на колени, отчаянно всплеснув руками:

— Прости меня, Аня, прости! Не уберегла я его. Не уберегла-а!

Если бы Владимир погиб здесь, на глазах, то — кто знает! — может быть, мертвая похоронная тишина не вцепилась бы в старый смоленский дом с такой затяжной силой. С ним бы простились, его бы оплакали, отпели, откричали, опустили бы в землю — и проснулись бы на другой день хоть и в тоске и печали, но встав на иной путь, и жизнь постепенно, с каждым часом возвращалась бы в сердце, вытесняя заглянувшую туда смерть. Но с ним не простились, его не оплакали, не отпели; он оставался как бы живым для всех и в то же время уже не живым, и поэтому каждый вынужден был долго и мучительно хоронить его в одиночку. Каждый сам оплакивал его, сам клал в гроб, сам опускал в могилу, сам рвал живого брата из своего сердца, рвал с одинокими слезами, со своей болью и собственной тоской. Умерев вдали от дома, Владимир умирал сейчас в каждом сердце в отдельности.

Теперь они подолгу не расходились по комнатам, сидели в гостиной или у тети, свалившейся после первого энергичного выплеска. Сидели молча, изредка перебрасываясь незначущими фразами; каждый думал о Владимире, но никто не решался о нем говорить. Они просто сообщали молчали об одном, и это очень дружное, очень согласное молчание было сейчас важнее разговоров: они словно взаимно питали друг друга силами, столь необходимыми им в эти дни.

— А батюшка ничего не знает,— вздыхала Варя.

— И никто не знает, кроме нас,— говорила Маша.— Ни Вася, ни Федя, ни Гавриил. Никто.

— Надо сначала поехать в Крымскую,— осторожно добавлял Иван.

— Да, надо поехать в Крымскую,— эхом откликнулась Варя.

И они опять надолго замолкали. Они понимали, что, перед тем как ехать к отцу, необходимо узнать как можно больше, необходимо ответить на все вопросы, надо быть готовым все рассказать, чтобы избавить его от того неведения, которое так болезненно переживалось ими. Но бесконечно начиная разговоры о поездке в Крымскую, они тут же бросали их, не делая никаких выводов. Они еще не были готовы к этому, они еще боялись расстаться друг с другом и терпеливо ждали, когда утихнет первая боль, уйдет растерянность и настанет время действий.

Они сидели за утренним чаем, теперь настолько тихим, что даже дети старались без стука ставить чашки, когда вошла растерянная Ду-  
**няша:**

— Там господин с барышней. И вещи при них.

За столом переглянулись и замерли. Иван вскочил:

— Военный?

— Нет, в цивильном они. И вроде нерусский. А барышня как есть русская.

— Проси! — И добавил, когда Дуняша вышла:— Это из полка. Вот увидите, из полка.

Вошли девушка в пелерине и стройный, небольшого роста молодой человек, прижимавший к груди круглую шляпу. Следом кучер нес два баула, картонки, шинель и кавалерийский клинок.

— Разрешите представиться,— с акцентом сказал молодой человек.— Автандил Чекаидзе. Разрешите также представить мадемуазель Ковалевскую Таисию Леонтьевну.

Но они уже ничего не слышали и даже не смотрели на вошедших. Они видели сейчас шинель Владимира, лежавшую поверх баулов, и такую знакомую саблю.

В эту ночь сестры ночевали вместе: Маша уступила свою комнату Тае. Было уже далеко за полночь, а Варя, так и не раздевшись, все ходила и ходила по комнате, то принимаясь беззвучно плакать, то вдруг гневно сверкая сухими глазами. Маша в ночной кофте сидела на кушетке, той самой, на которой всегда спала Варя, когда мама приезжала в Смоленск.

— Завтра же она уедет отсюда.— У Вари как раз был приступ ненависти.— Зачем она вообще приехала к нам, зачем, объясни мне, пожалуйста? Какая наглость! И какая жестокость: приехать к родным и заявить, что Володя стрелялся из-за нее! Нет, вон! Вон, вон на все четыре стороны! Немедленно!

— Ты несправедлива, Варя,— задумчиво сказала Маша.— Боюсь, что ты ослеплена гневом и поэтому очень несправедлива.

— Несправедлива? Из-за этой полковой дряни погиб мой брат — и я же несправедлива?

— Да, ты несправедлива,— упрямо повторила Маша.— Жаль, что здесь нет Васи: он бы тебе все объяснил и тебе бы стало стыдно.

— Володи нет, Володи!.. — Варя опять начала плакать, ломая руки.— Какая холодная, какая бесчеловечная жестокость! Убить юношу... Нет, я не понимаю, я никогда не примирюсь с этим! А она, она уедет завтра же. Уедет!

— Она очень страдает — тихо, словно самой себе сказала Маша.

— Кто страдает? Эта девица страдает? — Варя сразу перестала плакать.— Это я страдаю, я, понятно? Я страдаю, а не она!

— Да, ты страдаешь. Одна, но зато за всех нас.

— Мария! — Варя остановилась перед нею, сурово сдвинув брови.— Как тебе не стыдно говорить так, Мария?

— Нет, мне не стыдно так говорить, я не люблюю своим страданием и не демонстрирую его. А ты демонстрируешь, а это дурно. Прости, но это очень дурно, вот и все. И еще прости, но твоего горя так много, что я перестаю верить. А в страдания этой девушки верю. Это ее страдание, она его никому не демонстрирует.

Варя плашмя упала на кровать, зарылась в подушки. Плечи ее судорожно тряслись, но Машенька не торопилась с утешениями. Она могла быть упрямой и решительной, когда ее к этому вынуждали, и сейчас настал именно такой момент.

— Ты самая бессердечная в семье.— сказала Варя, садясь на кровати и вытирая мокрое от слез лицо.— Ты и Гавриил.

— Я поеду в Москву к батюшке,— спокойно, как об уже решенном и продуманном, сказала Маша.— И Таисия Леонтьевна поедет со мной: мы обе расскажем, как погиб Володя.

— Что? Извини, Мария, но я слишком дорожу отцом, чтобы позволить...

— Мне не нужно ничего позволять, Варя, я все равно сделаю по-своему. И непременно вместе с Таисией Леонтьевной. И то, что тебе кажется жестокостью, как ты говоришь, для батюшки будет утешением. Единственным утешением.

На следующий день гость уезжал в Тифлис. Он долго и проникновенно жал руку Ивану, гладил по головам детей, низко, почтительно кланялся вставшей ради его отъезда Софье Гавриловне.

— Погиб мой дорогой друг, — сказал он уже в дверях. — Но подлый убийца недолго будет топтать нашу прекрасную землю. Мой брат поручик Ростом Чекаидзе уже спешит на поединок. А если ему не повезет, с этим господином будет стреляться весь славный Семьдесят четвертый полк и вся городская управа города Тифлиса!

Тая хотела ехать вместе с господином Чекаидзе, но ее уговорили остаться. Тая долго не соглашалась; тогда к ней подошел Иван, осторожно взяв за руку.

— Пожалуйста, повремените с отъездом. Маша и я очень просим вас, если возможно.

Тая дико посмотрела на него, по лицу ее побежали слезы. Закусила губу, часто закивала:

— Как вам будет угодно. Как вам будет угодно, Иван Иванович.

Маша обняла ее, прижала к себе:

— Будет вам, Таисия Леонтьевна, будет. Успокойтесь. Пожалуйста.

— Да, да, сейчас, — поспешно говорила Тая в платочек. — Да, да, извините, пожалуйста. Извините.

Варя поджимала губы, выразительно поглядывая на тетюшку. Но Софья Гавриловна была погружена в свое горе и в свои мысли и не замечала ничего иного.

В связи с отъездом гостя Иван опять не пошел в гимназию, а вместе с Машей и Таей псехал провожать Чекаидзе. При этом он отказался от кучера, решив править лошадьми самостоятельно, чуть не упустил их на спуске с крутой Соборной горы, напугал барышень, немного струхнул сам и стал так одерживать пару, что приехали они на вокзал к отбытию и прощались наскоро.

— Что прикажете передать вашим уважаемым родителям, мадемуазель Тая?

Чекаидзе спросил из лучших побуждений, но Тая мучительно покраснела.

— Поклон, пожалуйста.

— Когда им ждать вас?

— Я не вернусь в Крымскую, — с отчаянным мужеством сказала Тая. — Я живу теперь одна. В Тифлисе.

— О, пардон! — закричал Чекаидзе, сообразив наконец, что поставил ее в неловкое положение. — Извините, мадемуазель Тая, извините!

Он кричал «извините!», уже стоя на подножке вагона. Кричал, кланялся и махал шляпой, пока поезд не скрылся за водокачкой.

— Мы хотим показать вам, Таисия Леонтьевна, наш Смоленск, — сказала Маша, когда крики Чекаидзе растаяли в перестуке колес. — Ваня одно время увлекался историей и, если согласится, расскажет много интересного.

— Я уже согласился, — улыбнулся Иван. — А вот смогу ли, это вопрос особый.

Однако он был человеком обстоятельным и толковым, обладал блестящей памятью и даром рассказчика, и прогулка оказалась очень

интересной. Он осмотрел с барышнями Свирскую церковь и Соборную гору, Блонье и Лопатинский сад с остатками древней темницы, где на подоконнике рядом с обломками ржавых решеток еще сохранилось латинское имя, вырубленное когда-то несчастным узником. Потом провез вдоль крепости, показал французское ядро, застрявшее в стене над Никольскими воротами, поднялся вместе с ними на крепостную стену и долго восторженно рассказывал, где стоял генерал Раевский и как к закрытым Молоховским воротам подскакал неаполитанский король и требовательно постучал в них маршальским жезлом.

— А наши дали залп, и Мюрат так улепетывал, что чуть не потерял шляпу!

Рассказывал он одной Таяе и так, будто Маши вообще не существовало на свете. Как все Олексины, он был не только увлекающимся, но и чрезвычайно влюбчивым, и даже недавняя трагическая смерть брата не могла сейчас заслонить горьких и прекрасных глаз рыжей девочки, которая была всего на год старше его, а казалась такой недоступно взрослой. По окончании экскурсии он усадил барышень под каштанами, а сам побежал за лимонадом и мороженым. И тогда Маша сказала:

— У нас к вам огромная просьба, Таисия Леонтьевна. Дело в том, что наша мама умерла, а батюшка живет отдельно, в Москве.

— Я знаю, — тихо перебила Тая. — Володя рассказывал.

Она опять закусила губу и прикрыла глаза. Две слезы выползли из-под ресниц и скатились, оставив дорожки в пушке.

— Не надо, Тая, милая, сестричка моя! — Маша порывисто прижала ее к себе и поцеловала. — Не надо терзать себя, вы ни в чем не виноваты. Это судьба.

— Не утешайте меня, Мария Ивановна, я все равно знаю, что виновата. Я виновата на всю жизнь свою. — Она судорожно вздохнула. — Когда мне выезжать в Москву?

— Мы поедем вместе. На завтра Варя заказала панихиду по Володе. Отстоим службу, справим поминки и поедем к батюшке.

К ним бежал Иван. За ним с подносом в руках поспешал полный немолодой приказчик из кондитерской. На подносе тонко звенели стаканы.

— Быстрее! — весело кричал Иван. — Быстрее, растает!

Тая посмотрела на него, грустно улыбнулась и незаметно вытерла слезы.

Отслужили панихиду по Володе, отпели, оплакали за господским, откричали за дворничьими поминальными столами. Тетушка, размякнув и перемучившись, благословила отъезд в Москву. Только повторяла все время:

— Бедный Иван. Бедный Иван. Бедный Иван!

Маша и Тая выехали вторым классом «согласно чина и состояния», как любил говорить отец. Впрочем, состояние Таи было таково, что ей впрору было бы ехать в третьем, но Маша этого не позволила.

— Мы с вами, Тая, теперь сестры. Сестрички по несчастью, так батюшке и скажем. Как же можно считаться?

А сама подумала, что, может быть, как раз в этом-то и состоит высшее божье провидение: было десять и осталось десять. Было десять и осталось десять... И думала об этом в поезде, глядя на Таю, и колеса выстукивали согласно и звонко: было десять и осталось десять, было десять и осталось десять.

Маша никогда не бывала в Москве, а телеграмму отцу тетюшка категорически запретила давать: она сама боялась телеграмм и считала, что отец непременно разволнуется раньше времени, надумает бог весть что и вся идея постепенной подготовки к известию окажется

тогда бессмысленной. Поэтому барышень никто не встречал; они взяли извозчика, назвали адрес и потрусили по Москве среди шума и галла. Но не замечали ни шума, ни толчеи, сидели, испуганно прижавшись друг к другу, под гнетом того страшного известия, которое везли старому, странному, своенравному и очень дорогому человеку.

Дверь открыл толстый молодой лакей. Глядел, сонно сощурясь, презрительно выпятив грубые мокрые губы.

— Не велено пущать. Никого не велено.

Он будто не был в состоянии слушать, а тем более понимать, что ему говорят. Это было ниже его достоинства. Вровень с его достоинством стояло сладкое право «не пущать».

— Ты глухой? — У тихой и приветливой Маши совсем по-отцовски колюче охолодели глаза. — Я Мария Ивановна Олексина, изволь немедленно доложить батюшке.

— Барин никого не велел...

Но барышни уже раздевались, кидая пелерины и шляпки на диван, стоявший в прихожей, и не обращая на лакея внимания. Это породило в голове Петра смутную мысль об их неотъемлемом праве нарушать данные ему инструкции. Он помолчал, пожевал толстыми губами и неторопливо, борясь с сомнениями, поплелся докладывать, все время с недоверием оглядываясь на капризных барышень.

— Каков нахал! — дрожа от возмущения, сказала Маша. — Федор недаром говорил, что батюшка нарочно ему потакает. Знает, что туп и нахален, и потакает нарочно, чтобы всех сердить и обескураживать.

Вместо Петра на лестнице появился живой и очень приветливый старичок. Поспешно спустился, улыбаясь и кланяясь на каждой ступеньке:

— Мария Ивановна, радость-то какая нам! И опять без эстафеты, без депеши, мне на огорчение.

— Игнат! — Маша шагнула к давно знакомому ей старому камердинеру, радостно протянув обе руки. — Я так рада, Игнат, что это ты. Что батюшка? Как он?

— Здоров батюшка, здоров, бог милует. — Игнат осторожно подержал и отпустил девичьи руки. — В гости пожаловали? Надолго ли, осмелюсь спросить?

— Ох, Игнат! — Маша уткнулась лбом в подбитую ватой грудь старика. — С горем мы, Игнат, с большим горем. Володю нашего убили в Тифлисе.

— Владимира Ивановича? Володеньку?

Игнат качнулся. Маша поддержала его, усадила на диван прямо на пелеринки.

— Володеньку, Володеньку... — Голова его затряслась, по дряблему старческому лицу, обрамленному жиденькими седыми бакенбардами, ползли слезы. — Да как же это, как же?

— На дуэли, — вздохнула Маша. — Пуля попала в сердце. Сразу в сердце и...

— Господи, господи!.. — вздыхая, крестился камердинер. — А батюшка как же? Как сказать-то ему, как? Ведь в себе все держит, всю жизнь все в себе, не расплескивая. Аккурат вчера Володеньку поминал. Доволен был, что служит, что в чины входит. Поди вот так-то ляпни с порога — помрет. Слова не скажет, а — помрет. Как же сказать-то, а? Как?

— Мы сами скажем, Игнат. Для этого и приехали.

— Да, да. — Старик горестно покачал головой, перекрестился, достал платок и шумно высморкался. — А с вами-то кто же будет, Мария Ивановна? Извините, барышня, глазами слабну.

— Это? — Маша запнулась только на мгновение.— Это невеста Володина.

— Барышня!.. — Игнат дотянулся до Таи, ласково провел по ее рукаву.— Господи, горе-то, горе-то какое! Идите, барышни, идите к нему. Только не сразу бы, а? Не с порога скажите, не с порога.

Старик читал в кресле, когда барышни без доклада проскользнули в кабинет. Увидев их, он снял очки, заложил ими книгу и встал.

— Дочь? — Он что-то почувствовал и от волнения забыл ее имя.— Как ты здесь? Почему? Что-нибудь с... Гавриилом?

— Батюшка! — Маша бросилась к нему, уткнулась в грудь.— Милый батюшка, сядьте. Сядьте, умоляю вас!

Она уже не сдерживалась, уже плакала, забыв о предостережениях Игната, о строгих наказаниях Вари и Софьи Гавриловны. Крепко прижимаясь лицом к домашней, пропахшей запахом дорогого табака куртке, она толкала отца в кресло, пытаясь усадить, а он сопротивлялся, упираясь руками в подлокотники, и все твердил:

— Да говори же, говори! Что с волонтером, что? Ведь вижу все, все ведь вижу, господи!

Все же она усадила его и, опустившись на колени рядом с креслом, гладила и целовала сухую старческую руку, крепко, как во спасение, вцепившуюся в подлокотник.

— Не бойся,— тихо и строго сказал отец.— Не бойся, говори. Что с волонтером нашим? Убит? Ранен? Я ведь предупреждал его, предупреждал...

— Володя погиб, батюшка! — не выдержав, крикнула вдруг Маша. — Володеңка погиб на Кавказе!

Старик отбросил ее руку, судорожно выпрямившись в кресле. Беспомощно и немо, как рыба, открывал и закрывал рот, будто пытался проглотить что-то и не мог, и только горбатый кадык конвульсивно сотрясался под дряблыми складками кожи. Тая рванулась от дверей, налила воды из графина, подала. Он выпил булькающими глотками, слепо глянув на незнакомую барышню.

— Погиб? — тихо и как-то очень уж спокойно переспросил он.— Как же мог? Как? Там замирение. Или опять взбунтовались? Я давно не читаю газет. Давно. Они непристойно спекулятивны и стремятся навязать свою волю. А это неприлично.

Он говорил и говорил, точно второпях, кое-как, наспех возводил баррикаду между собой и ими, словно заделывал брешь, нанесенную известием и вдруг обнажившую сердце. А он не мог допустить, чтобы кто-то — не важно, кто именно,— видел это сердце, видел его боль, его судороги, слышал его молчаливый крик.

— Стало быть, что же? Несчастный случай? Зашибла лошадь? Болель? Умер в постели?

Последний вопрос прозвучал строго, выбившись из торопливого ряда. Маша почувствовала это, поняла, что ответ для него важен.

— Нет, батюшка. Не в постели.

— Не в постели? — Старик быстро глянул на нее, проверяя, и тотчас отвел глаза.— Не в постели — это хорошо. Хорошо. Мужчина не должен умирать в постели. Это унижительно. Да. Унижительно. Смерть должна возвышать.

— Его убили! — громко, с отчаянием выкрикнула Тая: ей было невольно это бессмысленное старческое бормотанье.— Убили! Убили на дуэли!

— Убили?

Отец долгим пристальным взглядом уперся в Тая. Она испугалась этих немигающих глаз, где живым было только судорожное подергивание век, но выдержала, поспешно закивав.



— От пули,— тихо, точно отвечая сам себе, сказал старик.— Значит, от пули.

Он медленно придвинул ящичек, стал набивать трубку. Пальцы тряслись; табак сыпался, он снова и снова старательно подбирал крошки и запихивал их на место.

— Батюшка...

— Значит, все-таки от пули,— жестом остановив ее, повторил он.

Голос не послушался, задрожал, сорвавшись на дикий лающий звук, и старик опять несколько раз тяжело сглотнул, словно затапливая в себя прорвавшийся живой вопль.

— Батюшка.— Слезы текли по лицу Маши, она чувствовала, как они текут, но боялась отереть их, боялась признаться, что плачет, потому что это горе не терпело слез, и она понимала отца.— Батюшка, Володя погиб гордо и прекрасно. Он защищал честь девушки, что стоит перед вами. Это невеста его, батюшка.

Старческий немигающий взгляд вновь уперся в Таю. В строгих, осмысленно напряженных глазах не было слез, но копилась такая боль, что Тая сразу подошла и опустилась на колени по другую сторону кресла. Олексин положил руку ей на голову, медленно провел к затылку — не погладил, а именно провел. И рука эта не дрожала, была тверда и почти покойна, но Тая почувствовала вдруг ее чугунную тяжесть.

— Он умер сразу?

— Пуля попала в сердце.

— Хорошо.— Старик удовлетворенно кивнул головой.— Хорошо, что он защищал честь. Это хорошо и достойно.

— Он защищал не только мою честь,— тихо сказала Тая.— Он защищал честь полка.

— Хорошо,— еще раз кивнул Олексин.— Он славный мальчик, и его любили в полку. Внизу есть шкафчик с лекарствами. Принесите склянку с синим ярлычком.

Тая молча вышла из комнаты.

— Вам плохо? — с испугом спросила Маша.— Батюшка, скажите правду. Может быть, послать за врачом?

— Нет лекарств, чтобы они помогали отцу, когда он теряет сына. Даже такому отцу, как я.— Он помолчал.— Кто эта девушка?

— Дочь заместителя командира полка подполковника Ковалевского.

— Дворянка?

— Не знаю. Кажется, нет.

— Славная. Славная девушка.

Маша осторожно глянула на него. Подумала, сказала неуверенно:

— Ей нельзя возвращаться к родителям. Так получилось, что...

— Не объясняй.— Отец чуть пожал ей руку.— Зачем же ей возвращаться, когда Владимир погиб?

Он замолчал, со строгой скорбью глядя перед собой и медленно поглаживая дочь по голове. А Маша опять чувствовала, как по лицу ее текут слезы, и опять боялась заплакать.

— А ты молодец,— тихо сказал старик.— Варвара себя жалеет и потому скорбит шумно. Оскорбительно шумно. А ты — умница ты. Ты других жалеешь и щадишь. В маму ты. В Анечку. Помолчим, доченька? Вспомним их, светлых, и помолчим. Мертвым ничего не нужно, кроме нашего молчания. Ничего.

Отец и дочь надолго замолчали, но молчание это не было пустым. Оно было наполнено их единением и согласием, первым объединяющим мгновением полного взаимопонимания и любви.

Тая спустилась в прихожую, так никого и не встретив. От волнения она забыла, как звали того доброго старичка, что встретил их на лестнице и так убивался, узнав о гибели Владимира, как позвать кого-либо из прислуги, не знала и стала открывать подряд все двери в надежде найти где-нибудь шкафчик с лекарствами. Так прошла она несколько безлюдных комнат, приоткрыла очередную дверь и тихо ахнула: у окна стоял молодой человек в куцем провинциальном сюртучке. Но ахнула она не потому, что испугалась, а потому что человек этот был удивительно похож на Владимира, только жиденькая бородавка выглядела совсем лишней.

— Я испугал вас? — улыбнулся он такой знакомой ей улыбкой. — Извините. Мне суждено, видно, не вовремя появляться. Я через черный ход, как обычно, чтоб не беспокоить.

— Федор Иванович? — тихо спросила Тая. — Я вас сразу узнала, Федор Иванович. Почему я вас сразу узнала?..

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

Вечером того же дня, когда было объявлено о перемирии, к шалашу Олексина в полном боевом снаряжении подошли болгары. Остановились, вольно опершись о винтовки, но не нарушая строя. Меченый заглянул в шалаш:

— Мы уходим, поручик.

— Как уходите? — Олексин сел на топчане. — Куда?

— Мы пришли сюда сражаться. Нет сражения — нет обязательств.

— И куда же намереваетесь? — спросил поручик, натягивая сапоги.

— Домой. В Болгарию.

— Через позиции?

— Позиций больше нет. Кроме того, с нами идет Бранко.

Бранко стоял в строю рядом с Любчо. На позициях Гавриил никогда не встречал девушку, за хлопотами позабыв о ее существовании, и теперь смотрел удивленно.

— Где вы прятали своего адъютанта, Стойчо?

— В селе. Там у Бранко дальние родственники. Прощайте, поручик. — Стойчо протянул руку. — Спасибо.

— Прощайте, Стойчо. — Олексин грустно улыбнулся, обнял его. — Если бы я мог, я бы тоже ушел. — Он оглядел строй. — А где же Карагеоргиев?

— Ему с нами не по дороге, — проворчал Кирчо из строя.

— Прощайте, юнаки! — громко сказал Олексин, отдав честь строю. — Дай вам бог добраться до родины.

Из шалаша поспешно вышел Захар. Совал в руки Любчо узелок:

— Возьми, девка, на дорожку. Возьми, не обижай.

— Спасибо, — по-русски сказала девушка.

Шошич метался по лагерю, уговаривал, ругался, просил опомниться, даже бил — ничего не помогало.

— А я куда вернусь? — горько спрашивал Шошич, зайдя как-то к Олексину. — Дома нет — сожгли турки, дочери нет — увели турки, жены нет — с горя померла. Куда мне-то идти, господин четоводник, куда?!

Стоян, помолчав, еще раз кивнул поручику и негромко отдал команду. Отряд двинулся мимо шалашей, мимо ошалевших от радости бойцов и растерянных волонтеров, мимо костров, вина, пля-

сок, песен и веселья. Болгары шли молча, с горделивым достоинством выдерживая равнение и шаг.

Из-за поворота показали Совримович и Отвиновский. Нагнали отряд, долго шли рядом с Меченым. Потом вернулись к шалашу.

— Зачем вы отпустили их, Олексин? — с неудовольствием спросил Совримович. — Самый боеспособный отряд.

— Боеспособность нужна в бою, — усмехнулся Отвиновский. — Плясать вокруг костров можно и без боеспособности.

— Тоже собираетесь куда-нибудь податься? — спросил поручик: внезапный уход болгар вызвал в нем волну горького раздражения.

— Некуда! — с непонятым ожесточением ответил Отвиновский. — Связал нас черт веревочкой.

Шли дни, но настроение праздничного оживления не исчезало. Контакты с турками стали еще теснее и еще откровеннее, перейдя вскоре в сферу деловых отношений: под яблоней, откуда Олексин был вынужден убрать французский караул, развернулось оживленное торжище. Торговали всем, чем только можно было торговать: табаком и фруктами, вином и мясом, барашками и птицей, кожами, одеждой, топорами, ножами, даже оружием. Менялись, покупали, продавали, одалживали друг у друга — базарный азарт охватил обе стороны с невероятной силой, и уже не только сербские войники, но и русские волонтеры щеголяли в турецких фесках и хвастались выгодно приобретенными ятаганами.

— Такого разгрома я еще не испытывал, — с горечью сказал Хорватович, приехав на позиции. — Теперь, пожалуй, я соглашусь признать, что турки выиграли войну.

— Считаете, они начнут наступление? — спросил Брянов.

— Непременно начнут, капитан. У них регулярная армия, и навести порядок им ничего не стоит: только прикажи. Пробовали обязательные ученья?

— Безнадежное дело. Волонтеры еще кое-как занимаются, хотя и с отвращением, а войники решительно отказываются. Говорят, что перемирие — это вроде отпуска.

— Однако Тюрберт сумел заставить своих артиллеристов.

— Скрипачи, — с оттенком зависти сказал Олексин. — И потом, господин полковник, я не хочу никого обижать, но...

— Боюсь, что разгром неминуем, господа, — невесело сказал Хорватович. — Я вижу только один выход: первыми начать.

— Нарушить перемирие? — изумился Брянов. — Да нас расстреляют перед строем за такое самоуправство!

— Я вижу только один выход, — задумчиво повторил Хорватович. — Есть способ разорвать перемирие. Есть!

На следующий день Хорватович выехал в Белград, поручив корпус майору Яковличу, рыхлому, обленившемуся и нерешительному. Единственная форма приказания, которой широко пользовался майор, заключалась в трех словах: «Ничего не предпринимать».

— Послал бог начальника, — со вздохом говорил Брянов.

Целыми днями валялись по шалашам, проводя время в пустопорожних разговорах. После ухода болгар Отвиновский стал чаще навещать Олексина и Совримовича, но в беседы вступал редко, предпочитая слушать или отделяваться короткими замечаниями. Его тяготило не просто безделье, и поручик спросил напрямик:

— Жалуете, что не ушли с болгарями?

— Жалею, что приехал в Сербию. А впрочем, неверно, я ни о чем не жалею, Олексин.

— Вот это вас и мучает.

Отвиновский промолчал, привычно усмехнувшись. Потом спросил вдруг:

— Вы женаты, Олексин?

— Нет. Почему вы спросили об этом?

— Потому что тоже не женат. А это глупо.

— Что же глупого?

— Глупо, когда человеку некуда спешить.

— По-вашему, спешат только к женщине? — спросил Совримович.

— Только к женщине, — убежденно сказал Отвиновский. — Все остальное — выдумки, в которые мы почему-то так часто верим. А женщина — реальность, господа. Единственная реальность, к которой стоит торопиться.

— У вас есть семья, родные? — спросил, помолчав, Совримович.

— Таким тоном обычно разговаривают с больным, — опять усмехнулся Отвиновский. — Утолю ваше любопытство одним словом: были. А это означает, что мне не только некуда торопиться, но и некуда возвращаться. В этом смысле я идеальный солдат: мне нечего терять.

— И когда закончится эта война, вы поедете на другую? — спросил Олексин. — Право, жаль, что вы не ушли с болгарами.

— Знаете, Отвиновский, я увезу вас с собой, — решительно сказал Совримович. — Да, да, не спорьте: нехорошо, когда человеку некуда возвращаться. У меня есть небольшое имение на Вольни, матушка и прелестная кузина. Я выйду в отставку, и мы прекрасно заживем вчетвером. А Олексин будет наезжать в гости.

— Благодарю, друг. Я запомню ваши слова, и — кто знает! — может быть, и постучусь однажды в сумерки. Когда-нибудь. Когда пойму.

— Что поймете? — спросил поручик, зевнув.

— Когда пойму, для чего меня убивали и для чего я убивал сам. Рано или поздно человек должен дать себе полный отчет. Особенно если он занимается этим ремеслом с четырнадцати лет. — Отвиновский натянуто улыбнулся. — Мы хорошо шутим, господа, не правда ли? А все от безделья.

Он сухо поклонился и вышел поспешнее, чем требовалось. Совримович вздохнул:

— Знаете, Олексин, мне жаль нашего поляка. По-моему, он очень несчастлив.

— Он был бы куда приятнее, если бы меньше бравировал своей несчастливостью, — непримиримо проворчал поручик. — Что-то в нем есть неистребимо шляхетское: что бы он ни говорил, я все время слышу звон шпор и бряцание сабли.

Утром их разбудил адъютант Яковлича, красивый улыбчивый мальчик. Он редко покидал своего командира, никогда не появлялся на позициях, и офицеры переглянулись.

— Господин майор просит пожаловать к себе господ русских офицеров.

Майор Яковлич вопреки обыкновению принимал не в тесном прокуренном шалаше, а на поляне. И это обстоятельство, и неуклюжая старательность в одежде майора, и нелепая сабля, за которую он то и дело цеплялся, — все удивляло и настораживало. Но самым удивительным был неожиданный приезд штабс-капитана Истомина.

— Важные новости, господа, весьма важные.

— Господа русские офицеры, — тусклым голосом начал Яковлич, когда все выстроились на краю поляны. — Сербский народ переживает великое историческое событие. В кровавой борьбе с турками наступил новый этап. А так как народ в Сербии составляет войско, которым вы

командуете, то мы просим вас присоединиться ко всенародному желанию и разъяснить его значение подчиненным.

— Позвольте, какое желание? — громко спросил Тюрберт. — Нельзя ли попроще, господин майор?

Яковлич сонно глянул на щеголеватого артиллериста, вяло пожевал толстыми губами.

— Сербский народ выразил единодушное желание провозгласить князя Милана королем Сербии. Этим актом мы решительно сбрасываем турецкое иго и объявляем войну султану как самостоятельное суверенное государство. С момента возложения короны на голову короля Милана мы уже не повстанцы, а самостоятельное европейское государство, находящееся в состоянии войны с Османской империей.

— Вот и конец перемирию, — шепнул Брянов Олексину. — Ай да Хорватович!

— По-вашему, он лично уговорил Милана короноваться?

— Нет, конечно, это устроила военная партия, Хорватович только подтолкнул нерешительных. Но каков камуфлет, а? Мы больше не повстанцы... Раз они не повстанцы, то и мы не волонтеры, а наемники сербской короны. Вам хочется быть наемником, Олексин?

— Господа, что за разговоры? — призвал к порядку Истомин.

— Разделяют ли русские офицеры единодушное желание сербского народа провозгласить князя Милана королем Сербии? — громко спросил Яковлич.

— А нам-то что за дело? — вдруг резко крикнул Брянов. — Мы ехали помогать сербскому народу в войне с турками, а не сажать на престол королей!

— Господа, господа, нельзя же так! — всполохился майор.

— Капитан Брянов шутит, господин майор, — натянуто улыбаясь, пояснил Истомин. — Он шутил в России с либералами, шутил в Бухаресте с болгарской эмиграцией и пытается шутить сейчас. А шутить как раз и не следует, потому что русское командование, которое я здесь имею честь представлять, поддерживает единодушное желание сербского народа и надеется, что все русские офицеры разделяют эту точку зрения.

— Что до меня, то мне как-то все равно, — ворчливо заметил Тюрберт. — Королем так королем. Лучше скажите, когда начнем стрелять?

— Перестаньте, Тюрберт, это все достаточно серьезно, — поморщился Истомин. — Вам надлежит разъяснить своим подчиненным значение этого важнейшего политического акта и добиться их поддержки.

— Ура, господа, — насмешливо улыбнулся Совримович.

— Ура! — неожиданно звонко заорал адъютант Яковлича. — Живо крале Милан! Живела кралица Наталья!

Возвращались в подавленном настроении: даже ярких монархистов смутила поспешность и несвоевременность этого акта. Только Тюрберт радовался:

— А что, господа, теперь, пожалуй, постреляем?

Рота приняла известие с завидным равнодушием: как сербам, так и волонтерам было безразлично, останется Милан князем или превратится в короля. Лео проворчал неодобрительно:

— Аристократы взяли верх.

Несмотря на то, что приказ был исполнен, смутное раздражение не покидало Олексина. Он пытался разобраться, откуда оно, это раздражение, пытался внушить себе, что ему нет ровно никакого дела до внутренней политики сербских заправил, а тем паче до князя Милана, но чем больше он думал об этом, тем все яснее чувствовал, что раздражение это есть просто обида. Его личная обида за себя и за

всех волонтеров, искренний порыв которых был использован в интересах узкой группы людей, ловко воспользовавшихся моментом для своих далеко не бескорыстных целей. А поняв это, уже не мог усидеть на месте; разыскал Совримовича, и они вдвоем отправились к Брянову.

У Брянова сидел Карагеоргиев. Увидев офицеров, он неприятно улыбнулся, не сделав никакой попытки привстать. Капитану их визит тоже не доставил радости, но Олексин не обратил на это внимания, и Совримович напрасно делал ему знаки.

— Присаживайтесь,— суховато сказал Брянов.— Ужинали?

— Да, да, не беспокойтесь,— поспешно забормотал Совримович.— Мы, собственно, чисто случайно. На минуту. Не знали, что вы заняты.

— Вы знакомы с господином Карагеоргиевым, и, полагаю, этого достаточно.

— Господин Карагеоргиев не любит русских,— сказал Гавриил, садясь напротив болгарина.— Но, кажется, не всех?

Карагеоргиев еще раз улыбнулся и промолчал. Брянов постоял, поочередно посмотрев на каждого гостя, пошел в угол.

— Ну, вина мы все же выпьем.— Он достал бутылку.— Не давить-ся же нам взаимными колкостями, правда?

Он принес кружки, разлил вино. Карагеоргиев по-прежнему помалкивал, натянуто улыбаясь.

— Почему вы не ушли с Меченым? — спросил Олексин, мало заботясь о тоне.

— Я не разбойник, господин ротный командир.

— Оставим формальности для строя. Вы не находите, что ваше объяснение носит отчетливый турецкий акцент?

— Простите, не понял.

— Обычно болгарских повстанцев называют разбойниками либо турки, либо их прислужники.

— И в данном случае они правы.

— Вы оскорбляете моего друга,— нахмурился поручик.— Не забывайтесь, Карагеоргиев.

— Господа, господа! — засуетился Совримович.

Брянов слушал молча, изредка поглядывая на Олексина.

— Вам известна программа Стойчо Меченого? — спросил Карагеоргиев, помолчав.

— Нет.— Гавриил интуитивно почувствовал подвох в этом вопросе.— Просто мы не говорили об этом.

— Она осталась бы неизвестной, даже если бы вы и говорили,— спокойно сказал болгарин.— Дело в том, что ее попросту нет. Меченый мстит, и только.

— Мсть — святое дело,— осторожно вставил Совримович.

— Возможно. Но всегда личное, а потому и антиобщественное. Гайдук мстит народу, а не злодею, мстит, сам верша суд и расправу. Справедливо это?

Олексин опять вспомнил о словах Миллье; и недобрый Карагеоргиев тоже говорил о справедливости. Все вокруг говорили о справедливости, ссылались на нее, жаждали ее, мечтали и умирали за нее, но каждый понимал ее по-своему.

— Болгарский народ не поддерживает военных авантюров против османов, это доказано историей. Из апрельского урока надо было извлечь выводы, а Меченый извлек ненависть. Одну слепую ненависть к туркам.

— Может быть, из этой искры возгорится пламя? — опять осторожно спросил Совримович.

— Для того чтобы возгорелось пламя, важны не столько искры, сколько горючий материал — вот единственно правильный вывод. Болгарии нужны апостолы, а не воины, нужна пропаганда, а не жертвенные бои.

— Однако вы почему-то оказались в Сербии, господин апостол, — заметил поручик.

Карагеоргиев промолчал, выразительно, как показалось Олексину, посмотрев при этом на Брянова. И капитан сразу поднял кружку:

— Выпьем, господа, и поговорим о чем-нибудь веселом. Как там говорил наш друг Тюрберт, поручик? О стрельбе картечью при конной атаке — так, кажется?

— Это мне напоминает игру «а вы любите брюнеток, господа?», — невесело усмехнулся Гавриил. — Здесь все считают меня несмышленышем. Все! Я думаю о князе Милане и о всей этой странной затее с коронованием. Затее, при которой — у меня такое ощущение, ничего не могу поделать — всех русских волонтеров сочли за стадо баранов, годное лишь на убой. Ну да бог с ними, с интригами и дракой за кусок пирога, но вы-то зачем хитрите, господа? Не доверяете — скажите, мы уйдем без обиды.

— Вы не в стане заговорщиков, Олексин, — нахмурившись, сказал Брянов. — А то, что Карагеоргиев не считает нужным говорить, это его право. Поверьте на слово.

— Мы верим, верим! — поспешно согласился Совримович. — Не правда ли, Олексин?

— Правда. К сожалению, мы куда чаще верим, чем веруем. Верим в призывы трибунов, в необходимость помощи, в собственную искренность и в искренность друзей. А надо веровать. Веровать! Во что-то надо же веровать, надо, надо! — Поручик вдруг вскочил, щелкнул каблуками. — Извините, господа, что нарушил беседу. У меня две дурные привычки: не вовремя приходит и не вовремя уходит. Честь имею. Вы идете, Совримович?

И вышел из шалаша, не ожидая ответа.

## 2

— Наступление, господа, только победоносное наступление может положить достойный конец этой войне, — говорил Хорватович, расхаживая перед офицерами. — Теперь, когда наша несчастная родина переживает исторический момент, мы обязаны нанести противнику сокрушительный удар. Теперь или никогда!

— Авантюра, — вздохнул Брянов. — Боже мой, очередная авантюра, за которую люди расплатятся жизнями, полагая, что умирают за Сербию.

Мысль эта не давала ему покоя. Дождавшись, когда Хорватович покончил с делами, он испросил разрешение на частную беседу.

— Догадываюсь, с чем пожаловали, капитан, — сказал Хорватович, встретив Брянова у порога. — Надеюсь на вашу прямоту и обещаю быть откровенным. Я искренне уважаю русских волонтеров, начиная с генерала Черняева и кончая последним казаком.

— Вы упомянули Черняева, я не ослышался, господин полковник?

— Генерал Черняев есть первый русский командир на сербской земле, и Сербия никогда не забудет, кому она обязана своими победами в этой войне.

— И поражениями?

— Это сложный вопрос, капитан. Сербский народ отважен и смел, но он не имеет боевого опыта, даже опыта восстаний, которым,

к примеру, обладают болгары. Наше последнее восстание относится к тысяча восемьсот пятнадцатому году: сегодня воюют внуки тех, кто когда-то сражался с турками. Могу ли я винить Черняева, что сербская армия не выдержала ударов регулярных турецких войск?

— Так зачем же... зачем же вы хотите бросить ее в бой сейчас?

— Считаете меня авантюристом?

Бряннов промолчал. Хорватович усмехнулся:

— Значит, считаете. А этот авантюрист думает о Сербии завтрашной. Думает о том, что Сербия — лакомый кусок не только для османов, и если у нее не будет сильной армии, ее проглотят, как устрицу, те же австрийские Габсбурги. Подождите, капитан, я знаю, что вы хотите сказать, но сначала подумайте. Армия зреет в бою и только в бою, это аксиома. А турки сознательно разлагают мои войска. Разлагают бездействием, разлагают тем, что не берут сербов в плен, а отпускают домой, разлагают, сея раздор между сербами и волонтерами, разлагают мирными разговорами, торговлей, теми же беседами в саду на вашем участке. Разве не так, Бряннов?

— И поэтому вы внушили князю Милану желание короноваться?

Хорватович рассмеялся. Он был жизнелюбив, звонок, подвижен, всегда смеялся от души, и Бряннов невольно улыбнулся, хотя ему было совсем не весело.

— Ну, до короны ему еще далеко! Князь Милан не из когорты решительных, таким нужен либо кнут, либо пряник. Я не поклонник монархии, но обещание, которое мы дали князю, было необходимостью. Турецкие резервы остановили свое продвижение в глубь Сербии, и у нас появился шанс. Мы обязаны возродить боевой дух в армии, капитан, обязаны перед завтрашним днем сербского народа. И поэтому — наступление. Только наступление!

— Жертвовать людьми... — начал было Бряннов.

— Это приказ, капитан. — В голосе Хорватовича уже не слышалось улыбочивой мягкости. — Извольте исполнять не рассуждая.

Наступление было назначено на 14 сентября, но с ночи пошел проливной дождь и атаку отложили на сутки. По плану бригада Медведовского, усиленная подошедшими резервами, должна была наступать на правом фланге, прорвать турецкие укрепления и зайти им в тыл. Для отвлечения противника корпус Хорватовича на первом этапе вел сковывающую стрельбу и демонстрировал готовность к бою; после захода Медведовского с тыла корпус переходил в решительную атаку с конечной задачей захвата господствующей высоты со всей артиллерией противника.

С двух часов утра 16-го корпус пришел в движение. Атакующие роты скрытно выдвигались вперед, резервные отводились назад; эта рокировка, затеянная в темноте в целях секретности, запутала не столько турок, сколько собственные войска: части перемещались в места незнакомые, не было карт, не хватало проводников. Роты выходили с запозданием, прибывали не туда, куда следует, перемешивались, теснили друг друга и к рассвету так и не закончили перемещений. Усталые, всю ночь лазавшие с горы на гору солдаты ворчали, офицеры ругались, яростно обвиняя друг друга в неразберихе; от желания атаковать и сбить неприятеля уже не осталось и следа.

Батальон Бряннова был выдвинут вперед, в долину, в брошенный сад, где еще совсем недавно шумел веселый международный базар. Местность была знакомой, роты быстро и скрытно заняли ее, но при этом боевые порядки уплотнились, и Бряннов отвел Олексина назад:

— Будете в резерве, поручик.

После той вечерней беседы вчетвером — беседы, в которой ничего не родилось, кроме недоверия и странной настороженности, — они



почти не встречались, а встречаясь, не разговаривали: оба были обидчивы и не любили выяснять отношений. Совримович пытался примирить их, ходил к Бряннову, разговаривал с Олексиным, но ничего пока не добился.

— Что вы, Совримович, у нас прекрасные отношения с капитаном! — улыбаясь, заверял поручик.

Но отношения оставались натянутыми, и приказ о резерве Гавриил воспринял как очередной акт недоверия. Усмехнулся, но промолчал, помня о дисциплине и предстоящем сражении.

Рота располагалась в заросшей кустарником ложине, сырой и узкой. Поначалу Олексин воспротивился предложению Отвиновского, разыскавшего эту укромную лоцинку, поскольку хотел наблюдать бой, быть на виду и вообще доказать Бряннову свое полное пренебрежение опасностью, но Отвиновский проворчал неодобрительно:

— А при чем здесь наши люди, поручик? Рискуйте сами, если пришла охота.

Стрелковые части уже продвинулись к противнику на ружейный выстрел и завязали огневой бой. Турки отвечали дружными залпами из всех ложементов, артиллерия в сражение еще не вступала, но все вокруг было наполнено неумолчной винтовочной трескотней. Ветер дул в сторону сербских позиций, и пороховой дым сползал в ложину.

— А пушки молчат, господа, — с тревогой отмечал Совримович. — Мне не нравится, что они молчат.

Гавриилу тоже не нравилось, что турецкая артиллерия не открывала огня: это означало, что Медведовский почему-то медлит с атакой, что время идет, бой затягивается, а продвижения нет. Бездеятельное сидение в резерве раздражало и утомляло полной неизвестностью. Накануне все офицеры долго беседовали с войниками, сумели внушить им мысль о хорошей и продуманной подготовке наступления, о резервах, которые уже подходят, о внезапности удара и решительности предстоящей операции. Сербс рвались в бой как никогда, и вот теперь весь этот азарт, все накопленное мужество растрачивалось в пустой перестрелке цепей и в тупом ожидании здесь, в ложине.

Солнце уже поднялось, когда со стороны турок донесся первый артиллерийский залп. Пушки били куда-то в сторону от них, по правому флангу, били настойчиво, из всех калибров. И сразу же Тюрберт, определив турецкие батареи, открыл огонь, начиная артиллерийскую дуэль.

— Это Медведовский! — крикнул Олексин, вскочив. — Только почему же так поздно?

Медведовскому не повезло с самого начала, и виной тому была его кавалергардская спесь: вместо того чтобы провести тщательную разведку местности, он ограничился визуальным определением направления атаки, завел бригаду в болото, где лошади завязли по колено, был вынужден спешиться и атаковать в пешем строю. Непривычные к таким атакам казаки лезли смело, но бестолково и нерасчетливо; подпустив их поближе, турки картечью смели первую цепь, отбросили вторую назад в болото и теперь методически добывали артиллерийским огнем.

Сражение было проиграно в самом начале, но никто не хотел этого понимать. Следовало немедленно отвести части, перегруппировать их и начинать наступление уже без учета несостоявшегося флангового прорыва кавалерии. Следовало, но никто не отдал соответствующих распоряжений, и сражение развивалось так, будто ничего не изменилось в планах атакующих, хотя изменилось самое главное: теперь уже не корпус Хорватовича выполнял роль скосы-

вающей группы, а бригада Медведевского исполняла эту роль. Бой перевернулся с ног на голову.

— Трубить атаку! — приказал Хорватович.

Призывные звуки труб прорвались сквозь артиллерийскую канонаду и ружейную трескотню. Повинуясь сигналу, командиры батальонов отдали приказы, офицеры обнажили сабли; нестройные цепи атакующих выкатились из укрытий на узкую полосу ничейной земли и побежали к турецким укреплениям, тремя ярусами ружейных ложементов опоясавших противоположную гору.

— Вперед, ребята! — кричал Брянов, размахивая саблей. — Не ложись, только не ложись! Вперед!

Его войники, задыхаясь, уже лезли на еще не просохшие, осклизлые глинистые откосы турецких укреплений. Лезли молча, остервенело, в едином порыве, все еще веря в то, что вот-вот за спинами аскеров раздастся мощное казачье «ура», противник прекратит сопротивление и ударится в паническое бегство. Передовые уже перевалили за брустверы, сваливаясь на головы турок и яростно работая штыками и прикладами. Ружейный огонь сразу стих; турки из передовых ложементов стали откатываться назад, привычно не принимая рукопашного боя в траншеях.

Тюрберт, махнув рукой на турецкие батареи, уже азартно и точно перешел в контратаку. Он стоял возле своих орудий в расстегнутом мундире и, не отрывая глаз от бинокля, сорванным голосом отдавал команды, привычно балагурия и не стесняясь в шутках:

— Точнее наводи, молодцы: на нас сейчас все девки смотрят! Кто видит, что левее турки бегут? Наводи им в задницы, не давай опомниться! На все жалованье вина куплю: пушки в нем мыть будете.

Начиная атаку, Брянов уповал только на чудо, и чудо произошло. Точный огонь Тюрберта смял турок, на какое-то время посеяв панику, и роты на первом дыхании ворвались на вершину. Турецкие артиллеристы бежали, частью увезя, частью побросав орудия. Брянов захватил две пушки и немного снарядов.

— Роту Олевел роту бегом и без отставших: Захар бежал сзади, поручикьяльниками подгоняя самых ленивых. Поручик остановил козлы, купю доложил.

— Прекрасно, Олексин, вот вам задача: выбить турок с левого пригорка, занять его и удерживать мой фланг во что бы то ни стало. Я вызову Тюрберта: здесь есть хорошие орудия. В случае если турки вздумают контратаковать, он вас поддержит огнем. Вопросы есть?

— Нет.

— Исполняйте, Олексин. Нам повезло, чудо как повезло, и теперь надо удерживать это везенье.

Рота Олексина заняла соседнюю высоту без боя: турки уже отошли. Но пока он спускался в седловину, пока поднимался в гору по крутым, заросшим колючим кустарником склонам, в батальоне Брянова произошли события, о которых поручик не знал и которые поставили его роту в положение сложное и опасное.

Тотчас по его уходе в батальон явился штабс-капитан Истомин. Поскольку штабс-капитан был полномочным представителем главного штаба, Брянов отрапортовал ему о занятии горы и о захвате пушек, не вдаваясь в особые подробности и ничего не сообщив о маневре роты Олексина.

— Вам надлежит явиться к полковнику Хорватовичу, капитан. И без промедления.

— Надолго?

— Надеюсь, что нет.

— Кому передать батальон?

— До вашего возвращения командиром останусь я.

— Отправьте солдата к Тюрберту, чтобы прислал артиллеристов,— сказал, уходя, Брянов.— Я беспокоюсь за левый фланг.

Истомин послал к артиллеристам русского волонтера. Но Тюрберт не стал особо выслушивать его.

— На хрена мне менять пристрелянную позицию?

— Капитан Брянов просит хотя бы наводчиков, господин подпоручик.

— Пусть он просит их в штабе, у меня и так некомплект. Все советуют, все командуют, все просят!.. Что вы здесь торчите? Идите в штаб.

— Я не уполномочен.

— Ну так доложите своему командиру, что его просьбу я исполнить не могу.

Связной отправился было искать Брянова, но не нашел его: капитан уже миновал позиции. Волонтер добрался до батальона, доложил Истомину, но штабс-капитан лишь выразительно пожал плечами.

А в палатке Хорватовича оказался полковник Монтеверде. Увидев вошедшего Брянова, он встал, выслушал рапорт, молча указал на стул. Когда капитан сел, походил рядом, хрустнул пальцами.

— У вас есть семья, капитан?

— Нет.— Брянов испуганно глянул на него.— На моем попечении сестра. Что-нибудь случилось?

— Нет, но не поручусь за дальнейшее.— Монтеверде остановился перед ним, заложив руки за спину и покачиваясь с пяток на носки.— Вы неисправимы, Брянов.

— Поясните вашу мысль, господин полковник.

— У вас были связи с тайными обществами бунтовщиков, замышлявших дела антигосударственные. Вас прогнали и даже разрешили вам выезд за пределы отечества, полагая, что вы действительно стремитесь принести пользу православному делу. В Бухаресте вы опять связались с элементами противомонархической сходимки, читали их листки. И прибыв сюда, в действии, посещали их вы с упорством фанатика окружаете себя теми, коммуну армией сти или в Сибири, изгоняя преданных престолу и отечеству в край.

— Господин полковник, идет бой. Мой батальон занял господствующую высоту, захватив при этом пушки противника.

— Никто не отрицает ваших боевых качеств и личной отваги, капитан. Полагаю, что за сегодняшнее дело вы будете представлены к награде.

— Благодарю, господин полковник. Я упомянул об этом для того лишь, чтобы просить вас отложить этот разговор и разрешить мне вернуться на передовую.

— К сожалению, это невозможно, Брянов,— вздохнул Монтеверде.— Я получил личный приказ Черняева доставить вас к нему. Никакие особые условия в этом приказе не оговорены, и поэтому вы тотчас же выедете со мной в штаб.

— Но, господин полковник, хотя бы объясните, чем вызвана эта спешка? Снять боевого офицера с командования частью в разгар сражения — согласитесь, случай экстраординарный, и я имею право на разъяснение.

Монтеверде долго молчал, раскачиваясь на носках и изредка похрустывая пальцами. Потом сказал нехотя:

— Вы хороший офицер, но плохой политик, Брянов. Однако я верю в вас, вы лично мне симпатичны, и я скажу то, что говорить не

следовало бы. Полковник Устинов, что был у вас командиром роты,— сослуживец генерала Черняева.

— Значит, эта пьяная свинья...— Бряннов усмехнулся, покачал головой.

— Остальное вы узнаете у самого генерала. Лошади ждут, капитан.

## 3

К вечеру бой стал затихать. Стрелки израсходовали боеприпасы, коморджии не справлялись с доставкой патронов; стрельба делалась все реже, а затем и прекратилась. Хорватович больше не атаковал, поняв наконец, что сражение проиграно, и решив возобновить его на следующее утро, за ночь выведя из боя Медведовского и поставив ему новую задачу. Единственным реальным результатом многочасовой стрельбы и топтания на месте был прорыв батальона Бряннова и захват турецкой батареи. Остальные батальоны продвинулись мало либо не продвинулись совсем; их не имело смысла держать на временных рубежах, и командование корпуса отвело все части на прежние позиции. Все, кроме брянновского батальона и отдельно расположенной роты Олексина: в сумятице новых перемещений об этой роте просто-напросто забыли.

— Слава богу, темнеет,— сказал Совримович.— До утра можем не беспокоиться: ночью турки не ползут.

— А если ползут? — спросил Отвиновский.

— Ночью они не воюют. Коран не позволяет.

— Какой там Коран, когда Хорватович провалился с атакой! — усмехнулся Отвиновский.— Самое время ответить ударом.

— Вот перейдете к ним и будете командовать по-своему,— желчно пошутил Олексин.

— Да, уж такого случая я не упущу.

На ночь поручик выставил усиленные секреты, приказав остальным спать. Измотанные пустым ожиданием солдаты, поужинав всухомятку, тут же и завалились, но командиру не спалось. Он понимал, что Отвиновский прав: лучшего времени для контратаки, чем эта ночь, нельзя было себе представить. Он запретил жечь костры, чтобы не объявлять о себе до времени, и теперь мерз в шинели, заботливо захваченной Захаром. Сидел, привалясь спиной к дереву, думал о своей первой войне, но думал так, будто война эта уже прошла, и потому думал с грустью, словно вспоминая и ее, и свой нетерпеливый порыв, и наивные желания что-то сделать, как-то отличиться, кому-то принести пользу. «Кому я хотел принести пользу? Кому? — с горечью думал он.— Кому нужны наши жертвы, когда даже Хорватович — даже Хорватович! — вынужден тратить столько сил не на благо родины, а лишь для укрепления своего влияния и положения. Даже Хорватович, бесспорно самый талантливый и яркий из тех, кого я встречал в Сербии...»

Продрогнув окончательно, он решил пройтись, а заодно и проверить секреты. Совримович спал, поживаясь от ночной свежести, и Олексин не стал его будить. Растолкал Захара, шепотом объяснил, куда и зачем идет, и шагнул в кусты, осторожно ставя ногу, чтобы не наступить на кого-либо из спавших вповалку войников.

В секретах не спали, а если и подремывали, то по очереди. В одном месте Олексина чуть не обстреляли — в темноте до окрика клацнул затвор,— но в целом обходом поручик был доволен и даже приободрился, согрившись и поверив в своих людей. Все ощущали бли-

зость врага, предчувствовали завтрашний бой, и от прежней мирной безмятежности не осталось и следа.

— Стой, кто идет?

— Свой. Поручик Олексин.

Окликнули по-сербски, но Гавриил понял, что окликал не серб. Шагнул ближе, взгляделся в поднявшегося из-под куста волонтера.

— Вы, Карагеоргиев?

— Не сплю,— вместо того чтобы представиться, сказал Карагеоргиев.— Напарник спит, через час разбужу. Если не возражаете.

— Пусть отдохнет.— Гавриил сел рядом, спустив ноги в открытую тут, под кустом, ячейку.— Что турки?

— Угомонились. С вечера жгли костры, кричали «алла!». Довольно воодушевленно.

— Значит, с рассветом ударят.

Карагеоргиев промолчал. Поручик посмотрел на его размытое темной лицо, подумал, покусывая прутик.

— Кому вы хотели помочь, Карагеоргиев? Как вы оказались в Сербии, зачем оказались, почему? Конечно, вы опять можете мне не ответить, это ваше дело. Но я спрашиваю без задней мысли: сегодня я задал этот вопрос себе и... и не смог ответить.

— Не смогли ответить за меня или за себя?

— За себя.

— Хотите, чтобы это сделал я?

Гавриил не видел, но чувствовал, что Карагеоргиев насмешливо улыбается.

— Сделайте милость,— сухо сказал поручик.

Его оскорбила явная издевка волонтера, и от прежнего желания говорить уже ничего не осталось.

— Итак, кто я, зачем и почему? Попробую объяснить, хотя... хотя и ни к чему нам эти откровенности. Рано или поздно человек должен знать ответ на эти вопросы, если он человек. Так вот, поручик, я хочу свободы. Свободы не для себя, заметьте, ибо свобода для себя есть высшее проявление самодовольного эгоцентризма, а свободы для всех, и прежде всего для моей родины. Во имя этой свободы я всеми силами помогал Левскому, добывал оружие и деньги, налаживал связь, писал, убеждал и спорил. Во имя этой свободы я умолял Ботева отказаться от его наивной попытки всколыхнуть Болгарию триумфальным маршем одного отряда. Он отказался, и я не пошел с ним, о чем жалею и буду жалеть. Нелогично? Возможно, но я высоко ценил этого человека и искренне хотел бы разделить с ним его судьбу. Во имя этой свободы я приехал сюда, в Сербию, с мечтой собрать болгарский корпус, сплотить его в боях, вооружить, обучить и на его основе создать костяк будущей болгарской народной армии. Меня не захотели слушать, болгарских волонтеров разбросали по разным частям, и я ничего не смог сделать. Как видите, у нас с вами разные цели, поручик, и ваши иллюзии мне, извините, смешны.

— То, что вы называете иллюзиями, есть чувство, непонятное вам, Карагеоргиев. Да, да, непонятное. Вы для этого слишком отравлены. Отравлены рационализмом, длительной эмиграцией, социальными фантазиями.

— А если отравлены вы, а не я? Представьте хоть на мгновение, что все то, что вы перечислили, не отравы, а лекарство. А отравы как раз в обратном: в рабской привязанности к своему образу жизни, в рабской покорности своим правителям, в рабском следовании идеям, спускаемым из правительственных канцелярий. Идеям, рекомендованным к насаждению в умы и высочайше утвержденным монаршей рукой. Вы же разумный и мыслящий человек, так представьте хоть

раз в жизни, что все ваши идеалы относительны, что есть иные идеалы, основанные не на слепом подчинении раба, а на свободном убеждении свободного человека. И тогда спросите себя: зачем вы здесь?

— И что же я отвечу?

— Вы здесь потому, что вас послали. Приказ можно отдать перед строем, а можно и внушить. Вам внушили, что сербам нужна помощь, что православие умоляет вас о жертве, и вы с энтузиазмом помчались в эту страну, полагая, что исполняете свою волю, а на самом-то деле покорно исполняя чужую.

— Вздор, Карагеоргиев! Я исполнял свою волю, я еще не сошел с ума, я...

— А откуда же тогда вопросы, поручик? — тихо спросил Карагеоргиев, и Гавриил сразу замолчал. — У человека, поступающего в согласии с собственной волей, вопросов нет. Вопросы возникают тогда, когда ваша личная воля приходит в столкновение с волей, вам навязанной; помните такое учение? У меня, например, вопросов нет: я точно знаю, что я ненавижу. Я ненавижу государственный строй, направленный на подавление личной воли человека, и самодержавие как образец этого строя. Я ненавижу людей, воспринимающих это подавление с восторгом и умилением, называя его патриотическим чувством. Я ненавижу, наконец, романтиков типа нашего Стойчо Меченого, подменившего борьбу за людей борьбой против людей. Ненавижу, не скрывая этого, и в этом мое преимущество перед вами и вам подобными, поручик.

Только потом Олексин вспомнил, что Карагеоргиев так и не сказал, что же он любит. Не сказал не потому, что стеснялся, а потому что ничего не любил. Ничего. Он умел лишь ненавидеть и потому с легкостью обвинял в этом других.

Вернувшись, поручик разбудил Совримовича, рассказал про турецкие костры и крики, но о Карагеоргиеве распространяться не стал. Прилегал подремать, хотел о чем-то подумать — о чем, он и сам теперь толком не знал, а просто хотел думать, — но пригрелся и вскоре уснул спокойным молодым сном.

Проснулся от ружейного залпа. Сбросил шинель с головы, сел, соображая. Ударил второй залп, и началась стрельба по всему лесу — уже не залпами, а лихорадочными и неприцельными одиночными выстрелами, — и поручик сразу вскочил, поняв, что рота его яростно отстреливается от наседающих турок.

Рядом никого не было. Поручик, торопясь, прицепил саблю и шумно побежал на опушку, откуда слышалась стрельба и где ночью он выслушивал злые нотации Карагеоргиева. Он не успел добежать до стрелков, когда впереди послышались шаги спешивших и оступающихся людей, тащивших что-то тяжелое и неудобное для носки. Кусты перед ним раздались, и четверо солдат, семена, выбежали навстречу, волоча по подлеску раненого на окровавленной грязной шинели.

— Стой! — крикнул Олексин, еще издали увидев мотающуюся из стороны в сторону цыганскую бороду раненого. — Что с вами?

— Не уберется, — виновато сказал Совримович, кусая побелевшие губы. — Турки открыто шли, не знали, видимо, что мы на горе. Я подпустил на тридцать шагов, встретил залпом.

— Куда вас?

— В бок, не повезло. Пошлите кого-нибудь к Брянову, Олексин. Без помощи недолго продержимся.

Поручик посмотрел на носильщиков: трое были сербами, четвертый — краснорожий, с бородой венником — русским.

— Как тебя?

— Валибеда, ваше благородие!

— Беги к капитану Брянову. Доложишь о турках, попросишь помощи и... врача. Обязательно пусть пришлют врача.

— Слушаюсь!

Валибеда тут же кинулся к откосу, ломая кусты. Приказ идти в батальон он явно воспринял как отпуск в тыл, обрадовался этому и очень старался.

— Какой там врач, Олексин,— со стоном поморщился Совримвич.— Откуда у Брянова врач?

— Мужайтесь, друг.— Поручик встал на колени, пожаа бессильно лежавшую поверх груди руку.— Вас перевязали?

— Захар постарался. Пуля внутри, вот скверно.

— Мужайтесь,— еще раз повторил Гавриил, вставая.— Несите.

Сербы дружно взялись за шинель, подняли отяжелевшее тело, понесли, путаясь ногами и спотыкаясь. Совримвич болезненно охнул.

— Осторожнее! — крикнул Олексин.

Он вдруг подумал, что Совримвич непременно умрет, испугался этой мысли, попытался заслонить ее другими, очень важными сейчас: о роте, о повторном приступе турок, о том, хватит ли патронов, пока придет помощь. Он задавил, загнал эту мысль в глубину сознания, но она так и осталась в нем, и он знал, что она осталась, и от этого ему было горько.

## 4

В Ясной Поляне все устроилось. Тот неприятный разговор, что завел Лев Николаевич уходя, больше не возобновлялся, а вскоре Софья Андреевна познакомилась с Екатериной Павловной, отнеслась к ее положению с полным пониманием, и Олексины, недолго пожив в деревне, перебрались во флигель. Однако Василий Иванович не забыл тех графских слов, долго носил их в себе, по-отцовски лелея обиду, а потом, набравшись духу, выпалил все Толстому с чисто олексинским холерическим раздражением.

— Я так говорил? — изумился Лев Николаевич.— Полноте вам, Василий Иванович.

— Лев Николаевич, этим удивлением вы вынуждаете меня либо сознаться в заведомой лжи, либо покинуть ваш дом,— надуто сказал Олексин, произвольно выпрямляя спину.— Тому свидетелем мой брат Федор. Извольте, я приглашу его, но после этого уж... как мне ни неприятно... но позволить даже вам, глубоко чтимому мною...

Василий Иванович забормотал совсем уж что-то несусветно обиженное. Толстой слушал его, пряча в бороду улыбку, но весело блестя глазами.

— Ай, какое дитя,— сказал он, ласково тронув Олексина за руку.— Большое бородатое дитя. Извините вы меня, бога ради, Василий Иванович, я ведь и вправду запамятовал, что говорил тогда. Теперь припомнил, но мне скорее смешно, чем стыдно.

— Конечно, вашему сиятельству это может показаться смешным...

— Да полноте, полноте, дорогой Василий Иванович! — добродушно улыбулся граф.— Я ведь над собой смеюсь, а не над вами. Знаете отчего? Оттого что сидит в нас, в каждом человеке, какая-то пружиночка. Как в музыкальной шкатулке. Не сознаемся мы в ней, а она нет-нет да и соскочит, да и заиграет свое. И тогда умный вдруг глупости говорит, щедрый грязную ассигнацию из сточной канавы поднимет, злой убогого обласкает или еще как. Поди и у вас такое бывало?

Олексин обиженно молчал. Толстой, улыбаясь, погладил бороду, наклонился, опять тронул за руку.

— А за сиятельство я штраф объявлю, так и знайте, Василий Иванович!

Василий Иванович хотел ответить очередной резкостью, но глянул в веселые глаза и облегченно рассмеялся.

— Ну вот и хорошо, вот и поладили,— удовлетворенно сказал Толстой.— А полюбопытствовать себе все же позволю, коли предмета этого коснулись. Церковный брак вы тоже отвергаете? Уж если бога отвергли, церковь отвергли, то и брак тоже?

— Отверг, — сухо подтвердил Василий Иванович.

Толстой уловил эту подчеркнутую сухость и тут же изменил разговор. Олексин слушал его, поддакивал, вставляя замечания, а думал совсем о другом. И думал мучительно, истязая себя, как только он мог истязать.

Обладая завидным свойством безоглядно влюбляться как в идеи, так и в особенности в людей, Василий Иванович стал замечать, что его отношения с Толстым начинают приобретать оттенок неравенства. Олексин терял способность критически воспринимать то, что излагал хозяин Ясной Поляны, что он писал и, главное, что проповедовал. Все было бы естественно и просто, если бы неравенство существовало лишь в сферах возвышенных, но оно существовало не только там, оно было данностью, реальностью жизни, это неравенство сословное и имущественное, разведившее их не на позиции кумира и поклонника, а на куда более земные позиции сиятельного хозяина поместья и нищего домашнего учителя. И втайне все более восторгаясь Толстым, Василий Иванович до ужаса боялся, что это его почтение, этот трепет перед могучим талантом кем-то может быть истолкован житейским раболепием слабого перед сильным.

— Нет, это невозможно, невозможно! — говорил он, суетливо бегая по комнате и теребя бородку.— Если бы я был независим, господи, да я бы двор его почел бы за счастье мести! Я бы, я бы... Я бы путь его каждое утро цветами устилал: ходи, могучий дух России! Но я же не могу, не смею! Ведь что увидят, Катенька, что? Что я лишнюю пятерку вымаливаю? Чаек у Софьи Андреевны? Милостыньку? Нет, нет, уходить надо, уходить. Уйти и боготворить издалека. Боготворите издалека кумиров ваших, иначе непоняты будете.

— Кто не поймет-то, Васенька? Люди? Тогда где же смирение твое? Или смирение — только слова, а на деле гордыня дворянская?

Екатерина Павловна разговаривала спокойно: идей рождалось множество, и она уже научилась не растрачиваться впустую. Считала это детством, навеки поселившимся в бородатом идеалисте, любила его и за это, но постепенно исподволь усвоила с ним тон материнский, не замечая, что тон этот обижает его.

— Не людской молвы я боюсь, Катя. Я боюсь, что он не поймет, что он неверно истолкует мычания мои мучительные, вот чего боюсь!

— Пустое это, Васенька. Лев Николаевич достаточно мудр, чтобы ценить тебя именно таким, каков ты есть.

— Но ведь мысль, сама мысль о возможности мучительна, Катенька! Мысль всегда мучений мучительнее — вот ведь в чем парадокс.

— Это у тебя только. У тебя одного.

— Не верю, не верю. Это людское свойство. Общечеловеческое.

— А Федя?

И Василий Иванович умолкал. Он перестал понимать младшего брата, утратил влияние на него, был смущен и поколеблен в себе самом, ощутив чувства незнакомые, среди которых страх занимал не последнее место.



Приняв радостное участие в переезде Василия Ивановича с семьей в Ясную Поляну, сам Федор Олексин ехать куда бы то ни было категорически отказался. Устроился на казенный завод — говорил, что учетчиком, — в гости приезжал редко, только по воскресеньям. Был поначалу молчалив, даже подавлен, но в последнее время вдруг резко изменил поведение, усвоив нелепые, оскорбительно развязные манеры. Громко и грубо разговаривал с мужиками, кричал на них, свистел в доме, засовывал руки в карманы и подчеркнуто неприлично вел себя за столом, когда их приглашали к вечернему чаю. В конце концов уязвленная этим небрежением Софья Андреевна перестала просить его пожаловать, но он, если случалось приезжать из Тулы, все равно ходил к Толстым уже без всякого приглашения, что было верхом неприличия. Лев Николаевич молчал, с интересом относясь к этому эпатажу, но Василий Иванович страдал и конфузился.

— Федор, ты ведешь себя возмутительно.

— Плевать на авторитеты. Плевать! Их выдумало рабство, а я хочу быть свободным. Свободным! Это мое право. А не нравится — укажите мне на дверь. Укажите, и я уйду. Может быть.

— Уйди не дожидаясь, Федя, так приличнее. Тебе учиться надо, закончить в университете.

— Рабы! — кричал Федор. — Рабы приличий, положений, традиций, авторитетов — эт сетера эт сетера! А мне плевать на все, Васька. Плевать! И я твоему сиятельному гению в глаза это выскажу. О равенстве рассуждаете? Врете, ваше сиятельство! Сами-то, сами без оного обходитесь, а посему философия ваша лжива. Проповедник не тот, кто ораторствует, а тот, кто живет по проповедям своим, иначе ложь все. Ложь! Тонем во лжи этой, захлебываемся и без вашей помощи. Так не умножайте ее хотя бы, если на большее не способны!

Пока Федор сокрушал авторитеты с глазу на глаз, Василий Иванович еще мог спорить с ним, упрашивать и увещевать. Но брат явно входил во вкус и рвался к иным аудиториям. Вот этого Олексин уж никак не мог снести, и ожидание скандала было дополнительным мучением его и каждодневным страхом. И не напрасно: Федор вылетел на них субботним вечером, когда Василий Иванович и Толстой мирно обсуждали Сережины успехи. Бродили по саду, покойно разговаривали и появление Федора встретили в неподготовленной позиции. Тем более что младший Олексин начал излагать свои сумбуры еще изда- лека и без всякого повода:

— Рабство! Свобода! Авторитеты! Лжепроповедники!

Лев Николаевич слушал серьезно. Василий Иванович пытался вмешаться, но Федор выкладывал все без пауз и перебить его не удавалось.

— А что же вместо? — тихо спросил Толстой, когда Федор чуть примолк, переводя дух.

— Вместо? Почему вместо? Вместо чего?

— Пустыря вместо? Разрушите — разрушить все можно, — а потом? Пустырь с бурьяном — такова идея?

— Почему же пустырь, почему? — Федор был несколько сбит с толку, и агрессия его пошла на убыль. — Новое построим, новое и прекрасное. На пустыре и строить сподручнее.

— А что строить-то, Федор Иванович? Надо же план иметь про запас, чертежи, идею. Отрицание тогда разумно, когда за ним созидание скрыто. А коли просто так — разрушать, чтобы разрушить, тогда что же потом-то будет? Ну, разрушат мужички, вас послушавшись, сожгут, изломают, топорами разнесут: пугачевщина в крови у нас, как хмель вчерашний. Так что же на пожарище этом делать думаете, когда разрушите все и разрушать более уж нечего будет? Что? Храм но-

вый из старых бревен? Ведь вы же на него замахиваетесь, на храм нравственности народной, не на барскую усадьбу. Что же вы в венцы храма этого нового положите, на какие камни его обопреете? Не пошатнулся бы он без устоев-то, Федор Иванович.

Толстой говорил спокойно, даже благожелательно; этот оттенок отеческой благожелательности и выводил Федора из себя. Однако вопреки обыкновению и страхам Василия Ивановича грубить хозяину Федор не стал.

— Храм и без нас качается,— тихо сказал он.— Нравственность, говорите? А что это — нравственность? Шестнадцать часов работать— это нравственность? А штрафы — тоже нравственность? А рабочих бить — это как назовем? Да, пьют они, облик человеческий теряют, воруют что ни попадя — и все только на водку. Деньги — на водку, одежду — на водку, с завода краденое — тоже на водку. Да что там — он за водку жену родную отдаст и детей в придачу! Отчего же все это? А оттого, что тупеет в каторге этой человек, в скотину превращается, ложь от правды отличить не может, да и не нужна ему ни ваша ложь, ни ваша правда! Ему своя правда нужна, простая как топор: сила солому ломит. Этого он пока еще не понял, пока он силу свою на водку растрачивает да на драки, а ну как поймет? Да однажды на нас с вами... А? Мокрое место от нас останется, Лев Николаевич, когда он сообразит, что правда-то — в силе.

— Злая правда это, Федор Иванович,— вздохнул Толстой.— И нового вы ничего не открыли: было уж это, было. Убей — и будешь прав; отомсти — и будешь прав; насильничай — и будешь прав. Да от этого зла, от крови этой человечество-то и восходило вместе с Христом. Искуплено это, все искуплено, и не надо новых искуплений. Веровать надо, Федор Иванович.

— Во что же веровать, Лев Николаевич?

— Во что? — Лев Николаевич долго молчал, хмуря густые брови. Потом сказал: — Сегодня отвечу — в бога, и не солгу. А завтра?.. Завтра что отвечу себе самому? Солгу ли привычно или силу в себе найду не лгать уж более? Надо, надо о смерти думать, если жить хочешь. Вот решил я однажды все на веру принять, со смирением, так как положил, что разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному. Решил не замечать более ни лжи церковной, ни нелепиц обрядовых, ни обмана, ни неправды. Решил — и исполняю все обряды и стараюсь быть православным, а дух мой смущен, и часу не проходит, чтобы не думал я, во что же веровать завтра.

— Соборным разумом честно не проживешь,— тихо сказал Василий Иванович, доселе стесненно молчавший.— Коли каждый за себя отвечает, то и думать каждый за себя должен. И решать.

— В силу веровать надо,— вдруг твердо сказал Федор.— В силу!

— В силу, Федор Иванович, только слабые веруют,— грустно усмехнулся Толстой.

## 5

Турки настойчиво атаквали высоту, занятую ротой Олексина. Цепи их выкатывались из кустарника напротив и, поддержанные ружейным огнем стрелков, быстро достигали половины подъема; дальше начиналась круча, движение замедлялось, цепь разбивалась на отдельные звенья, ложилась и вскоре откатывалась назад. Наступала короткая передышка, и снова солдаты в красных фесках появлялись из противоположных кустов.

Молчала батарея Тюрберта, молчал и батальон Брянова. А когда он наконец начал не очень активно постреливать с фланга, турки уже успели просочиться в седловину между возвышенностями, надежно

блокировав Олексина на занятой им горе. Рота пока еще отбивалась, пока еще ее спасала крутизна скатов, ломавшая атакующие цепи, пока еще были патроны, но время шло, помощь не приходила, а турецкие аскеры уже неторопливо пробирались по седловине, обходя роту с тыла.

— Потери невелики,— сказал Отвиновский, в перерыв между атаками обойдя позиции.— Но если Бряннов не поспешит на выручку, нас в конце концов окружат со всех сторон.

— Предлагаете отступить?

— Обидно: позиция хорошая.

Гавриилу показалось, что опытный Отвиновский не дает совета отступить, чтобы о нем не подумали, будто он струсил. В этом опять слышался звон шпор и бряцание сабли. Но и сам поручик, понимая, что без помощи извне они почти обречены, не решался дать команду на отход по той же причине. Легче было умереть, чем допустить саму возможность упрека в трусости. Оба они думали в этот момент одинаково, и оба только о себе.

— Что-то Тюрберт молчит,— сказал Олексин; наступившее за тишь в атаках было мучительно своей тишиной.— Я послал связного.

— Ладно, Олексин, хватит лукавить,— сердито прервал Отвиновский.— Ни вы как командир, ни я как ваш заместитель не придумаем ничего путного, а когда придумаем, будет уже поздно. Турки, похоже, обедают, так пойдем пока к Совримвичу.

Совримвич лежал под наспех сооруженным навесом. Рядом на кое-как прикрытых шинелями ветках стонали еще шестеро; два молодых серба перевязали раненых, уложили поудобнее, а теперь молча сидели поодаль на корточках, терпеливо ожидая, когда принесут новых или когда кто-либо помрет от потери крови: три неподвижных тела уже покоились в кустах.

— Очень больно? — спросил Олексин, опускаясь на землю подле раненого.

И сразу же пожалел об этом праздном вопросе: боль стояла в светлых глазах Совримвича. Лицо его заострилось и побелело, все утонув в свалывшейся, мокрой от пота бороде.

— Думаю,— старательно выговорил Совримвич, с трудом разлепив запекшиеся губы.— Зачем же так, господа, нерасчетливо так? Столько молодых душ, цвет России, совесть ее. Куда бросили? Что спасать, что защищать? Отечество? Оно далеко отсюда. Что же тогда?

— Вы меня спрашиваете? — вздохнул поручик.— Я убежден, Совримвич, я убежден, что отечество наше знает, зачем послало нас сюда. Нет, не можем, не смеем оставить в беде ни болгар, ни сербов. Я понял это, господа.

— Успеть бы додумать, успеть бы... — с суетливой тревожной настойчивостью повторял Совримвич не спеша.— Весь этот славянский вопрос ложно поставлен. Из головы, а не от сердца... Я путано говорю?.. Успеть бы додумать, успеть бы... А сколько жертв, сколько мук, сколько нравственной энергии потрачено впустую! Но нельзя же так, господа, нельзя! Ведь кто-то же должен ответить за то, что мы умираем. Кто-то должен, должен!..

— Кто-то должен,— вздохнул Гавриил.— Кто-то должен, но — кто? Может быть, я сам, лично? Я тосты поднимал за святую Русь.

— Она спит в гробах нетленных,— вдруг строго сказал раненый,— и не тревожьте ее покой. Есть Россия. Россия, свободная от крепостничества и не знающая, куда девать эту свободу и что с ней делать. И не надо путать ее с ветхозаветной Русью. Как только мы путаем, мы начинаем пятиться назад. А Россия должна идти вперед. Вперед, а не назад. Вот за Россию я бы умер с восторгом, клянусь

вам, господа. С восторгом и умилением! А за прошлое... за прошлое умирать бессмысленно. Бессмысленно умирать за вчерашний день...

В груди его захрипело, забулькало, судорожный кашель потряс все тело. Розовая пена выступила на тонких губах, он отер ее ладонью, сразу же тяжело рухнув на спину.

— Легкое задето,— тихо, словно самому себе сказал он.— А я еще надеялся...

— Даст бог, обойдется,— сказал Отвиновский, не веря в то, что говорит.

— Вы обещали мне, Отвиновский, помните? — с жарким беспокойством начал Совримович.— Вы приехать к нам обещали, я помню, отлично помню. Поклянитесь же, что приедете, что сдержите рбещание. Поклянитесь, прошу вас, мне легче будет, если вы поклянетесь. У меня только матушка одна да кузина. Красавица кузина, я влюблен в нее, что уж теперь-то...

Частая стрельба вспыхнула совсем близко, и не на позициях, не впереди, а на спуске в котловину, где Олексин на всякий случай держал полувзвод.

— Вот и обошли,— сказал Отвиновский, вскакивая.— Я туда, Олексин.

— Стойте! — опять приподнявшись, крикнул Совримович, видя, что и поручик торопится уходить.— Не отдавайте меня живым, господа, умоляю вас, не отдавайте! Все равно ведь убьют, но помучают сперва, а я мучений боюсь. Я бы сам застрелился, да не смогу, сил нет, и рука дрожит. Олексин, я вас прошу, слышите? Я умоляю, именем матери умоляю, Олексин!

Гавриил остановился, в замешательстве не находя слов. Он чувствовал, знал, что никогда не сможет выстрелить в Совримовича, а лгать не решался.

— Что же вы молчите, Гавриил? — с надрывом выкрикнул Совримович.

— Я обещаю вам это,— резко сказал Отвиновский.— Я вам клянусь. И в том, о чем вы просили до этого, тоже клянусь.

— Спасибо,— прошептал Совримович, обессиленно опускаясь на окровавленную, отсыревшую за ночь шинель.

Пока поручик не разбирая дороги, напрямик через кусты бежал к основной цепи своих стрелков, частая беспорядочная стрельба началась и впереди вдоль всех позиций, и он понял, что турки пошли на новый штурм. Дело осложнилось, но он все же больше беспокоился за фланг, на котором вдруг оказался противник и который удерживал сейчас Отвиновский с полувзводом малообученных и плохо стрелявших сербских войников. Он еще не успел добежать до позиций, как впереди послышались крики, топот множества ног, треск ломаемых веток. Сквозь деревья уже мелькали люди, бегущие на него или обтекающие по бокам, его люди, он узнал их сразу, и сердце его защемило от отчаяния. Рота бежала с позиций, бежала в панике, бросая оружие и надеясь только на быстроту ног.

— Стой! — закричал он, вырывая из кобуры застрявший кольт.— Стой, застрелю!

Солдаты шарахнулись от него, но не остановились. Он выстрелил в воздух, потом в кого-то из бегущих, но не попал. А люди продолжали бежать — молча, задыхаясь, в ужасе шарахаясь от каждого выстрела в почти окруженном лесу.

— Бегут! — кричал появившийся из кустов Захар.— Бегут, мать их так! Черкесы без выстрела подползли, левый фланг в кинжалы взяли! Тикать надо, Гаврила Иванович, тикать: сейчас турки ворвутся, поздно будет!

— Задержи их! Тут задержи! Там раненые, раненых вытащить надо!

— Попробую,— вздохнул Захар.— Эх, племянничек, ваше благо-родие, хоть бы рядом помереть, что ли... Стой! Стой, вашу мать, всех пострелю! Ложись! Ложись тут!

Кажется, он успел остановить Карагеоргиева, французов, кого-то из русских волонтеров — Гавриилу некогда было рассматривать. Тот десяток, что матом и кулаками остановил-таки Захар в кустарнике, был с оружием и уже начал стрелять, и Олексин бросился назад, где лежал Совримович и другие раненые и где совсем близко звучали нестройные выстрелы полувзвода Отвиновского. Он бежал назад, с горькой обидой думая, как низко и подло бросил его Бряннов. Он сознавал, что сейчас не время для обид, гнал их от себя, старался думать о другом, но обида эта жила словно не в разуме его, а в нем самом, в больно сжимавшемся сердце, в безнадежном отчаянии, которое все более овладевало им. «Так нельзя, нельзя! — твердил он себе.— Надо перенести, спрятать куда-то раненых, а потом... Неужели Бряннов не ударит с той стороны? Он же видит, видит, что я погибаю!.. Надо собрать людей и попытаться пробиться к батальону. Еще можно, в седловине еще не много турок, еще есть шанс... Но Бряннов, Бряннов!..»

Думая так, поручик не знал ни того, что Бряннова не было в батальоне, ни того, что батальоном этим командовал теперь штабс-капитан Истоминон, ни того, что Валибеда так и не дошел до него. Не знал и самого главного: турки атаковали Истомину одновременно с ним и, отбив три турецких атаки, штабс-капитан счел позицию невыгодной, пострелял немного и приказал отступать. И пробиваться Олексину было попросту некуда: турки не только просочились в седловину, но и заняли соседнюю гору.

По поляне, на опушке которой располагались раненые, в панике метались войники. Хватали пожитки, вновь бросали их или прятали; куда-то, торопясь, волокли раненых; кто-то брал из ящичков патроны, торопливо набивая подсумки, а кто, наоборот, горстями выгребал патроны, разбрасывая их по кустам. Стрельба слышалась совсем рядом, пули жужжали над поляной, и со стороны седловины все отчетливее доносились чужие страшные крики «алла!». Гавриил попытался остановить, образумить бегущих, кричал, ругался, кого-то хватал, кого-то бил, кому-то грозил револьвером, но никто не слушал да и не видел его. Все металось, кричало, бежало: страх перед турками уже лишил людей воли и мужества.

— Оставьте вы их, Олексин,— с раздражением сказал Отвиновский.— Дело проиграно.

Он стоял у навеса, набивая патронами барабаны револьверов, был бледен, но спокоен, даже пальцы не дрожали.

— Что там, Отвиновский?

— Полный конфуз, поручик. Сейчас турки будут здесь. Ваш кольт заряжен? Заряжайте.— Он бросил Гавриилу мешочек с патронами.— Я пока исполню долг. Или вы желаете?

— Как вы можете, Отвиновский! — в ужасе крикнул Олексин.— Не смейте, слышите? Не смейте, я запрещаю вам это!

— Зарядите револьвер. И берегите мужество, оно пригодится.

Сказав это, Отвиновский сунул один из револьверов за ремень, второй зажал в руке и вошел под навес. Здесь лежали только хрипло дышавший, уже умирающий серб да Совримович: раненых полегче войники уже унесли. Увидев Отвиновского, Совримович изо всех сил потянулся навстречу, опираясь на локти.

— Что, Отвиновский? Что, турки?

— Прощайте, друг,— негромко сказал Отвиновский, щелкнув взведенным курком.

— Не на-а-а... — тонким жалобным голосом простонал Совримо-вич, судорожно напрягшись всем телом.

Сухо ударил выстрел. Совримович дернулся, забил ногами, мучительно захрипел. Рухнул навзничь, все еще выгибаясь и суча ногами. Из горла хлынула кровь, густо окрасив цыганскую бороду, раздался последний мучительный вскрик, и тело обмякло.

— Прощайте, друг,— еще раз шепотом повторил Отвиновский и вышел.

Олексин стоял рядом с навесом, непослушными пальцами заталкивая патроны в барабан кольта.

— Я слышал, я все слышал. Он не хотел умирать. Вы убийца, Отвиновский!

— Теперь вы поняли, господин идеалист, что война — это мерзость? — насильственно улыбнулся поляк.— Как бы там ни было, а пора уходить. Вместе идем, или вам теперь со мной не по дороге? Да что с вами, поручик?

Лицо Олексина вдруг точно опустилось, челюсть отвисла. Неуверенной рукой он ткнул куда-то за плечо Отвиновского:

— Турки...

Отвиновский быстро оглянулся: позади них из кустов выходили семеро в красных фесках и синих мундирах, держа ружья наперевес.

— Бейте, Олексин! — крикнул Отвиновский, падая за куст.

Поручик все еще заправлял барабан кольта в гнездо. Один из патронов был дослан не полностью, барабан не становился на место, а Гавриил не видел этого, потому что смотрел на турок и все пытался зачихнуть этот барабан.

— Ложитесь! — крикнул Отвиновский.— Какого черта?

Он дважды выстрелил, турок упал, остальные бросились назад. Поручик пригнулся, прощмыгнул за куст, и тотчас же ударили выстрелы. Пули срезали ветки, на головы сыпалась листва.

— Отходим! — кричал Отвиновский, отстреливаясь.— Что у вас с оружием?

— Заело барабан.

— Патрон поправьте! Война только начинается, учитесь, поручик.

Стреляли со всех сторон, весь лес был пронизан пулями, криками, синим пороховым дымом. Турецкие солдаты вновь появились на поляне, перебегая от куста к кусту.

— Бегите! — крикнул поляк.— Я задержу их, бегите!

Поручик бросился в лес, но навстречу почти одновременно ударило несколько выстрелов. Он не упал и даже не остановился, а лишь круто повернул и бежал теперь по опушке, огибая поляну. Сзади слышались крики, нестройная стрельба, но в этой стрельбе он все еще выделял редкие прицельные выстрелы Отвиновского. «Надо беречь патроны, надо...» — мельком подумал он, старательно, как ученик, твердя себе, что у него их ровно пять и что он может выстрелить только четыре раза.

Из-за дерева, до которого он почти добежал, вдруг выдвинулся турок. Это было как во сне: и неожиданность появления турка, и его рост, казавшийся Олексину огромным, и несоразмерно длинное ружье, которое держал он наперевес, направив штык в живот поручику. Гавриил выстрелил, не останавливаясь и не целясь, с пронзительной ясностью увидел, как брызнула из лица кровь, как турок выронил винтовку и начал падать, хватаясь за воздух руками. Олексин перепрыгнул через него, заметил в кустах синие мундиры, трижды выстрелил. Кто-то закричал там, кто-то упал, катаясь по земле, а он успел подумать

только о том, что у него остался последний патрон в револьвере. Только об этом, потому что в следующее мгновение ощутил режущий острый удар, звоном отдавшийся в голове. На миг, как вспышка, пронзила боль, колени подломились, и поручик Олексин с разбегу сунулся в кустарник головой, уже обильно залитой кровью.

## 6

Казалось — внешне, для всех, но не для Маши, — что ничего не изменилось ни в старшем Олексине, ни в самом московском доме, по-прежнему жившем размеренной неторопливой жизнью. Этой жизни не помешали ни приезд барышень, ни внезапное, как обвал, появление Федора: как всегда, отец завтракал один, обедал с теми, кто находился дома, отдыхал после обеда, пил чай за общим столом и рано уходил к себе. А спал мало и тревожно, и Маша, за полночь подкрадываясь к дверям, слышала его тяжелые шаги, чирканье серных спичек и — редко, правда — неясное бормотание. Отец разговаривал то ли сам с собой, то ли с теми, кто уже ушел из его жизни, нанеся ему этим новые горькие обиды.

— Здоровы ли вы, батюшка? — осторожно спрашивала она.

— Я здоров, здоров совершенно, — всякий раз с неудовольствием отвечал он. — А ты учись, учись... Идите с Таем на Курсы, в пансион — куда желаете. Только не хороните себя со мной. Вам жить надо. Жить.

На Курсы Маша и Тая уже опоздали, прием был закончен, но вольнослушательницами их зачислили. Каждое утро они бежали на лекции и возвращались потрясенные: мир открывался со стороны неожиданной. По вечерам, перебивая друг друга, пересказывали Федору, что прослушали днем, невольно наполняя сухие факты личным отношением. Федор держался как старший — с покровительственной иронией.

— Девичья психология — самая неустойчивая из всех мыслимых психологий, — говорил он, очень заботясь о впечатлении, которое производит на малознакомую рыжую девушку. — Слишком отчетливый примат эмоционального над рациональным мешает вам охватить предмет в целом. Вы цепляетесь за частности, как за булавки, пытаетесь каждую пристроить на место, да так, чтобы общий вид при этом был вполне элегантен. А наука — материя беспощадная, барышни, ей чужды внешние приличия.

— Нам сказали, что скоро всех поведут в анатомический театр, — округляя глаза, сказала Маша. — Я обязательно шлепнусь в обморок. Обязательно!

Тая молчала, улыбаясь. Но чем чаще они встречались с Федором, тем все более эта улыбка теряла грусть. Опущенные уголки губ уже выравнивались, а порой и загибались кверху, придавая улыбке задорную загадочность. И тогда Федор начинал хмуриться и опускать глаза, а Тая — чаще улыбаться.

— Глупости все, глупости, — сердито бормотал он, не решаясь оторвать глаз от стола. — Еще неизвестно, чему и как вас учат на этих Курсах.

О себе он ничего не рассказывал и даже не потрудился объяснить, зачем приехал в Москву. Исчезал с утра, но возвращался хмуро-озабоченным и в откровенности не пускался. Дела, по всей вероятности, не очень-то ладились, но обнадеживали: Маша судила об этом по отсутствию отчаяния, в которое с легкостью впадал Федор при малейшей неудаче. Она хорошо знала его, но знала того, прежнего, а о том, что он стал иным, об этом не догадывалась. И даже не заметила, что

известие о гибели брата он воспринял совсем по-новому, не так, как воспринял бы его до ухода из Высокого. Он просто промолчал, когда она рассказала ему о дуэли. Молчал, странно, непривычно потемнев. Посидел, сдвинув брови, покивал и ушел тут же, при первой возможности. Два дня избегал разговоров, молча ел, молча слушал, а на третий день сказал неожиданно:

— Не добежал наш Володька.

— Куда не добежал? — не поняла Маша.

— До хомута. Понимаешь, мы все необъезженные какие-то. Наверно, большинство людей с детства объезжены, и хомут свой — тот, в котором им всю жизнь пахать, — хомут тот они спокойно надевают. А мы спокойно не можем, мы мечемся, крутимся, бесимся, ищем — до той поры, пока жизнь нас не объездит. Ваську она в Америке объездила, меня — в чистом поле, Гавриила в Сербии объезжают. Потом, когда нас объедят, и мы впряжемся. И воз свой тащить будем и ниву пахать до гробовой доски. А юнкер наш не добежал. Горяч оказался.

— Как ты можешь? — с тихим упреком спросила Маша. — Как ты можешь так холодно философствовать? Ты... ты черствый человек, ты ужасный человек, Федор. Ты — циник.

— Я циник, — согласился Федор, — но все-таки я добежал. Чудом, но добежал. А Володька...

— Прекрати! — Маша топнула ногой.

— Больше ни слова не скажу, извини. Только, знаешь, грош цена тому, кого даже смерть ближнего ничему не учит. Грош цена, сестра, так-то. — Федор покосился на нее, сказал, отвернувшись: — А что полагаешь меня человеком черствым, то... приходи в воскресенье утром к университету. Только не одна, а с Таисией Леонтьевной.

Больше он ничего объяснять не стал. Маша посоветовалась с Таей, и обе, повздыхав, решили пойти. В следующее воскресенье, чуть светать начало, спустились вниз. В прихожей был Игнат. Он только что принял от разносчика пачку газет и теперь раскладывал их, готовясь идти к барину.

— Что это, газеты? — Маша очень удивилась: отец никогда не читал их, уверяя, что они навязывают волю. — Зачем столько? Откуда?

— Приказано все получать, — с достоинством пояснил Игнат. — Батюшка ваш теперь без них и к столу не выходят, а сегодня воскресенье, и разносчик опоздал.

— Читает? — с недоверчивым удивлением спросила Маша.

— Аккуратно читают-с, — подтвердил камердинер. — Все читают, что про Сербию пишут. Вот новые несу, серчают уже, поди.

— Это он о Гаврииле беспокоится, — озабоченно сказала Маша, когда они спешили к университету. — Он же всегда смеялся над газетами, всегда! А теперь, видишь, читает. Со страхом читает, известие боится встретить. Ах, какой он, какой! В любви к детям стесняется признаться, в беспокойстве за них. А ведь любит, любит, Таечка!

— Любит, — подтвердила Тая. — И тоскует, наверно.

Она думала о своих родителях в далекой Крымской. Она решилась написать им, получила ответ, полное прощение и слезную просьбу вернуться. Проплакала ночь и ответила отказом. И не потому, что нынешняя жизнь ее сложилась интересно и обещающе, но и потому что много переплакала, передумала и давным-давно, еще в Тифлисе, свернула на ту дорогу, по которой домой не возвращаются.

Было еще одно обстоятельство, которое держало ее в Москве сильнее, чем дружба Маши, ученье и будущее место в жизни — место, переполнявшее ее уже сейчас торжественным ощущением долга. Было, крепло с каждым вечером, радовало и ужасало, но в этом Тая боялась признаться даже самой себе.



Барышни вышли очень рано, но чем ближе подходили к Кремлю, тем вселюднее становилось на воскресных московских улицах. И потому что прихожане тянулись в церкви и соборы на призывный перезвон колоколов; и потому что лабазники и приказчики открывали лавки и первые покупательницы уже судачили у дверей; и потому наконец, что молодежь явно спешила туда же, куда торопились и барышни. Эта часть публики была настроена шумно и бесцеремонно: громко переговаривались, окликали друг друга, пели, смеялись и с особым вниманием разглядывали девушек.

— Не спеши,— сквозь зубы сказала Маша.— Пусть пройдут: я не могу, когда на меня пялят глаза, как в балагане.

Они остановились, разглядывая носки собственных башмаков, и пошли дальше, когда схлынул основной поток студенческой молодежи. И опоздали: в конце Волхонки бородатый, со сверкающей бляхой на могучей груди дворник растопырил руки:

— Нельзя, барышни! Не велено!

У Маши было лишь две реакции на запрещения: гордое молчание или надменная отповедь. Ни то, ни другое здесь не подходило, и Маша растерялась. Но Тая не в пример подруге умела разговаривать и с такого рода людьми. Проворковав что-то жалобное и дважды назвав бородача дедушкой, она сокрушила дворничкое «не велено» и, схватив Машу за руку, кинулась вперед.

— Дальше все одно не пустят! — прокричал вдогонку дворник.— Раз не велено, так напрасно так-то!

Их задержали снова, но они все же пробрались на Моховую. Здесь стояла цепь из городских и дворников, а за цепью виднелось множество студентов, заполнивших улицу перед университетом.

— ...требуем воскресных лекций! — высоким голосом кричал кто-то, возвышаясь над толпой.— Дайте всем возможность учиться! Это наше право, и мы требуем...

— Федор Иванович! — ахнула Тая.

Маша сразу узнала брата, но молчала от страха: ей казалось, что стоит признаться, что они знают оратора, как вся эта мундирная свора тотчас же бросится на них и на него. Но полиция никаких акций пока не предпринимала, и Федор продолжал кричать:

— ...позор, что женщин не допускают в наши университеты! Во всей Европе допускают, и только мы продолжаем ставить им преграды! Это произвол и надругательство над свободой личности! Мы требуем отмены позорных решений...

— На тебя какой-то господин смотрит! — вдруг испуганно зашептала Тая.— Улыбается и сюда идет. Ой, ей-богу, сюда!

— Идем отсюда скорее,— не повернув головы, скомандовала Маша.

Сердито уставясь в землю, они пошли назад, изо всех сил стараясь никуда более не смотреть.

— Мария Ивановна? — тихо спросили сзади.— Машенька?

Даже если бы вдруг прогремел выстрел, сердце Маши не забило бы сильнее, чем забило сейчас. Она узнала этот голос, как узнала бы его из тысяч других голосов. И обернулась сразу, на ходу, точно ей скомандовали обернуться именно так, с ноги.

— Аверьян Леонидович?

Протянула руку, стала вдруг краснеть и, как всегда, зная, что краснеет, сердиться и от этого краснеть еще больше. Беневоленский, зажав шляпу под мышкой, улыбался, держал ее руку в ладонях и с такой откровенной радостью сиял глазами, что Тая сразу все поняла.

— Вот и нашел вас, вот и нашел,— торопливо говорил он, все еще не отпуская ее руки.— Помните, обещал, что непременно найду,—

там, в Смоленске? И — нашел. Знал, что придете сюда, право, уверен был, что рано или поздно, а придете. Я же не мог ошибиться, правда? Не мог, потому что вы — такая, вы мимо любого храма пройдете, а этого не минуете, не можете миновать. С тех пор как узнал, что в Москве вы, с тех самых пор и хожу сюда как на службу воскресную.

— Вы знали, что я в Москве? Откуда же знали?

— А у меня есть добрый человек. Вы мне писать запретили, так я Дуняшу попросил. Ей упражнение, а мне сюрприз. Получил ее каракули и сразу сюда кинулся.

Разговаривая, они совершенно забыли про Таю, глядели только друг на друга и улыбались только друг другу. Но сейчас Беневоленский отпустил Машину руку и поклонился Тае.

— Хоть и не представлен, а знаком. По каракулям Дуняшиным знаком.

— Федя выступает,— сказала Маша, не зная, о чем еще говорить, и пугаясь, что может наступить молчание.

— Да пусть его.

— Это опасно? — строго спросила Тая.— Его могут арестовать?

— Вряд ли. Ну, может, продержат до вечера в холодной.

Разговаривая, Аверьян Леонидович смотрел только на Машу. Тая отметила это, сжала подруге локоть, шепнула:

— Это же о н. Он, понимаешь? Я так счастлива за тебя!

Маша понимала, что это о н, что это ее судьба, и тоже была счастлива.

Впереди раздались свистки, цепь городских заколыхалась. Беневоленский схватил барышень за руки, увлек подальше, к Арбату.

— Здесь становится душно. Может быть, немного погуляем?

Он повел барышень гулять, а потом в студенческую столовую, где им очень понравилось. Там за длинными столами весело хлебали щи и кашу из простых оловянных мисок. И у кого не было денег, тот уходил не расплатившись, а у кого были, те клали сколько могли в такие же оловянные миски, стоявшие на каждом столе. Все это было удивительно ново, просто и прекрасно.

— У меня к вам просьба,— понизив голос, сказал Аверьян Леонидович во время этого обеда.— Дело в том, что я теперь не Беневоленский и не Аверьян Леонидович. Нет, нет, не пугайтесь, я никого не убил и ничего не украл, но так уж случилось, что зовут меня Аркадием Петровичем Прохоровым. Так, на всякий случай, для посторонних.

И это они если и не очень поняли, то приняли без вопросов, потому что и эта таинственность тоже была по-своему прекрасна и несколько им не мешала. После обеда они опять много гуляли, договорились встречаться, назначили где и когда, и Беневоленский, а ныне господин Прохоров, уже к вечеру проводил их до дома.

У подъезда стояла коляска, запряженная парой. Кучер привычно дремал на козлах.

— У вас, кажется, гости,— сказал Беневоленский, останавливаясь.— Нам лучше расстаться здесь.

— Какие же у нас могут быть гости? — удивилась Маша.— Но все равно, вы правы. До завтра?

Он осторожно пожал ее руку и задержал.

— Я счастлив, Машенька. Я очень счастлив сегодня.

— Правда? — Маша радостно покраснелась.— Я рада.

В доме барышень встретил толстый Петр. Вопреки обыкновению равнодушное, ленивое лицо его выражало сегодня испуганную озабоченность.

— Чья это коляска? — спросила Маша.— У нас гости?

— Доктор приехали,— сказал Петр шепотом.— У барина они. Худо барину.

Подхватив платье, Маша через три ступеньки влетела наверх. Без стука распахнула дверь в кабинет, но там никого не было, и она тотчас же рванулась в спальню.

Отец лежал в постели; рядом стоял пожилой доктор в золотых очках. Он старательно капал в рюмку капли, считал их и поэтому сердито посмотрел на вбежавшую Машу.

— Что с батюшкой?

— Шум вреден больному,— с отчетливым немецким акцентом сказал доктор, аккуратно досчитав сначала капли.— Нужен покой.

— Упали они,— тихо сказал Игнат; он сидел на стуле возле дверей и сейчас тяжело поднимался.— В кабинете упали.

— Как упал? Почему? Доктор, что с ним?

— Газета,— невнятно и с трудом сказал отец.

— Газету они читали,— пояснил Игнат, горестно вздохнув.

Газета валялась на полу в кабинете. Маша подняла ее, пробежала глазами и как-то сразу нашла то, что имел в виду отец.

По сообщению австрийского Красного Креста, среди пропавших без вести русских волонтеров в Сербии числился поручик Гавриил Олексин.

### 7

— Стюарт Милль считал оскорблением человеческого достоинства самую мысль о необходимости доказывать безнравственность войны. Самую мысль, граф!

Князь Насекин говорил непривычно длинно, непривычно ссылаясь на чужой опыт и непривычно горячась. Он чувствовал эту непривычность, как чувствуют одежду с чужого плеча, заметно нервничал и от этого все больше терял спасительную насмешливость. Он привык поражать собеседников ленивыми парадоксами, но на сей раз собеседник не поражался, слушал с вежливым равнодушием, и князь позабыл о парадоксах.

— Признаться, я не был поклонником вашего знаменитого романа именно по этой причине. Вы доказываете в нем безнравственность безнравственности.

— Не перечитывали? — осведомился Толстой.

— Намереваюсь.

— Чтобы утвердиться в этом мнении?

— Чтобы понять вас, граф. Состояние войны есть состояние перекосенной народной нравственности: вы сами подчеркиваете мысль, что война есть болезнь народа. Возможно, я ошибаюсь?

— Цели войны вы исключаете.— Толстой не спрашивал, а утверждал, подводя итог.— В этом состоит ошибка.

— Цели! — Князь неприятно улыбнулся одними губами.— В Сербии сотнями мрут русские волонтеры. Вы беретесь объяснить, с какой целью они там мрут?

— Сербское безумие не имеет цели,— вздохнул Толстой.— Аксаков наивно уверен, что самодержавие и православие — это идеалы народа. А суть славянофильства в том, что оно ищет врага, которого нет,— это мысль Герцена, князь.

— Может быть, всякая война есть лишь печальный итог поисков врага, которого нет? Вы не допускаете такой мысли?

Толстой остро глянул из-под насупленных бровей. До этого он не смотрел на князя, а если и смотрел, то вскользь, не встречаясь глазами. А сейчас искал взгляда и, встретив его, глядел долго и пристально. Потом сказал:

— Когда обывателю кричат «бей!», он идет и бьет. Полагаете, с не-

ненавистью? Нет, без злобы бьет, даже с радостью. Значит, не врага он видит, а лишь разрешение. Разрешено бить, он и бьет, а бить с позволения начальства — в этом вроде бы и греха нет. Солдат тоже с дозволения убивает и потому тоже злобы никакой не чувствует. До поры, пока его самого убивать не начинают. Вот тогда он стерве-неет, тогда он и о дозволении убийства как бы забывает, тогда он уж не приказ исполняет — он жизнь свою защищает. Тогда и цель появляется. Простая цель: убей, пока тебя не убили. На войну такой цели, конечно, не хватает, и войны она никакой оправдать не может. Ну а если народ убивают, тогда как? Если весь народ под картечь подвели и фитиль запалили, если жизни его, существованию самому угрожают, тогда прав он в злобе своей или не прав? Я считаю, что прав совершенно и что ваше соображение необщо, хотя и парадоксально. Отечественная война такой и была, а вот Крымская кампания такой не стала, хотя и там кровь лилась и там солдатики себя защищали с остервенением. Но — себя, а не народ. Себя самих! А Милль что ж. Путаник ваш Милль. На бастион бы его.

— И все же, граф, согласитесь, что вы некоторым образом допускаете софистику. Народ прост и глуп, а вы любуетесь им, и... сочиняете вы его, граф, сочиняете! Перо ваше великолепно, в сочинительства ваши верят, а к чему приведут они?

— Дождь пошел,— сказал Толстой.— Я погулять хотел, а вы как? Со мной или здесь, в тепле, под крышей? — Он посмотрел в окно, приоткрыл, высунулся.— Василий Иванович, кончили с Сережей? Может быть, в Засеку со мной? Ну так наденьте плащ да сапоги, обожду! — Прикрыл окно, оборотился к гостю.— Так как же, князь? Решайтесь, и для вас сапоги сыщем. Простые, правда, и грубые, зато сырости не пропускают.

Князь опять улынулся одними губами. Он не впервые виделся с Толстым, знал его по Москве, но знал иного — холодно-аристократичного, холодно-корректного, холодно-замкнутого. А сейчас с ним разговаривал человек, который, слушая его и отвечая ему, все время напряженно думал о чем-то далеком от этого разговора и оживлялся тогда лишь, когда в беседе их возникало что-то ведущее туда, в его мысли. Князь чувствовал это, но никак не мог определить тех точек, которые соединили бы его с хозяином не хлипкими мостками сдержанной вежливости, а единым потоком общих размышлений. А ему хотелось влиться в этот поток, ощутить его глубину и холод, и поэтому он сказал:

— Что ж, я с удовольствием. Если сапоги сыщете.

Сапоги отыскились быстро, гость и хозяин оделись и вышли на крыльцо. Дождь припустил сильнее, и они задержались под навесом, ожидая, когда появятся Василий Иванович.

— Вы не рассматривали мысли, что война суть нечто, изначально присущее человеческой природе? — спросил князь, зябко кутаясь.— Если переплести это с теорией естественного отбора...

Он замолчал, увидев, что Толстой смотрит мимо него, и смотрит с живым интересом. Оглянулся и увидел крепкую рослую девку, которая бежала через двор, накинув на голову подол юбки и с детской радостью шлепая по лужам босыми ногами. Бежала она, наверно, издалека, раскраснелась, пылала жаром молодого тела, и не только юбка, но и белая рубаха ее промокла насквозь. А ветер бил ей навстречу, и мокрая рубаха липла к телу, обрисовывая не только сильные ноги, но и кругло выпяченный живот. И этот круглый живот, и бедра, и крупные груди — все упруго вздрагивало при беге, невольно притягивая любой, даже самый равнодушный мужской взгляд.

— Вот вам ответ,— сказал Толстой, глянув на князя засиявшими

глазами.— Сколько искренности, открытости в женском теле, недаром его так любят рисовать. Поэтому в любви женщина отдает свое тело целиком, до кончиков пальцев, а мужчина и в любви себя бережет. Зачем, а? Полагаете, для войны, для изначального предназначения своего?

Князь не успел ответить: через двор прямо по лужам шел высокий, худой, очень прямой даже при ходьбе человек.

— Рекомендую,— сказал Толстой, спускаясь с крыльца.— Учитель сына Сергея и мой друг Василий Иванович Олексин.

— Олексин? — точно прислушиваясь к звучанию, повторил князь.— Да, да, конечно. Редкая фамилия.

## 8

Вторые сутки шел нескончаемый дождь, крупный и холодный. Пленные кутались в мокрые шинели, жались друг к другу: турки запрядали разводить костры. Но, правда, начали кормить, и люди с жадностью пили горячее варево, стоя на коленях перед большими долблеными колодами для скотины. Турки хохотали и специально прибегали смотреть, как жрут из общих корыт русские волонтеры, руками выгребая плохо проваренную кукурузу.

Гавриил не ходил к этим общим корытам. От ноющей боли разламывалась кое-как перебинтованная голова; он лежал возле стены сарая, под выступом крыши, пряча от дождя раненую голову. С крыши непрерывно лило, но вода попадала на грудь, и к этому он притерпелся. Боялся только намочить повязку: ему казалось, что тогда непременно начнется горячка и он умрет.

Еду приносил полный немолодой майор в собственной фуражке. Аккуратно нес ее через всю площадь полусожженного села, на которую согнали их, из рук в руки передавая поручику. Бережно, будто чашу с водой.

— Ешьте, голубчик. Нет, нет, непременно ешьте, непременно-с! Вам силы нужны, а где же их взять, как не в пище? Каждое даяние от господа, сударь мой, даже если оно и басурманское.

Майор был из пехотной глухомани, старателен, темен и добр. Маленькие жалостливые глазки его щурились, источая искреннее сострадание. Он бродил по лагерю, перевязывал раненых, сочувствовал потерянными, мягким голосом успокаивал отчаявшихся:

— Обойдется, голубчик, видит бог, обойдется все. Главное, целы, руки-ноги при вас, а прочее перетерпим. Мы же русские, голубчик, а терпеливее русского господь никого не создал. В какой народ грубость вложил, в какой — спесь несусветную, в какой — манеры и обхождение, а в нас, сударь мой, терпение свое. И все-то мы стерпим-перетерпим, и все-то будет славно, вот увидите еще, как славно, да и меня вспомните.

В тот первый день сразу после разгрома турки, прочесав лес и кого добив, а кого и подобрав, согнали плененные остатки его роты к подножью горы, но ни этого места, ни пути к нему Олексин не помнил. Шел качаясь, еле переставляя ноги, куда гнали, садился при первой возможности, а потом опять вставал, торопясь подняться, пока не ударили прикладом. Казалось ему только, что со своими пробыл он очень недолго, но кто именно были эти свои, он припомнить не мог да и не старался.

Вскоре его и других волонтеров отделили, погнали дальше и в одном месте даже подвезли на повозке, учтя ранение. А потом снова делили, снова сортировали, снова куда-то вели, пока не привели в это брошенное жителями село. Пленных было много: смят и разгромлен был весь корпус Хорватовича.

— Они не имеют права так с нами обращаться! — горячо говорил сосед, мальчишка-юнкер. — Я читал, я знаю: это бесчестно. Бесчестно!

По юношески-круглому лицу юнкера текли слезы. Текли они от страха и отчаяния, и поэтому юнкер все время возмущался, тщетно пытаясь выдать их за слезы оскорбленной гордости.

— Они считают нас за скотов! За скотов!

Гавриил ни с кем не заговаривал, отвечал односложно, а чаще молчал. Он лежал, заботясь лишь о том, чтобы не намочить повязку, отрешенный от всего остального; лежал, вслушиваясь в собственную боль, и боль эта и была сейчас его существом. Он ощущал ее не только головою, с которой сабля снесла лоскут кожи вместе с половиной уха, — он ощущал ее всем телом, всеми мышцами, суставами, костями, нервами и — сердцем. Именно там гнездилась самая мучительная из его болей, и именно ее он слушал наиболее напряженно и сосредоточенно.

А мыслей не было, и он ни о чем не думал и не хотел думать. В памяти возникали лица, отдельные фразы или ни с чем не связанные слова. Возникали, как бы просачиваясь сквозь боль, и оттого были искажены; он понимал, что они искажены, но не пытался исправить их, прояснить. Все это текло своим порядком, вмешиваться в который не было сил.

Чаще всего он видел Совримоича и слышал его тоненький, жалобный стон: «Не на-а...» А потом неизменно возникал Отвиновский, холодный и бледный, как северное небо. Они появлялись как два полюса чего-то единого, общего; он однажды с усилием подумал, что они — два полюса, но тут же забыл об этом. Брат наклонился над ним, широко раскрыв глаза: «Больно, когда убивают? Больно?» Захар кивал издали кудлатой головой: «Прощай, племянничек. Так ни разу дядей и не назвал, ну да бог тебе судья». Мадемуазель Лора, улыбаясь ему, льнула к Тюрберту, а Тюрберт самодовольно кричал: «Стрелять надо хорошо, стрелять, все остальное — гиль!..» «В кого стрелять-то, сынок?» — улыбался Миллье, не умирающий, а веселый, со вкусом куривший трубку и смаковавший вино. И сразу же появлялся неправдоподобный турок с неправдоподобным ружьем. Он целился штыком в живот Олексину, и Олексин стрелял, и из лица турка брызгала кровь. Густая и теплая. «А была ли идея, была ли, была ли?» — с горечью спрашивал Совримоич, и все начиналось сначала.

— Этак они нас и в рабство продадут! — горячился юнкер, и по лицу его текли слезы. — А что, с них станется. Думаете, я от страха плачу? Я от унижения гордости плачу, вот от чего, вот.

— Унижены уж, куда ниже-то, — улыбался майор. — Не о том, господа, думать надо. Такие думы терпенье точат, а в терпении сейчас спасение наше. Так что смиряйте гордыню, судари мои, смиряйте, а терпение крепите.

«Унижение, — отрывочно подумал Гавриил; он не слушал разговоров, но голоса порой сами лезли в уши. — Я тоже говорил об унижении. Унижение, уничтожение. Зачем все это? Брызнет кровь — и кончатся все слова. Все!.. Сразу кончится то, что приносило боль, тревогу, беспокойство. Все кончится. Все любили толковать о справедливости, а все — ложь. Мы плаваем во лжи, как рыбы в море. А где же человек? Он ведь не может долго плавать, он либо пойдет на дно, либо его сожрут, либо он сам станет рыбой и начнет жрать других. И кровь будет брызгать с лица...»

Он и сам не заметил, что начал думать, что бессвязные голоса замолкли в нем, а лица ушли. Голова еще болела, но боль эта уже менялась, и он чувствовал, что она меняется.

Толстой шагал быстро, изредка останавливаясь у развилок: решал, на какую тропинку свернуть, и всегда выбирал самую глухую. Князь и Василий Иванович шли сзади; князь изредка поглядывал на спутника, точно собираясь заговорить, но Олексин упорно смотрел только перед собой, старательно выпрямляя и без того прямую спину, и разговор никак не начинался. Это выбивало гостя из накатанной годами колеи; он привык изрекать, удивлять и фраппировать, но здесь никто не поражался, и князь с легким раздражением поругивал себя за приезд в Ясную Поляну.

— У вас есть сестра? — неожиданно и даже резко спросил он, так и не придумав ни парадокса, ни каламбура.

— Целых три.

Олексин отметил этот факт с полным равнодушием, и это задело князя.

— Меня интересует, вероятно, средняя. Кажется, ее зовут Мари?

— Ее зовут Марией, — спокойно уточнил Василий Иванович. — Мать у меня простая крестьянка, и у нас не было в ходу искажение русских имен.

— Извините, не предполагал, что беседую со славянофилом.

— Уж что-что, а эта славянская дурь никогда не занимала меня.

— Славянская дурь? — откликнулся вдруг Толстой: до него донесли последние слова. — Славянская дурь — это сказано точно.

Он остановился, достал папиросы, набитые Софьей Андреевной, закурил, с любовью и с интересом рассматривая синий дымок.

— А утверждали, что на прогулках курить неприятно, — ворчливо заметил Василий Иванович, подходя.

— Лесной воздух не принимает дым папиросы, — сказал Толстой. — Он чужд ему. Вот так и фимиам, который курим мы ложными идеям и ложным идолам, не растворяется в нас. Он лишь обволакивает и одурманивает наши души, заслоняя от них истину. А мы курим его веками, мы прокурили весь мир, надежно упрятав бога за дымовой завесой. Неужели он приходил в мир для того лишь, чтобы ему воздвигали храмы?

— Бог есть вера, — пожал плечами князь. — А вера есть узда, с помощью которой сдерживают темные страсти и ведут народ в нужном правительству направлении. Разружьте веру — и вместо церкви мужик пойдет в кабак.

— Бог есть мое стремление стать лучше, чем я есть, — сказал Лев Николаевич. — Это просто, и если каждый примет такого бога в душу свою, кабаки придется закрыть. А заодно и церкви. Правда, у Василия Ивановича иная точка зрения на сей предмет.

— Мы расходимся в терминологии, — сказал Олексин. — Я принимаю вашу идею самоусовершенствования, но совершенствоваться надо через труд, а не через бога. Бог создан человеком, Лев Николаевич, не более того.

— Верить, что бог создал человека по своему образу и подобию, куда возвышеннее и нравственнее, чем знать, что человек выдумал бога по своему образцу. Именно в этом, Василий Иванович, и заключается нравственность религии и безнравственность атеизма. Именно в этом!

— Вам ли бояться знаний, Лев Николаевич? — улыбнулся князь.

— Знания могут сделать человека умнее, расчетливее, полезнее для общества. Но они бессильны сделать его добрее. Душевнее, как говорят мужики. Душевнее... — задумчиво повторил Толстой. — Нет таких знаний, чтобы, уяснив их, человек стал душевнее. Разум при-

надлежит человеку, как сила, руки или ноги. А душа... Душа не принадлежит ему. Нет, не принадлежит, и в этом ее особенность. Душа принадлежит чему-то большему, чем сам человек, ее нельзя тренировать, как мускулы, или развивать, как мозг. Ее можно лишь постичь и, постигнув, поступать согласно ее велениям. Тогда и приходит счастье, о котором так тоскует человек. Счастье слитности с душой своей, конец борениям с нею, конец унижения и угнетения ее. И вот тогда, именно тогда, когда возникает эта слитность, эта гармония, человек и становится воистину свободным и воистину бесстрашным. Изнутри, только изнутри! Кто — я? Зачем — я? Почему — я? Какие науки могут ответить на эти вопросы? Какие?

## 10

Легче стало не только Олексину, но и всем пленным: привезли котлы и офицерам стали разливать еду по мискам. Добродушный майор перестал потчевать Гавриила из собственной фуражки, тут же с удовольствием напаял ее на голову.

— Вот и дотерпелись,— говорил он.— Терпение, судари мои, великая сила. Благодать божия — терпение наше!

На следующий день поручик сам пошел за едой. Он уже понемногу передвигался, верил, что выкарабкался, и считал, что должен больше двигаться. Юнкер на всякий случай шел рядом, готовый подхватить, если понадобится, да и майор поглядывал, но помощи не требовалось.

— Вот ложечек мы еще не дотерпелись,— вздохнул майор.— Можно, конечно, и через край похлебать, а только, говорят, тут солдатик один ложки из дерева режет. Ловко режет, подлец, и продает недорого.

— У меня нет денег.

— Да он и так отдаст. Нет, право отдаст: как же раненому офицеру не отдать? Юнкер, отнесите еду поручика к сараю.

Олексин согласился идти за ложкой только потому, что надеялся найти кого-нибудь из своей роты. Когда брел к котлу, взглядывался в изможденные, равнодушные, удивительно похожие друг на друга лица пленных, но знакомых не встречалось. А слова о солдате, что ловко режет ложки, напомнили Захара: тот тоже умел их резать и в детстве они любили хлебать молоко с земляничкой именно его ложками.

— Ну вот и добрались,— удовлетворенно сказал майор.

— Где же?..

Гавриил все же надеялся, очень надеялся и почти верил, что увидит Захара. Но Захара не было; на земле сидел рослый дегина, краснорожий и рыжебородый. Заметив поручика, он сразу вскочил и вытянулся, радостно улыбаясь:

— Ваше благородие, неужто не узнаете? Валибеда я, Валибеда! Вы еще меня в батальон за подмогой посылали, да не дошел я, виноват. Лазутчики ихние перехватили, и вот...— Он виновато опустил голову и замолчал.

— Рад, что живой ты, Валибеда. Рад.

— Спасибо на добром слове, ваше благородие! — опять широко и радостно заулыбался Валибеда.— И я за вас рад, уж так рад, так рад! Вам ложечку надобно? Так я вам новую сделаю, тотчас же сделаю. Вы присядьте покуда, присядьте.— Валибеда обернулся к соседу, сказал повелительно: — Эй, борода, подстели-ка шинелку свою их благородию. Не видишь, раненные они, еле стоят.



— Так я пойду, пожалуй,— шепнул майор, пока солдаты бережно усаживали Олексина на вчетверо сложенную шинель.— Вот как славно получилось, что своего встретили.

— Славно,— улынулся Гавриил и еще раз сказал: — Я рад, что встретил тебя, Валибеда. Как ножик у тебя не отобрали?

— А я его, ваше благородие, в голенище пронес. Сапоги у меня старые, никто на них не позарился, вот и пронес.

Говоря, он уже ловко работал ножом, все время вертя в руках деревяшку, чтобы определить направление слоев. Определял он их безошибочно, стружка шла без сколов и заусенцев, той длины и толщины, какой хотел мастер.

— Из нашей роты никого не встречал? — помолчав, спросил Гавриил.— Захара моего или французов?

— Из нашей роты никого, как на грех,— вздохнул Валибеда.— Может, в другом каком лагере? Пленных много они набрали, ужас как много.

В лагере уже слышался шум и гогот турецких солдат, но никто на это не обращал внимания. Турки часто ходили смотреть на пленных и неизменно весело хохотали: что-то смешило их при виде покорного людского стада.

И сейчас между пленными брел низенький толстый турок с глуповатым ухмыляющимся лицом. Люди такого стилиа обычно исполняют роль шуток, привыкают к этой роли, и идиотическая усмешка точно прирастает к ним, выражая готовность потешать. Турок шел медленно, выбирая жертву для той шутки, которую от него ждали и не исполнить которую он уже не мог. И остановился перед Валибедой.

Увидев турка, Валибеда быстро сунул нож под шинель, на которой сидел поручик, и заулыбался тревожно и заискивающе. Турок неторопливо протянул руку, цепко ухватив Валибеду за косматую рыжую бороду, и стал раскачивать его голову из стороны в сторону. Все примолкли, даже турецкие солдаты, что частью толпились на границе лагеря, а частью шли за шутком в ожидании потехи. И в тишине стало слышно, как часто и испуганно дышит Валибеда. Свободной рукой турок вдруг быстро приспустил шаровары, и тугая струя мочи ударила Валибеду в лицо. Он захрипел, забулькал, замотал головой, а струя била в бороду, в рот, в глаза, и громко, восторженно улюлюкая, хохотали турки.

У Гавриила потемнело в глазах, он слышал уже не стук, а клекот своего сердца где-то в гортани и поэтому не кричал, а только хватал воздух. Хотел встать и не мог, не мог, не было сил, и он шарил по земле руками, чтобы найти, на что опереться. И нашел, нащупал и сразу — даже не понял, нет! — всем существом ощутил, что это — нож. И тут же перестали дрожать колени, перестало клекотать сердце, точно окаменев и изготовившись. Он вскочил легко, одним прыжком, будто не было ни ранения, ни плена, ни голодовки. Рванул турка на себя, развернул и с размаху снизу вверх ударил ножом. Турок закричал тонким пронзительным голосом, а поручик все бил и бил ножом, ощущая, как брызжет чужая кровь, и ничего не чувствуя, кроме яростного торжества.

Не чувствовал он и тогда, когда его оттащили от рухнувшего турка, повалили и начали бить — жестоко и злобно, насмерть. Он сопротивлялся и бил сам, пока не вырвали нож. Повязка соскочила, кровь лилась из открывшейся раны, но он не ощущал ни ее, ни боли, даже когда вдруг перестали убивать. Кровь заливала глаза, он ничего не видел; его тут же подхватили под руки и куда-то быстро поволокли. «Вот и все,— лихорадочно подумал он.— Но я уже ничего не боюсь. Ничего. Я перешагнул...» Он не успел додумать, что же именно

он перешагнул и почему это так для него важно. Его грубо поставили на ноги; он качнулся, но устоял, когда вдруг отпустили.

— Кажется, мы знакомы? — на чистейшем французском языке спросил кто-то.

Гавриил отер лицо, успел глянуть, пока кровь снова не залила глаза. Перед ним стоял молодой турецкий офицер. Что-то знакомое мелькнуло в сознании, но Олексин не стал напрягать память.

— Вы мерзавцы! — громко сказал он, нимало не заботясь, поймут ли его. — Я ненавижу и презираю вас. Презираю!

Офицер что-то сказал, поручика опять подхватили под руки, опять поволокли. Теперь-то он точно знал, куда и зачем его волокут, и опять не боялся, с гордостью подумав, что перешагнул. Но подтащили его не к стенке и не к заготовленной могиле, а вволокли в дом и усадили на стул. И кто-то — он не видел кто — стал осторожно и бережно обмывать его лицо и рану на голове. Он успел понять, что это доктор, что его перевязывают, и потерял сознание.

Очнулся на койке; он был раздет догола и накрыт простыней. Болела голова, болело жестоко избитое тело, но боль не мешала думать, и он сразу все вспомнил. Вспомнил спокойно: сейчас в нем не было той яростной ненависти. Сейчас он был не тем, кто бил ножом визжащего турка, но и не тем, каким он был утром. Он был иным, он чувствовал, что стал иным, но в чем именно иным, каким иным, он не знал да и не хотел знать. Он вспомнил о том ослепительном открытии, которое объяснилось ему одним словом — перешагнул, знал, что он действительно перешагнул словно бы через самого себя, что уже никогда не будет таким, каким был прежде, и улыбнулся разбитыми губами, прощаясь с самим собой.

Потом пришел худой доктор с печальными глазами. Лопотал что-то, осуждающе качая головой. Санитар принес белье и одежду — не его, но тоже волонтерскую и чистую; все оказалось чуть великовато, и пришлось подвернуть рукава. Одевался он сам, хотя это было трудно: кружилась голова, все сильнее болело тело. Гавриил подумал, что поболеть власть этому телу так и не удастся, и усмехнулся. Он был убежден, что его расстреляют, а то, что до этого им вздумалось перевязывать его, он объяснял для себя судом, перед которым он сейчас предстанет.

Когда он оделся, его повели под усиленным конвоем, которым командовал немолодой сумрачный унтер-офицер. Его вели по улицам села, и встречные турецкие аскеры что-то гневно и зло кричали ему вслед. Лагерь военнопленных был в стороне, за садами, — он догадался по шуму, — и вели его не к лагерю, а к отдельному домику на окраине. Начальник караула вошел в дом, быстро вернулся и проводил Олексина до дверей.

Поручик распахнул дверь, вошел и остановился у порога. Он ожидал увидеть суд, но в комнате был только изящный, улыбающийся и смутно знакомый турецкий офицер.

— Как чувствуете себя? — Вопрос был задан на безукоризненном французском языке.

— Благодарю. — Теперь Гавриил припомнил яблоневый сад, гнедого жеребца и ловкого насмешливого офицера, который прискакал тогда по его требованию.

— Поздравляю: вы спаслись чудом.

— Вы полагаете, я спасся?

Офицер улыбнулся, мягким жестом приглашая во вторую комнату. Там возле накрытого стола в почтительной позе стоял пожилой денщик. Офицер вежливо поклонился Гавриилу:

— Прошу.

— У меня отбили аппетит.

— Вы молоды и неукротимы, и рюмка коньяка воскресит все ваши желания.

Хозяин был учтив и приветлив, и Олексин, поколебавшись, сел к столу. Молча выпили коньяк, молча посидели, так по-разному глядя друг на друга: хозяин улыбался, но избитое, распухшее лицо гостя было сурово и непроницаемо.

— Кажется, вы нарушаете коран? — спросил поручик, чтобы что-нибудь спросить.

— Я родился и вырос в Париже. Кстати, мои аскеры убили ваших парижан. Жаль, я бы с удовольствием поболтал с ними.

— Зачем вам эта встреча? — спросил Олексин. — Хотите подсластить пилюлю? В этом больше жестокости, чем в кулаках ваших солдат.

— Ешьте, вам пригодятся силы. Потом будем пить хороший кофе, курить хорошие сигары и ждать, когда стемнеет. Правда, сегодня полнолуние, но что же делать.

— Легче будет целиться, — буркнул поручик, принимаясь за еду.

Он вдруг ощутил волчий аппетит. Ел неторопливо, со вкусом, а хозяин прихлебывал вино, с интересом наблюдая за ним.

— Вы христианин, я мусульманин, и мы сидим за одним столом, — сказал он. — Сидим, не чувствуя никакой ненависти, во всяком случае я ее не чувствую. И естественно возникает вопрос: а существует ли она вообще, эта ненависть к иноверцам, которую веками внушали нашим народам? А может быть, мы молимся одному богу, только называя его по-разному? Вам не приходило это в голову?

— А вам не приходило в голову, что войны происходят тогда, когда бог засыпает?

— Это мысль! — рассмеялся турок. — В таком случае он слишком часто спит.

— Естественно: он одряхлел и измучился, пытаюсь хоть как-то организовать то, что натворил, не подумав о последствиях.

— О, вы атеист?

— Я не знаю, кто я, так что можете смело считать меня атеистом и бунтовщиком и распорядиться о расстреле. Благо полнолуние, как вы отметили.

— К сожалению, вы правы. — Хозяин перестал улыбаться. — Вы не просто бунтовщик, вы — убийца. Вы закололи того несчастного идиота. Закололи, как барана: на его теле оказалось двенадцать ран.

Олексин вдруг ощутил все эти раны. Ощутил физически, собственной рукой, наносящей удар за ударом в мягкий человеческий живот, услышал пронзительный визг толстого турка и судорожное клочкотание в горле Валибеды. Аккуратно и неторопливо вытер губы салфеткой, расправил ее, положил на стол.

— Я не жалею об этом.

— Вас расстреляют, как только прибудет начальство.

Сердце Гавриила сжалось, но он заставил себя улыбнуться и спросил почти спокойно:

— Надеюсь, мы успеем до этого выпить кофе?

Они выпили кофе, и турецкий офицер отпустил денщика. Вышел вместе с ним, долго отсутствовал; поручик курил в одиночестве, не чувствуя аромата дорогой сигары. Потом хозяин вернулся. Походил по комнате, размышляя, сказал, понизив голос:

— Я проведу вас через наши посты, дальше пойдете один. Возьмите фляжку — пригодится.

Олексин хотел спросить, но не мог подобрать слов. Он верил, хотел верить, что турок говорит правду, но вопрос, почему турок поступает именно так, однажды мелькнув, больше не приходил: его уже занимало другое. Молча сунул в карман фляжку, встал, выжидающе посмотрел на офицера.

— Готовы? Идемте.

Небо было почти сплошь затянуто тучами, луна появлялась редко, только в просветах. Они шли по пустынной улице, и турок негромко объяснял, где сейчас находится Олексин и куда ему следует идти, чтобы миновать турецкие гарнизоны. За последними садами села их окликнули, офицер что-то ответил, и часовой пропустил их беспрепятственно. Они миновали его, и местность вдруг осветилась холодным лунным сиянием.

— Подождем, пока скроется луна, — сказал турок. — Отсюда держите прямо на север, до Моравы. Берегом выйдете к своим.

— Зачем вы это делаете?

— Не знаю. — Турок пожал плечами. — Я поставил себя на ваше место и понял, что поступил бы так же. Следовательно, вы правы, вот и все.

Странный мокрый хрип раздался за спиной поручика. Он оглянулся: в трех шагах от него на дереве висело что-то распухшее, непонятное, еле шевелящееся.

— Что это?

— Болгарин. Смотрите-ка, еще жив!

Олексин шагнул ближе: к дереву за ногу был подвешен человек. Страшно разбухшая от прилива крови голова напоминала шар, распухший язык вывалился из раскрытого рта, из носа и ушей сочилась кровь. Свободная нога странно загибалась книзу, уже надрываясь в паху; человек с мучительным хрипом пытался шевельнуть ею, сдвинуть, но она задеревенела и уже не слушалась его.

— Карагеоргиев, — шепотом сказал Гавриил, взглядевшись в налитые кровью, выпученные глаза повешенного.

— Да, болгарин, — равнодушно повторил офицер. — Он подданный султана и, следовательно, изменник.

— Это бесчеловечно, — сдерживаясь, сказал поручик. — Это чудовищно и... Пристрелите же его!

— Да, это жестокая смерть, — согласился турок. — Как вы говорили? Война — это когда засыпает бог? Вероятно, ему снятся кошмарные сны. — Он достал револьвер, протянул Гавриилу. — Пристрелите сами, если хотите.

Поручик взял револьвер, взвел курок, подошел вплотную к висевшему болгарину. От него уже дурно пахло: он разлагался, живо пожираемый мухами.

— Простите меня, Карагеоргиев.

Карагеоргиев, напрягшись, выговорил что-то невнятное, из горла потекла кровь. Гавриил сунул ствол в распухшее ухо, нажал спуск. Треснул выстрел, тело вздрогнуло и замерло, чуть раскачиваясь от удара. Олексин вернулся к офицеру, протянул револьвер.

— Что он прохрипел?

— Он сказал одно слово, — нехотя пояснил поручик. — Самое последнее: «БОЛГАРИЯ!»

— Осталось четыре патрона. — Офицер покрутил барабан. — Три вы можете использовать по своему усмотрению, но последнюю пулю советую оставить для себя, если вам снова будет угрожать плен. — Он протянул револьвер Олексину. — И держите все время на север.

— Благодарю.

Турок молча поклонился, гибким жестом коснувшись лба и сердца.

Небо медленно очищалось от туч, луна все чаще освещала землю, но Гавриил благополучно миновал открытое место и успел углубиться в лес. Он держал путь, ориентируясь по Полярной звезде, которую когда-то, еще в детстве, ему показал Захар. И глядя на эту звезду, он вспоминал Захара, его неожиданное обращение «племянничек» и жалел, что сам никогда не давал ему повода так к себе обращаться. Голова его чуть кружилась, избыток тела начинало болеть все сильнее, но он шел легко и быстро, потому что был свободен и шел к свободе.

Начались густо поросшие лесом пригорки, спуски и подъемы были круты, но луна светила в полную силу и Полярная звезда сияла ему, как маяк. Он не позволял себе отдыхать, торопясь добраться до Моравы, но, с ходу взяв крутой подъем, запыхался и остановился. Достал фляжку с коньяком, сделал глоток и, пряча фляжку в карман, ощутил вдруг сладковатый трупный запах. Оглянулся: в кустах ничком лежал труп в знакомой волонтерской форме.

Теперь он шел медленно, всматриваясь, боясь наступить на человеческие останки. Стойкий трупный запах усиливался, и вдруг по изломанным кустам, по разбросанным пожиткам, патронам и оружию он понял, что идет сейчас по собственной позиции.

«Пахнет только чужая смерть, — с горечью подумал он. — Только чужая...»

Левее должна была быть поляна, он взял левее и вышел на нее; даже навес на ней сохранился. Он остановился перед этим навесом, не решаясь приблизиться, но заставил себя сделать шаг и заглянуть. И вздрогнул: на окровавленных клочьях шинели лежал обрубок без рук, без ног и без головы. Все это валялось рядом: черная цыганская борода дико и нелепо торчала среди отрубленных конечностей.

«Расплата...»

Он ни о чем не подумал, пришло только это слово. Оторвал кусок шинели, завернул в нее голову Совримовича и нашел Полярную звезду.

Он шел и думал о том, что пахнет только чужая смерть и что эта чужая смерть и есть расплата за все. За ошибочные теории и фальшивые идеи, за просчеты политики и тупость правителей, за спровоцированную ненависть и фанатическую жестокость — за все, что есть преступного и подлого на земле, платят чужими жизнями и чужими смертями. За все — одна цена, потому что пахнет только чужая смерть, и запах ее никогда не достигает кабинетов, в которых решаются судьбы людей.

На исходе ночи он вышел к Мораве. Мутная, разбухшая от дождей, она катилась перед ним, крутясь и пенясь. Он долго смотрел на черную воду, а потом стал на колени и бережно скатил в нее отрубленную голову Совримовича. Подхваченная быстрым течением, она не утонула — ее завертело, закружило, понесло, и он долго еще видел белое лицо и черную цыганскую бороду...

А Иван Гаврилович Олексин, немного оправившись от удара, встал на исходе этой ночи и медленно, шаркая ногами, побрел к лестнице. Зачем, почему — об этом уже никто никогда не узнал. Он рухнул на ступенях, рухнул прямо, как рушится подпиленный дуб. Рухнул мертвым.

Олексины не умирали в постелях.

## ЭПИЛОГ

Самое спокойное время года — осень — на этот раз выдалось хлопотливым, переполненным новостями, а более того — слухами. Обычно такая степенная, сытая и довольная собой Москва ныне изнемогала под гнетом событий, отзвуки которых будоражили ее почти ежедневно. И хотя события эти происходили где-то далеко — настолько далеко, что большинство москвичей и не знали, где именно все случилось, в каких землях и народах, — Москва страдала ими искренне, заинтересованно и затажно.

— Что в Сербии, не слышали?

— Бои, батенька, сражения!

Крестились москвичи, о своих думая. Брови хмурили, рассуждать начинали.

— Говорят, у турок генерал объявился, из молодых. Осман-паша, что ли.

— Оставьте, что вы!

— Нет, право...

— Ну откуда, скажите на милость, откуда у них полководцы? Англичане у них полководцы, если вам угодно знать. Англичане!

Как ни обидно было москвичам, но в далекой (и такой близкой, как выяснилось!) Сербии генерала Черняева били не англичане, а самые что ни на есть природные турки. И в этих боях тогда впервые прозвучало имя дивизионного турецкого генерала Османа Нури-паши. Войска его отличались дисциплиной, упорством, гибкостью маневра, быстротой и решимостью; аскеры Осман-паши не боялись знаменитых штыковых атак, в которые с отчаянной бесшабашностью бросались измотанные боями русские волонтеры.

— Нет, не может того быть! — протестовал против очевидности рядовой москвич, три месяца назад проводивший в Сербию собственного сына. — Разве ж турки могут нас бить?

Но втайне, про себя, любой москвич, любой ура-патриот из Охотного ряда знал, что нет в Сербии никаких англичан, что бьют плохо организованную, плохо вооруженную и растянутую по Мораве армию Черняева те самые турецкие генералы, о которых в России не было принято говорить всерьез еще со времен Румянцева-Задунайского.

29 октября принесло турецкой армии решительную победу при Кружеваце. Отдельные волонтерские соединения и конная группа Медведовского были рассеяны, сербской армии более не существовало, и путь на Белград был открыт. Через четыре, много — шесть дней передовые турецкие части намеревались вступить в столицу Сербии, сломив в пригородах последние заслоны повстанцев и народного ополчения. Ни легендарная отвага черногорцев, ни упорство сербов, ни кровавые жертвы боснийцев и герцеговинцев, ни энтузиазм волонтеров не смогли поколебать могущества Блистательной Порты. Первый штурм османской твердыни немногочисленными и не объединенными единым знаменем славянскими силами был отбит. В Константинополе готовились к параду.

Однако преждевременно. 31 октября русский посол граф Игнатьев ультимативно заявил правительству Блистательной Порты:

— Если в течение двух суток не будет заключено безусловное, распространяющееся на всех воюющих перемирие сроком от шести недель до двух месяцев и если начальникам турецких войск не будет отдано решительных приказаний немедленно прекратить все военные операции, то дипломатические отношения будут прерваны.

И отправился демонстративно укладывать чемоданы. Турки остановили победоносный марш на Белград, Сербия была спасена, но Александр II уже не мог остановиться. Через две недели был отдан приказ о мобилизации шести армейских корпусов: Россия бросала меч на славянскую чашу весов.

Зашевелились полки, артиллерийские и инженерные парки, санитарные и обозные части. Снимались с насиженных мест, пополнялись на ходу, уже торопясь, уже поспешая куда-то. Заскрипели по дорогам армейские фуры, подскочили цены на овес, и — еще до войны, еще лишь возвещая и предчувствуя ее — зарыдали бабы на Руси. Привычно, отчаянно и безысходно:

— Прощайте, соколы!

Уходили полки. Надрывались оркестры. Улыбались сквозь слезы женщины. Изо всех сил улыбались, потому что нельзя было, недопустимо и жестоко было огорчать тех, кто уходил, печатая шаг под полковой оркестр.

— Куда, братцы, путь держите? — спрашивали с обочин украшенные медалями крымские инвалиды.

— Турку бить, отцы!

— Посчитайтесь, братцы! Дай вам бог!

В общем потоке снялся с зимних квартир и 74-й Ставропольский пехотный полк. Четырьмя колоннами (четвертую, хозяйственную, вел подполковник Ковалевский) стягивался к Тифлису по скверным и страшным кавказским дорогам.

— Дай вам бог, братцы!

А Москва странно встречала события.

В Охотном ряду толковали о проливах, Константинополе, поруганной вере и скорой победе.

Студенчество шумело на сходках (косились жандармы, вслушиваясь напряженно), едва ли не впервые искренне и восторженно приветствуя грядущую войну. Здесь громко пели песни и громко требовали свободы. Не для себя, правда, — для всех славян разом.

Москва бульваров, Садовых, Поварской и Арбата негромко печалилась о неготовности армии, о запущенности управления, о плохом вооружении. Пророки в генеральских мундирах грозно предрекали тяжкие бои и неблизкую победу.

На Рогожской считали, неторопливо ворочая миллионами. Убытки на Сербию списали сразу: тут не мелочились, думали крупно и решали крупно. Война требовала денег, но обещала прибыль.

В Тверских переулках...

Да, Москва хоть и говорила о разном, но думала об одном. Уж везде решили, что войны не миновать, что война та будет славной и гордой, что не себя спасаем, а братьев своих, и оттого восторг и нетерпение выплескивались через край. И войной, этой грядущей войной дышало сейчас все.

1876 год неторопливо отступал в историю.

*Конец первой книги*



---

---

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

## ТАКОЕ ЖЕ — И ВСЕ ДРУГОЕ...

### РАЗЛУКА

Я год не виделся с тобою.  
Такое же все — и другое.

Волнение и все другое  
такое же — и все другое.

Расспросов карие укоры —  
такое же — и все другое.

Лицо у зеркала умою  
такое же — и все другое.

Окно, покрашенное мною,  
такое же — и все другое.

Прогонят стадо к водопою  
такое же — и все другое.

Ночное небо, как при Ное,  
такое же — и все иное.

Ты — жизнь! Приблизись — окажешься  
ты неожиданно такая же.

### РЕПЛИКА В ДИСКУССИИ ОБ ЭКОЛОГИИ

Поглядишь, как несметно  
разрастается зло, —  
слава богу, мы смертны,  
не увидим всего.

Поглядишь, как несмелы  
табунки васильков, —  
слава богу, мы смертны,  
не испортим всего.



## СТРОИТЕЛИ

Я спустился с ними  
чащобой девственной  
вниз от пиlorамы  
верст на сто —  
пилигримы места, времени и действия —  
«где-когда-что?».

По святым местам  
великого Илима  
временем единственным,  
данным нам,  
рубят коровники  
злые пилигримы —  
так истосковались по святым делам!

По дороге пили,  
подбивали башли.  
Но остались срубы  
сиять как храм.  
Чистота прикидывается  
бешабашностью,  
так истосковалась  
по святым делам.

Мученик Серега  
спозаранку бледен,  
он по делу этому ветеран.  
Перебраться по бревнышку  
всю Россию бредит,  
так истосковался по делам.

По пути прочистили  
гибнущее озеро.  
Для души —  
заплатит товарищ волк!  
Шестеро паломников  
диплом забросили —  
так образовался  
«инженерский полк».

Что-то покосился  
берег у Илима?  
Скомкана полсотенная в плаще.  
И уйдут  
транзисторные пилигримы  
с «Лунною сонатою»  
на плече.

## РИМСКАЯ РАСПРОДАЖА

Нам аукнутся со звоном  
эти несколько минут —  
с молотка аукциона  
письма Пушкина идут.

Кипарисовый Кипренский...  
И, капризной мотылька,  
болдинский набросок женский  
ожидает молотка.

Ожидает крика «продано!»  
римская наследница,  
а музеи милой родины  
ни мычат ни телятся.

Неужели не застонешь,  
дом далекий и река,  
что прижался твой найденыш,  
ожидая молотка?

И пока еще по дереву  
не ударит молоток,  
он на выручку надеется,  
оторвавшийся листок!

Боже! Лепестки России...  
Через несколько минут,  
как жемчужную рабыню,  
ножку Пушкина возьмут.

## СЕВЕР

Островам незнакома корысть,  
а когда до воды добредаем,  
прилетают нас чайки кормить  
красотою и состраданьем.

Красотою, наверно, за то,  
что мы в людях с тобой не погибли,  
что твое золотое пальто  
от заката лоснится по-рыбьи.

Состраданьем, наверно, за то,  
что сквозь хлорную известь помета  
мы поверили шансов на сто  
в острый запах полета.

### ПИЕТА МИКЕЛАНДЖЕЛО

Сколько было тьмы непониманья,  
чтоб ладонь прибитая Христа  
протянула нам для умыванья  
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах  
стоком оскверненного пруда  
лилия хватается за воздух —  
как ладонь прибитая Христа.

### ПАРОХОД ВЛЮБЛЕННЫЙ

Пароход прогулочный вышел на свиданье  
с голою водой.  
Пароход работает белыми винтами.  
Ни души на палубе золотой.

Пароход работает в день три смены.  
Пассажиры спрятались от шума дня.  
Встретили студенты под аплодисменты  
режиссера томного с дамами двумя.

«С кем сменю каюту?» — барабанят дерзко.  
Старый барабанщик, чур не спать!  
У такси бывает два кольца на дверцах,  
а у олимпийцев их бывает пять.

Пароход воротится в порт, устав винтами,  
Задержись, любимый, пять минут!  
Пароход свиданий не ждут с цветами.  
На молу с дубиной родственники ждут.

### НОВОСЕЛЬЕ

Человек несет по свету стол  
на спине, как нужно со столами,  
будто мебель в небе расставляет.  
А когда он выпить отошел,  
стол висеть в пространстве оставался.

Ангелы сидели за столом,  
завтракали, вниз челом висели.  
К ночи он вернулся, утомлен.  
Присоединился к новоселью.

У столов небесных и волшебных  
званные сидят с шести сторон.

**ЭПИСТОЛА НЕЗАДАЧЛИВОМУ  
КРИТИКУ К.**

Когда написал он Вяземскому  
с искренностью пугавшей:  
«Поэзия выше нравственности»,  
читается — «выше вашей»!

И Блок, озарен рубахою,  
уже стоял у порога

в ирреальную иерархию,  
где бог — в предвкушенье Бога.

Как мало меж званых «избранных»,  
и нравственно и душевно,  
как мало меж избранных искренних,  
а в искренних — предвкушенья!

Работающий затворником  
поэт отрешен от праха,  
но поэт, что работает дворником,  
выше по иерархии!

Розу люблю иранскую,  
но синенький можжевательник  
мне ближе по иерархии  
за то, что цвель тяжелее.

А Вы, кто перстами праздными  
поэзии лезет в раны, —  
Вы прежде всего безнравственны,  
поэтому и бездарны.

\*.\*

Когда звоню из городов далеких —  
господь меня простит, да совесть не простит.  
Я к трубке припаду — услышу хрипы в легких,  
за горло схватит стыд.

На цыпочках живешь. На цыпочках болеешь,  
чтоб не спугнуть во мне наитья благодать.  
И черный потолок прессует, как Малевич,  
и некому воды подать.

Токую, как глухарь, по городам торгую,  
толкую пошляки.  
Ударяя по щеке — подставила другую.  
Да третьей нет щеки.

### ИЗ ЯКУТСКОГО ДНЕВНИКА

«Что он Гекубе?  
 Что ему Гекуба?»  
 Что я якутам?  
 Что мне якуты?

Но я тоскую по Якутии  
 с такую краткою травю!  
 Ее природа внешне скудная,  
 зато душой не оторвешься.

Как бережно дома якутские  
 над мерзлотою парят на сваях!  
 Они прохладой землю кутают,  
 чтоб, как Снегурка, не оттаяла.

С какой надеждою скворешни  
 стоят на кладбищах дощато.  
 чтоб души временно умерших,  
 настранствовавшись, возвращались.

Здесь время свеже, как из лёдника.  
 И в логове оленевода  
 Данилов мне читает Хлебникова.  
 понятного без перевода.

### СЕНТЯБРЬ

Твоя «Волга» черная гонит фары дальние  
 в рощи золоченого разочарования.

Воли лазер чертовый, материнство раннее  
 мчится в золоченое разочарование!

Посулили золото — дали самоварное.  
 И зарей подчеркнуто разочарование

над равниной черною и над тучей рваною —  
 плачет золоченое разочарование!

В роще пыль алмазная — как над водопадом  
 Просит притормаживать в пору листопада.

Не гони, шоферочка! Берегись аварии  
 в это золоченое разочарование.



---

МАРК ЛИСЯНСКИЙ



## «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Летит сквозь осеннюю полночь  
С горячим мотором в груди  
Дежурная «скорая помощь»...  
Водитель, баранку крути!  
Жми, действуй, спеши за эпохой  
И выжми всю скорость до дна.  
Наверно, кому-нибудь плохо  
И скорая помощь нужна.  
Ночами и днем непогожим  
Врывайся в чужую судьбу!..  
Сирена взывает к прохожим,  
И крест пламенеет во лбу.  
Машина кричит что есть мочи:  
«Держись, человек! Я лечу!»  
И светятся фары как очи,  
И мчится она по лучу.  
Маршруты обычно недолги,  
Ей путь уступают в ночи  
Автобусы, «Чайки» и «Волги»,  
Троллейбусы и «Москвичи».  
И я отхожу от дороги,  
Где рвется судьба, словно нить...  
Мы смертны, мы люди — не боги.  
Нам надо друг к другу спешить.  
А ты, дорогая, далеко,  
Во всей во вселенной одна.  
И мне без тебя одиноко,  
Мне скорая помощь нужна.  
Летит сквозь осеннюю полночь  
К любому, чье сердце в огне,  
Дежурная «скорая помощь»...  
А может быть, это ко мне?!

\* \* \*

Что-то, видимо, в мире сместилось:  
В старой сказке живет новизна,  
Осень лету сдается на милость  
И зиме уступает весна.

Над любовью бетонные своды,  
Рай сегодня не втиснешь в шалаш.  
И застенчивость вышла из моды,  
И бахвальство справляет шабаш.

В ход пошли и заборы и ставни,  
Слишком много закрытых дверей.  
Неприступными сделались парни,  
Стали девушки наши добрей.

Что-то, видимо, в мире сместилось:  
Снег растаял в январском саду.  
Человечество недоучилось,  
Я имею себя лишь в виду.

Вот и нынче зима под Москвою,  
А за окнами плещется дождь.  
Я ручаюсь своей головою,  
Что ко мне ты теперь не придешь.

Этой ночью мне море приснилось,  
Мы на лодке с тобою плывем...  
Что-то, видимо, в мире сместилось:  
Ты стоишь на пороге моем.

\* \* \*

Все тревожней мне теперь живется,  
Подошел к такому рубежу:  
То, что я наметил, — удается,  
Что ищу — немедля нахожу.

А бывало, в горестях и муках  
Я искал за тридевять земель  
В ненадежных встречах и разлуках  
Вечно ускользающую цель.

Выбрав самый недоступный полюс,  
Шел и не жалел ночей и дней.  
Чем труднее мне казался поиск,  
Тем удачу я считал ценней.

Шел к любимой,  
Вышло — отдалялся,  
Дон Кихотом жил, мечом звеня.  
Девушки, в которых я влюблялся,  
Помнится, влюблялись не в меня.

Никого ни в чем не обвиняю,  
Лишь себе на радость и беду  
То, что я замыслил, — выполняю,  
И к чему иду — к тому дойду.

Вот и нынче словно в озаренье  
Я в один присест, в один запал  
Это написал стихотворенье,  
Как задумал, так и написал.

### О ТЕХ, КОТОРЫХ НЕТ

Я не знаю, где мать и отец,  
В ночь отбросив прощальные тени,  
Спят под звездами без сновидений,  
Обретя в этом мире конец.

Только знаю, лежат они врозь:  
Мать, как видно, в степи украинской,  
А отец мой в земле кзыл-ординской,  
Небесами промытой насквозь.

Их беду разделила война  
На две части, на две половины.  
Я от них был вдали в час кончины...  
Может, в этом сыновья вина?

Им теперь все равно. Ну а мне  
Все сдается в минуты забвенья,  
Что оставил на поле сраженья  
Я и мать и отца. На войне.

Их могилы снега обнесли,  
Дождь оплакал и ветры отпели,  
Все следы на дорогах земли  
Замели безвозвратно метели.

Издалече сквозь шелест ветвей  
Кто-то песней меня укоряет,  
Что никто не придет, не узнает,  
Лишь весной пропоет соловей...

### ЖИВЕМ ВО ВСЕМ ЖИВОМ

Живем во всем живом,  
Жизнь называем раем.  
Чем дольше мы живем,  
Тем больше мы теряем.  
Мелькают, как огни,  
Торжественные даты.  
Теряем ночи, дни,  
Восходы и закаты.  
Любимых и друзей,  
Безвестных и великих.  
У каждого музей  
Из собственных реликвий.  
Теряем города,  
Где жили мы когда-то,  
Теряем без следа  
Тех, что любили свято.  
Навек теряем их,  
Кто был из всех нам ближе, —  
Учителей своих,  
Учеников своих же.



Я, сжоронив отца,  
Мать проводив до срока,  
Не понял до конца,  
Как жизнь ко мне жестока!  
А друга потеряв,  
В ком с детства видел брата,  
Постиг, что я не прав,  
Что жизнь не виновата.  
Но, стоя на своем,  
Мы снова повторяем:  
Чем дольше мы живем,  
Тем больше мы теряем.

\* \* \*

Листья шуршат под ногами,  
Тянет дымком и золой.  
День в позолоченной раме  
Тихо стоит над землей.

Кто, дни и ночи бессменно  
Вместе с зарею горя,  
Изобразил вдохновенно  
Осень в конце сентября?

Праведник или безбожник,  
Я, или ты, или бог,  
Или великий художник —  
Я бы ответить не мог.

Мало отпущено детства,  
Старости мало седой,  
Мало и жизни самой,  
Чтобы на мир наглядеться.



**БОРИС ШАХОВ**



## **ПИРОСМАНИ**

Встречают добрыми приметами  
Крутые улочки Тифлиса.  
Бренча случайными монетами,  
Художник с улочкою слился.

С лица пытливым выражением  
Глядит Нико на все на свете  
С неутомимым удивлением,  
Как смотрят гении да дети.

А улочка, обычно серая,  
Подернутая пленкой пыли,  
Сегодня самой полной мерою  
Швырнула красок изобилье.

А краски, прежде неприметные  
В своем свечении несмелом,  
Горели, словно блюдо медное,  
Протертое золой и мелом.

Мир ярок стал неузнаваемо,  
И мастеру с душой ребенка  
Нужна работа, кисть нужна ему  
И краски да кусок клеенки.

Пусть это будет просто вывеской  
И за нее дадут недорого,  
Но, вывеску глазами высквав,  
Прохожий ахнет от восторга.

Застынет в изумленьи радостном,  
Расширится в груди дыхание —  
Чудесный мир сияет рядом с ним  
Картиной яркой на духане.

Там после мира нехорошего,  
Где все на лжи и на обмане,  
А честь и правда стоят дешево, —  
Там душу лечит Пиросмани.

Там по холмам с густыми травами  
Катились белые коляски,  
Там за барашками кудрявыми  
Паслись олени без опаски.

Кинто гуляли, всем довольные  
И не знакомые с бедою,  
Там пели здравицы застольные,  
Там был художник тамадою.

За рог вина, за тосты звонкие,  
За мясо с чесноком и перцем  
Платил волшебными клеенками  
И отдавал в придачу сердце.



МЮРИЭЛ СПАРК

★

## АББАТИСА КРУСКАЯ

Повесть

Мюриэл Спарк родилась в 1918 году, а за художественную прозу взялась на пятом десятке лет; до этого, впрочем, были стихи и литературоведческие исследования. Первый успех принесла ей повесть «Memento mori» (1959) — характерное сочетание жестокой насмешливости и холодной, «головной» дидактики. В ней вполне сказало особое умение писательницы подмечать обычное в необычном и наоборот, поэтому ее повести (осевой жанр ее творчества) нередко оставляют несколько фантазмагорическое впечатление. Спарк достигает эффекта многозначности с помощью как бы растворенного в тексте иронического сопоставления происшествий, образующих повесть, с иными — другого ряда, другого масштаба, другого смысла, с помощью «сопряжения далековатых вещей».

Так, повесть «Аббатиса Круская» (1974) написана по горячим следам «уотергейтского дела» и довольно скрупулезно воспроизводит схему событий, ставших почти символическим свидетельством кризиса буржуазной демократии. Об этом кризисе, собственно, и идет речь в повести, но для пущей комической наглядности «уотергейтский» сюжет разворачивается в стенах католического монастыря. Прямой объект сгущенно-иронического, гротескного, пародийного изображения — быт и нравы отгороженной от мира женской монашеской общины, где происходит то же или почти то же (эта порой незаметная разница для Спарк очень существенна), что и везде на Западе: сексуальная революция, кризис доверия, взаимоотчуждение элиты и массы, коррупция и махинации власть имущих и т. д.

Повести и рассказы Спарк 1950—60-х годов составили однотомник избранного «На публику», опубликованный издательством «Молодая гвардия» в 1971 году. «Аббатиса Круская» — произведение нового этапа. Здесь сатира более масштабна, насмешка более сурова, издевка граничит с безнадежностью. Однако, как, надо полагать, убедится читатель, ирония Спарк не огрубела и не притупилась, изобретательность не иссякла и способность увлекать и ошеломлять читателя то приятными, то неприятными неожиданностями не пропала.

«Аббатиса Круская» будет опубликована издательством «Прогресс» в сборнике «Современная зарубежная повесть».

В. С. Муравьев.

Давайте злобно осмеем  
Тщету трудов и дней и лет  
Тех, кто в величии своем  
Хотел оставить беглый след  
На взрытой временем земле...

Подняты на смех враг и друг.  
Не от шутов защиты ждать  
Уму, величью и добру:  
Одно глумленье нам под стать —  
И нам несдобровать.

*Из стихотворения У. Б. Йейтса  
«Тысяча девятьсот девятнадцатый».*

### ГЛАВА I

— Сестра Унифрида, — внятно и громко выговаривает аббатиса, и воздух впитывает ее слова, — а чем же плох испытанный метод замочной скважины? Сестра Унифрида отзывается с жалобным изумленьем, обличающим глупость безграничную и непроглядную:

— Как же, мать аббатиса, мы, помните, это обсуждали...

— Помолчим! — говорит аббатиса. — Предадимся медитации в молчании.

Она смотрит на тополя вдоль аллеи, словно деревья подслушивают. Стоит ясная осень, тополя отбрасывают предвечерние тени, и тени их устилают путь ровной безмолвной чередой, как молитвенно простертые монахини стародавнего ордена. Аббатиса Круская, стройная и высокая, сама как пирамидальный тополь, потупляет светлые глаза и видит гравий, по которому ступают, ступают и ступают четыре черных туфли по две враз, и так до самого конца медитации, проведенной сквозь строй тополиной тайной полиции.

На открытом месте, на лужайке, их минует полицейский наряд, двое в темной форме, с овчарками на коротких тугих поводках. Мужчины смотрят мимо, монахини проходят как ни в чем не бывало.

Идут минуты, и здесь, на открытой лужайке, снова звучит голос аббатисы. Ее точеное белое лицо сияет английской красотой в белой рамке монашеского чепца. От роду ей сорок два года; в роду ее четырнадцать поколений бледных и владетельных английских предков и еще десять французских, их общими усилиями изваяв ее изумительный череп.

— Сестра Уинифрида, — говорит она, — аллея медитации прослушивается насквозь. Вам это было повторено несколько раз. Вы это когда-нибудь усвоите?

Сестра Уинифрида останавливается и пробует думать. Она оглаживает свое черное одеяние и тербит четки, свисающие с ее пояса. Как ни странно, она одного роста с аббатисой, но не быть ей ни башней, ни шпилем: она всего лишь британская матрона, чему не помехой ни чепец, ни обеты, ни непомерное телесное целомудрие, заполняющее ее быстротечные дни. Уинифрида стоит посреди лужайки, глядит на аббатису, и вскоре в ее омраченном сознании — краю вечной полуночи — словно чудо, брезжит крохотное полярное солнце, световой диск в ореоле.

— Это как, мать аббатиса, — говорит она, — это значит, на тополях тоже аппараты?

— Конечно, на деревьях аппараты, — говорит аббатиса. — Разве можно обойтись без них сейчас, когда скандал подступает к нашим стенам? Но узнав об этом, вы этого, так сказать, не знаете. Нам надо себя обезопасить, а в чем наша безопасность состоит, знаю одна я, смогри Устав святого Бенедикта. Я ваша совесть и высший авторитет. Вы беспрекословно исполняете мою волю.

— Но мы же ведь все-таки не совсем простые бенедиктинки, разве нет? — спрашивает сестра Уинифрида с беспросветной наивностью. — Иезуиты...

— Сестра Уинифрида, — говорит аббатиса со своей невозмутимой высотой, — вокруг нас неистовствует скандал, и вы в нем увязли по самые уши, нравится это вам или нет. Раз я говорю смотри древний Устав, значит, смотри древний Устав. Раз я говорю, что иезуиты иезуитствуют, значит, они иезуитствуют.

Из часовни доносится звон колокола. Мягкий осенний вечер, шесть часов.

— Мы идем к вечерне, нравится это вам или не нравится.

— Но я же как раз люблю вечерню. Я люблю все часы молитвенного правила, — обиженно блеет благочестивая Уинифрида, и недоуменье ее монотонно и безысходно.

Они шествуют, обе статные и высокие, аббатиса как башня слоновой кости, а Уинифрида как миловидная домохозяйка, жена бизнесмена — и превосходная, конечно, была бы теннисистка-любительница.

— Часовня не прослушивается, — попутно замечает мать аббатиса. — Исповедальни тоже нет. Может, оно и странно, но как-то я решила не оборудовать исповедальни — во всяком случае пока.

Мать аббатиса вся в белом. Уинифрида в черном. Другие сестры-черницы гуськом поспевают в часовню за ними, и вечерня начинается.

Аббатиса стоит на своем заалтарном возвышении, белая среди черни. Одежды она меняет два раза в день. Какое чудо искусства ее монастырь, как он отли-

чен в своей новизне от бывлой ортодоксии, сколь отдален в своей древности от всего нынешнего! «Таков единственный способ, — сказала как-то она, Александра, благородная мать аббатиса, — быть наготове с ответом на любые враждебные нарекания».

Что до иезуитов, то ордена иезуиток нет. Есть нерушимое соглашение между Круским аббатством и иезуитской верхушкой, всеобъемлющее и обоюдывыгодное соглашение, но оно нигде не записано. Многие ли иезуиты знают о нем?

А что до бенедиктинцев, то аббатиса так неуклонно блюдет и отстаивает их древний строгий Устав, что и сами бенедиктинцы обоего пола давно созерцают это с кротким изумлением, чересчур кротким, чтобы протестовать против непроведения предписанных реформ, против того, что мать аббатиса правит у себя так, словно и не было Ватиканского собора; и тем более удивительно, что при такой бенедиктинке-настоятельнице такая огражденная от мира обитель вдруг стала очагом международного газетного скандала. С чего все это началось? Ведь и намек нет на старое как мир блудное дело: просто затерялся, ну, пусть даже его украли, серебряный наперсток сестры Фелицаты. И чем все это кончится? «В наши дни, — говорила аббатиса ближайшим своим наперсницам, — надо создавать новые монашеские синдикаты. Века Отца и Сына минули. Ныне у нас век Святого Духа. Дух дышит идеже хочет, и уж разумеется он хочет дышать в аббатстве Круском. С бенедиктинцами я бенедиктинка, с иезуитами — иезуитка: все по наитию. Есмь избрана аббатисой и аббатисой пребуду, и дела мои — от Святого Духа».

Напрягаясь, как море, голоса сливаются в грегорианском каноне вечерни. Витраж позади аббатисы омрачает тень: вырисовывается фигура мужчины, который взобрался к окну по лепнине и затемняет стеклянную синеву и желтизну. Ну и что же, еще один репортер хочет хитрым путем проникнуть в монастырь или, может, еще один фотограф? Скандал захлестнул весь внешний мир, а газетчикам в конце-то концов тоже надо жить. В часовню ему все равно не пробраться. Монахи продолжают торжественное пение; глухой ропот голосов за окном отдается под сводами часовни. Слышен лай полицейских собак: у них своя громкая литания, своя переключка. Вскоре они смолкают: видно, патруль подошел разбираться с нарушителем. Тень за окном поспешно исчезает.

Монахини звучно выпевают стихиры и ответствия, перекликаются антифоны:

Перед лицом Господа трепещи, земля, перед лицом Бога Иаковлева,  
Превращающего скалу в озеро воды и каменные горы — в источники вод.  
Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ибо Ты милостив  
и праведен.

Но аббатиса, как известно, предпочитает латынь. Говорят, иногда она поет псалом по-латыни, а сестры — его же в новом исправленном переводе на родной язык. Ее возвышение отстоит от хора, и монахиням слышно только ее соло. А сейчас ее губы шевелятся не так, как у других. Мать аббатиса, надо полагать, возносит нынче моления по-латыни.

Она сидит в отдаленье, лицом к монахиням, белая у алтаря. Перед изножьем ее зеленая череда мраморных плит, а под ними серая череда погребенных сестер. Там лежит Гильдегарда, там лежит Игнатия; кто следующий?

Аббатиса поет, ее губы шевелятся. На самом деле она поет не по-латыни, а на том же языке, что и прочие; но поет она не псалмы воскресной вечерни, у нее свои песнопения. Она глядит на строй могил, думает о ком-то из мертвецов былых или будущих и напевно выговаривает:

И прелесть предадут земле,  
И эхо песни канув в склеп,  
Замрет; и черви будут есть  
Твою нетронутую честь...!

<sup>1</sup> Стихи английского поэта XVII века Эндью Марвелла. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Туча монахинь возводит горе белые лица, чтобы ангелы слышали заключительную антифону:

Но Господь творит все, что хочет, на небесах и земле.

— Аминь, — отвечает ясная, как свет, аббатиса.

За порогом часовни рыщут собаки и расхаживают молчаливые патрули. В синих сумерках аббатиса ведет стадо свое из храма в жилое здание. Монахини — старшие инокини, младшие инокини, певчие, послушницы и еще кое-кто, всего пятьдесят, — следуют попарно и строго по чину: приоресса и наставница за аббатисой, а в хвосте безликого шествия — смиренные послушницы.

— Вальбурга, — говорит аббатиса вполборота направо, к приорессе, — Милдред, — обращается она влево, к наставнице, — пойдите отдохните, вы мне будете обе нужны между заутреней и хвалитнами.

Заутреню поют в полночь. Мало теперь монастырей, где возносят хвалитны в три часа утра; но в аббатстве Круском это делается, как издревле заведено. Между заутреней и хвалитнами — излюбленные часы аббатисы, часы совета с наперсницами. Вальбурга и Милдред едва слышно соглашаются явиться за полночь, склоняясь перед горделивой аббатисой, ибо она — твердыня высокая.

Община за вечерней трапезой. Снаружи заливаются псы. В Соединенном королевстве передают семичасовую хронику, и если бы рядовые монахини были допущены к радио или телевизору, они узнали бы последние скандальные новости о Круском аббатстве. Но переступив порог аббатства Круского, монахини отрешаются от мира: они сидят за трапезными столами и молча едят рыбный пирог, а дежурная старшая инокиня стоит в углу за кафедрой и читает им вслух. В ее родных местах главным делом была лисья охота, оттуда, от брошенных сородичей, ее темный румянец и высокомерно-гнусавый выговор. Стоит она как вбитая, сама себя не слушает и еле пережевывает слова. Читается великий и древний Устав святого Бенедикта о началах праведности:

Страшиться судного дня,

ужасаться геенны,

стремиться всей душою к жизни вечной,

ежедневно предвидеть неминуемую смерть,

постоянно следить за собственной жизнью,

везде и всюду знать всечасно, что Господь взирает на нас,

ежели посетят нас дурные мысли, немедля прибегать ко Христу и открывать их своему духовному отцу,

воздерживаться от злословия и блудословия,

чуждаться лишних разговоров,

не празднословить и не насмешничать,

чуждаться частого и буйного смеха,

охотно внимать благочестивому чтению.

Вилки постукивают по мискам и отправляют куски рыбного пирога во рты трапезующих. Чтица продолжает:

не потакать плотским похотям,

ненавидеть собственное своеволие,

повиноваться аббатисе во всем, даже если она сама будет по несчастью творить недолжное, памятуя заповедь Господню: «Что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте». — Евангелие от Матфея, глава 23.

За столом младшие инокини, старшие инокини и послушницы одновременно подносят к губам стаканы с водой; чтица делает то же. И ставит стакан на место...

И если была с нем размолвка, помириться до заката.

Чтица не спеша закрывает книгу на подставке и открывает другую, рядом. Увещевания продолжают.

Частотой называется количество повторов одного и того же явления в единицу времени.

Частота электромагнитных волн выражается в герцах или, для высоких частот, в кило- и мегагерцах.

Отклонением по частоте называется разница между максимальной мгновенной частотой и постоянной несущей частотой частотно-модулированной радиопередачи.

Звукозаписывающие системы делятся на разные типы в зависимости от изменения намагниченности вдоль непрерывной ленты из ферромагнитного материала либо с нанесением ферромагнитного материала, либо пропитанной им.

При записи лента протягивается с постоянной скоростью через воздушный зазор электромагнита, возбуждаемого от микрофона током на звуковой частоте.

И на том чтению конец. Deo Gratias <sup>2</sup>.

— Аминь, — отзывается трапезная.

— Сестры, трезвитесь, бодрствуйте, ибо диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.

— Аминь.

Приемная аббатисы Круской разубрана пышно и ярко, и ярче всего сверкает двухфутровая статуэтка Пражского Младенца Христа. Младенец облачен, как ему и подобает, и в его епископской митре и ризе столько крупных мерцающих драгоценных камней, что, наверно, все они поддельные. Но нет, они все настоящие.

Сестра Милдред, руководящая послушниц, и сестра Вальбурга, приоресса, сидят с аббатисой. Уже час ночи. Хвалитны поют в три, и к трем конгрегация восстанет от сна, как во дни оны, дабы соблюсти древний ритуальный час. «Конечно, это несовременно, — говорила аббатиса своим двум старшим инокиням, когда затевала реформы с милостивого одобрения покойной аббатисы Гильдегарды. — В наше время просто нелепо два раза поднимать монахинь среди ночи — к заутрене и хвалитнам. Но наше время существует соизволением истории, а история меня не касается. Здесь, в аббатстве Круском, мы упразднили историю. Мы, дорогие сестры, вступили в сферу мифологии. Моим монашенкам это нравится. Кто же не захочет пожертвовать любым комфортом, лишь бы войти в миф? По всему миру в монастырях, подвластных истории, царит смятение. Здесь, в области мифологии, мы обрели высшую усладу, на нас снизошел покой».

Со времени объявленного нисхождения покоя прошло больше двух лет. Аббатиса сидит в обитом шелком кресле; она только что после заутрени наново переоблачилась в белое. Перед нею сидят две старшие черницы, и она обсуждает с ними последнюю телепередачу, вечерние новости, и пресловутую сестру Фелицату, которая недавно сбежала из аббатства Круского к любовнику-незульту и поведала свою от века знакомую историю зачарованному миру.

— Фелицата, — говорит аббатиса двум верным, — публично заявила, что она убеждена: вся наша территория усеяна подслушивающими устройствами. Она требует расследования, комиссии Скотланд-ярда.

— Ах, она опять нынче выступала по телевидению? — говорит Милдред.

— Да, и была по-прежнему обаятельна. Она сказала, что прощает нас всех и каждого и все же считает полицейское расследование делом принципа.

— Но она ничего не может доказать, — замечает приоресса Вальбурга.

— Кто-то выболтал всю подноготную вечерним газетам, — говорит аббатиса, — и Фелицату сразу пригласили на студию.

— А кто мог выболтать? — спрашивает Вальбурга, сложив у колен неподвижные руки.

<sup>2</sup> Благодарение Господу (лат.).



— Кто же как не гнусный и болтливый иезуит,— говорит аббатиса, и лицо ее отливает жемчугом, а белоснежное облачение ниспадает на ковер.— Тот самый Томас,— говорит аббатиса,— который валяет Фелицату.

— Значит, кто-то все выболтал Томасу,— говорит Милдред,— и это либо одна из нас троих, либо сестра Унифрида. По-моему, это Унифрида, дура стое-росовая, не удержала язык на привязи.

— Конечно, она,— говорит Вальбурга,— но почему?

— «Почему?» — это тонкий вопрос,— говорит аббатиса.— А в применении к любому поступку Унифриды слово «почему» становится мутным компонентом бурого месива. У меня свои планы на Унифриду.

— Ей ведь внушали, ей разъясняли официальную версию, что наша электроника — просто лабораторное оборудование для обучения послушниц и монахинь в духе времени,— говорит сестра Милдред.

— Покойная аббатиса Гильдегарда, мир праху ее,— говорит Вальбурга,— была не в своем уме, когда приняла Унифриду в послушницы, не говоря уж о постриге.

Но нынешняя аббатиса Круская говорит:

— Пусть так, но Унифрида увязла по самые уши, и она будет за все в ответе.

— Аминь,— говорят обе черницы.

Аббатиса протягивает руку к Пражскому Младенцу и кончиком пальца трогает рубин на его ризах. Потом продолжает:

— Сообщают, что шоссе от Лондона до Кру запрудили репортеры. Трасса А — пятьдесят один — сплошной поток автомобилей, и это невзирая на стачки и нефтяной кризис.

— Надеюсь, хоть полиции у ворот достаточно,— говорит Милдред.

— Полиции достаточно,— говорит аббатиса.— С министерством внутренних дел я была тверда.

— В последних номерах «Тайма» и «Ньюсуика» длинные статьи,— говорит Вальбурга.— По четыре страницы: британский скандал с монахинями. И фотографии Фелицаты.

— И что пишут? — спрашивает аббатиса.

— «Тайм» сравнивает нашу публику с Нероном, который брэнчал на лире, когда Рим горел. «Ньюсуик» напоминает, что вот такая же британская беспечность и пренебрежение к национальным интересам довели дело до американской Декларации независимости. Они считают, что недаром история с наперстком приключилась перед вашим избранием, мать аббатиса.

— Меня бы все равно избрали,— говорит аббатиса.— У Фелицаты никаких шансов не было.

— Американцы именно так это и поняли,— говорит Вальбурга.— Просто их забавляет, а скорее, пожалуй, возмущает наша несусветная придирчивость.

— Еще бы,— говорит аббатиса.— О, скорбный час для Англии во дни ее упадка. Столько крика про серебряный наперсточек, уже несколько месяцев кричат, и все громче. В Соединенных Штатах Америки никогда бы не допустили такого скандала. У них есть чувство меры, и они там понимают человеческую природу — вот в чем секрет их успехов. Нация реалистов, хотя спаржу они, конечно, есть не умеют. Между тем, дорогая сестра Вальбурга и дорогая сестра Милдред, пришло письмо из Рима. Из Конгрегации по делам орденов. Придется принять его всерьез.

— Примем,— говорит Вальбурга.

— И надо как-то озвучиться,— говорит аббатиса,— письмо подписал не секретарь, а сам кардинал. Они протянули щупальца. Заданы вопросы, и вопросы каверзные.

— Их что, тревожит огласка и пресса? — спрашивает Вальбурга, перебирая сплетенными пальцами.

— Да, они хотят объяснений. Меня же,— говорит аббатиса Круская,— огласка ничуть не тревожит. Сейчас чем ее больше, тем лучше.

Милдред сидит сама не своя. И вдруг теряет всякое самообладание:

— Ох, как бы нас не отлучили! Я чувствую, что нас отлучат!

Аббатиса невозмутимо продолжает:

— Отныне и далее чем больше скандала, тем лучше. Мы воистину перешли в мифологическое измерение. Мы актеры, а пресса и публика — хор. Любой газетчик кидается толковать все те же события прямо как Эсхил, Софокл и Эврипид, хоть и толкует их, смею вас заверить, куда попроще. Ведь в заведении леди Маргарет Холл я целый год преподавала античную литературу, потом уж переключилась на английскую. Но это ладно. Вальбурга, Милдред, сестры мои, фактов по нашему делу уж нет, мы их вернули Господу, подателю оных. А без фактов нас нельзя отлучить. Скажем, по закону: какой судья во всем королевстве возьмется за это дело, пусть бы даже Фелицата и рассказала все как было, что ей стоит. Нельзя же предъявить обвинение Агамемнону или вызвать на суд Клитемнестру, верно?

Вальбурга новыми глазами смотрит на аббатису.

— Можно, — говорит она, — изнутри той же драмы. — И вздрагивает. — Холодом потянуло, — говорит она. — Окно, что ли, раскрыто?

— Нет, — говорит аббатиса.

— А как отвечать Риму? — спрашивает Милдред приглушенным от страха голосом.

— Насчет прессы я отвечу, что мы, вероятно, пали жертвами нынешних представлений о чертовщине, — говорит аббатиса. — Так оно, кстати, и есть. Там поставлен еще один вопрос, и довольно каверзный.

— Про Фелицату с ее иезуитом? — говорит Вальбурга.

— Да нет, какое там. Что им за дело до иезуита с блудливой монахиней! Должна сказать, что в жизни бы не легла в постель с иезуитом, а если на то пошло, так и вообще со священником. Когда мужчина раздевается — это еще туда-сюда, но если он разоблачается — извините!

— Такие томасы обычно путаются со студенточками, — замечает Вальбурга. — Не знаю, что ему далась Фелицата.

— Томас ходит в светском, и с Фелицатой он раздевается, а не разоблачается, — замечает Милдред.

— Мне надо решить, — говорит аббатиса, — как отвечать на второй вопрос в письме из Рима. Он поставлен очень осторожно. Их явно обуревают подозрения. Они хотят знать, как уживается у нас приверженность суровому затворническому Уставу с курсом электроники, которым мы заменили ежедневное вышивание и переплетные работы. Они интересуются, почему мы не можем смягчить устарелые правила, как это делают в других монастырях, раз нам нипочем даже такие новшества, как электроника. Или наоборот: почему мы ввели изучение электроники, если мы так упорно держимся за старину? Как вы понимаете, они намекают между строк, что монастырь прслушивается. И очень напирают на слово «скандал».

— Это ловушка, — говорит Вальбурга. — Это письмо — ловушка. Расчет, что вы так или иначе попадетесь. Можно нам посмотреть письмо, мать аббатиса?

— Нельзя, — говорит аббатиса. — Чтобы вы чего-нибудь не лягнули на допросе и могли бы присягнуть, что вы письма не читали. А ответ мой я вам покажу, и вы так и скажете, что читали его. Чем больше правды и чем больше пуганицы, тем лучше.

— А нас будут допрашивать? — говорит Милдред, скрестив ладони у горла под белым чепцом.

— Почем знать, — говорит аббатиса. — Так что же, сестры, как вы предложите убедительно согласовать наши занятия и наши строгости?

Монахини сидят молча. Вальбурга смотрит на Милдред, а Милдред глядит на ковер.

— Что-нибудь с ковром, Милдред? — спрашивает аббатиса.

Милдред поднимает глаза.

— Нет, с ковром ничего, мать аббатиса,— говорит она.  
 — Прекрасный ковер, мать аббатиса,— говорит Вальбурга, глядя на густозеленую топь под ногами.

Аббатиса склоняет набок голову в белом чепце и тоже любитесь своим ковром. И произносит со сдержанной и нескрываваемой радостью:

И слаще, чем зеленый цвет,  
 Другого цвета в мире нет<sup>3</sup>.

Вальбурга ежится. Милдред глядит в губы аббатисе, словно ожидая какого-то продолжения.

— Так как же мне отвечать Риму? — говорит аббатиса.

— Поспать бы на нем,—говорит Вальбурга.

— Я бы тоже поспала,— говорит Милдред.

Аббатиса смотрит на ковер:

Преображая все явленья  
 В зеленый смысл зеленой тени<sup>4</sup>.

— А я,— говорит затем аббатиса,— я бы на нем спать не стала. Где сейчас сестра Гертруда?

— В Конго,— говорит Вальбурга.

— Так давайте ее на провод, к зеленому телефону.

— У нас нет прямой связи с Конго,— говорит Вальбурга.— Она днем и ночью в пути, то на поезде, то на пароходе. Наверно, уже добралась до столицы, да разве за ней уследишь.

— Если она добралась до столицы, то нынче позвонит,— говорит аббатиса.— Так было условлено. Нам нужна прямая связь со всеми концами земли, чтоб спокойно советоваться с Гертрудой. Я, правда, не знаю, чего она мечется. Зачем ей вся эта экуменическая суматоха. Это все уже было. Ариане, альбигойцы, пор-рояльские янсенисты, английские диссиденты, шотландские пресвитерианцы. Сколько их было, расколов, анафем и примирений. И вот наконец лев возлагет с ягненком, а Гертруда присмотрит, чтоб они тихо лежали. Кстати же, поверьте мне — сестра Гертруда в душе философ. Есть в ней что-то от земляка ее Гегеля. А философы, когда они перестают философствовать и берутся за дело, люди опасные.

— Тогда зачем нам с ней советоваться? — говорит Вальбурга.

— Затем, что мы в опасности. И как ее избежать, лучше всего сообразит опасный человек.

— Она забралась там в самые дебри,— говорит Милдред,— сближает знахарские обряды с упрощенной обедней и перегоняет прежних миссионеров на новые места, где их встретят неласково, а может, и съедят. Зато на старом месте по этому поводу будет велено служить обедню, как раньше, а знахарям, наоборот, придется упростить свои обряды. Я, во всяком случае, это так понимаю.

— А для меня Гертруда загадка,— говорит аббатиса.— Я даже, честное слово, не знаю, почему она так популярна. Но только взглянуть на ее фигуру — и сразу ясно, что на всех сельских площадях воздвигнутся каменные статуи «Благословенная мать Гертруда».

— Родиться бы ей мужчиной,— говорит Вальбурга.— Усы у нее вон какие.

— Мужские гормоны свое берут,— говорит аббатиса, приподымаясь с шелкового кресла и подправляя сверкающие ризы Пражского Младенца.— Вот так,— говорит аббатиса,— будем ждать, не позвонит ли Гертруда. Что бы ей оставаться в пределах досягаемости?

Телефон в соседней комнате вдруг звонит так неистово, что если это Гертруда, то она, верно, услышала зов сестер с другого конца света. Милдред мягко

<sup>3</sup> Строки из стихотворения Эндриу Марвелла «Сад».

<sup>4</sup> Там же.

проходит по зеленому ковру в соседнюю комнату и снимает трубку. Да, Гертруда.

— Поразительно,— говорит Вальбурга.— У милой Гертруды мистическое чутье: всегда знает, что, где и когда творится.

Шурша белоснежным облачением, аббатиса идет в смежную комнату, а за ней Вальбурга. Отсюда управляют электроникой, и здесь тоже все сверкает. Аббатиса садится у длинного хромированного стола и берет трубку.

— Гертруда,— говорит аббатиса,— аббатиса Круская говорила о вас с сестрами Вальбургой и Милдред. И мы не знаем, как вас понимать. Как вы считаете?

— Философией не занимаюсь,— философически отвечает грудной голос Гертруды.

— Гертруда, милая, вы здоровы?

— Здорова,— говорит Гертруда.

— А по голосу у вас бронхит,— говорит аббатиса.

— Нет у меня никакого бронхита.

— Гертруда,— говорит аббатиса,— пока сестра Гертруда потрясает королевство своими многотрудными подвигами, аббатиса Круская играет свою роль в драме «Аббатиса Круская». Всем интересно, и все ждут катарсиса. И это моя судьба?

— Это ваше предназначение,— философически отвечает Гертруда.

— Гертруда, чудная монашенка, Гертруда, мой ученый гуни, у нас тут возникла проблема, и мы не знаем, что с ней делать.

— Проблемы надо решать,— говорит Гертруда.

— Гертруда,— воркует аббатиса,— у нас неприятности с Римом. В наши дела сует нос Конгрегация по делам орденов. Нас исподтишка запрашивают, как мы согласуем нашу приверженность древнему Уставу, что, как вы знаете, на их взгляд подозрительно, с лабораторией и курсами новейшей электроники, что на их взгляд, как вы знаете, тоже подозрительно.

— Это не проблема,— говорит Гертруда.— Это парадокс.

— Есть у вас время, Гертруда, для коротенького семинара, для разъяснения, что делать с парадоксами?

— С парадоксами надо жить,— говорит Гертруда и кладет трубку.

Аббатиса первой выходит из диспетчерской, и вслед ей сверкают квадратные ящики, блещут огоньки и рычажки, кнопки и кнопочки и вопиют устройства, которым, к нашему ужасу и нашей радости, нет названия на человеческом языке. Она идет назад, к Пражскому Младенцу, чьи искрометные ризы вобрали в себя приданое монахинь. Аббатиса садится за свой столик, а сестры Вальбурга и Милдред тихо устраиваются подле нее. Она кладет перед собой великолепный лист с монограммой аббатства Круского, изымает вечное перо из блистающего зажима и пишет:

«Ваше глубокочтимое Высокопреосвященство,

Ваше Высокопреосвященство удостоили меня посланием, и я нижайше благодарю Ваше Высокопреосвященство.

Имею счастье сообщить Его Высокопреосвященству, что его каналы информации отравлены, истоки нечисты. Оттуда и исходят слухи о моей обители, и я умоляю избавить меня от необходимости отвечать на это.

Ваше Высокопреосвященство изволят спрашивать, каким образом мы разрешаем, как изволят выражаться Ваше Высокопреосвященство, проблему согласования нашей деятельности в области технологического надзора с исконными принципами благочестия, кои мы соблюдаем.

Почту за честь ответить Вашему Высокопреосвященству. Позволю себе нижайше расчлнить вопрос Вашего Высокопреосвященства на две части. Я признаю, что мы заняты вышеозначенной деятельностью, но отрицаю, что она являет собой проблему, и сие почтительнейше изъясняю, утверждая:

что в основе религии лежит парадокс,

что этот парадокс подлежит принятию и не составляет проблемы,

что надзор при посредстве электроники (буде монастырь когда-либо к нему прибегнет) не отличается от иных способов бдительности, без коей в религиозной общине не обойтись: и в Писании сказано нам «бдеть и молиться», что опять-таки парадоксально, ибо то и другое нельзя эффективно сочетать иначе нежели в парадоксальном смысле».

— Можете посмотреть, что я тут насочиняла,— говорит аббатиса наперегибам.— Как вам кажется? Выйдет у меня хоть для начала сбить их с толку?

Черные фигуры склоняются к ней, белые чепцы сходятся над страницей письма.

— Предвижу осложнения,— говорит Вальбурга.— Они могут возразить, что наше подслушивание и подсматривание вовсе не то же самое, что сбор сплетен и вытяжка признаний, распечатывание писем над паром и обыкновенный обыск келий послушниц. Они вполне могут заметить, что мы переступили черту, за которой количество переходит в качество.

— Я об этом подумала,— говорит аббатиса.— Но раз это всем нам пришло в голову, значит, в Риме скорее всего это никому в голову не придет. Они настроены нас упразднить, а отнюдь не поддерживать с нами вежливую переписку.

И аббатиса берет перо и продолжает:

«В заключение, Ваше Высокопреосвященство, позволю себе почтительнейше указать Вашему Высокопреосвященству на дивный цвет и плод нашей святой и парадоксальной обители, на возлюбленную и пресловутую сестру нашу Гертруду, которую мы оторвали от сердца во имя трудов экуменических. По воде и по воздуху, вертолетами и верблюдами перемещается сестра Гертруда по земной поверхности со свитой фотографов и репортеров. И как это ни парадоксально, но выслала ее в путь именно наша затворническая община».

— Гертруда,— говорит Милдред,— прямо взбесится. Она сама уехала.

— Перетерпит Гертруда. Тут она очень к слову пришлась,— говорит аббатиса. И снова склоняется над своим сочинением.

Но в часовне бьет колокол: зовут петь хвалитны. Три часа утра. Верная Уставу, аббатиса немедленно откладывает перо. Белый лебедь, а за ним два черных выплывают из комнаты и спускаются в залу. Община в сборе и ждет приказаний. Они поочередно разбирают накидки и следуют за аббатисой в полуосвещенную часовню. Хор запекает и отвечает, и звенят голоса монахинь, пробужденных к трем часам утра:

Господи, Боже наш! Сколь замечательно имя Твое по всей земле!  
Славу Твою Ты провозгласил превыше небес!  
Из уст младенцев и грудных детей Ты приуготовил хвалу, дабы смутить  
Неприятеля своего, дабы замолк враг и мститель.

Аббатиса едва ли не изумленно обозревает со своего возвышения затемненную часовню и с пронзительной радостью внимает звонким песнопениям, словно перед нею открыт свежесотворенный мир, а она глядит на него и видит, что это хорошо. Губы ее шевелятся, как велит латинский текст псалма. Она стоит перед своим высоким сиденьем, как бы воспарив над зрелищем, и созерцает, может статься, бытие аббатисы Круской во всей его полноте.

Et fecisti eum paulo minore Angelis;  
Gloria et honore coronasti eum<sup>5</sup>.

И выговаривает, не сбивая такта, иные слова, близкие ее сердцу:

До гроша оплатим счет  
Этой ночи, как велит  
Страшных карт цветной расклад,  
Но ни поцелуй, ни взгляд,  
Но ни помысел, ни стон  
Ни один не пропадет<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честью увенчал его (Псалтырь, 8, 6).

<sup>6</sup> Из стихотворения английского поэта У. Х. Одена (1907—1974) «Голову склоня, любовь».

## ГЛАВА 2

Осени предшествует лето, и вот, как Бог свят, наперсток сестры Фелицаты лежит себе на своем месте в ее укладке.

Новопреставленная аббатиса Гильдегарда схоронена под плитой в часовне.

Круское аббатство осиротело, но через двадцать три дня будет избрана новая аббатиса. После заутрени, в двадцать минут первого ночи монахини расходятся по кельям коротко и крепко соснуть. Пока не разбудят к хвалитнам. А Фелицата прыгает из окошка в подставленную телегу сена и бежит к своему иезуиту.

Высокая Александра, о ту пору помощница приорессы, вскоре избранная аббатисой Круской, остается в часовне и преклоняет колена у могильной плиты Гильдегарды. Она шепчет:

Спи на своем холодном ложе,  
Тебя никто не потревожит.  
Покойной ночи! Спи покуда,  
И я будить тебя не буду.  
Пока года, тоска и хвори  
Мне двери гроба не отворят,  
И я смешаюсь с перстью милой  
И разделю с тобой могилу<sup>7</sup>.

На ней то же черное одеяние, что на двух сестрах, поджидающих ее у дверей часовни.

Втроем они возвращаются в огромный спящий дом, и черные покрывала их реют в ночи. Они бродят вверх-вниз по темным галереям, Александра, Вальбурга и Милдред.

— Зачем мы здесь? — говорит Александра. — Что нам здесь надо?

— Так нам суждено, — говорит Милдред.

— Вы будете аббатисой, Александра, — говорит Вальбурга.

— А Фелицата?

— Ей суждено спать с иезуитом, — говорит Милдред.

— Из молодых монахинь многие смотрят ей в рот, — говорит Вальбурга.

— Она их умащает своей тошнотворной пропагандой, — свысока бросает Александра. — Любовь и свобода у нее с языка не сходят, и ведь будто о себе речь. А на самом деле Фелицата любить не может. Какая там любовь. Ей не то что любить, ей и ненавидеть-то страшно. А любовь не терпит слабодушных. И что она смыслит в свободе? Кто ее когда угнетал, мечется как угорелая: к обедне опаздывает, в шесть утра чуть не дремлет и вообще соблюдает Часы кое-как. Кто не привык обуздывать себя, тому свобода не под силу.

— Зато свою укладку аккуратно содержит, — говорит Милдред. — Там у нее все в таком порядке.

— Укладка Фелицаты — точная мерка ее любви и свободы, — говорит Александра, вскорости аббатиса Круская. — Укладка — ее альфа и омега, само собой, что и эпсилончик, ее йота и омикрон. И все ее разговорчики, и слюнявый иезуит, и потупленные ресницы — все из той же укладки, это ее нравственный якорь, ее магнитный полюс. Если ее изберут — конец аббатству. И много у нее сторонниц?

— Сторонниц хватает, ее самой не хватит, — говорит Милдред. — Недоберет она голосов.

Вальбурга говорит напрямик:

— Судя по утренним данным, она уже может рассчитывать на сорок два процента.

— Это крайне тревожно, — говорит Александра, — учитывая, что быть аббатисой Круской суждено мне.

<sup>7</sup> Из стихотворения английского поэта XVII века Г. Кинга «Погребение».

Она остановилась, и обе монахини с нею. Она обращена к ним лицом и приковывает их взгляды, ибо она как маяк.

— А если судьба моя не сбудется, значит, моя мать зря мучилась родами и вообще непонятно, зачем я здесь.

— Поутру у послушниц был разговор о Фелицате,— говорит Милдред.— Ее видели из окна между хвалитнами и Первым Часом, она бежала по саду. Говорят, на свидание.

— Что послушницы, они же не голосуют.

— Но мыслят так же, как молодые инокини.

— Разговор записан?

— Все в порядке,— говорит Милдред.

Вальбурга говорит:

— Надо что-то делать.

Лицо у Вальбурги серо-зеленого оттенка, продолговатое и гладкое. Нужно, чтобы аббатисе было за сорок, но Вальбурга, которой как раз пошел пятый десяток, хочет лишь чтобы избрали Александру, а сама она пусть бы осталась приорессой. Вальбурга сильна: когда она приняла постриг, к достоянию монастыря прибавился кусок Лондона — часть Парк-лейн с видом на Роттен-роу плюс прилегающие конюшни, которым цены нет. Она черпает силы в своем девственном сердце, закаленном долгим искусом юности, когда ее носило по ночным дворикам английских университетов и общежитиям европейских институтов из постели в постель. И всегда она стояла на том, что богатая женщина скорее уберезит сердечное целомудрие. В любовники она брала только ученейших людей, иной раз и неказистых, но не ниже профессора: ее пленяли солидные знания. И каждый раз она чувствовала, что приобщается к науке, как бы впитывает ее.

Милдред тоже обогатила аббатство. Ее вклад — изрядный квартал чикагских трущоб, а в придачу четыре больших доходных дома на Сен-Жерменском бульваре. Милдред тридцать шесть, и сан ей был бы не по годам, даже если б она и метила в аббатисы. Но она не метит, а, как и Вальбурга, уповаает на Александру. В монастырь Милдред попала со школьной скамьи: может статься, она лелеяла мечты столь несбыточные и столь великолепные, что легче ей таить их про себя и подчиняться, чем признать свое тщеславие и свое поражение. Смиреница, она была поставлена над послушницами: такая примерная монашенка, хорошенькая и голубоглазая, исполненная нервической робости. Иезуит Томас сначала даже предпочел ее Фелицате. Она возвращалась от исповеди, и он подкараулил ее за тополями.

— В чем вы исповедовались? — спросил он у Милдред. — Что вы рассказали этому молодому священнику? Какие у вас грехи?

— Это между мною и Богом. Нельзя об этом.

— А духовник? Ему, значит, можно, он ведь такой молодой? Что вы ему открыли?

— Открыла свое сердце. Так надо.

Он ревновал, но впустую. Каковы бы ни были сокровенные мечты Милдред, они обгоняли понимание иезуита, они были превыше его понимания. И в конце концов он возненавидел Милдред и принялся за Фелицату.

За Александрой не было приданого, она принесла аббатству лишь свою голубую кровь и неукротимый дух, и ей надлежит стать аббатисой — теперь, когда Гильдегарда лежит под плитой часовни. И так странно, что за три недели до выборов она тревожится, а ее приближенные инокини озабочены тем легким волнением, которое Фелицата вызвала среди сорока монахинь, будущих избирательниц. Идей у Фелицаты новые и шальные, и популярность ее растет.

При покойной аббатисе Гильдегарде эта странная обитель, полубенедиктинская, полунезуитская, вдруг оказалась ни той и ни другой. Пора было что-то менять или что-то решать. Возлюбив Александру, мать аббатиса Гильдегарда чуть-чуть не успела изгнать Фелицату — еще бы день-другой. Тень власти опочила на Александре, ей и бразды в руки. Победить должна она, голосовать будут за нее.

Они расхаживают по темным галереям такие счастливые общей тревогой, что словно не замечают своего счастья. Вальбурга говорит:

— Надо что-то делать. Фелицата может привести аббатство к безначалию.

— Да, к безначалию,— говорит Милдред, как бы смакуя слово и разделяя радостную тревогу.— Общине нужен строгий устав, нужна Александра.

Александра говорит:

— Следите за кривой популярности. Сестры, меня снедает ревность по до-  
ме Господнем. Не много ведь нас умалили перед ангелами. И на мне лежит бре-  
мя, ибо я воистину верую.

— И я,— говорит Вальбурга.— Я тверда в вере.

— И я тверда,— говорит Милдред.— Было время, когда я очень хотела не  
верить, но оказалось, что не верить у меня нет сил.

Вальбурга говорит:

— А ваш недруг, сударыня, а Фелицата? Как она, интересно, верует? Ей  
что, вера католическая уж совсем не указ?

— Фелицата притязает на особое озарение,— говорит будущая аббатиса  
Александра.— И хочет, чтобы всех так же озарило и все бы освободились, как  
она. На всякое слово и на всякое дело ей нужны заверенные справки от Всевыш-  
него: потом, глядишь, приложит их к налоговой декларации и выйдет ей скидка.  
Фелицата в жизни не поймет смысла веры помимо зримых благодеяний челове-  
честву.

— Она так любит помочь в беде,— говорит Вальбурга.— Всякому поможет  
перебраться из огня в полымя.

— Так и с иезуитом. Фелицата непременно сказала бы, что помогает Тома-  
су, будьте уверены,— говорит Милдред.— Она ему вполне под пару, он ведь и  
сам собирался мне помочь.

Сестры идут рука об руку, и ночную темень монастырских галерей оглашает  
их дружный смех. Александра посредине: она пританцовывает и смеется при  
мысли, что кому-нибудь из них может понадобиться помощь иезуита.

Дежурная инокиня пересекает двор: пора звонить к хвалитнам. Три мона-  
хини заходят в здание. В огромном вестибюле страгивается с места колонна.  
Это к ним идет Уиннифрида, круглое лицо ее залито лунным светом, а туловище  
и разум погружены в полумрак, она знает только, что недаром состоит при на-  
чальстве.

— Уиннифрида, Benedicite <sup>8</sup>,— говорит Александра.

— Deo Gratias, Александра.

— После службы увидимся в приемной,— говорит Александра.

— У меня новости,— говорит Уиннифрида.

— Потом, в приемной,— говорит Вальбурга.

А Милдред говорит:

— Не здесь, Уиннифрида.

Но из Уиннифриды так и хлещет, как из пивной бочки:

— Фелицата где-то здесь, прячется возле аллей. У нее было свидание с  
иезуитом Томасом. Я их записала и засняла по замкнутому каналу.

Александра говорит ясно и звонко:

— Не понимаю, что это за чушь вы городите.

И обводит глазами стены. Милдред тихо шепчет Уиннифриде:

— В вестибюле ни о чем нельзя. Сколько раз вам говорить?

— Ой,— задыхается от ужаса Уиннифрида.— Я и забыла, что вы теперь  
стали прослушивать вестибюль.

И взлетает ко лбу в отчаянии ладонь Милдред, и Вальбурга возводит глаза  
к небу: ну разве можно быть такой тупоумной! Но Александра спокойна.

— Из хаоса родится порядок,— говорит она.— Так всегда и бывало. Сестры,  
бдите и бодрствуйте.

<sup>8</sup> Благословите (лат.)



Приоресса Вальбурга обращается к ней:

— Александра, вы так спокойны, так спокойны...

— Есть речение: страшись, чтоб не разгневались спокойные,— говорит Александра.

Тихим шагом спускаются монахини по широкой лестнице — и вот все в сборе. Во главе приоресса Вальбурга, за нею Александра, за нею сестры все как одна идут читать Часы.

Три часа дня, Час Девятый; сестра Фелицата сонно проскальзывает в часовню. Она крохотушка, ни дать ни взять школьница, совсем не такая, какой рисуется из разговоров о ней. По цвету лица похоже, что под покрывалом у нее жесткие рыжеватые волосы. Никто не знает, где Фелицата провела полдня и полночи, только ее не было ни в полночь у заутрени, ни в три утра на хвалитнах, ни к завтраку в пять; без нее читали Первый Час в шесть утра и Час Третий в девять; не явилась она и в трапезную к одиннадцати, когда сестры заедали ячменный отвар чем-то хоть и непонятым, но вполне питательным и съедобным, намазанным на тосты: кошачьей, собственно говоря, пищей под названием «Мяу», закупленной оптом и по дешевке. Фелицата этой пищи не вкушала, и в полдень, когда подошел Шестой Час, не пела в часовне. А между Часами и трапезами ее не было ни в келье, ни в рукодельне, где вышивают кошельки, облачения и алтарные покровы, ни в электронной лаборатории, которую Александра, Вальбурга и Милдред, три советницы покойной аббатисы Гильдегарды, оборудовали под самым ее носом при ее благосклонном невмешательстве. Фелицата исчезла накануне после вечерни, а теперь она проскальзывает к своему сиденью петь Девятый Час — и зевает, это в три-то часа пополудни.

Когда Фелицата занимает свое место, приоресса Вальбурга, пока что глава монастыря, едва заметно косится на нее и тут же отворачивается. Легкий трепет милочетной тенью пробегает по рядам монахинь, и они прилежно поют дальше. Коротышка Фелицата знает Псалтырь нанзусть и подхватывает пение, не заглянув в молитвенник:

Говорят со мною языком лживым и отовсюду окружают меня словами ненависти:  
И вооружаются против меня без причины.  
В ответ на любовь мою они клеветают на меня: а я предался молитве.  
И они заплатили мне за добро злом, а за любовь мою — ненавистью.

Высокое кресло аббатисы пустует. Красноватые после бессонной ночи глазки Фелицаты обращаются к возвышению: она поет и, может быть, думает о мертвой, о невозмутимой аббатисе Гильдегарде, которая еще недавно тяжело восседала на этом месте; а может, и о том, как сама на него сядет, такая тщедушная и такая одушевленная новыми идеями, солнечный зайчик на темном кресле. Покойная аббатиса Гильдегарда терпела Фелицату только потому, что считала ее жалкой, терпение же пристало христианке. «В этом смысле она надежна: нам есть на ком упражняться в снисходительности»,— сказала как-то про Фелицату покойная Гильдегарда Александре, Вальбурге и Милдред; было это в летний день, между Шестым и Девятым Часом.

Фелицата уже не смотрит на пустое возвышение, она выпевает ответствия и поглядывает на Александру, которая высится над своим сиденьем. Губы Александры шевелятся, как велит напев:

И у воды опять возник  
Мой верный враг, как проводник,  
Мой верный враг...

Фелицата заканчивает алтарный покров, осталось вышить фразу изнутри в уголке. Делает она это аккуратненькими и меленькими атласными стежками,

белыми на белом, и выходят прочерченные карандашиком слова: «Opus Anglicanum»<sup>9</sup>. Пальчики ее снуют туда-сюда, поблескивает серебряный наперсток.

Монахини сидят кружком возле нее, и каждая с вышивкой, но Фелицата вышивает лучше всех.

— А знаете, сестры,— говорит Фелицата,— оказывается, наша рукодельня — настоящий очаг мятежа.

Прочие монахини, все восемнадцать, издают озабоченный гул. Смеяться Фелицата не позволяет. И в Уставе сказано, что смеяться незачем. Спрашивается: «Каковы начала праведности?» Отвечается, кроме всего прочего: «Не празднословить и не насмешничать». Это правило Фелицата свято чтит как неустарелое, как особенно важное в наши тревожные времена.

— Любви,— мягко говорит Фелицата, пробегая пальчиками по атласным стежкам,— вот чего нам не хватает. Все печемся о благополучии. О благополучии, и только. Это же грубый материализм. Господи помилуй нашу покойную мать аббатису Гильдегарду.

— Аминь,— отзываются восемнадцать голосов, а законное летнее солнце лучинами рассыпается по наперсткам.

— Иногда,— говорит Фелицата,— мне думается, что надо нам быть поближе к святому Франциску Ассизскому и поучиться у него нищенству и любви.

Ее верная сторонница, некая сестра Батильдис, замечает, не поднимая глаз от вышивного узора:

— Но ведь сестра Александра не жалуется святого Франциска Ассизского.

— Александра,— говорит Фелицата,— сказала буквально следующее: «К чертам святого Франциска Ассизского. По мне так лучше уж Секст Проперций, он тоже родом из Ассизи, современник Христа и духовный предшественник Гамлета, Вертера, Руссо и Кьёрнегора». Они все, говорит Александра, интересные психопаты, а святой Франциск — психопат неинтересный. Ну, вы когда-нибудь слышали о таких людях и о такой доктрине?

— Никогда,— в один голос отвечают монахини, опуская шитье на колени, чтоб ловчее перекреститься.

— Любовь,— говорит Фелицата, и все снова берутся за работу,— и любовное соитие — это очень возвышенные переживания, очень. Если бы я была аббатисой Круской, наше аббатство стояло бы на любви. Я бы разрушила эту нечестивую электронную лабораторию и устроила бы приют любви в самом сердце аббатства, в сердце Англии.

И ее работающие пальчики с иголочкой зарываются в ткань и выпархивают из нее.

— Каково? — спрашивает Александра, выключая телеэкран, на котором она с двумя наперсницами только что просматривала видеозапись сцены в рукодельне.

— Старая песня,— говорит Вальбурга.— У нее всегда одно и то же. И все больше монахинь самочинно идут вышивать и все меньше остается с нами. Как аббатиса умерла, так в монастыре хозяйки не стало.

— После выборов,— говорит Александра,— все будет иначе.

— И сейчас можно, чтоб было иначе,— говорит Милдред.— Вальбурга приоресса, это в ее власти.

Вальбурга говорит:

— Я подумала и решила никак не выговаривать Фелицате за ее вчерашнюю ночную гулянку. Я подумала, что нет, не надо и не надо мешать монахиням, пусть себе идут с ней вышивать. А то Фелицата, чего доброго, поднимет мятеж.

— Ой, а вдруг кто-нибудь из перебежниц догадался, что монастырь прослушивается? — говорит Милдред.

— Да что вы,— говорит Александра.— Монахини из лаборатории способны только проводить провода и завинчивать винты. Они и понятия не имеют, за чем это все делается.

<sup>9</sup> Английское производство (лат.).

Они сидят на голом металлическом столе в запретной диспетчерской, оборудованной рядом с приемной покойной аббатисы незадолго до ее смерти. А сама приемная такая же, как была при Гильдегарде, хотя через три-четыре недели тут все переделают по вкусу Александры. Ведь конечно же аббатисой Круской должна стать Александра. Но именно сейчас ее избрание под вопросом: сестра Фелицата ведет кампанию блестяще.

— Скучно ей,—говорит избранная судьбой аббатиса.—Вот ее несчастье. До поры до времени она вызывает у монахинь нездоровый интерес, а потом они поймут, какая она, честное слово, сама скучная.

— Гертруда,—говорит Александра в зеленую трубку,— Гертруда, миленькая, вы разве не вернетесь к выборам в родную обитель?

— Никак не выйдет,—говорит Гертруда, с которой установлена прямая связь, из столицы, ближайшей к тому белому пятну в Андах, откуда она недавно дала о себе знать.— У меня на самом трудном месте переговоры между людоедским племенем и вегетарианской сектой за горами.

— Но, Гертруда, мы здесь просто не знаем, что делать с Фелицатой. Само аббатство Круское под угрозой, Гертруда.

— Спасение душ прежде всего,—говорит сиплый голос Гертруды.— Надо, чтобы людоеды согласились питаться более умеренно, а еретики-вегетарианцы сбавили свой травоядный пыл.

— Что меня в этом больше всего смущает, любовь моя, Гертруда, так это как будет с людоедами на Страшном суде,—ласково говорит Александра.— Вы ведь помните, Гертруда, такой детский стишок:

Как это, право, странно  
Средь прочих перемен:  
Все, что ни съест малютка Н.,  
Становится малюткой Н.

И кажется мне, Гертруда, что в Судный день, когда возгремит труба, будут у вас хлопоты с этими людоедами. Вопрос в том, кто именно восстанет во плоти: ведь те, кого съели, давным-давно стали частью едоков и жили в них поколение за поколением. Эта загадка, о Гертруда, вещей мой ангел, не дает мне покоя в тихий летний день, и я просто заклинаю вас не путаться в такие дела. Вам нужно немедленно вернуться в Кру и помочь нам в трудный час.

В трубке слышен треск.

— Гертруда, алло! — говорит Александра.

Трубка трещит, потом откликается Гертрудиным голосом:

— Прошу прощения, все пропустила. Шнурок развязался.

— Надо вам быть здесь, Гертруда. Монахини уже поговаривают, что вы недаром от нас держитесь подальше. Фелицата говорит, если ее выберут аббатисой, она устроит финансовую ревизию и выяснит, на что пошли все приданые; и она проповедует половое общение. Вообще она объявила бунт, а ведь это безнравственно.

— Против чего она бунтует? — интересуется Гертруда.

— Против моей тирании,—говорит Александра.— Против чего же еще?

— И бунт ее безнадежен? — говорит Гертруда.

— Будем надеяться. Но шансы у нее есть. Сторонниц, что ни час, все больше.

— Если у нее есть шансы, то бунт ее не безнравственный. Бунтовать против тирана безнравственно, только если никаких шансов на успех нет.

— Это очень цинично звучит, Гертруда. Прямо Макиавелли. Как-то уж это слишком, вы не боитесь впасть в ересь?

— Так учит святой Фома Аквинский.

— Ну хотя бы к выборам, а, Гертруда? Нам надо с вами кое-что уточнить.

— Уточните у Макиавелли,— говорит Гертруда.— Это большой педагог, только я вам этого не говорила, неудобное имя.

— Гертруда,— говорит Александра.— Вспомните-ка:

Веселенькая крошка,  
В ней нету перемен;  
И что ни съест малютка Н.,  
Становится малюткой Н.

Но Гертруда уже дала отбой.

— Она придет? — спрашивает Вальбурга, когда Александра кладет трубку и поворачивается к ним.

— Сомневаюсь,— говорит Александра.— Людоеды в ней души не чают и приемлют от нее Поцелуй Мира, в нынешней «Дейли миррор» есть фотография. А вегетарианцы обещали перебить людоедов, если те ее попробуют изжарить.

— Если она не вернется в монастырь,— говорит Милдред,— у нее будут неприязности с Римом. Наше аббатство никого в бессрочные миссии не отряжает, всякая миссия должна иметь свой конец.

— Гертруда не боится ни папы, ни людей,— говорит Александра.— Вызовите по рации сестру Унифриду. Скажите ей, чтоб явилась в приемную аббатисы.

Она выводит всех в приемную, пока еще отделанную по вкусу покойной Гильдегарды, любительницы осеннего колорита. Ковер весь изукрашен рисунками опавших листьев, а обои светло-бурого и тускло-золотого оттенка. Три монахини усаживаются в зеленовато-коричневые плюшевые кресла, и вскоре перед ними предстает прикорнувшая и разбуженная Унифрида.

Александра, которая скоро переоблачится в белое, достает из кармана черной рясы связку ключей.

— Унифрида,— говорит она, отделяя ключ от связки.— это ключ от моей личной библиотеки. Отомкните ее и принесите мне «Искусство войны» Макиавелли.— Александра выбирает еще один ключ.— А заодно сходите в мою келью и откройте там стеной шкафчик. В нем вы найдете банку паштета, коробку пресных печенюц и бутылку вина «ле Кортон» урожая тысяча девятьсот пятьдесят девятого года. Накройте поднос на четверых и принесите его вместе с книгой.

— Александра,— ноет Унифрида,— ну почему я должна таскать подносы, ведь есть же кухонные монахини?

— Ни под каким видом,— говорит Александра.— Не надо нам посторонних. Вам тем более тоже достанется.

— А кухонные монахини такие уродины,— говорит Милдред.

— И такие все кретинки,— добавляет Вальбурга.

— Это верно,— говорит покладистая Унифрида и отправляется выполнять поручения.

— Полезный человек Унифрида,— говорит Александра.

— Унифрида всегда на что-нибудь пригодится,— говорит Милдред.

— Положительная женщина,— говорит Вальбурга.— Очень понадобится, когда с Фелицатой дойдет до дела.

— Ну, это уж вам вдвоем решать,— говорит Александра.— Я как очевидная кандидатка на место аббатисы Круской не стану лично участвовать в том, на что вы намекаете.

— А я, как хотите, ни на что не намекала,— говорит Милдред.

— Я тоже нет,— говорит Вальбурга.— Пока ни на что.

— Будет вам наигие,— говорит Александра.— Не знаю, почему бы мне и не обставить этот покой заново. Надо его, пожалуй, выполнить в зеленом. У меня слабость к зеленому. А как разобраться с Фелицатой — это вас озарит завтра-послезавтра где-нибудь между заутреней и хвалитнами, хвалитнами и Первым Часом, между Первым и Третьим Часом, а может, между Третьим и Шестым, Шестым и Девятым, Девятым и вечерней или, наконец, между вечерней и по-вечернем.

Возвращается Унифрида, высокая и осанистая, словно сменивший пол дворецкий: в руках у нее поднос, накрытый на четверых. Она ставит его на столик, шарит в кармане, извлекает оттуда книгу и отдает Александре ключи.

Они сидят за столиком, вино разлито.

— Прочсть застольную молитву? — спрашивает благообразная и большеглазая Унифрида, хотя остальные уже запускают в банку с паштетом перламутровые ножички.

— Да нет, необязательно, — говорит Александра, намазывая паштет на облатку, — у меня провиант вполне доброкачественный.

Округлив глаза, Унифрида пригибается к столу и сообщает:

— А я видела утренний телеснимок, где Фелицата с Томасом.

— Я тоже видела, — говорит Вальбурга. — Я не понимаю этих любителей свежего воздуха — чем их не устраивает обычный платяной шкаф, там тепло и уютно.

Александра говорит:

— Я видела негатив. И с тех пор у меня мутно на душе. Это не для них. Только красивым людям позволительно заниматься любовью под объективом.

— Как все было скромно и как продуманно в старых смешанных монастырях, — с грустью говорит Милдред.

— А я сделаю как встарь, — говорит Александра. — Если я хоть несколько лет пробуду аббатисой Круской, у каждой монахини будет особый духовник, как во времена моего предка святого Гилберта, ректора Семпрингамского. У каждой монахини свой иезуит. Обслуга как в одиннадцатом веке — из братьев-послушников цистерцианского ордена, из молчальников. А теперь с вашего позволения, Вальбурга, почитаем-ка «Искусство войны», а то время идет, сроки близятся.

Александра грациозно отодвигает тарелку и, закинув локоть за спинку, устраивается в кресле поудобнее, чтобы листать положенную перед ней книгу. Белые чепцы задумчиво нависают над страницами, а палец Александры выскикивает нужные места.

— Вот, например, — говорит Александра, и ее прелестный указательный палец останавливается на полях. — «Поговорив со многими о том, что вам должно делать, обсудите с избранными то, что вы решили предпринять».

Колокол звонит к заутрене, и Александра закрывает книгу. Вальбурга идет впереди, а Александра напутствует:

— Сестры, трезвитесь и бодрствуйте. Монастырь наш под угрозой, и нам должно просить Всевышнего об укреплении наших сил.

— О большем и мечтать нельзя, — говорит Милдред.

— О меньшем и просить стыдно, — заверяет Вальбурга.

— Природа наша испорчена грехопадением, — говорит Александра. — Но как прекрасно воскликнул святой Августин: «О блаженная вина, достойная такого Искупителя! O felix culpa!»

— Аминь, — отвечают три ее спутницы.

Они выходят к лестнице.

— О блаженный изъясн! — говорит Александра.

Фелицата уже ждет, окруженная сторонницами, а за ними черные ряды безмянных монахинь; и сверху спускаются трое с чинной Вальбургой во главе, все такие статные и горделивые. Накидки разбираются, и все выходят в полночный путь к часовне.

Фелицата высказывает из строя, и покрывало ее сливается с темнотой, а сестры вереницей проходят мимо на молитву. Затем, когда из часовни начинают наплывами литься песнопения, она мчится напрямик по траве в дом — быстренько, как утица по озерной глади. Фелицата взбегает по широкой лестнице, вот она включает свет в приемной аббатисы. Ее личико озаряется гневом при виде остатков маленькой пирушки; она плюет на них со злобой цыганки-нищенки и по-кошачьи шипит, глядя на эту преступную роскошь. Но вот она уже опомнилась, кинулась в дверь и склонилась над зеленым аппаратом.

Гудки, гудки, гудки... потом трубку снимают.

— Гертруда! — говорит она. — Неужели это вы?

— Я на выходе, — говорит Гертруда. — Вертолет ждет.

— Гертруда, какие вы дела вершите. Мы тут слышали...

— Затем и звоните? — говорит Гертруда.

— Гертруда, наш монастырь — рассадник порчи и лицемерия. Я хочу все изменить, и монахини, многие, со мной заодно. Мы хотим освободиться. Мы хотим справедливости.

— Сестра, бдите и бодрствуйте, — говорит Гертруда. — Справедливость возможна, но никому не дано ее обеспечить. Это предприятие роковое. Весь монастырь пойдет прахом.

— Ой, Гертруда, мы веруем, что любовь свободна и что свобода в любви.

— Это можно устроить, — говорит Гертруда.

— Да, Гертруда, но в мою жизнь вошел мужчина. Что делать с мужчиной бедной монахине?

— Мужчину, как известно, надо ублажать сверху и снизу, — говорит Гертруда. — Вам надо научиться готовить и подучиться всему прочему.

И телефон ревет, как дикий зверь.

— Что это, Гертруда?

— Это вертолет, — говорит Гертруда и кладет трубку.

---

— Прочтите им это вслух, — говорит Александра. Снова наступило обеденное время. — Пусть пстом не говорят, что мы скрывали свои намерения. Наши монахини такие одурелые, что все равно ничего не поймут, а Фелицатины свихнулись на сентиментальном иусуопоклонстве. Да, прочтите вслух. Вряд ли они имеют уши, но да услышат.

Кухонные монахини плавают с подносами по проходам между трапезными столами и разносят рубленую крапиву с картофельным пюре.

Унифрида стоит за кафедрой и объявляет главу тридцать четвертую, стих первый Экклезиастики<sup>10</sup>:

— «Глупцы питают тщетные надежды, и сновидения баюкают их. Обольстишься ли ложными мечтаниями? Не лучше ли простирать руки за тенью или гнаться за ветром? Лишь знаки, не более, видим во снах; лишь собственный образ предстает человеку. Разве бывает, чтобы нечистое очистило? Так же и ложь не может предвосхитить. Обличай безумство их, и неверное предвиденье, и лживые знаменья, и чародейные сны. Даже сердце женщины, снедаемой похотью, не столь обманчиво. И если не было тебе явлено от Вседержителя, не обольщайся; ибо сновидчество помutilo многие умы и многих низвергло. Веруй же обетованиям закона, ибо не преминут исполниться, и мудрые советчики твои скажут тебе то же».

Унифрида замолкает и пролистывает книгу до следующей вышитой в рукодельне закладки. Туманным взором обводит она трапезную, где кухонные монахини разносят по проходам кувшины и разливают по стаканам бодрящий кипяток. Вилки поднимаются к лицам, и рты раскрываются, приемля пищу. Все здесь, все на местах, кроме судомоек и послушниц, но они не в счет, и старших инокинь, а те, конечно, считаются. Жизнь человеческая затерта в этом бессмысленном сборище как нигде; стали они все такими или всегда такими были, так или иначе, но жалки они до крайности, тем более что сами они об этом не подозревают. Подпрыгивают вилки, разеваются рты, и в них исчезает крапива с картофельным пюре. Монахини подносят к поджатым губкам испускающие пар стаканы и пригубливают воду, словно теплый сок неизведанного вкуса: причащаются в ожидании избавительницы Фелицагы. А пока что благодетельная Унифрида преподносит им Экклезиаста, главу девятую, стих одиннадцатый.

<sup>10</sup> Апокрифическая книга, включенная в канонический текст Библии у католиков и отсутствующая в православном Писании.

— Вслушайтесь вновь, сестры,— говорит она,— в мудрые проповеди Соломона: «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благодарность, но время и случай правят всем».

Судомойки проскальзывают вдоль столов, прибирая пустые миски и заменяя их блюдами полезной и питательной заеки, которую просто жалко скормить монахиням, нашлись бы и другие охотники. Уинифрида отпивает стылую воду из своего стакана, ставит его, откладывает одну хорошую книгу и берется за другую, тоже хорошую и тоже переложенную вышитыми закладками. Она старательно извлекает какой-то бумажный листик из-под обложки и, на миг показавшись чуть ли не умницей среди прочих, зачитывает своим вечно унылым голосом вступительную фразу:

— «Мудрые речения нашего единоверца».

«Если кто-либо из вашей армии по вашему разумению снесся с врагом и поставляет ему сведения о ваших планах, лучше всего вам воспользоваться его предательством, якобы посвятив его в самые свои тайные замыслы, тщательно скрывая между тем ваши подлинные намерения; и таким образом вы удостоверитесь в предательстве и подвигнете врага к ошибке, может статься, губельной для него... Дабы проникнуть в тайные планы врага и выявить истинное положение вещей, можно прикомандировать к посольской свите умелых и опытных офицеров, разумеется переодетых... А если среди ваших солдат возникнут распри, то единственное средство — подвергнуть их общей опасности, ибо в таких случаях страх сплачивает...». И на том чтении конец,— говорит Уинифрида, тупо оглядывая тупое собрание, которому все равно, что входит в одно ухо и что вылетает из другого. Трапеза окончена, и монахини сложили руки.

— Аминь,— говорят они.

— Сестры, трезвитесь и бодрствуйте.

— Аминь.

---

Александра сидит в нижней гостиной, отведенной для приема посторонних. Она отложила в сторону «Рассуждения» Макиавелли, читанные в ожидании двух ее друзей-священнослужителей, которых наконец вводят Милдред и Вальбурга.

Несравненная Александра встает им навстречу и стоит неподвижно. Сестра предлагает Вальбурга по праву приорессы.

— Отцы иезуиты,— говорит Вальбурга,— вам все скажет сестра Александра.

Снаружи лето, по стене, как встарь, вьются розы и заглядывают в окно, им видна Александра, которая облокотилась на стол и задумчиво склонила голову. Сдержанное английское солнце украшает сквозь листву узорными тенями пол и полированный столик. В стекло ударяется пчела. В гостиной свежо и прохладно. За окном поодаль проходит монахиня-уборщица с двумя помойными ведрами, обошла бы и одним; и все в согласье с временем года.

Вальбурга сидит в стороне, улыбаясь для пущей обходительности, и краем глаза поглядывает на двери, ожидая явления подноса с послеобеденным чаем, столь продуманным во всех своих восхитительных подробностях, что монахиня, которая вносит его, ставит и удаляется почти совсем незаметно.

Стараниями Милдред перед мужчинами возникают чайные чашки и тарелочки, покрытые самодельными кружевными салфетками. Им предлагаются кресс-салатные сэндвичи, золотистые коржики и пастельные птифуры. Мужчины седоваты: они в тех же средних годах, что и троица монахинь. Александра с учтивым полупоклоном отказывается от чая. С этими иезуитами она в дружбе. Отец Бодуэн — крупный, грузный, краснолицый; его сотоварищ отец Максимилиан — степен и серьезен, лицо медальное. Не спуская глаз с Александры, они внимают ее словам под серебристый перезвон чайных ложечек.

— Отцы мои, по всему миру люди массами вымирают или обречены вымирать от голода, недоедания и болезней: повсюду беспрестанно затеваются войны и молодежь отправляют на увечья и гибель; политические экстремисты убивают кого попало; на месте низвергнутых деспотий вырастают вдесятеро худшие; род человеческий вообще утратил всякий рассудок — и в такие-то времена, отцы мои, ваш брат-иезуит Томас повадился каждую ночь трахать нашу сестру Фелицату вон там, под тополями; и теперь она только тем и занята, что увещевает прочих монахинь следовать ее примеру во имя свободы. Раньше они думали, что и так свободны, но Фелицата объяснила им, что нет. Вдсбавок она еще притязает на жезл аббатисы Круской. Отцы мои, я предлагаю вам обсудить безобразие и меры его пресечения с моими двумя сестрами, ибо все это выше моего разумения и ниже моего достоинства.

Александра встает и идет к дверям, в движеньях подобная магарадже, восседающему на слоне. Иезуиты явно обескуражены.

— Сестра Александра,— говорит массивный иезуит Бодуэн, раскрывая перед нею дверь,— мы, знаете, очень мало что можем в отношении Томаса, Александра...

— Сделайте то немногое, что можете,— говорит она, и долготерпение в ее голосе зримо укорачивается, как тени тополей в сияющий полдень.

---

А отцам Бодуэну и Максимилиану сидеть далеко за полночь в разговорах с Милдред и Вальбургой.

— Милдред,— говорит статный иезуит Максимилиан,— я знаю, на вас можно положиться в том смысле, что монахиням спуска не будет.

Поставленная над послушницами Милдред потому так и приближена к Александре, что заведомо не дает спуска младшим инокиням. Когда она оказывается среди своих, среди равных, ее до костей пробирает мелкая дрожь робости. Вот и сейчас она вздрагивает в ответ на доверительную улыбку Максимилиана.

Бодуэн переводит глаза с белого личика-сердечка Милдред на мощный темный лик Вальбурги — с одного портрета на другой, и белые рамки равно им идут.

— Сестры,— говорит Бодуэн,— Фелицата вам в аббатисы не годится.

— Аббатисой должна быть Александра,— говорит Вальбурга.

— И будет Александра,— заверяет Милдред.

— Тогда надо обсудить, с какой стороны нам взяться за Фелицату,— говорит Бодуэн.

— С Фелицатой мы прекрасно управимся,— говорит Вальбурга,— если вы управитесь с Томасом.

— Это, собственно, одно и то же,— говорит Максимилиан, одаря Милдред грустной улыбкой.

Звонят к вечерне. Вальбурга, ни на кого не глядя, роняет:

— Вечерню придется пропустить.

— Все Часы придется пропустить, пока не выработаем план,— подтверждает Милдред.

— А Александра? — говорит Бодуэн.— Разве Александра к нам не вернется? Нужно бы все обговорить с Александрой.

— Никоим образом, отцы мои,— говорит Вальбурга.— Не вернется, и ничего с ней не нужно обговаривать. Это может запятнать...

— Поскольку она, вероятно, будет аббатисой,— говорит Милдред.

— Поскольку она и будет аббатисой,— заверяет Вальбурга.

— Ну, я вижу, вы, девочки, тут прямо землю роете,— говорит Бодуэн, окидывая комнату недовольным взглядом, как бы в тоске по свежему воздуху.

— Бодуэн! — говорит Максимилиан, а монахини оскорбленно уставляют глаза на сложенные у колен пустые руки.



Наконец Милдред произносит:

— Собрать голоса нам не позволено. Это вразрез с Уставом.

— Ну да, ну да,— терпеливо соглашается неподъемный Бодуэн.

Вечерня минула, а беседа все длится, и черная тень прибирает поднос. Все длится беседа, и Милдред заказывает ужин. Священников проводят в гостевой туалет, а Милдред с Вальбургой удаляются в уборную на верхнем этаже и перебрасываются двумя-тремя радостными словами. Дело стронулось, и все идет хорошо.

Четверка снова в сборе; подан добрый ужин с вином. Колокол звонит к повечерию, а переговорам конца не видно.

В отдаленной диспетчерской наверху звук их голосов приводит в движение ролики, шелестит пленка. Почти всюду в монастыре у стен есть уши, и Милдред с Вальбургой об этом подзабыли, не то что поначалу. Это все равно как затвердить понаслышке, что на тебе всегда око Господа: это значит слишком много, а стало быть, ничего не значит. И обе монахини говорят без опаски, иезуиты тоже, они уж и вовсе не подозревают, что их слушает и записывает устройство не столь безобидное, как Господь.

Псалмы повечерия ровно струятся из часовни, где Александра стоит почти напротив Фелицаты. Место Вальбурги пусто, место Милдред пусто. В кресле аббатисы пустоты пока еще нет, но нет и Гильдегарды.

Голоса журчат, как ручеек:

Услышь, Боже, прошение мое: внемли молитвам моим.

От концов земли зываю к тебе в унынии сердца моего.

Ты возведешь меня на высокую скалу и там дашь мне отдохновение:

Ибо Ты мое прибежище, крепкая твердыня перед лицом врага.

В глазах Александры печаль, а губы ее произносят:

Ибо тоскливо мне среди чужих,

И до простейших смертных нет мне дела.

Да, тоскливо мне

Среди чужих!..<sup>11</sup>

Уинифрида подменяет Милдред, истово выпевая краткий стих Писания вслед за звонкими ответствиями Фелицаты: «Сестры: трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев, рыкая, ходит, иский, кого поглотити. Ему же противитесь...»

«Да, я тоскую по родне духовной»; переливается английский стих, любимый Александрой:

Да, конечно, они наплывают, хлопья тумана из глуби души,

И утешают меня надежными старыми чарами.

Но это все пусть, а среди чужих мне тоскливо!<sup>12</sup>...

### ГЛАВА 3

Про Фелицатину укладку всем известно, что она Фелицатина и прибыла с нею как часть ее приданого. Укладка не какая-нибудь: вышиной она фута два с половиной и стоит на изящных витых ножках с колесиками. Она инкрустирована перламутром, у нее тройное дно, и все иголки, ножницы, мотки, шпульки аккуратно рассованы по отделеньцам. А в самом низу алый муаровый тайничок для любовных писем. Александра буквально застывала возле этой укладки и с аристократическим любопытством созерцала драгоценный мещанский фетиш.

— Право, даже не знаю, какая епитимья полагается за такую укладку,— заметила она как-то в присутствии Фелицаты покойной аббатисе Гильдегарде, которой случилось быть в рукодельне с обходом.

Гильдегарда ответила не сразу, но за порогом сказала:

<sup>11</sup> Строки из стихотворения Эзры Паунда «Претерпение».

<sup>12</sup> Там же.

— Чудовищная безвкусица, но мы принесли обеты и обязаны смиряться. В конце-то концов все ведь сокрыто от глаз людских. И кроме нас, никому здесь не понятно, что красиво, а что нет.— И темные глаза Гильдегарды, ныне сомкнутые смертью, глянули на Александру.— Даже и наша красота,— сказала она,— кому она понятна?

— Какое нам дело до нашей красоты,— сказала Александра,— раз мы прекрасны, вы и я, хоть нам и нет до этого дела?

А удрученная Фелицата полюбовалась на свою укладку и раскрыла ее — проверить, все ли в порядке: Так она делает каждое утро, так и сегодня после Первого Часа: привычно поглаживает лишний раз блестящую узорчатую крышку, пока рядовые монахини, изнуренные обетами, гуськом заходят в рукодельню и рассаживаются по местам.

Фелицата открывает укладку. Она обзрывает отделенница, катушки и мотки, иголки и крючочки. Вдруг она взвизгивает и, обратив перекошенное личико ко всем сразу, спрашивает:

— Кто трогал мою укладку?

Ответа нет. Монахини вовсе не готовы к тому, чтобы на них сердились. Близится день выборов. Монахини пришли в полном ожидании откровений Фелицаты о том, как надо жить любовью возле аллен, обсаженной тополями.

А Фелицата говорит глухим, сдавленным голосом:

— В моей укладке кто-то рылся. И наперстка моего нет.— Она поднимает первый слой и осматривает второй.— И здесь рылись,— говорит она. И заглядывает под третий. Потом решает лучше опростать укладку, чтобы проверить тайничок.— Сестры,— говорит она,— кажется, они добрались до моих писем.

Словно ветер пролетает над озером, шелестят камыши и вспархивают птицы. Фелицата считает письма.

— Нет, все здесь,— говорит она,— но их читали. И наперсток мой пропал. Не могу найти.

Все ищут Фелицатин наперсток. И никто не находит. Колокол звонит к Третьему Часу. Утро почти прошло, и совсем впустую, и монахини гуськом тянутся на молитву — все недовольные и каждая наконец-то сама по себе.

---

О, как сострадательна Александра, оповещенная о Фелицатином несчастье!

— Будьте с ней помягче,— говорит она старшим инокиням.— У нее, видимо, совсем плохо с нервами. Наперсток — ну что такое наперсток? Да, наверно, она сама в порыве неосознанного желанья послать к чертям свое постылое рукоделье и сбежать с любовником куда-нибудь заложила этот несчастный наперсток. Помягче с ней. Это ведь так прекрасно — утешать страдальцев. Нет в мире красоты превыше красоты доброго дела. Она пребудет сама себе наградой во веки веков.

Унифрида смутно понимает, что Александра все говорит верно, вот только зачем она сейчас все это говорит? Вальбурга и Милдред молча стоят и размышляют, и Александра оставляет их наедине с размышлениями. Конечно же, Александра говорит это не даром, она хочет, чтоб дух ее не утратил ясности пред Господом и чтоб сбылась предначертанная ей судьба аббатисы Круской. Очень скоро всем сестрам становится известно, как благородно мыслит Александра, и все даже недоумевают, как это она перед самыми выборами заклинает быть помягче с воинственной соперницей.

Назавтра крошка Фелицата вся дрожит от гнева и взвинчена до визга. Заговор, заговор, против меня заговор — только об этом слышат ее товарки в рукодельне между хвалитнами и Первым Часом, Первым Часом и Третьим, Третьим и Шестым. Потом она укладывается в постель; ее ошарашенные подруги везде ищут наперсток, и все их реплики и догадки отлично прослушиваются в диспетчерской.

К вечеру Вальбурга докладывает Александре:

— От нее понемногу отшатываются. Мы задавим паршивую сучонку своей кротостью.

— Знаете, Вальбурга,— отзывается Александра,— отныне и впредь вы мне, пожалуйста, ни о чем таком не доносите. Все препоручено вам и сестре Милдред, с вами отцы Бодуэн и Максимилиан и в помощь вам Унифрида. А я должна оставаться в неведении. Продолжайте без меня. Я замыкаю уши, ибо знать мне об этом не подобает и программировать меня не надо: я не электронная машина, а будущая аббатиса Круская.

Полночный звон к заутрене поднимает Фелицату с ее жесткого ложа. О господи, в окне рукодельни отсвет фонарика! Фелицата покидает черную вереницу, молчаливо тянущуюся к часовне. Александра во главе. Нет ни Вальбурги, ни Милдред. В окне рукодельни мечется тусклый блик, словно кто-то водит карманным фонариком.

Монахини все уже в часовне, а Фелицата стоит на лужку и всматривается, потом она крадучись пробирается назад в дом и вверх по лестнице.

Оказывается, два молодых человека шарят в ее укладке. Они обнаружили тайник. Один из них держит в руке Фелицатины любовные письма. Фелицата, вереща, выскакивает, запирает незваных гостей в рукодельне, бежит к телефону и вызывает полицию.

В диспетчерской Милдред и Вальбурга отрываются от мутного телеэкрана.

— Пошли быстро,— говорит Вальбурга,— в часовню, за мной. Надо, чтоб нас видели у заутрени.

Милдред трепещет. Вальбурга идет твердой поступью.

У ворот звонят, но монахини поют как пели. Полицейские сирены воют в аллее: Фелицата впустила автомобиль; но сестры не прерывают ночного моления:

Он превращает реки в пустыню и источники вод—в иссохшую землю,  
Землю плодородную—в солончатую за нечестие живущих на ней.  
Он превращает пустыню в озеро и бесплодную землю—в источники вод.  
И поселяет там алчущих: и они строят город для обитания.

Суматоха достигла ушей Александры.

Сестры, трезвитесь, бодрствуйте, ибо диавол, как рыкающий лев...

Монахини бредут спать друг за дружкой, горячо перешептываясь. Бредут, покорно склонив головы, но глаза их шныряют направо и налево: в вестибюле стоят полицмены и с ними два небрежно одетых молодых человека, пойманных в монастыре. Голос Фелицаты все время прерывается. Она рассказывает и дрожит, а лучшая подруга Батильдис поддерживает ее. Вот и Вальбурга с Александрой, начальственно шуршат их рясы. Милдред жестом отсылает монахинь наверх, наверх по кельям, подальше, подальше от всего этого. И слышно, как Александра говорит:

— Да, да, сюда, в гостиную. Сестра Фелицата, бдите и бодрствуйте.

— Возьмите себя в руки, Фелицата,— говорит Вальбурга.

Когда последняя монахиня исчезает наверху, из темного шкафа в рукодельне выбирается совершенно одурелая красавица Унифрида и следует на первый этаж.

Между тем выясняется, что молодые люди — иезуитские послушники. Они в этом признаются в гостиную, и полицейские записывают.

— Сержант,— говорит Вальбурга,— тут, по-моему, просто шалость.

— Какие-нибудь пустяки,— величаво и беззаботно говорит Александра.— Мы никаких заявлений подавать не будем. Нам не нужен скандал.

— Предоставьте это нам,— говорит Вальбурга.— Мы переговорим с иезуитами, с их начальством. Их, конечно, исключат из семинарии.

Сестра Фелицата верещит:

— Я на них заявляю. Они были здесь вчера ночью, они украли мой наперсток.

— Видите ли, сестра...— говорит старший чин и покашливает.

— Украли, да,— говорит Фелицата.

— Наперсток, сударыня,— говорит полисмен,— это, как бы сказать, не такая уж кража. Может, вы его куда задевали.

И обращает искательный взгляд к перламутровому лику Александры — может, она поддержит. Полисмены, все трое, неловко переминаются.

Юная Батильдис говорит:

— Не в одном наперстке дело. Они искали тут личные, собственные документы сестры Фелицаты.

— В нашем монастыре нет личной собственности,— говорит Вальбурга.— Я здесь приоресса, сержант. По-моему, инцидент исчерпан, очень жаль, что мы вас потревожили.

Фелицата рыдает, а Батильдис выводит ее из гостиной и нахально говорит:

— Подстроили.

Таким образом, инцидент исчерпан, двум послушникам-иезуитам сделано предупреждение, и прекрасная Александра умоляет полицию пощадить святой удел затворниц и как-нибудь замять скандал. Полиция почтительно удаляется; перед дверью все трое становятся навтыжку, пропуская Вальбургу, Александру и Милдред.

За дверями стоит Уинифрида.

— Все пропало! — говорит она.

— Чепуха,— быстро возражает Вальбурга.— Друзья наши, вот полисмены, позаботились, чтоб ничего не пропало. Они проявили полное понимание.

— Нынешняя молодежь, сестры...— говорит старший полисмен.

Они усаживают двух юных иезуитов в полицейскую машину и везут их назад, в семинарию. Уезжают тихо, как только можно.

В печать кое-что просочилось: в одну газету, в один утренний выпуск. Но и этого хватило, чтобы кузены Александры, сестры Вальбурги и несметная родня Милдред — все они по собственному почину, никого ни о чем не спрашивая, с тихим бешенством кинулись на защиту задетых монахинь-родственниц. Сначала по телефону, потом — мягко, без нажима — в келейной тишине клубов и чопорных великосветских гостиных эти семейства единым фронтом приватно и веско возражали против маленькой газетной заметки под заглавием «Резвые иезуиты-послушники». Из небытия возникло некое католическое духовное лицо, и передавались его слова, что все это безбожно преувеличено, что как-то это даже не по-джентльменски, что виною тут, увы, религиозные предубеждения и что разве можно так порочить этих милых затворниц. Они ведь, кстати, не имеют права опровергать клевету — и это бездоказательное утверждение действовало сильнее всего. Да и вообще все свелось к пустякам: к газетной вырезке на рабочем столе Александры. «Резвые иезуиты-послушники» — и несколько шуточных абзацев о том, как два семинариста-иезуита пробрались в отгороженное от мира аббатство Круское и стащили наперсток у одной монахини.

— Они это сделали на пари,— разъяснил отец Бодуэн, заместитель ректора иезуитского колледжа. Отец Бодуэн отрицал, что потребовалось вмешательство полиции, и заявил, что инцидент исчерпан.

— За каким дьяволом,— интересуется Александра в присутствии Уинифриды, Вальбурги и Милдред,— им понадобился ее наперсток?

— Так они же два раза приходили,— жалобно гнусит Уинифрида.— В ту же ночь, когда их не поймали, и на другую, когда поймали. Они сначала пришли осмотреться и проверить, трудно или нет, и забрали с собой наперсток, чтоб доказать, что нетрудно. Отец Бодуэн и отец Максимилиан согласились, вот они и пришли на другую ночь за любовными письмами. Это просто было...

— Унифрида, хватит,— говорит Вальбурга.— Александру все эти подробности не касаются. Не надо их, пожалуйста.

— Ну как,— говорит упрямая Унифрида,— она же сама спрашивала: за каким дьяволом...

— Ничего подобного Александра не спрашивала,— угрожающе говорит Вальбурга.

— Совершенно ничего подобного,— соглашается Милдред.

Александра сидит за рабочим столиком и улыбается.

— Александра, я это слышала собственными ушами. Вы спрашивали про наперсток.

— Если вы верите собственным ушам больше, чем нам, Унифрида,— говорит Александра,— то, пожалуй, пришло время расстаться с вами. Может быть, у вас пропало религиозное призвание, и мы вас не осудим, если вы решите без лишнего шума вернуться в мир — до выборов, конечно.

Омраченное и затуманенное сознание Унифриды вдруг на миг проясняется. Она говорит:

— Сестра Александра, вы меня абсолютно ни о чем не спрашивали, а я вам ничего не отвечала.

— Вот именно,— говорит Александра.— Я вас так нежно люблю, Унифрида, так бы вас и съела, только что терпеть не могу жирного пудинга. Будьте добры, пойдите к монахиням и поделитесь с ними своими соображениями. А то они шепчутся и никак не могут понять, что произошло. Наложите на Фелицату трехдневное покаянное молчание. Дайте ей новый наперсток и десять ярдов поплина, пусть подрубают.

— Фелицата сейчас в саду, и с ней Томас,— сообщает Унифрида.

— Александра сильно простудилась, и у нее заложило уши,— говорит Вальбурга, разглядывая свои изящные ногти.

— Исчезните,— говорит Милдред, и Унифрида исчезает, а между тем цилиндрические ушки в стенах воспринимают звуковые колебания и передают их на магнитофон в диспетчерской, и кассета за кассетой послушно вертятся час за часом.

Унифрида удалилась, и три сестры минуту сидят в молчании: Александра изучает газетную вырезку, а Вальбурга и Милдред изучают Александру.

— Фелицата в саду, и с ней Томас,— говорит Александра,— и она до сих пор надеется стать аббатисой Круской.

— У нас нет видеосвязи с садом,— говорит Милдред.— Пока еще не наладили.

— Гертруда,— говорит Александра в зеленую трубку,— до нас дошло, что вы пересекли Гималаи и проповедуете сокращение рождаемости. Епископы требуют объяснений. Этак мы, любезная Гертруда, чего доброго, рассоримся с Римом, а между тем выборы на носу.

— Проповедовала я только птицам, как святой Франциск,— говорит Гертруда.

— Гертруда, откуда вы звоните?

— Название этого города не выговорить, завтра его все равно меняют, и новое тоже язык не берет.

— У нас тут были неприятности,— говорит Александра.— Вы бы лучше вернулись под родной кров, Гертруда, и помогите нам с выборами.

— Воздействовать на избирателей аббатисы не положено,— говорит Гертруда густым-густым голосом.— Всякий голосует, как ему подсказывает совесть. За меня проголосует Унифрида.

— Во время повечерия в монастырь пробрались два иезуита-послушника, и теперь Фелицата ходит и всем говорит, что ее хотели скомпрометировать. Они похитили ее наперсток. Она беснуется на самый климактерический манер и уверяет, что против нее заговор, что ей мешают стать аббатисой Круской. Конечно,

все это полнейшая чепуха. Почему бы вам не вернуться, Гертруда, и не высказаться по этому поводу?

— Меня там тогда не было,— говорит Гертруда.— Я была здесь.

— А бронхита у вас нет, Гертруда?

— Нет,— говорит Гертруда,— сами высказывайтесь. Только осторожнее, без предвыборной агитации.

— Гертруда, милая, как же мне воззвать к высшим побуждениям наших монахинь? Фелицата растлила их умы.

— Взывайте к их низменным побуждениям,— говорит Гертруда.— Это ваше внутреннее дело. К высшим побуждениям надо взывать, только если обрабатываешь посторонних. Я слышу, у вас там бьет колокол, Александра. Я слышу милый сердцу звон.

— Звонят к Третьему Часу,— говорит Александра.— А не тоскливо ли вам там, Гертруда, среди чужих?

Но Гертруда уже дала отбой.

Монахини собрались в большом парадном зале и внимают приорессе Вальбурге. Они рассажены полукругами по рангам: старшие инокини сзади, в средних рядах младшие и незаслуженные, впереди послушницы. Вальбурга стоит за столом на возвышении, справа и слева от нее первые по старшинству: Фелицата, Унифрида, Милдред и Александра.

— Сестры, бдите и бодрствуйте,— говорит Вальбурга.

Однако монахини настроены суетно, как никогда прежде. Лица у них оживленные, глаза любопытные, будто они за свои деньги сидят в театре и ждут начала представления. За окнами дождь, он сечет по траве, по гравию, по опавшим листьям; а здесь предгрозье, и шорох все нарастает.

— Трезвитесь, бодрствуйте,— призывает приоресса Вальбурга,— ибо я предложила сестре Александре сказать вам слово о наших недавних происшествиях.

Александра встает и отдает поклон Вальбурге. Она стоит прямая, как громовод, такая элегантная в черном облачении; скоро она воссияет в белом.

— Сестры, бдите. Прежде всего у меня поручение от нашей досточтимой сестры Гертруды. В настоящее время сестра Гертруда разрешает спор между двумя сектами, обитающими по ту сторону Гималаев. Спор идет о некой частности вероучения, и возник он, видимо, из-за ошибки в написании одного английского слова. По своему смелому обыкновению, сестра Гертруда не стала докучать Риму утомительными подробностями пререканий и кровопролитий и улаживает дело полюбовно. И среди всех своих неотложных занятий сестра Гертруда улучила время поразмыслить о недавней пустяковой суматохе в нашей уютной обители, и она призывает нас мыслить возвышенно и смотреть широко: об этом я сейчас и поведу речь.

При одном упоминании о знаменитой Гертруде монахини начинают трезвиться и бодрствовать, но тут Фелицата несколько рассеивает их, достав из большого кармана под черным наплечником маленькие пальцы. Она принимается вышивать с преувеличенным старанием. Александра, чуть покосившись на эту кроткую демонстрацию, продолжает.

— Сестры,— говорит она,— исполним пожелание сестры Гертруды: позвольте мне воззвать к вашим высшим побуждениям. На прошлой неделе случилось чрезвычайное происшествие: в полночь к нам проникли два молодых шалопая. Естественно, что вас это смутило, и мы знаем, что вас подбивали на пересуды по этому поводу, который вызвал массу рассказней за стенами монастыря.

Пальцы Фелицаты снуют туда-сюда, глаза ее набожно потуплены и прикрыты бесцветными ресницами; вышивание она держит у самых глаз.

— Так вот,— говорит Александра.— Не затем я стою перед вами, чтобы толковать о повседневном и мимолетном, преходящем и бренном, ибо, по словам поэта,

Расшиты шелковым шитьем  
Сказанья о любовной доле  
На радость жирной, жадной моли...<sup>13</sup>.

В расчете на ваши высшие побуждения я лучше напомню вам о немеркнущих традициях, воплощенных в моей сиятельной прабабке Маргерите Мари Алакок, которая в семнадцатом столетии основала великое аббатство Сакре-Кёр. Не забывайте, пожалуйста, о том, сколь счастлив ваш нынешний жребий, ибо в те времена, надо вам знать, монахини строго делились на два разряда: *sœurs nobles*<sup>14</sup> и *sœurs bourgeoises*<sup>15</sup>. Помимо знати и буржуазии различали, конечно, и третью категорию — сестер-мирянок, но о них и говорить не стоит. Да еще и в нашем веке в монастырских школах на континенте принято было раздельное обучение: *filles nobles*<sup>16</sup> были отданы в ведение монахиням знатного происхождения, а *sœurs bourgeoises* наставляли дочерей *vils métiers*<sup>17</sup>, то есть лавочников.

Со свежего, миловидного лица Уинифриды изо всех сил глядят глаза, круглые, как колесики игрушечного автомобильчика; ее отец богат и преуспевает, он директор фарфорового завода и пожалован дворянством.

Красивые руки Вальбурги сплетены перед нею на столе, и она не отрывает от них взгляда, внимая размеренно-нежному голосу Александры. Удлиненный лик ее в белом чепце кажется темно-серым; монастырю она принесла громадное состояние своей набожной матери-бразилианки; ее отец, ныне покойный, был из военных.

Голубые глаза Милдред обзирают послушниц и следят за их поведением, а ее личико-сердечко в овальной рамке чепца недвижно, как нарисованное.

Александра высится, подобная мачте старинного корабля. Яростные пальчики Фелицаты пронзают кусок материи точной и неустанной иглой; она иногда забавляла покойную аббатису Гильдегарду своей злобной робостью, ибо хотя она столь же родовита, как Александра, это на ней никак не сказывается. «Довольно любопытный генетический сдвиг, — говорила Гильдегарда. — Такая великолепная родословная, а сама она, странное дело, такая жалкая. Впрочем, Фелицата ниспослана нам для упражнения в снисходительности».

Дождь хлещет сильнее, и перестук капель по стеклу сопровождает ясный голос Александры, а Фелицата раз за разом втыкает иглу, будто жаждет крови. Александра говорит:

— Учтите, сестры, что скоро нам предстоит избрать новую аббатису Крускую, и каждая из нас, по старшинству наделенная голосом, исполнит свой долг, как велит совесть, без всяких обсуждений и переговоров. Сестры, бодрствуйте и трезвитесь. Помните, как вам улыбнулось счастье: ведь вы большей частью дочери дантистов, врачей, адвокатов, маклеров, бизнесменов и тому подобное. Община уже не требует, чтоб вы представили *épreuves*, иначе говоря, свидетельства вашей принадлежности к знати с двух сторон на четыре поколения предков-воителей или на десять поколений их же с отцовской стороны. Нынче мещанки как попало мешаются со знатью. И в нашем аббатстве нет уже отдельных входов, раздельных dormitorioв, особых трапезных и лестниц для *sœurs nobles* и *sœurs bourgeoises*; и нет в часовне завес, разгораживающих аристократок и буржуазию, буржуазию и черную кость. Нынче о нашем ордене и аббатстве судят только по возвышенности наших побуждений. Так что же: превратимся ли мы в совершенных мещанок или сохраним черты благородной общины? Напомню вам, кстати, что в тысяча восемьсот семьдесят третьем году монахини ордена Святого Сердца совершили паломничество в Паре ле Мониаль к родовой усыпальнице моей прабабки, и вел их сам герцог Норфольк в одних носках. Сестры, бодрствуйте. По зову нашей прославленной сестры Гертруды и по приказу нашей приорессы Валь-

<sup>13</sup> Из стихотворения ирландского поэта XX века У. В. Йейтса «Он вспоминает забытую прелесть».

<sup>14</sup> Сестры-дворянки (франц.).

<sup>15</sup> Сестры-мещанки (франц.).

<sup>16</sup> Девочки-дворянки (франц.).

<sup>17</sup> По•длые профессии (франц.).

бург я зываю к вашим высшим побуждениям и предлагаю вам поразмыслить над нижеследующими различиями:

В нашем аббатстве аристократка складывает свои любовные письма в специальную шкатулку у входных дверей, чтоб сестры могли поразвлечься в час досуга; мещанка же прячет свои любовные письма на дно укладки.

Аристократка не роняет себя; мещанка же пристраивается под тополями и яблонями.

Аристократка любезна и предупредительна с мелкими воришками; мещанка же вызывает полицию.

Аристократка понимает, что научные способы надзора с помощью электроники составляют ценное и удобное подспорье ее естественной любознательности; мещанка же видит в таких новшествах адские козни и предпочитает благопристойно сидеть и вышивать.

Аристократка впадает или не впадает в смертный грех; мещанка же грешит по мелочам, не отваживаясь на большее.

Аристократка стойко сносит то «Терзание Духа», о котором писал в трактате, так и озаглавленном по-англосаксонски, мой предок Майкл Нортгейт в 1340 году: мещанка же мучается жалкими угрызениями нечистой совести.

Аристократка может втайне не верить ни во что; мещанка же всегда верует во всеуслышание и всегда верует неверно.

Аристократка попросту игнорирует скандал, затрагивающий ее обитель; мещанка же готова поведать о нем *urbi et orbi*<sup>18</sup>, то есть встречному и поперечному.

Аристократка свободна; мещанка же вечно томится мечтой о свободе.

Александра замолкает и озаряет сестер ангельской улыбкой нездешнего знания. Фелицата оторвалась от вышивания и смотрит в окно, словно негодует, что дождь кончился. Прочие сидящие за столом сестры глядят на Александру, которая заключает:

— Сестры, трезвитесь, бодрствуйте. Я говорю не о нравственности, а о нравах. Наш предмет — не безгрешность и не святость; то и другое — дело благодати; вопрос в том, пристало ли нам называться леди, а это уже зависит от нас. В юности моей хорошо говорилось, что вопрос «она настоящая леди?» ответа не требует, потому что в случае с настоящей леди вопроса не возникает. И взаправду, не печально ли, что нам поневоле приходится задаваться этим вопросом у нас, в аббатстве Крусском?

Фелицата выходит из-за стола и прямо становится у дверей, наперехват, испуленно высматривая своих сторонниц в общей веренице. Но все хотят быть настоящими леди, и даже монахини-вышивальщицы потупляют долу смущенные глаза: их ждет ужин, рис и тефтельки, изготовленные из собачьих консервов, весьма питательные и вполне заслуженные.

Фелицата выходит за ними, и Милдред говорит:

— Верную ноту вы взяли, Александра. Все они — что послушницы, что монахини — снобы до мозга костей.

— Александра, дело сделано, — говорит Вальбурга. — Я думаю, конец теперь влиянию Фелицаты на монахинь-рenegаток.

— Дегенератки они, а не ренегатки, — говорит Александра. — Унифрида, милочка, вы у нас сушая леди: ваши высшие побуждения не подсказывают вам, что надо сходить поставить на лед белое вино?

Унифрида удаляется озадаченная и весьма польщенная.

Тогда три монахини в черном, Вальбурга, Александра и Милдред, берутся за руки. И танцуют вприпрыжку: скачут в одну сторону, потом в другую.

Потом Вальбурга говорит: «Тише!» — и обращает ухо к окну.

— Кто-то свистит, — говорит она.

С луга, из дальней кущи, доносится второй слабый свист. Все три сестры

<sup>18</sup> Городу и миру (лат.).



идут к окну и в прощальном сумеречном свете видят, как крошка Фелицата бежит по тропке, сворачивает к рододендронам и исчезает за тополями.

— Жуткая слякоть,— говорит Александра.

— Как-нибудь они и стоя не пропадут,— говорит Милдред.

— Или задом наперед,— говорит Вальбурга.

— С Фелицатой это не пройдет,— говорит Александра.— Как сказал поэт Александр Поп:

Ей добродетель — сущее терзанье,  
Благопристойность — вот ее призванье.

#### Г Л А В А 4

Глухой и престарелый аббат Инский, которого добрые отцы-иезуиты Максимилиан и Бодуэн раз в неделю привозят слушать исповеди монахинь, прибыл в аббатство; вместе с обоими иезуитами он наблюдал за выборами и перед всей общиной провозгласил Александру аббатисой Круской. Старый аббат вручил новоиспеченной аббатисе жезл и отслужил торжественную мессу; ему помогли забраться на заднее сиденье и увезли в беспробудном сне. Простуженная Фелицата на торжественной церемонии выборов не присутствовала, а лежала в постели. Ее подруга Батильдис поведала ей о сокрушительной победе Александры, и она торопливо заснула в рот градусник: такое ее поведение с интересом наблюдали по телевидению Александра, Милдред и Вальбурга.

Но все это было и былшем поросло. Листья падают, ласточки улетают. Фелицата давно уж встала с одра болезни, упаковала чемоданы, бережно укутала свою укладку в мешковину и покинула монастырь вместе с багажом. Она осела в Лондоне со своим иезуитом Томасом, сняв квартиру близ Эрлс-Корта, и не на шутку принялась разоблачать.

— Ах,— говорит Вальбурга,— если бы полиция взяла в оборот этих двух балбесов-семинаристов, которые вломилась в монастырь, она бы не могла делать публичных заявлений, пока не кончится следствие.

— Полиция тут вообще ни при чем,— говорит аббатиса в нынешнем своем белоснежном облачении.— Репортеры и епископы — вот беда. А полиция просто не хочет мешаться в историю с католическим монастырем: хлопот не оберешься.

Милдред говорит:

— Дело было так. Два юных иезуита, ныне исключенных из семинарии, прослышали, что есть у нас одна такая монахиня...

— Фелицата,— говорит аббатиса.

— Она,— говорит Вальбурга.

— Да. Монахиня, которая устраивает сексуальные игрища, скажем даже обрядовые, и всячески проповедует эти безрадостные занятия... Ну, прослышали об этой монахине и пробрались в монастырь, понадеялись, что Фелицата с какой-нибудь подружкой...

— Скажем, с Батильдис,— прикидывает Вальбурга, вся превратившись в слух.

— Да, конечно, Фелицата с Батильдис, что они не откажут парням.

— Так и было,— говорит аббатиса.— Не отказали.

— И семинаристы забрали с собой наперсток...

— На память? — говорит аббатиса.

— Может, как сексуальный символ? — предлагает Милдред.

— Не вижу сценария,— говорит аббатиса.— Зачем тогда Фелицата на другое утро шумит про наперсток?

— Как же,— говорит Вальбурга,— ей просто хочется, чтобы ее похощеньица были у всех на виду. Они любят насчет этого похвастаться.

— Тогда,— говорит аббатиса,— позвольте подумать вслух: зачем ей на другую ночь при виде их вызывать полицию?

— Может быть, они ее шантажировали,— говорит Вальбурга.

— По-моему, не клеится,— говорит аббатиса.— Никак не клеится. А эти парни — каковы их ненавистные имена?

— Григорий и Амвросий,— говорит Милдред.

— Могла бы и сама догадаться,— почему-то говорит аббатиса<sup>19</sup>.

Они сидят в ее приемной, и она касается Пражского Младенца, ризы которого сплошь испятнаны драгоценными камнями.

— «Санди пипл» на этой неделе писала, что они назвали Максимилиана — Бодуэна пока нет,— будто бы они действовали по его указанию,— говорит Вальбурга.

— Что пишет «Санди пипл», совершенно не важно. Как мы объясним дело — вот о чем речь,— говорит аббатиса.

— Положим так,— говорит Милдред.— Эти парни, Григорий и Амвросий...

— Имена мешают,— говорит аббатиса.— Сбивают с толку.

— Хорошо, просто два иезуита-послушника пробрались ночью в монастырь, чтоб найти себе пару монахинь, любимых монахинь...

— Только не в моем аббатстве,— говорит аббатиса.— Мои монахини выше подозрений. Кроме Фелицаты и Батильдис, которых выдворили, Фелицату, кстати, еще и отлучили. Я не потерплю, чтоб говорили, будто у меня такие общедоступные монахини, что юнцы-иезуиты входят в наши врата с известными намерениями.

— Они вошли через садовую калитку,— рассеянно поправляет Милдред,— которую Вальбурга отперла для отца Бодуэна.

— Это вы так пошутили,— говорит аббатиса, указывая на Пражского Младенца, вместилище самого мощного микрофона в приемной.

— Не беспокойтесь,— говорит Вальбурга, обращая к Пражскому Младенцу широкую улыбку на суровом продолговатом лице.

— О микрофонах никто, кроме нас, не знает, а Уинифрида, бестолочь, мало что понимает. Не беспокойтесь.

— Меня беспокоит Фелицата,— говорит Милдред.— Вдруг она догадается. Вальбурга говорит:

— Ей всего-навсего известно, что наша электронная лаборатория с ее обслугой обеспечивает контакты с новыми миссиями, которые по всему свету основывает Гертруда. Сверх этого она ничего не знает. Так что не беспокойтесь.

— Не надо меня успокаивать,— говорит аббатиса,— потому что я и так никогда ни о чем не беспокоюсь. Беспокойство — удел мещан и больших художников в те часы, когда они не спят и не творят. Аристократам духа беспокойство чуждо, равно как, вероятно, и голодающим на пороге голодной смерти. Не знаю почему, но я все время размышляю о голоде и голодающих. Сестры, слушайте секрет. По мне, лучше иссохши от голода сгнить в какой-нибудь африканской или индийской пустыне, смешаться с сухой землей среди издыхающих скелетов, чем пойти к психиатру, как, я сегодня слышала, пошла Фелицата, лечиться от душевного беспокойства.

— А она пошла к психиатру? — говорит Вальбурга.

— Бедняжка, у нее пропал серебряный наперсточек,— говорит Александра.— Во всяком случае, она объявила по телевизору, что залечивает психическую травму, вызванную отлучением от церкви из-за греховной связи с Томасом.

— А что тут может поделать психиатр? — интересуется Милдред.— Ее же нельзя доотлучить или разотлучить.

— Ей надо примириться с мыслью об отлучении,— говорит аббатиса.— Так объясняет дело сама Фелицата. Еще много было всякого пустозвонства, но я выключила телевизор.

Колокол звонит к вечерне. Аббатиса с улыбкой встает и возглавляет троицу.

— Трудно не тревожиться,— говорит Милдред, проходя в дверь вслед за Вальбургой,— когда в миру о нас идет такая молва.

Аббатиса приостанавливается.

— Крепитесь! — говорит она.— Крепкие духом знают, что благодатью, нега-

<sup>19</sup> Григорий, Амвросий, Августин и Иероним — четыре величайших отца католической церкви.

данно ниспосланной, победится всякая тревога. С тем вы и возносите псалмы: возношу и я — часто, правда, переходя на английскую поэзию, ибо к ней лежит мое сердце. Сестры, бдите: у каждого свой источник благодати.

Место Фелицаты пусто; Унифриды тоже нет. Совершается вечерня, и в стенах аббатства царит покой: на исходе последнее мирное воскресенье этой осени. В среду на будущей неделе монастырь будет патрулировать полиция, днем так, а ночью с собаками, за ней пресса, фотографы и телерепортеры станут ходить, яко лев, рыкая, иский кого поглотити.

— Сестры, трезвитесь, бодрствуйте.

— Аминь.

Снаружи тишь, и шелестят деревья; это последнее октябрьское, последнее спокойное воскресенье.

Счастлив человек щедрый и милостивый, который поступает по справедливости.

Он вовек не поколеблется: в вечной памяти будет праведник.

Он не убоится скорбных вестей: сердце его твердо, уповая на Господа.

Холодный чистый воздух часовни полнят приливы и отливы грегорианской музыки, истинные голоса сестер, отработанные ежедневной практикой под руководством регентши. Все в сборе, кроме Фелицаты и Унифриды. Аббатиса в свежайшем облачении стоит перед своим креслом, внимая повышениям и понижениям антифонов.

Блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят.

Недвижна, как обелиск, стоит пред ними Александра, глядя на дело рук своих и рук аббатисы Гильдегарды прежде нее; и видит, что это хорошо, и готова об этом свидетельствовать. Губы ее шевелятся невольно, как в дублированном фильме:

Когда же, покой, как голубь лесной, робкие крылья сложишь,  
Перестанешь, кружа, ускользать и впорхнешь под ветви мои?  
Когда же, когда, о покой? Лицемерить не буду.  
Сердце не обмануть: ты нисходишь порой, о покой: однако ж  
Частичный покой непокоен. И разве чистый покой  
Стерпит распри и страх, тревоги, и скорби, и смерть?\*

В вестибюле у подножия лестницы Милдред спрашивает:

— А где Унифрида?

Аббатиса медлит с ответом; они поднимаются к ней в приемную и рассаживаются.

— Унифрида отправилась в женскую уборную на первом этаже универмага Селфриджа и пока не вернулась.

Вальбурга говорит:

— Куда это все нас заведет?

— Каким же образом, — говорит Милдред, — эти два молодых человека хитрятя прийти за деньгами в женскую уборную?

— Наверно, подошлют за ними какую-нибудь девицу. По крайней мере, Унифрида следует спущенным инструкциям, — говорит Александра.

— Чем больше людей сюда вешивают, тем меньше мне все это нравится, — говорит Вальбурга.

— Чем больше денег они требуют, тем меньше мне все это нравится, — говорит аббатиса. — Собственно, я впервые услышала о вымогательстве нынче утром. И мне все-таки интересно, о чем с самого начала думали Бодуэн с Максимилианом, когда посылали сюда своих молодых?

— Мы хотели раздобыть Фелицатины любовные письма, — говорит Милдред.

— Нам нужны были ее любовные письма, — подтверждает Вальбурга.

— Если б я знала, как немного вам нужно, я бы устроила это без особых хлопот, — говорит аббатиса. — У нас прекрасно поставлено фотокопирование.

\* Стихотворение английского поэта-иезуита Дж. М. Хопкинса (1844—1889) «Мир».

— Тогда Фелицата была все время начеку,— говорит Милдред.— А нам надо было, чтоб вас избрали аббатисой, Александра.

— Меня бы все равно избрали,— говорит аббатиса.— Однако я вас не оставляю, сестры.

— Если б они в тот первый раз не тронули наперсток, Фелицата никогда бы ничего не заподозрила,— говорит Вальбурга.

Милдред говорит:

— Они просто рехнулись с этим проклятым наперстком. Они его захватили, чтоб Максимилиан видел, как легко к нам пробраться.

— Сколько шуму,— говорит аббатиса, как говорила прежде и скажет еще не раз, с опечаленно-безучастным видом,— из-за серебряного наперсточка.

— В общем, мы тут мало что знаем,— говорит Милдред.— Лично я ничего толком не знаю.

— Не имею ни малейшего понятия, что на самом деле стряслось,— говорит Вальбурга.— Знаю только, что если Бодуэну с Максимилианом будет неоткуда взять денег, они увязнут по уши.

— Унифрида тоже увязла по уши,— говорит аббатиса, как говорила прежде и скажет еще не раз.

Звонят с коммутатора. Сурово нахмурясь, Вальбурга подходит и снимает трубку, а Милдред следит за ней ясными, не по сезону ярко-голубыми глазами. Вальбурга заслоняет трубку ладонью и говорит:

— Из «Дэйли экспресс» интересуются, что вы, мать аббатиса, можете сказать по поводу психиатрического лечения Фелицаты.

— Скажите им,— говорит аббатиса,— что у нас нет сведений о Фелицате, с тех пор как она покинула монастырь. Ее место в часовне пусто и ждет ее возвращения.

Вальбурга отдельно повторяет это монахине-телефонистке, и та отзывается дрогнувшим голосом:

— Так и передам, сестра Вальбурга.

— И вы ее в самом деле примете обратно? — спрашивает Милдред.

Но телефон снова звонит. Покою настал конец.

Вальбурга нетерпеливо слушает и снова служит передатчицей:

— Не унимаются. Репортер хочет знать, как вы расцениваете бегство Фелицаты.

— Дайте мне телефон,— говорит аббатиса. И обращается к телефонистке:— Сестра, бодрствуйте, трезвитесь. Приготовьте блокнот с карандашом и запишите следующую телефонограмму: «Аббатиса Круская ничего не имеет добавить к тому, что она будет счастлива снова видеть сестру Фелицату в стенах аббатства. А ее бегство в мир встречает у аббатисы глубокое сочувствие, и к отважному поступку сестры Фелицаты как нельзя более применимы замечательные слова Джона Мильтона. Слова такие: «Не стану восхвалять добродетель-беглянку, добродетель-затворницу, нескушенную и неиспытанную, которая не стремится навстречу неприятелю, а чуждается ристалища»...» Будьте добры, продиктуйте все это репортеру, и если еще будут звонить, скажите им, пожалуйста, что мы отошли ко сну.

— Как они с этим разберутся? — любопытствует Милдред.— Звучит потрясающе, какая прелесть.

— Подчищать как-нибудь,— говорит аббатиса.— Вот и нам, сестры, надо подчищать. Мы покидаем сферу истории и вступаем в область мифологии. Мифология — это не более чем подчищенная история, равно как история — подчищенная мифология, и помимо этого нет ничего во всей истории человечества. Нам ли менять природу вещей? В нашем с вами случае, дорогие сестры, доискиваться истины все равно что искать конечности, пальцы и ногти пассажира взорвавшегося самолета.

— Английские епископы-католики придут в ярость от цитат из Мильтона,— говорит Вальбурга.

— Дело решают римские кардиналы,— говорит аббатиса,— а я не думаю, чтобы они когда-нибудь слышали о Мильтоне.

Дверь отворяется, и Уинифрида, усталая с дороги, но по обыкновению осанистая, входит и делает глубокий реверанс.

— Уинифрида, душенька,— говорит аббатиса.

— Я только что переделалась в монастырское, мать аббатиса,— говорит Уинифрида.

— Как прошло?

— Прошло хорошо,— говорит Уинифрида.— Я сразу ее заметила.

— Вы оставили сумку возле раковины и зашли в кабинку?

— Да. Вот как все было. Я встала на колени и смотрела из-под двери. Это была женщина в красном жакете и синих брюках, а под мышкой у нее, как договорились, был журнал. Она стала мыть руки над раковинной. Потом взяла сумку и ушла. Я тут же вышла из кабины, помыла руки и высушила. Никто ничего не заметил.

— Сколько всего женщин было в туалете?

— Пять и одна уборщица. Но мы проделали все очень быстро.

— Что это была за женщина в красном жакете? Опишите ее.

— Ну как,— говорит Уинифрида,— ну, она была вроде мужчины. Подбородок тяжелый. И, кажется, волосы не свои, черный парик.

— Вроде мужчины?

— Лицо такое. И потом, руки костистые. Широкие запястья. Я ее толком не разглядела.

— Знаете, что я думаю? — говорит аббатиса.

— Вы думаете, что это была не женщина,— говорит Вальбурга.

— Переодетый семинарист-иезуит,— говорит Милдред.

— Уинифрида, как, похоже на то? — спрашивает аббатиса.

— Да вы знаете,— говорит Уинифрида,— похоже. Очень даже похоже на то.

— Тогда, по-моему, Бодуэн и Максимилиан просто пугающе глупы,— говорит аббатиса.— Типично иезуитские штучки — хитрить на ровном месте. Ну зачем понадобилась женская уборная?

— Там легче всего передать продуктовую сумку,— говорит Вальбурга.— Бодуэн знает, что делает.

— Вы, Вальбурга, насчет Бодуэна лучше помолчите,— говорит аббатиса.

Уинифрида начинает нервозно тереть четки.

— В чем дело, Уинифрида? — спрашивает аббатиса.

— В женском туалете у Селфриджа — это я придумала,— жалобно признается Уинифрида.— Мне это пришло в голову, и я решила, что это хорошая мысль. Там проще всего встретиться.

— Не стану отрицать,— говорит аббатиса,— что волею случая все кончилось удачно. Бывает, и в кости выигрываешь. Но напрасно вы думаете, что всякая ваша мысль хороша уже тем, что пришла вам в голову.

— Так или иначе,— говорит Вальбурга,— эти молодчики получили свое и теперь утихомятятся.

— Ненадолго,— говорит аббатиса Круская.

— Ой, меня снова пошлют? — тихо скулит Уинифрида.

— Может, и пошлют,— говорит аббатиса.— Пока что пойдем отдохнем перед повечерием. А после повечерия сойдемся здесь, отужинаем и поразвлечемся сценариями. Готовьте безупречные сценарии, сестры.

— Что такое сценарий? — спрашивает Уинифрида.

— Искусство подачи фактов,— говорит аббатиса Круская.— Хороший сценарий — подчистка, плохой — просчет. И не надо достоверности, был бы гипноз, как вообще в подлинном искусстве.

## ГЛАВА 5

- Гертруда,— говорит аббатиса в зеленую трубку,— вы читали газеты?
- Читала,— говорит Гертруда.
- Ах, уже и в Рейкьявике все известно?
- Да, Чехословакия взяла первенство мира.
- Я про наши новости, Гертруда, милая.
- Да, про вас тоже читала. Что это вам понадобилось всюду натывать подслушивающие устройства?
- Почему я знаю? — говорит аббатиса. — Я ничего ни о чем не знаю. Меня занимают наши хозяйственные дела, наша музыка, обряды и традиции, наши, наконец, технические проекты связи с временными миссиями. Сверх этого я знаю только то, что, как мне сообщают, появилось в газетах; сама я их не читаю. Милая Гертруда, ну почему бы вам не вернуться домой или, на худой конец, хоть быть поближе — во Франции, в Бельгии, в Голландии, что ли, вообще где-нибудь в Европе, раз уж не в Англии? Я ведь всерьез думаю демонтировать оборудование прямой связи с вами, Гертруда.
- И в самом деле,— говорит Гертруда.— Что вы, честно-то говоря, можете сделать по телефону из Кру?
- Были бы вы поближе, Гертруда, в Австрии, скажем, или даже в Италии...
- Италия рядом с Ватиканом,— говорит Гертруда.
- Нам нужна миссия в Европе,— говорит аббатиса.
- Терпеть не могу Европу,— говорит Гертруда.— Слишком близко к Риму.
- Это да,— говорит аббатиса.— К нашему милому дорогому Риму. Да, Гертруда, но у меня как раз с Римом-то и размолвка, вдруг бы вы помогли. Раньше или позже, только не миновать нам проверочной комиссии, правда? И то сказать, столько шуму вокруг нас. И как же я без вас справлюсь.
- Подслушивать,— говорит Гертруда,— безнравственно.
- Гертруда, вы так сильно простудились?
- Нечего было подслушивать разговоры монахинь. Нечего было вскрывать их письма и уж тем более читать их. Надо было расходовать их приданое на благо монастыря и не допускать, чтобы ваши дружки иезуиты лазили по ночам в аббатство.
- Гертруда,— говорит аббатиса.— Я же знала, что у Фелицаты целая куча любовных писем.
- Надо было ей сказать, чтоб она их сожгла. Вообще нельзя было с ней так поступать. Надо было разрешить монахиням голосовать за нее. Нельзя было...
- Гертруда, мастерица богоугодной логики, вот вопрос, над которым я усиленно размышляю в густолиственном саду собственных дум: откуда вы берете ваши «нельзя» и «надо»? Не из нравственных прописей андских людоедов, не из глубин конголезских джунглей и даже не из-за азиатских гор, нет, нет и нет. Сдается мне, о милая Гертруда, что ваши «надо» и «нельзя» сработаны где-то поближе к нам, едва ли не в глубине, извините за выражение, Европы.
- Папа,— говорит Гертруда,— обязан мыслить шире и сомкнуться со Вторым Ватиканским собором. Ему надо поганой метлой отмести догмы от Святейшего Престола и широко раскрыть двери перед иными религиями, навстречу единению с ними.
- Аббатиса слегка расслабляется на своем конце провода, в диспетчерской, залитой холодным дневным светом ламп и с недавних пор щедро разубранной папоротниками, почти сокрывшими телефонный аппарат.
- Гертруда,— говорит она,— я прихожу к выводу, что ваша логика не безупречна. И кстати же мучаюсь над вопросом, что делать с Вальбургой, Милдред и Унифридой.
- Как, что они натворили?

— Вы представляете, милая, это, оказывается, они оборудовали подслушивание и подстроили кражу со взломом.

— Так отошлите их куда-нибудь.

— Да, но Вальбурга и Милдред — редкие монахини, едва ли не лучшие, каких мне довелось знать.

— Вы куда звоните, — говорит Гертруда, — в Рейкьявик или на Флит-стрит? Может, вам выступить по телевизору? У вас это чудно получится, мать аббатиса.

— Вы правда так думаете, Гертруда? Знаете, я и сама в этом ничуть не сомневаюсь. Но как-то не хочется работать на публику. Я люблю уединение, люблю английскую поэзию, даже молитвы заменяю стихами — чем они хуже? Да, Гертруда, я, пожалуй, выступлю по телевидению, что-нибудь им продекламирую. Как по-вашему, какой поэт больше подойдет? Гертруда, вы слушаете? Рассказать телезрителям, что вы думаете о Святейшем Престоле?

Гертрудин голос отдаляется и глохнет.

— Нет, это мысли для домашнего употребления. Сообщите их лучше монахиням. Наверно, поднимается буран. Помехи на линии...

Положив зеленую трубку, аббатиса проходит вприпрыжку: она одна в диспетчерской. Потом она оправляет свое белоснежное облачение и выходит в приемную, где теперь все отвечает ее вкусу. При ее появлении Милдред и Вальбурга встают, но аббатиса не смотрит ни на ту, ни на другую и на какое-то время замирает. Они тоже, втроем они напоминают доисторическое сооружение в Стоунхендже. Затем аббатиса пододвигает себе кресло, и ее туфли с пряжками едва касаются зеленого ковра. Милдред и Вальбурга садятся на прежние места.

— Гертруда, — говорит аббатиса, — сейчас на пути в глубь острова, в пустынные снежные равнины Исландии, где она полагает приучить эскимосов к ежедневной молитве и внедрить в их ледяные хижины центральное отопление. Нам надо поскорее связаться с фирмами насчет радиаторов и срочно заключить контракты, а то, боюсь, там у нее что-нибудь пойдет кувырком: начнут, скажем, распадаться эскимосские семьи. Что это за тявканье?

— Это полицейские собаки, — говорит Милдред. — Репортеры все у ворот толкуются.

— Монахини чтоб к воротам близко не подходили, — говорит аббатиса. — Знаете, если уж понадобится, я сама выскажусь по телевидению. Новостей никаких?

— Фелицата составила список наших преступлений, — говорит Вальбурга. — Она заявляет, что мы нарушали не церковное право, а английские законы, и жаловалась по телевизору на бездействие властей.

— Да уж власти, само собой, предпочитают оставить дело на усмотрение Рима, — говорит аббатиса. — Список у вас?

Она протягивает руку и нетерпеливо поигрывает пальцами, пока Вальбурга извлекает из глубокого кармана толстый сложенный лист и сует в пляшущие пальцы.

Милдред говорит:

— Как сообщила Унифриде дочь Фелицатиной квартирохозяйки, сочинено это при помощи Томаса и словаря синонимов.

— Эти осведомители нас просто до суммы доведут, — говорит аббатиса, развертывая лист. И читает вслух, звонко и с выражением: — «Непотребства, чинимые аббатисой Круской». — Потом отрывает глаза от бумаги и говорит: — Нравится мне это словечко «непотребства». Звучит, как приговор судьбы, но никаким Вагнером с его фанфарами почему-то и не пахнет, а воняет, напротив, вареной капустой и мясом, словно на задворках какого-нибудь Шеффилдского технологического института сто с лишним лет назад... А «непотребствами», вероятно, занимались коммивояжеры в тридцатых — сороковых годах, хотя они, наверно, и сейчас занимаются тем же под другим названием... Непотребства, непотребства... Нет, досточтимые леди, как бы Фелицата это слово ни по-

нимала, ко мне оно не пристанет. Фелицата просто-напросто похотливая пуританка.

— Можем подать в суд за клевету, — говорит Вальбурга.

— Теперь и клевета ко мне не пристанет, — говорит аббатиса и читает вслух дальше: — «Она таит, скрывает, укрывает, утаивает, прячет, маскирует, затеняет, темнит, вуалирует, драпирует, набрасывает покровы, замазывает, замалчивает, выдает черное за белое, передергивает, искажает, извращает, валит с большой головы на здоровую, перевирает, перетолковывает, вводит в заблуждение, путает, отводит глаза, дезориентирует, сбивает с толку, наводит тень на ясный день, заговаривает зубы и тому подобное». Как бы все-таки узнать, — говорит аббатиса, подняв глаза от списка к внимательным и миловидным лицам Милдред и Вальбурги, — зачем здесь стоит «и тому подобное»? Ведь что-нибудь Фелицата в виду имела?

— Может, что-нибудь в смысле мошенничества? — предполагает Милдред.

— Мошенничество пойдет следующим номером, — говорит аббатиса. — Еще далеко не конец: «...мошенничает, надувает, строит плутни, злоупотребляет доверием, фальшивит, морочит, облыжничает, обштопывает, одурачивает, околпачивает, обмишуливает, оболванивает, обжуливает, объегоривает, обставляет, ловит на лысого, оставляет с носом, облапошивает, втирает очки, берет на пушку, облимонивает, оплетает, взмывает, льет пули, обдуривает, ловит на крючок, поддевает, подтетеривает, объезжает на кривой, зафуфыривает и обманывает». Сокрушительное обвинение, — говорит аббатиса, снова подняв глаза, — и вы знаете, она ведь подумала не об одних тех непотребствах, которые я уже учинила, но и о тех, которые еще только собираюсь учинить.

Колокол звонит к вечерне, и аббатиса откладывает в сторону сокрушительные листки.

— По-моему, — говорит Вальбурга, выходя из запретной двери вслед за аббатисой, — нам надо сейчас же демонтировать оборудование.

— И стереть записи? — спрашивает Милдред с некоторой дрожью в голосе. Милдред души не чаёт в этих записях и часто их самозабвенно прослушивает.

— Ни в коем случае, — говорит аббатиса, и они задерживаются на верхней ступеньке. — Зачем же истреблять свидетельства, без которых наша история не прозвучит и которые нужно, обработав, предъявить римским инквизиторам, намеренным упразднить нашу обитель? Записи нам нужны, чтобы надуть, околпачить, облапошить, втереть очки, заговорить зубы и тому подобное. Есть там одна запись, доказывающая, что я и понятия не имела ни о каких подслушивающих устройствах. Дело было прошлым летом: я прохаживалась с Унифридой под тополями и обсуждала с нею, как бы получше утаить и передернуть. Запись начинается моим вопросом: «Сестра Унифрида, а чем же плох испытанный метод замочной скважины?» На днях я ее прослушала и подчистила, объехав на кривой дурацкий ответ Унифриды, которого, признаться, не помню. Чудесная улика, если понадобится. Да, сестра Унифрида увязла по самые уши. После вечерни пришлите ее ко мне в приемную.

Они чинно и с привычным изяществом спускаются по ступенькам, и монахини внизу, подобно камышам, растревоженные подозрениями и страхами, трезвятся и бодрятся, строятся и подбираются и одна за другой выходят на темный луг и поспевают на вечерню.

Голоса воспаряют и понижаются, и аббатиса встает со своего возвышенного кресла и присоединяется к ответствиям. Как мягко шевелятся ее губы под прибойный рокот органа!

...Берет, изымает, заматывает, пользуется, грабастает, захватывает, завладевает, цапает, хапает, прикарманивает, присваивает, отхватывает, поддеюливает, заигрывает, запускает лапу, прибирает к рукам, с чужого воза берет, на свой укладет...

Сестры, трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол ходит, яко лев, рыкая, иский кого поглотити.



...Торжествует, злорадствует, услаждается, убажается, извлекает довольство и тому подобное, смакует, упивается, утоляет аппетиты, радуется, ликует, возvesеляется, смотрит именинницею, как сыр в масле катается, *faisant ses choux gras*, нежится на солнышке, ног под собою от радости не чуёт.

Из глубины воззвал я к Тебе, о Господи, Господи! Услышь голос мой.  
Да вземлют уши Твои со вниманием гласу моленей моих.  
Если Ты, о Господи, станешь нам первым вменять наши проступки:  
Господи, кто это выдержит?

О, дни младенчества! Душа  
Сняла счастьем, в рай спеша.  
Но после понял я, что тут  
Назначен искус мне и труд,  
И сердце отучил свое  
Стремиться в вечное жительство<sup>11</sup>.

— Дело в том, Уинифрида, что уж очень это было рискованно — передавать деньги переодетому семинаристу-незульту в женской уборной Селфриджа. Его могли арестовать за нарушение благопристойности. На этот раз вы, пожалуйста, измыслите что-нибудь понадежнее.

Аббатиса выпарывает маленькими ножечками, ниточку за ниточкой, изумруд в тонкой оправе из риз Пражского Младенца.

— Мне крайне огорчительно, — говорит аббатиса, — расходовать, тратить, расточать, разбазаривать, переводить, транжирить и пускать по ветру приданое наших сестер, да еще таким несуразным образом. Эти незульты — настоящие пивки. Вот, возьмите. Заложите его в ломбард и договоритесь с отцами Бодуэном и Максимилианом, где им удобнее получить деньги. Только оставьте в покое женские уборные.

— Хорошо, мать аббатиса, — говорит Уинифрида и плаксиво добавляет: — Пусть бы со мною пошла сестра Милдред или сестра Вальбурга...

— Они же совершенно не в курсе, — говорит аббатиса.

— Да совершенно они в курсе, — говорит Уинифрида, дура безнадежная.

— Если на то пошло, так и я совершенно не в курсе, — говорит аббатиса. — Мне по сценарию не полагается. Сказать вам, Уинифрида, о чем я думаю?

— О чем, мать аббатиса?

— Вот о чем, — говорит аббатиса:

И так тоскливо мне среди чужих:  
ну да, я знаю: люди кругом, дружелюбные лица,  
но мне среди чужих тоскливо.

— Понятно, мать аббатиса, — говорит Уинифрида. Она делает глубокий реверанс и готова уже удалиться, но к ее плечу белой голубкой вспархивает рука аббатисы.

— Уинифрида, — говорит она, — погодите уходить, мало ли что может случиться. На всякий случай, чтоб как-нибудь не пострадала репутация аббатства, подпишите-ка покаяние.

— Какое покаяние? — говорит Уинифрида, и ее статная фигура напряженно замирает.

— Самое обыкновенное покаяние.

Аббатиса подзывает ее к столику, на котором лежит прекрасный лист гербовой монастырской бумаги с машинописным текстом, и протягивает перо.

— Подпишите, — говорит она.

— А можно прочесть? — скулит Уинифрида, и бумага вздрагивает в ее полных руках.

— Это самое обыкновенное покаяние. Но если вы сомневаетесь, читайте, читайте на здоровье.

<sup>11</sup> Из стихотворения Генри Воэна (1622—1695) «Прибежище».

Унифрида читает машинописный текст:

«Исповедую Господу Всемогущему, блаженной приснодеве Марии, блаженному Михаилу архангелу, блаженному Иоанну Крестителю, святым апостолам Петру и Павлу и всем святым свои грехи, ибо я грешна неизбежно, помышлением, словом и деянием, по своей вине, по своей вине, по своей тягчайшей вине».

— Подписывайте, — говорит аббатиса. — Только имя и занятие.

— Как-то это уж очень меня компрометирует, — говорит Унифрида.

— Ну знаете ли, — говорит аббатиса, — вы всю жизнь ежеутренне повторяли эти слова во время мессы, и мне страшно даже подумать, что вы столько лет эти мерили и каялись лишь на словах. Сотни миллионов мирян еженедельно приносят это тяжкое покаяние пред алтарем. — Она вкладывает перо в робкую руку Унифриды. — Да и сам папа, — говорит аббатиса, — ежеутренне смиренно свидетельствует о том же: он открыто признает, что неизбежно грешен по собственной тягчайшей вине. Причетник говорит ему на это: «Помилуй тебя Господь Всемогущий». И по-моему, Унифрида, что не зазорно римскому первосвященнику, то и вам не слишком зазорно. Или вы полагаете, что он каждое утро лицемерит пред Богом и людьми?»

Унифрида берет перо и расписывается под покаянием: «Унифрида, ордена монахиня аббатства Крусского» — крупным, косым, каллиграфическим почерком. Она ощупывает изумруд в глубоком кармане рясы — он там, все в порядке — и перед самым уходом робко оглядывается с порога приемной. Аббатиса стоит и всматривается в текст покаяния, ослепительно белая в дневном свете ламп и суровая, как блаженный архангел Михаил.

## ГЛАВА 6

— Мы вступили в область мифологии, — говорит аббатиса Круская, — и с пленками я, конечно, не расстанусь. Древняя неподсудность клира — вот мое право. Нельзя затрагивать доверительные отношения между монахинями и аббатисой. Эти пленки все равно что под охраной тайны исповеди, и даже Рим не может их востребовать.

Ублаготворенные телерепортеры отбыли восвояси, но газетчики толпятся у ворот. Полицейские патрули прочесывают территорию, и собаки рычат на каждый всорхнувший сухой лист.

Прошел месяц с тех пор, как сестра Унифрида, которой аббатиса не велела больше устраивать randevu в женских уборных, решила проявить инициативу, выказать воображение и договорилась встретиться с вымогателем в мужской уборной Британского музея. В этом подлестничном тупичке Унифриду и арестовали охранники и служители музея. «Ну, дает бабеч», — заметил один служитель, и Унифрида в строгом темно-синем костюме и белой рубашке в светло-коричневую полоску, с красно-голубым галстуком, символом окончания бог весть какого университета (этого не прояснила даже воскресная пресса), была доставлена в полицейский участок: она прижимала к груди полиэтиленовую сумку со всеми этими тысячами.

Унифрида начала выкладывать все по пути в участок, она не смолкала все время, пока женщины-полицейские совлекали с нее мужские доспехи, и делала последние признания уже в казенном комбинезоне. Заголовки вечерних газет возвещали: «Скандал в аббатстве Крусском — новые откровения», «Монахиня из Кру в мужском костюме и мужской уборной» и «Дело о Крусском наперстке — монахиня под допросом».

Унифрида иссякла и была отпущена без залога по заверении аббатисы, что дело это внутреннее и церковное и что оно тщательно расследуется как таковое. Эта щекотливая ситуация, в которую полицейские власти отнюдь не хотели впутываться, не помешала, однако, некоторым епископам с грехом пополам добиться аудиенции у аббатисы Александры, белоснежной и почти неприступной, не помешала и газетам всего мира всю трубить дальше о Крусском скандале.

— Милорды, — сказала она трем допущенным на прием епископам, — прежде чем подрывать мое аббатство, подумайте о своей пастве. Помните, у Эндры Марвелла есть про косца:

И вот косец повел плечом,  
Опустошая все кругом,  
Свистящий взмах его косы  
Срезал зеленые красы;  
Но он подставил лезвею  
Лодыжку хрупкую свою,  
И грянулся косец лихой,  
Подкошен собственной косой.

Они отбыли в растерянности и смущении, поочередно и всячески заверив ее, что у них и в мыслях не было порочить ее обитель, а просто хотелось выяснить, что на самом-то деле происходит.

Когда аббатиса наконец появилась на телеэкранах, все были очарованы — по крайней мере, пока шло интервью. Воздев прелестную руку со сложенным листом бумаги, она объяснила, что располагает собственноручным покаянием бедной сестры Унифриды, где она полностью признает себя виновной в тягчайших прегрешениях и прочих непотребствах. Затем аббатиса опровергла слухи о плохом монастырском питании.

— Не стану, однако, отрицать, — сказала она, — что у нас есть опытные лаборатории, где мы широко экспериментируем с пищевыми продуктами.

Что до прикладной электроники, заявила аббатиса, то в этой области монастырь весьма преуспел и надеется в ближайшем году создать образец нового, улучшенного громомовода, тем самым сведя к минимуму угрозу поражения молнией и понизив и без того низкий процент смертных случаев такого рода на Британских островах.

Зрители трепетно глазели на элегантную леди. Она признала, что пленки действительно существуют: это записи конфиденциальных и сугубо частных бесед между монахинями и аббатисой, и она ни за что не предаст их огласке. Царственно улыбнувшись, она попросила всех молиться за аббатство Круское и за возлюбленную сестру Гертруду, чьи неусыпные миссионерские раченья стяжали признание во всем мире.

Телекамеры увязли; репортеры дожидаются у ворот. Пока что впустили и выпустили только мусоровозку, иезуита для совершения мессы и почтовый фургон. С утренними делами было покончено, и ворота больше не отпирали. Александра приняла епископов, побеседовала с ними и сказала, что больше их не примет. Епископы отбыли с миром, но через пару часов у них появилось странное ощущение, что они не могут в точности припомнить, чем именно успокоила их Александра. А теперь уж слишком поздно. Кто платит вымогателям, почему, через кого, сколько и откуда берутся на это деньги? Ясных ответов нет — ни в прессе, ни в умах епископов. Владычествует мифология, и аббатиса объясняет это Гертруде в прощальном разговоре по прямому проводу.

— Да, — говорит Гертруда, — в прессе и телевидении мифология, может, и владычествует, но в Риме вы на мифологии далеко не уедете. Им там подавай все как есть.

— До крайности нелепо, что в Риме дали ход доносу с требованием моего отлучения, — говорит аббатиса, — я туда поеду и сама буду своим защитником. А вы не подъедете? Могли бы потом вернуться в Англию и заняться реформой тюрем и тому подобным.

— Срок моей тибетской визы очень ограниченный, — сипло отвечает Гертруда. — Я не могу бросаться временем.

— Идя навстречу запросам общественности, — говорит аббатиса, — я решила сделать выборку по записям и опубликовать ее. Оказывается, какие-то куски стерты: верно, это диавол, который ходит, яко лев, рыкая, поглотив их. Со всех сторон предлагают заснять фильм или инсценировать, и это так помогло бы нашему миссионерству, так поддержало бы ваших голодающих. Вы представляете, Гертруда, я стала предметом искусства, несущего людям радость.

— Сотрите в записях английские стихи, — говорит Гертруда. — А то в Риме вам не поздоровится. Это язык Крэнмера<sup>22</sup>, пуританской Библии, всеобщего молитвенника. Рим все снесет, кроме английской поэзии.

— Но, Гертруда, я не понимаю, как кардиналы будут читать стенограммы пленок или слушать записи, раз даже самое существование их безнравственно. Кстати же, у меня есть собственноручные покаяния монахинь, и я их повезу с собой в Рим. Пятьдесят покаяний.

— А в чем покаялись монахини?

Аббатиса звонко зачитывает далекой Гертруде всеми подписанный *Confiteor*<sup>23</sup>.

— И они все это подписали?

— Гертруда, у вас очень неладно с бронхами?

— Я возмущена, — говорит Гертруда. — Послушать вас, так вы только и делали у себя в Кру, что напропалую грешили, причем неизменно и не одним помышлением и деянием, но еще и словом. Я тут тружусь и подвизаюсь, а вы, если верить этому невероятному тексту, вы там пасетесь между лилиями и грешите сверх всякой меры. Нет, вы провинились, провинились все, и тягчайшей виной.

— Да, и записали это в покаянии, Гертруда, о любовь моя неизменная. *O felix culpa*<sup>24</sup>! Максимилиан и Бодуэн сбежали в Америку и ведут там университетские семинары по мистериальному сценическому действу и по демонологии. Скажите, Гертруда, как мне отправиться в Рим — воздухом или сушей и морем?

— Морем и сушей, — говорит Гертруда. — Пусть подждут.

— Да, и, пожалуй, барашковые облака над проливом будут мне к лицу. Я, наверно, отправлюсь дней через десять. Пражский Младенец уже в ломбарде. Вы слушаете, Гертруда?

— Что-то я пропустила, — говорит Гертруда. — Уронила шпильку и нагибалась.

Милдред и Вальбурга отсутствуют, им надо срочно реорганизовать госпиталь в аббатстве Инском, а то аббат там хворый и древний. Александра уже видит внутренним оком себя на верхней палубе корабля от Дувра до Остенде, уже проезжает Сен-Готард, долог путь в Рим по географической карте, — и сидит за столом в изящной позе, отвечает как бог на душу пошлет римскому кардиналу: о, дивная аббатиса Круская!

«Ваше глубокочтимое Высокопреосвященство!

Ваше Высокопреосвященство удостоили меня приглашения предстать перед Конгрегационной комиссией по расследованию дела о серебряном наперстке сестры Фелицаты и прочего касательно все того же наперстка...»

Она дала указания, как отобрать и разобрать нужные записи. Перед повечерием она собрала монахинь:

— Сотрите стихи, мною произнесенные. Они мое личное достояние и публике не предназначены. Напишите: «Стихи стерты». И вообще прилежно сотрите все пустяки и озаглавьте выборку «Аббатиса Круская».

На том и конец нашим общим восторгам. Бдите и не теряйте из виду. Она отплывает в чудный, заранее назначенный день, и воды расстилаются перед нею, а она стоит на верхней палубе стройная, как белая пароходная труба, и восхищается морем, которое бьется о берега и колышет тяжкое переливчатое жито, несеяное, несжатое и непреходящее.

Перевел с английского В. С. МУРАВЬЕВ.

<sup>22</sup> Крэнмер Томас (1489—1556) — архиепископ Кентерберийский, деятель английской Реформации.

<sup>23</sup> Покаянная католическая молитва.

<sup>24</sup> Счастливая вина! (Лат.)

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

## ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ ЖИЗНИ

Нынешний век дал миру первое социалистическое государство — Союз Советских Социалистических Республик. В этом веке возникла мировая система социализма, сложилось содружество социалистических государств, производящее ныне более одной трети мировой промышленной продукции и оказывающее значительное воздействие на международные события. К социализму, к свету лучшей жизни устремляются и идут многие страны и народы земли. Олицетворенным примером для них служат Советский Союз, страны социализма, их общественно-политический строй, предоставляющий своим народам широкие демократические права, закрепленные в конституциях.

1977 год по праву войдет в мировую историю как год дальнейшего революционного преобразования мира, как год поступательного движения нашей страны к коммунистическому будущему. Это год принятия новой Конституции СССР, проект которой опубликован повсеместно и вынесен на всенародное обсуждение.

Проект нового Основного Закона нашей страны содержит целый ряд новых положений о правах граждан — право на жилище, право на охрану здоровья, на пользование достижениями культуры, на свободный выбор профессии в соответствии с желаниями и возможностями каждой личности и с учетом общественных потребностей, право участвовать в управлении общественными делами, свободу научного, технического и художественного творчества. Это стало возможным благодаря построению в нашей стране развитого социалистического общества.

Проект новой Конституции, обсуждение которого проходит во всех уголках страны, является результатом всесторонней разработки Коммунистической партией учения о развитии социалистическом обществе как этапе становления коммунистической общественно-экономической формации. В нем воплощен гигантский исторический опыт борьбы за торжество социализма и коммунизма. «Каждая наша конституция, — отмечал товарищ Л. И. Брежнев, — была восходящей ступенью в развитии социалистического Советского государства, новым этапом в развертывании социалистической демократии. Конституция РСФСР 1918 года законодательно закрепила рождение созданного Октябрем государства диктатуры пролетариата. Конституция СССР 1924 года была первой конституцией многонационального Советского государства, оформившей добровольное объединение братских республик в единое государство. Действующая ныне Конституция 1936 года отразила факт ликвидации эксплуататорских классов в нашей стране, закрепила победу социализма». Проект нового Основного Закона СССР, отражающего черты развитого социалистического общества, воплощает преемственность советских конституций, зиждется на прочной основе ленинских принципов государственного строительства.

Миллионы советских людей сегодня вчитываются, вдумываются в проект новой Конституции. Перед всем советским народом — документ, касающийся каждого, документ эпохи, бурного XX века. Документ этот широко обсуждается советским народом, изучается за рубежом. В местные и Верховные Советы поступают многочисленные письма трудящихся, отклики и предложения идут на радио и телевидение, в органы печати — газеты и журналы. Много писем от своих читателей получает и редакция журнала «Новый мир». В этом номере мы печатаем три отклика на проект новой Конституции.

МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА



### ОХРАНЯТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

**С** группой писателей я оказалась в Вологде на очередном творческом собеседовании, организованном журналом «Литературное обозрение». Впервые я попала сюда почти полвека назад, когда по окончании вуза была направлена на работу в Архангельск и по дороге остановилась в Вологде. Здесь когда-

то жили мои деды и прадеды, и, хотя ни их самих, ни о них я ничего не знаю, что-то потянуло меня сюда, какой-то неясный инстинкт.

Тогда Вологда еще не была областным городом, тихая провинциальность чувствовалась в темпе ее жизни: множество садилов, огородов окружали деревянные дома с прелестной резьбой оконных наличников; под ногами прохожих поскрипывали ветхие дощатые тротуары, копыта ломовиков и редких извозчиков цокали по булыжным мостовым; за оградой какой-то позабытой церквушки, помню, несколько молодых крестьянок (колхозов тогда еще не было), усевшись в кружок на траве, хрупали пупырчатые, только с гряд, огурцы.

Не высились трубы нынешних заводов. Не было знаменитого научно-исследовательского института. Нынешние писатели, цвет и радость русской советской литературы — В. Астафьев, В. Белов, О. Фокина, С. Викулов, покойный Яшин, — качались, а может быть, еще и не качались в люльках.

Словом, помня старую Вологду, сейчас я приехала в новую. На писательской встрече, проходившей в Вологде 29 июня, разговор о жизни колхоза и о литературе, естественно, выливался одновременно в обсуждение опубликованного проекта Конституции. Были высказывания, вызванные впечатлениями от увиденного и пережитого, люди делились мыслями, чувствами.

Мне тоже хочется поделиться некоторыми своими впечатлениями и мыслями.

Наша Конституция провозглашает и закрепляет цели и основы Советского государства.

Велико и обширно строительство нового в Вологде, как и повсюду. Обо всем не расскажешь. Расскажу о немногом, что мне ближе и особенно тронуло.

Вот, например, узнаю: до Октябрьской революции во всем Вологодском крае было две библиотеки, в городе — три. Трудно поверить: две во всем крае! В 1970 году — девятьсот девяносто пять (И. М. Чупров, «По Вологодской области». «Физкультура и спорт». М. 1974, стр. 21). Мы заходим в одну. Не думаю, что она чем-то отличается от тысяч других в нашей стране. Но как бы мы ни жаловались на книжный голод при сплошной грамотности населения и в то же время как бы ни сетовали на подростков, что круг чтения их, вытесняемый телевизором, узок, видя библиотечные полки, перелистывая читательские абонементы, с гордостью думаешь: мы богаты.

«Государство заботится об охране и приумножении духовных ценностей общества, широко их использовании для повышения культурного уровня советских людей», — говорит проект Конституции в статье 27.

Не надо быть слишком внимательным, чтобы заметить именно «приумножение духовных ценностей».

Есть в Вологде улицы писателя-народника П. В. Засодимского, ближайшего предшественника Пушкина К. Батюшкова. Вологжане чтут своих славных земляков, любят, знают, читают талантливейших писателей, своих современников. Разве только вологжане? Миллионы читателей знают и любят не одного и не двух — можно сказать, плеяду вологодских писателей, зорко видящих жизнь, своеобразно живописующих ее.

Изменился облик Вологды и Вологодского края. Бережно охраняется древнее, поистине великолепное зодчество! Эта заботливая охрана отвечает статье 27 проекта Конституции, и в ней новизна и прогресс, хотя в данном случае речь о старине.

В свой первый, очень давний приезд я видела запущенные, брошенные храмы, а ведь почти каждый из них — произведение искусства, иные XVI или даже XV века. Каждый — создание народных мастеровитых рук.

В воспоминаниях Бонч-Бруевича о Ленине волнует: «Несмотря на всю свою занятость, Владимир Ильич обращал большое внимание на архитектурные

древности Москвы и других городов. Так, когда белогвардейцы артиллерийским огнем разрушили Ярославль, он принимал самое горячее участие в восстановлении этого старинного русского города. Была организована специальная комиссия, которая приводила Владимира Ильича в отчаяние своей медлительностью. Он хотел, чтобы во что бы то ни стало были восстановлены ярославские древние церкви, которые представляли собою памятники нашего старинного зодчества»<sup>1</sup>.

Бонч-Бруевич рассказывает, что Владимир Ильич давал личные распоряжения и о восстановлении кремлевских памятников старины, реставрации храма Василия Блаженного<sup>2</sup>.

Горько вспомнить, что после этого были годы, когда памятники древнего зодчества во многих городах не только не хранились — уничтожались. Бессмысленно, безжалостно.

К счастью, та пора миновала. Наш закон утверждает ленинскую бережливость и уважительность к памятникам древнего народного зодчества. Когда видишь необыкновенные сооружения архитектуры прошлых веков, мысль о красоте и величии народного гения возвышает душу. Ты гордишься, радуешься, уважаешь. Народ-чудотворец мог, может и всегда будет мочь создавать прекрасное. Как важно, чтобы эти возвышающие душу чувства испытывала наша молодежь!

Разумеется, я не хочу сказать, что любовь к творчеству прадедов — единственный способ патриотического, нравственного и эстетического воспитания подростков и юношей. Конечно, нет. Но среди других средств воздействия на растущую юную душу оно одно из существенно действующих.

Новая Конституция, щедро предоставляя молодым право на образование, труд, выбор профессии, предоставит и почетное право быть избранными в Верховный Совет СССР и Верховные Советы республик с восемнадцати лет (статья 95). Высокое право ко многому обязывает. Юноша восемнадцати лет, помни: Конституция признаёт тебя взрослым. А значит, мысли твои, чувства, поступки, сохраняя юность, должны быть взрослыми.

Не хочу, не смею учить, но оглянись: как много создано твоими отцами и дедами! Среди множества идей, планов, задач, обязанностей, записанных в проекте Конституции, я сейчас говорю об одном. Остановись перед памятником древнего зодчества и пойми: он неповторим и удивителен. Вглядишься и вдумайся: куда он тебя зовет? К высоте, богатству чувств, гордости.

В дни нашего посещения Вологды и области мы, к величайшему нашему наслаждению, попали в уникальный музей фресок выдающегося древнерусского художника Дионисия (конец XV—начало XVI века), затем в другой, по-иному, но не менее знаменитый архитектурный ансамбль бывшего Кирилло-Белозерского монастыря. Наш гид, заместитель директора заповедника, молодая, страстно увлеченная своей работой, широко образованная девушка, заканчивая рассказ о создании, истории и бесконечной ценности заповедника, сказала очень искренне и серьезно: «Мы опасаемся и не хотим, чтобы нынешний глубокий интерес к древнему искусству породил спекулятивное к нему отношение, как иногда у нас это бывает. Мы не хотим, чтобы в заповедниках развязно торговали дешёвенькими в смысле безвкусицы сувенирами, потчевали «русским» квасом и суслом, навязывали посетителям иную пошловатую экзотику». Более чем важное наблюдение! Оно вопиет: поставьте преграду всякого рода торгашеству в местах, где должны царить умная торжественность, строгая мысль!

Когда подъезжаешь к Вологде, привлекает внимание начертанный, вернее, выложенный крупными буквами на железнодорожной насыпи плакат: «Пример и опыт старших — молодым».

<sup>1</sup> В. Д. Бонч-Бруевич. Воспоминания о Ленине. М. «Наука», 1969, стр. 404.

<sup>2</sup> Там же, стр. 403.

Опыт старших — это опыт рабочего класса, народа и прежде всего, конечно, Коммунистической партии. Велик и мудр опыт нашей Коммунистической партии, дивен ее путь.

Я думала об этом, придя в открытую десять лет назад мемориальную квартиру Марии Ильиничны Ульяновой, которая после саратовской тюрьмы была выслана в Вологду, где провела почти два года (1912—1914) и, сразу став в центре работы вологжан-большевиков, поддерживая связи с Владимиром Ильичем за границей, ни на день не прекращала конспиративной революционной деятельности.

Великие люди, рабочий класс, крестьяне, передовая интеллигенция во главе с Лениным стояли у истоков нашей партии, готовя Октябрьскую революцию и закладывая основы Советского государства, советского общества. «Это — общество, законом жизни которого является забота всех о благополучии каждого и забота каждого о благополучии всех» (проект Конституции, из вступительного раздела).

### В. А. КРАСИЛЬНИКОВ,

*секретарь парткома автомобильного завода  
имени И. А. Лухачева*



## ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

**К**аждый, кто впервые попадает на ЗИЛ, не может скрыть восторженного удивления: «Вот это гигант! Не завод, а целый город!»

Жизнь на заводе не умолкает ни днем, ни ночью. Варят сталь литейные корпуса, ритмично движутся конвейеры... Трудятся автозаводцы, собирают автомобили — знаменитые во всем мире «ЗИЛы». Нынешняя пора для них особенно горячая: весь советский народ сейчас стоит на трудовой вахте в честь славного юбилея — шестидесятилетия Великого Октября.

И еще одно событие глубоко взволновало работников завода, вызвало новый подъем трудового энтузиазма — обсуждение проекта новой Конституции, Основного Закона нашей жизни. Рабочие, инженеры, техники, служащие внимательно изучили этот документ огромной важности, единодушно поддержали его на собраниях, нередко вносили конкретные предложения, дополняющие различные статьи проекта. Все это свидетельство большой активности широких трудящихся масс в решении важных государственных дел.

Общественная активность давно уже стала отличительной чертой советского человека. Роль рабочего класса явственно видна во всех сферах экономической, политической и культурной жизни страны, он активно участвует в работе партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, многих общественных советов. И не случайно мастер механосборочного корпуса № 3 автозавода В. Кузнецов предложил дополнить статью 16 проекта, где говорится: «Коллективы трудящихся, общественные организации участвуют в управлении предприятиями и объединениями...» — словами: «Участие в общественной работе является делом чести граждан СССР, активисты-общественники получают всемерную поддержку руководящих органов».

Современный рабочий класс — это десятки миллионов образованных, технически грамотных, политически зрелых людей. За сорок лет, прошедших со времени принятия ныне действующей Конституции, существенно изменился



облик рабочего класса, значительно вырос его духовный уровень. Это нашло яркое выражение и в проекте Основного Закона, в который вошла новая глава о социальном развитии и культуре, указывающая на активное творческое участие народных масс в социальном и культурном строительстве, на рост духовного потенциала советских людей.

Когда-то В. И. Ленин писал: «...нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой культуры не ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас». Новая Конституция расширяет реальные возможности применения гражданами своих свобод и дарований. Она представляет целый комплекс социально-экономических прав и свобод для советских людей.

Эстетическому воспитанию трудящихся, их приобщению к ценностям культуры на ЗИЛе всегда уделяли большое внимание. Культурная жизнь завода имеет свои, уже давно сложившиеся традиции. С первых же лет существования предприятия стала активно развиваться художественная самодеятельность. А в этом году исполняется сорок лет со дня основания Дворца культуры, до сих пор одного из лучших в Москве. Не просто было в конце 30-х годов выстроить для автозаводцев этот великолепный храм культуры. Но директор завода Иван Алексеевич Лихачев взялся за эту нелегкую задачу, понимая неодолимую тягу трудящихся к культуре, к творчеству. Именно там, в конце 30-х, и надо искать истоки того мастерства, которое отличает сегодняшних самодеятельных артистов ЗИЛа, среди которых немало лауреатов Первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся. Они достойно продолжают традиции старшего поколения, тех, кто в годы Великой Отечественной войны выезжал с концертами на передовую линию. Лучшие самодеятельные артисты завода тогда вошли в состав единственной в стране самодеятельной концертно-фронтальной бригады.

Многое изменилось с тех пор. Неузнаваемо разросся и похорошел завод, радуют глаз просторные светлые корпуса и цехи, улучшилась организация труда, выше стала культура производства. И конечно же возросли духовные запросы зиловцев. Возможности для их удовлетворения на заводе большие. Возьмем хотя бы Дворец культуры. Он словно магнит притягивает к себе и любителей народного творчества, и страстных театралов, и энтузиастов-кинолюбителей. Всем здесь найдется дело по душе.

Почти двадцать лет автозаводцы посещают четыре факультета народного университета культуры, возглавляемого народным артистом СССР композителем Т. Хренниковым. И переполненные залы на занятиях, особенно музыкального факультета, свидетельствуют о высоком культурном уровне слушателей. Ведь музыка — сложнейшая область искусства и для восприятия серьезной классической музыки необходима основательная подготовка.

Славятся не только в столице, но и за ее пределами и коллективы зиловской художественной самодеятельности. Из их рядов постоянно получает пополнение наше профессиональное искусство. Кто не знает народных артистов РСФСР Веру Васильеву или Василия Ланового, артистов Владимира Земляникина, Алексея Локтева или Валерия Носика? Все они воспитанники народного драматического театра Дворца культуры, недавно отметившего свое сорокалетие.

Тяга к творчеству, к участию в создании культурных ценностей — одна из отличительных черт современного рабочего человека. Он любит искусство требовательно и заинтересованно. Именно поэтому такую самобытную форму в наши дни приобрели живые контакты рабочих коллективов со многими творческими организациями, получившие очень точное название — союз труда и искусства. Они проявляются в проведении общественных обсуждений фильмов и театральных постановок, зрительских и читательских конференций, дискуссий.

Автозаводцев давно связывает дружба с ведущей киностудией страны «Мосфильмом», с популярным в Москве Театром сатиры. Работники завода всегда

рады видеть артистов и режиссеров у себя в цехе или во Дворце культуры. И особенно ценными для рабочего коллектива бывают беседы, споры, размышления о жизни, о человеческих взаимоотношениях, о том, как они воплощаются в художественных произведениях.

Современный рабочий перестает быть простым потребителем культурных ценностей, его мнение, его оценка приобретает сейчас все больший вес для профессиональных работников искусства. И это понятно, ведь развитие научно-технической революции ставит перед творческой интеллигенцией новые сложнейшие социальные и нравственные проблемы. Не случайно главным героем современных произведений стал человек труда, живущий в эпоху ускоренного научно-технического прогресса. Так что содружество между производственными и творческими коллективами — процесс отнюдь не односторонний. Л. И. Брежнев сказал об этом в Отчетном докладе XXV съезду КПСС: «Идет живительный процесс обогащения искусства знанием жизни и, с другой стороны, дальнейшего общения многомиллионных масс трудящихся к ценностям культуры».

ЗИЛ с его славными традициями — необъятное поле для творческих поисков артистов, режиссеров, писателей, художников. Здесь, на заводе, они находят темы для новых произведений, сюда же привозят готовые работы на суд заводских любителей искусства. Многие популярные артисты театра и кино связаны с автозаводцами и личной дружбой — они почетные члены заводских производственных бригад. Это народные артисты СССР А. Папанов и Г. Менглет, народная артистка РСФСР В. Васильева, заслуженные артисты РСФСР С. Мишулин и А. Миронов. «Мосфильм» на заводе представляют народные артисты СССР Л. Смирнова, Н. Крючков и Е. Матвеев. Это верные друзья нашего завода. Они непреременные участники вечеров трудовой славы, часто выступают перед заводской аудиторией с творческими отчетами. Так, зилковцы были первыми, кто увидел работу Е. Матвеева — фильм «Любовь земная», он обсуждался во Дворце культуры задолго до того, как появился на экранах столицы. Это был творческий отчет режиссера и актера перед своей бригадой кузнецов-штамповщиков, которую возглавляет знатный рабочий завода, лауреат Государственной премии СССР Владимир Сапожников. Кузнецы будут первыми, кто увидит и вторую часть дилогии «Судьба».

Творческие контакты автозаводцев не исчерпываются содружеством с «Мосфильмом» и Театром сатиры. Они значительно шире. Так, несколько лет назад на заводе с большим успехом прошел фестиваль спектаклей на рабочую тему, в котором приняли участие ведущие театры Москвы. А в этом сезоне в гостях у автозаводцев побывал калужский Драматический театр имени А. В. Луначарского. Калужане вынесли на суд заводского зрителя пьесу А. Корнблюма «Приказ директора», рассказывающую об одной из страниц трудовой истории ЗИЛа.

Радуют зилковцев и взаимоотношения с московскими художниками и писателями, с журналом «Новый мир». Они очень ценят дружбу с творческой интеллигенцией, которая помогает им лучше трудиться, интереснее, полнокровнее жить.

То, что в нашей стране возникли новые, немислимые ни в одной капиталистической стране отношения трудящихся с деятелями искусства — свидетельство подлинной народности нашей культуры, свидетельство огромной заботы партии о повышении культурного уровня населения, роста духовных запросов. Так и сказано в статье 27 проекта Основного Закона: «Государство заботится об охране и приумножении духовных ценностей общества, широко их использовании для повышения культурного уровня советских людей». И я думаю о том, какие грандиозные возможности открывает проект новой Конституции для дальнейшего всестороннего развития личности.

Проект новой Конституции — это утверждение гуманистических принципов нашего социалистического общества, всего нашего образа жизни, основной девиз которого — все во имя человека.

**А. И. АРНОЛЬДОВ,**

*заслуженный деятель науки РСФСР,  
доктор философских наук,  
профессор*



## ДОКУМЕНТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ГУМАНИЗМА

**С**оветское общество находится на такой исторической ступени, когда неизменно возрастают социальная роль и значение духовной культуры в подъеме общественной энергии народа, многообразии ее функций, сила ее идейного воздействия. Культура выступает все более могучим и эффективным стимулом, побуждающим миллионы советских людей к активному гражданскому действию, она становится одним из важных факторов движения к коммунизму. Сейчас уже нельзя, как это делалось раньше, сводить ее к узкой сфере общественной деятельности, ограниченной рамками распространения и потребления готовой продукции. Сегодня, говоря о культуре, мы имеем в виду прежде всего высокую культуру труда и общественного управления, высокую культуру человеческих отношений, социального творчества и общественного поведения.

В проекте новой Конституции СССР вполне правомерно введена специальная глава «Социальное развитие и культура», в которой со всей научной полнотой и яркостью показано, что наше социалистическое государство использует все имеющиеся в его распоряжении средства и возможности для развития культуры, заботится о подъеме образования, науки и искусства. И все это делается во имя одной цели — духовного обогащения советского народа.

Советское общество развивается по пути социалистического культурного прогресса, выступающего как объективно неизбежное, целеустремленное движение к новому историческому типу культуры, обеспечивающему всестороннее и гармоничное развитие личности, способствует интеллектуальному, нравственному и эстетическому расцвету всех индивидуальностей. Отсюда важным показателем культурного прогресса является степень интеллектуального развития личности, возрастание ее духовной свободы, активный творческий характер ее деятельности.

Проект новой Конституции СССР со всей документальностью свидетельствует, что культурный прогресс при социализме предполагает увеличение использования духовных ценностей в интересах трудящихся и рост активного, творческого участия народа в развитии культуры. Активное участие всех членов общества в социальном творчестве является целью и результатом культурного прогресса. Вот почему наиболее общий, основной критерий культурного прогресса проявляется в степени сознательного участия масс в историческом творчестве, в широте приобщения масс к интеллектуальной деятельности. В связи с этим велико значение той социальной энергии, которая рождается в результате овладения массами культурой. Эта энергия по своему содержанию является созданием нового социального строя и нового духовного мира человека.

Культурный подъем народа в социалистическом обществе является его законным правом, закрепленным в проекте новой Конституции СССР, и обеспечивается созданием материальной базы для развития качественно новых форм участия масс в творческом процессе. Это творчество масс становится при социализме свободным и сознательным, коллективным и организованным, направленным на достижение единых для всего общества целей. Такая историческая деятельность порождает в трудящихся массах действительную потребность в культуре, стимулирует в них желание не только активно овладевать культурным богатством, но и непосредственно создавать его. Такое соединение масс с культурой является в зрелом социализме магистральной социальной задачей, порожденной глубинными потребностями общественного развития. Эта задача решается у нас не отдельными организациями и не частными лицами, а всей системой идейно-воспи-

тательной и культурно-просветительной работы, организованной в масштабе всего общества и представляющей собой важнейший участок деятельности Коммунистической партии и Советского государства. Приобщение масс к культуре поднято на уровень общегосударственной политики и составляет существенное звено в общей цепи задач, решаемых обществом.

Современная эпоха выявила важную объективную закономерность духовной жизни нашего времени. Проявляется она в том, что наиболее глубокое позитивное влияние на весь поступательный ход духовного развития человечества, на весь социальный прогресс оказывают те общественно-политические силы, которые выступают под знаменем марксизма-ленинизма и выражают идеи самой передовой культуры современности — социалистической культуры.

В. И. Ленин указывал, что важнейшим условием построения социалистического общества является громадное повышение культуры. На всех стадиях развития советского общества это положение составляло основу социалистической культурной революции, которая приобщает трудящиеся массы к высшим достижениям прогрессивной мировой культуры и, стимулируя всестороннее развитие их творческой активности, наполняет культурную жизнь страны новым содержанием и новыми формами. Все это нашло свое яркое выражение и в проекте новой Конституции СССР. Желательно было бы в статье 27 указать: для повышения политической, нравственной и эстетической культуры советских людей.

Проблемы культуры приобретают ныне действительное политическое значение. Прошли те времена, когда культуру рассматривали узкопрагматически, сводили только к определенной системе культурно-просветительных мероприятий. В новых исторических условиях успешно совершается процесс формирования социалистического типа личности, происходит преобразование духовного мира человека и общества. Все это наиболее полно проявляется через сферу культуры.

Жизнь доказала, что обязательной чертой подлинно гуманистической культуры является глубокое проникновение высоких духовных ценностей в повседневное бытие народных масс. Поэтому социализм не просто поддерживает и развивает тягу трудящихся к культуре, но направляет их духовное развитие на освоение лучших достижений человеческого гения, на приобщение всех членов общества не только к уже созданным культурным ценностям, но на включение их в активную творческую деятельность, создающую новые ценности. Поэтому проект новой Конституции СССР и лежащие в его основе теоретические концепции акцентируют внимание всего общества на тех преобразованиях, которые в современных условиях совершаются усилиями масс в духовной культуре, на решении задач, связанных с дальнейшим подъемом общеобразовательного и культурно-технического уровня трудящихся, их широким участием в развертывании научно-технической революции, расцветом художественной культуры, развитием средств массовой информации и пропаганды.

Развитой социализм отличается концентрированной интеллектуальной жизнью, интенсивным ростом ее объема и масштабности, весьма плодотворно сказывающимися на всех сферах жизнедеятельности личности. Обогащенный духовными ценностями человек не только изменяет свой внутренний мир, но и насыщает свой труд активным творческим интеллектуальным началом.

При этом нельзя не видеть постоянное расширение возможностей для полноценной культурной жизни, предоставляемое социалистическим обществом каждому человеку. От чтения газет и просмотра телепередач к систематическому образованию, к фундаментальному усвоению основ современной науки и искусства, от образования и просвещения к самостоятельному культурному творчеству в рамках профессиональной или самостоятельной (художественной, научно-технической, общественно-политической) активности — таков диапазон этих возможностей. Упор делается на активный характер приобщения человека к культуре, характер, определяемый не только объемом потребляемой готовой духовной продукции, но, главное, степенью участия в ее создании.

Из этого следует, что культурная миссия зрелого социализма проявляется не только в предоставлении трудящимся культурных благ, но прежде всего в стимулировании их культурной инициативы, создании всех необходимых условий для подлинного расцвета духовного творчества масс. Человек в социалистическом обществе выступает не как наблюдатель в музее культуры, не как пассивный объект, автоматически формирующийся под влиянием внешних сил, а как активный субъект культурного процесса, чья деятельность направлена и на его собственное совершенствование, и на целенаправленное изменение окружающих его жизненных условий и обстоятельств.

Особенность духовно-нравственного климата социалистического общества в значительной степени состоит в том, что создаются качественно новые социальные возможности для духовного обогащения человека, проявляющиеся в таких условиях человеческой жизни, таких общественных отношениях, которые гармонизируют взаимодействие личности и общества, объединяют и сплачивают людей в созидательной борьбе за гуманистические идеалы, утверждают в них чувства человеческого достоинства и социальной ответственности, верности общественному и гражданскому долгу.

Исходные принципы дальнейшего развития духовной жизни каждого советского человека четко и ясно сформулированы в проекте новой Конституции. В статье 20 указывается: «В соответствии с коммунистическим идеалом: «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» — Советское государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для развития и применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности».

Лейтмотив социалистической культуры — в активности и животворной деятельности человека. Именно в этом проявляется ее высший гуманизм. И примечательно, что эта мысль прозвучала в устах М. Горького, стоявшего у истоков социалистической культуры. В одном из писем к Леониду Андрееву он писал: «...а человеческое «я» суть начало активное...» На активизацию человека направлены сегодня все сферы социалистической культуры. В этом свете сущность социалистической культуры в зрелом социализме выражается в ее выходе к общественно-социальному смыслу жизни человека, его гражданскому поведению, мышлению и действию, то есть к тому, что является главным в жизнедеятельности социалистического общества.

Культурный прогресс непосредственно связан с гуманизацией общества, духовным саморазвитием человека, становлением и ростом его творческих сил и способностей. Поэтому его результаты, во-первых, проявляются в реальных условиях, обеспечивающих духовно насыщенную жизнь человека, его счастье, расцвет всех его умственных и эмоциональных сил, и, во-вторых, в самом духовном развитии личности, обогащении ее природы, в масштабности и многообразии видов ее творческой деятельности, в культивировании одаренности и талантливости человека. Все это закономерно приводит к усилению воздействия духовных ценностей на мир человека, расширению социальной сферы культуры.

Сегодня духовный мир подавляющего большинства советских людей получил самое широкое развитие и обогащение. Масштабность политического и культурного кругозора, чистота и зрелость идейно-нравственных позиций, глубокое органическое понимание связи общественных и личных интересов, высокий уровень гражданского и государственного мышления, осознание ответственности за свои действия как в сфере труда, так и в сфере отношений с другими людьми, — эти качества обусловлены социалистическим образом жизни, выступающим как процесс становления нового типа высококачественной и социально активной личности, когда человек не просто овладевает закрепленными в культуре знаниями и навыками, но, приобщаясь к высшим духовным ценностям мировой и современной социалистической культуры, трансформирует их в свою глубокую внутреннюю идейную убежденность. Поэтому важное значение приобретает комплекс вопросов, связанных с преодолением пассивных форм усвоения культуры, характерных еще для значительных слоев населения, приобще-

нием всех трудящихся к активным формам восприятия духовных ценностей и к непосредственному деятельному участию в духовной жизни общества.

Признавая непреложным тот факт, что для успешного интеллектуального развития личности чрезвычайно большое значение имеют знания и всестороннее освоение предшествующего человеческого опыта, накопленного многими поколениями, следует иметь в виду также, что этот богатейший духовный багаж без творческого усвоения, без критического осмысления, без умственного напряжения превратится в балласт, в мертвый груз, отягощающий сознание человека и сковывающий его действия. В свое время английский мыслитель Рескин справедливо говорил, что, если человек прочитает и запомнит все книги библиотеки Британского музея, он от этого еще не станет образованным.

Одним из важных духовных качеств человека, строящего коммунизм, является способность к систематическому самообучению и самообразованию, с тем чтобы не просто знать, но и уметь, преодолевая привычное, отклоняясь от стандартного образа действий, учитывать тенденции изменяющихся явлений, творчески решать новые проблемы. Какое бы хорошее и добротное образование ни получал человек, оно не застраховывает его от неожиданностей реального бытия. Речь идет, следовательно, о том, что современный человек должен быть способен адекватно воспринимать окружающий мир в его непрерывном изменении и соответствующим образом строить свое социальное и нравственное поведение.

Социалистическая культура связана с высокими целями и гуманистическими идеалами. Но коммунистический идеал — это не прекраснодушная мечта, не благие пожелания о будущем золотом веке человечества. Его начальным и конечным пунктом является человеческое действие, напряженный человеческий труд. Коммунистический идеал вытекает из всех совокупностей социальной практики человека по революционному преобразованию действительности.

Развитие социалистической культуры направляется идеалами высокого и живительного гуманизма. Советская культура в условиях зрелого социализма характеризуется углублением гуманистических начал. Все в большей степени наполняясь фундаментальным содержанием, она помогает обществу успешно решать сложнейшие социальные проблемы. Гуманизация самих способов познания и отношений человека со средой характерна для социалистической культуры, определяет духовный климат, способствующий успешному социальному самовыражению личности, ее активному включению в общественную жизнь. Действенный гуманизм, выражающийся в этой активности личности, лежит в основе новых, коммунистических этических норм. Они направлены на достижение нравственного здоровья человека, его душевного богатства, на его социальное самутверждение, которое в условиях социализма тесно связано с активной жизненной позицией человека, его трудовой отдачей, с его практической деятельностью, направленной на утверждение коммунистических идеалов.

В этой деятельности проявляется очень важная черта нашего общества, со всей яркостью прозвучавшая в проекте новой Конституции СССР, — это оптимизм, присущий образу действия и мышления народа, его морали и психологии. В моральных нормах, во всей нравственной культуре развитого социализма органически сочетаются требования, установленные наукой, и эмоциональные моменты, выступающие необходимой стороной отношения людей к этим требованиям.

В проекте новой Конституции СССР следовало бы подчеркнуть, что социалистическое общество отличается атмосферой высокой эстетической культуры. Поддержание этого высокого уровня требует от людей усилий, направленных на овладение образным языком различных видов искусства. Известны слова К. Маркса: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком»<sup>1</sup>. Наиболее полное и эффективное восприятие эстетических ценностей возможно тогда, когда человек духовно подготовлен к этому, когда он эстетически образован. В связи с этим хотелось бы отметить, что подготовленность человека к восприятию эстетических ценностей, «уме-

<sup>1</sup> «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». М. «Искусство». 1957, т. 1, стр. 171.

ние» человека жить в мире искусства, оценивать его произведения, соотнося их с высшими образцами мирового наследия.— это не только сторона гармоничного развития личности, но и необходимое условие существования и развития самой духовной культуры. Ее уровень зависит от качества эстетических ценностей, создаваемых и распространяемых в обществе, ибо малейшая заниженность этого качества отражается на воспитании человека, негативно влияет на него, препятствует его духовному совершенствованию. Поэтому в сфере литературы и искусства очень опасно снижение требований к идейному и художественному уровню произведений.

Воспитание нового человека, воплощающего в своем духовном облике, в своей деятельности высокие принципы коммунистического сознания, внедрение духовных ценностей в повседневные отношения людей, в их труд и быт, в реальные формы человеческого поведения — важнейшая и первоочередная задача социализма в культурной сфере. Вот почему большое значение в современных условиях приобретает уровень и качество личной культуры человека безотносительно к его месту в социальной структуре общества и служебному положению.

Духовные потребности личности — сложная сфера внутреннего мира человека. Их надо культивировать, развивать и формировать. Надо учить человека правильно понимать духовные ценности, помогать ему превращать их в органическую часть своего внутреннего мира, в свою плодотворную традицию, практически прививать ему, условно говоря, «культуру восприятия культуры».

В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» подчеркивается, что в партии утвердился подлинно ленинский стиль работы, противостоящий любым проявлениям бюрократизма и формализма. Здесь следует обратить внимание на то, что рядом с бюрократизмом указан и формализм. Оба эти явления враждебны социалистическому образу жизни, всей природе социалистического общества. Опасность формализма проявляется в том, что он искажает и профанирует жизненные принципы социализма, подменяет их бездушием, лишает человека гражданского мужества.

Противоядие современному мещанству с его мимикрией под культуру — высокая идейность и духовность личности, непрерывное культурное самосовершенствование, увлеченность трудом, который наполняет душу и сознание радостью созидания и творчества, эмоциональная щедрость, личная гражданская и нравственная ответственность человека за свои поступки и действия.

Высокий уровень духовного развития человека связан с его социальной ответственностью, с его пониманием гражданского смысла жизни. Возрастание человеческой ответственности обусловлено динамизмом эпохи. Поэтому с убыстрением скорости времени как бы, условно говоря, уменьшается по своим размерам планета и тем самым значительно увеличивается ответственность человека.

Духовно ограниченное видение мира обычно характеризуется бездушием и безволием, узостью жизненных планов, эгоистичностью замыслов, примитивностью желаний, стереотипным стилем жизни. Человек высоких духовных начал — это сильный духом, активный созидатель, сознательно принимающий на себя ответственность за каждое собственное действие в сфере труда и в отношениях с другими людьми, это борец за благородные коммунистические идеалы. Для такого человека характерны верность высоким нравственным принципам, способность активно, самоотверженно и творчески подходить к делу.

Именно эти черты личности формирует социалистическая культура, воплощающая в себе новую высшую форму гуманизма — не абстрактного и пассивного, а действительного, впитавшего все ценное из гуманистических принципов прошлого и обогащенного социалистическим содержанием. Приобщаясь к этой культуре, человек, таким образом, воспринимает ее не только как жизненно необходимый источник знаний, но как фактор, всесторонне формирующий его личность, стиль его мышления и действий, фактор, стимулирующий и активизирующий всю его жизнь и тем самым превращающий его в субъект культурно-исторического процесса.

Действие субъекта культурно-исторического процесса можно рассматривать, с одной стороны, как деятельность, направленную на развитие общества, то есть проявляющуюся в «культурном макромире», а с другой стороны, это действие есть в то же время и опосредованная через систему культурных ценностей творческая деятельность, направленная внутрь себя, в свой «культурный микромир», формирующая и совершенствующая духовные качества индивида.

К. Маркс подчеркивал, что на основании того, в какой мере природа стала для человека «человеческой сущностью», «можно... судить о ступени общей культуры человека»<sup>2</sup>. Культура человека проявляется и в его отношении ко всему, что его окружает, начиная с природной среды, от которой зависит его физическое и духовное здоровье. Охраняя природу, человек охраняет себя и с ее помощью культивирует в себе чувства прекрасного, гармоничного. Вот почему так важно и необходимо знать и чувствовать сложный механизм взаимодействия природы и человека, понимать место и возможности человека в природной среде, иметь ясные представления о том, в какой мере и до каких границ можно изменять природу, с тем чтобы не нанести вред земле, на которой мы живем, ее природной красоте.

С другой стороны, культура человека проявляется в его отношениях к другим людям, и поэтому уровень ее зависит от степени понимания данным индивидом основ человеческих отношений, понимания самодовлеющей ценности каждого человека в системе социального взаимодействия.

Высокая культура человеческих отношений обеспечивает условия для обогащения духовного мира человека, самопознания и самоутверждения личности, ибо в общении человек познает свою сущность и сущность других людей<sup>3</sup>. Культурный рост личности, расширение ее духовного кругозора происходит в процессе общения, своеобразной формой которого является освоение ценностей культуры, созданных многими поколениями людей. Интеллектуальная, эстетическая, нравственная стороны общения выступают как различные формы «духовного питания», без которого невозможно существование человека как личности и развитие его способности к творчеству.

Зрелый социализм создает такую атмосферу для развития человеческого общения, когда люди со всей глубиной и жизненной полнотой чувствуют себя участниками исторических событий, ощущают всю реальность своей жизни как социально значимого общественного бытия. Естественно, что люди очень различны и отличаются по уму и таланту, по внешности и положению в обществе. Различны и их человеческие отношения. Но духовный и нравственный климат социализма вносит в это человеческое бытие реальность гармонии, придающей взаимоотношениям людей истинность и красоту человеческого братства.

В социалистическом обществе культура обладает высоким общественным престижем. Обусловлено это тем, что созданный новый, социалистический образ жизни отличается высоким духовным потенциалом и культура в его структуре является чрезвычайно важным компонентом. Основная задача всех средств социалистической культуры, лейтмотив духовно-нравственного климата социалистического образа жизни — научить людей жить, трудиться и мыслить по коммунистически! Величайший исторический документ нашего времени — проект новой Конституции СССР со всей научной глубиной отражает этот процесс в жизни человека и общества. Гарантия дальнейших успехов и побед нашей культуры заложена в каждой строке проекта Основного Закона Советского Союза.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. Политиздат. 1956, стр. 587.

<sup>3</sup> См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 62.





# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВЛАДИМИР ИШИМОВ

★

## ХЕНРИТС НУТТЬ, ЗЕМЛЯ И БИОМАШИНА

«Большая работа предстоит в области сельского хозяйства. Здесь партия выдвигает две взаимосвязанные цели. Первая: добиться надежного снабжения страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, всегда иметь для этого достаточные резервы. И вторая: идти все дальше по пути сближения материальных и культурно-бытовых условий жизни города и деревни, что является нашим программным требованием».

Л. И. Брежнев. Из Отчетного доклада XXV съезду КПСС.

**Н**ачалось все с кино. Таллинские друзья посоветовали: посмотри документальный телефильм «Город и село». Полнометражная картина эта, сделанная на объединении «Эстонский телефильм», и впрямь резко отличалась от массы так называемых обзорных лент. Обширную информацию о современном сельском хозяйстве Эстонии, о взаимодействиях и взаимосвязях города и деревни она преподнесла умно, изобретательно, образно, обходясь без выспренности, помпы, гладкой парадности. Авторы не стали обставать пространство фильма гарнитуром готовых истин в окружении громких фраз и цитат, надежно заменяющих собственную точку зрения. Трагедия явления сегодняшние, лента ненавязчиво сообщала интеллектуальный и эмоциональный посыл размышлениям о коренных проблемах жизни села — и не только села — в эпоху НТР. Цепная реакция нашей мысли — вот на что был нацелен авторский замысел!

Фильм этот — фильм-раздумье, фильм-анализ, фильм-прогноз — невозможно было бы сделать, не владея сложным и обширным материалом свободно и, сказал бы я, выстраданно. Не осмыслив его философски, социально, психологически, нравственно. И — без самобытной художнической жилки. Все это относится к известному кинодокументалисту режиссеру Мати Пыльдаре, к оператору Яану Раудсеппу, И, конечно же, к драматургу, потому что свойства картины заложены изначально в сценарии. Кто же автор? В титрах стояло: М. Пыльдаре и Э. Тынурист. Но позвольте...

Он самый, подтвердили мне, Эдгар Тынурист, первый заместитель председателя Совета Министров Эстонии, а до того — больше десятилетия — министр сельского хозяйства.

Так фильм «Город и село» привел меня к человеку, для коего проблемы социального села не просто предмет размышлений в кабинетной тиши, но бурное горнило живой жизни, где он ищет и находит ключи к практическим решениям. Грешно было не воспользоваться таким стечением обстоятельств...

1

«Производится в год на каждого жителя  
756 кг молока, 105 кг мяса, 278 яиц...»

Из дикторского текста к фильму.

— Внушительные цифры...

— Они немножко устарели, — заметил мой собеседник, плотный, крепкий, с несколько замкнутым лицом. — В 1975 году Эстония произвела на душу 821 килограмм молока, 112 — мяса, 313 штук яиц. Можно добавить: по 0,77 тонны зерна и 0,84 — картофеля. Хотя год был неблагоприятный...

Разговор наш шел в старом замке Тоомпеа, в кабинете, окнами выходящем на горку Линды, на двойной шпиль церкви Каарли и холм Тынисмяги, где горит вечный огонь перед монументом Солдатам-освободителям. Тынурист с самого начала слушал меня внимательно, но вроде бы бесстрастно. Может, был я слишком эмоционален для этого корректного кабинета? Я закрутился, упомянув проблемы века, что прорисовываются из качественных перемен в деревне и уже встают перед нами «крупным планом». И вдруг Тынурист спросил:

— Скажите, пожалуйста, а у вас не возникло ощущения, что фильм как бы... приукрашивает действительность?

Я удивился.

— Поймите меня: я же не профессионал-сценарист. И очень волновался, когда картину смотрели писатели: что они скажут? От одного писателя услышал: «Не может быть, чтобы на самом деле все было, как в фильме».

— Странно... Мне пришлось поехать по Эстонии, по хозяйствам. Сила фильма, на мой взгляд, как раз в том, что он обобщил обыденные факты, обнаружил за ними социальные явления и коллизии. И сделал это средствами искусства...

Скажу, что из статистических отчетов я знал, что по производству продуктов животноводства на душу населения республика держит первое место в стране. Средние урожаи зерновых в Эстонии достигли в 1976 году 30 центнеров с гектара (валовой сбор зерна 1200 тысяч тонн), а на протяжении последних лет — 24 центнера. Даже в самые неудачные годы он не опускался ниже 20. И это — на тощих эстонских почвах, с которых к тому же дважды в год приходится собирать «урожай» камня — до 5 миллионов кубометров ежегодно!

Эстонская корова — самая продуктивная в СССР. Если в 1950 году, только недавно ставши колхозной или совхозной, она давала 1868 кг молока, то нынче — более 3 585 кг («общесоюзная» корова — 2 404).

Но, быть может, стремясь к высоким результатам, эстонцы «не стоят за ценой»? К концу десятой пятилетки затраты труда на центнер молока было намечено снизить до 4,3 человеко-часа, говядины — до 20. Но уже в 1975 году затратили соответственно 4 и 19...

Выходит, что эстонцы еще как «стоят за ценой»! Мне не раз приходилось слышать от людей, впервые побывавших в Эстонии: отчего там колхозникам не работать на совесть — им же платят сумасшедшие деньги? Сумасшедшие не сумасшедшие, но заработки у эстонских крестьян и вправду большие. Однако мало кто знает, что при этом расход зарплаты на единицу продукции там — самый низкий в стране. И это естественно. Производительность труда в сельском хозяйстве республики за годы советской власти выросла впятеро и продолжает расти быстрее, чем в любой другой отрасли экономики. Эстония держит всесоюзный рекорд по этому важнейшему показателю. В Литве, стоящей на втором месте, он вдвое ниже...

Да, стадия локальных экспериментов для Эстонии позади. Эксперимент распротранен на всю республику, стал повседневной нормой. Не случайно группа ученых во главе с директором Института животноводства и ветеринарии академиком ВАСХНИЛ Адольфом Мельдером удостоилась в 1975 году Государственной премии СССР за разработку и внедрение промышленных основ животноводства.

Конечно, Эстония — республика маленькая, у нее всего полпроцента всесоюзной пашни (правда, маленькая по меркам Союза: ведь Эстонская ССР территориально крупнее Дании или Швейцарии, в полтора раза больше Голландии). Но важно ли в этом контексте, что «не Эстония страну кормит»? (Слышал я как-то такую фразу.) Думаю, куда важнее для всех нас разобраться, какие же закономерности удалось эстонцам пустить в ход, чтобы создать устойчивое и быстро прогрессирующее сельское хозяйство в масштабах республики — экономического региона. Это, мне кажется, важно еще и потому, что Эстония-то относится к нечерноземной зоне и ее опыт может сослужить хорошую службу сегодня, когда перед нами грандиозная задача — крутой подъем нечерноземных областей России.

— Мы счастливы делиться опытом, тем, в чем мы сильны, — откликнулся мой собеседник. — Это наш естественный интернациональный долг. И как же иначе! Братская взаимопомощь, обмен достижениями — традиция нашей социалистической жизни. Успехи процветающей Эстонской союзной республики — в огромной мере результат этой дружбы, помощи всех других республик СССР, Советского государства. Тракторы, комбайны, автомобили — легкие и грузовые, множество другой техники мы сами не производим, а получаем из братских республик. Как и химические удобрения, электронно-вычислительные машины, концентрированные корма, доильные агрегаты и множество другого... Впрочем, это нормально, это никого не удивляет: страна наша — единый экономический организм, в котором гармонически учитываются интересы целого и интересы каждой его части — союзной республики...

— Чем же конкретно можно объяснить достижения Эстонской республики? Какой рычаг вы отыскали и использовали?

— Рычаг?.. Напротив, мы исходили из того, что один-единственный чудо-рычаг немислим. Реализовать программу, выдвинутую партией — перевести сельское хозяйство

на индустриальную основу,— возможно лишь при системном, строго научном подходе, увязав в единое целое все рычаги. И главное, «задействовав», как говорится, эти рычаги, эти силы. То есть выстроив работающую систему. Именно на это направили мы коллективные усилия ученых, специалистов-практиков, колхозников, рабочих совхозов, партийных и государственных органов.

..Современное сельское хозяйство— сложный агропромышленный комплекс. Он состоит из трех тесно связанных сфер. Первая — система снабжения зданиями, машинами, удобрениями и всем остальным, нужным для производства. Вторая — сельскохозяйственное производство как таковое. И третья — система сбыта и перевозки готовой продукции, ее хранения и переработки. Примечательная цифра: в сельском хозяйстве занято всего 13 процентов рабочей силы Эстонии. Но в республике считают, что и это много. Каждый сельский труженик, по примерной оценке, кормит 16 человек — в сумме это все население Эстонской ССР плюс еще около полутора миллиона едоков. Замечу, соотношение работников в трех сферах неизбежно будет меняться: все большая доля персонала станет падать на снабжение и переработку. Такова закономерность индустриализации села. Например, в США, где непосредственно на фермах работает около 4 миллионов человек, во всем агропромышленном комплексе занято более 20 миллионов.

— Так что, Эдгар Густавович, двинемся по сферам?

— Что ж, начнем с производства. Прежде всего: мы предпочитали не действовать очертя голову. Новую организацию и технологию искали и отработывали сначала в опорных хозяйствах, созданных непосредственно при научно-исследовательских центрах. Отработав, новые принципы распространяли постепенно, с разумной осторожностью на все более широкий круг хозяйств и, наконец, на всю республику.

Земля. Как умножить ее силу? Ученые детально проанализировали все до единого сельскохозяйственные уголья республики, составили подробные агропочвенные карты, чтобы ухаживать за землей-кормилицей, удобрять ее, возделывать строго по науке. Технологические сроки работ мы выдерживаем строго и — гибко, без промедления применяясь к погодным и другим природным факторам. Семеноводство, целиком сосредоточенное в специализированных хозяйствах НИИ, полностью обеспечивает колхозы и совхозы семенами элиты и высших репродукций. Большая доля эстонских земель переувлажнена. С помощью государства мы осилили большой объем мелиоративных работ. Велик у нас клин кислых, бедных почв; ежели раньше в Эстонии крестьянин брал 10—12 центнеров хлеба с гектара, он радовался. Почвы решили облагородить. Но чем? И в какие миллионы это станет?! Однако специалисты нашли остроумнейший в своей простоте и дешевизне выход: пустить в дело даровые промышленные отходы — сланцевую золу. Убивая к тому же второго зайца — очищая землю от гигантских мертвенных терриконов.

Экономический аспект. Успех «любой ценой» — сегодня не успех. Вычислительный центр Института земледелия в Саку, регулярно получая информацию от всех хозяйств Эстонии, оперативно дает рекомендации каждому колхозу и совхозу, как вести дело с максимальной выгодой.

Особенно заметен прогресс в специализации и концентрации производства. Ведущая наша отрасль — мясо-молочное животноводство и беконное свиноводство (животноводство в целом дает у нас 85 процентов дохода всего сельского хозяйства). Мы завершили концентрацию и индустриализацию птицеводства — им в республике занимается лишь 16 специализированных хозяйств, и они дают девять десятых всех яиц, продаваемых государству. На очереди свиноводство — сооружаем современные крупные комплексы, целые заводы мяса. Такой комплекс, например, в совхозе-техникуме имени Ю. Гагарина производит 5400 тонн свинины в год, Пярнуская свиноферма — 2400 тонн. Что касается молочного стада, то половина его уже теперь содержится на двухстах механизированных фермах — каждая на 400—600 и 800—1000 коров. Между прочим, на огромных пространствах Юга США такого масштаба ферм меньше... Но все это нас уже не устраивает. В хозяйствах большие резервы. К концу десятилетия пятилетки эстонское животноводство станет полностью индустриальным. XXV съезд КПСС поставил перед тружениками советской деревни высокие цели — обеспечить дальнейшее повышение и большую устойчивость сельскохозяйственного производства, добиваться всемерного увеличения эффективности растениеводства и животноводства. Коллективам хозяйств Эстонии предстоит поднять среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства еще на 17—20 процентов (в прошлом пятилетии мы увеличили его на 27 процентов), углубив специализацию на молочно-мясном животноводстве и беконном свиноводстве.

— Перейдем к следующей сфере?

— Предварительное замечание: в агропромышленной концентрации главное, на мой взгляд, — снять с хозяйств все несвойственные им заботы — снабжение машинами, удобрениями, стройматериалами и прочим, сбыт, хранение, переработку своей продукции. То есть сосредоточить силы производственных коллективов в главном — производстве. И так, техника. Знаю, есть точка зрения: Эстония потому, мол, достигла серьезных успехов, что там на селе машин — видимо-невидимо. Машин у нас и вправду порядком в расчете на гектар. Но гектар гектару рознь. Вот, например, в республике один комбайн приходится на 105 га зерновых. Неплохо? Однако наш гектар, ведь, дает зерна больше, чем в некоторых иных регионах. А плановые органы при распределении

комбайнов исходят лишь из размеров уборочной площади. Урожайность в расчет не принимается. Если дело пойдет так и впредь — нагрузка на один агрегат дойдет у нас до огромной цифры: 370 тонн зерна! Жатва затянется почти на месяц, а это означает потери урожая, тем паче осень у нас дождливая. Так что вроде бы машин у нас много, а на поверку — меньше, чем в других местах. Вывод? Госплану СССР следовало бы, на наш взгляд, распределять технику, учитывая все объективные особенности каждой зоны. Проблема проблем села — запчасти. Остроту ее нам удалось «притупить». Как? Дело-то в том, что дефицит запчастей — штука вообще, по моему убеждению, искусственная. В ГДР нормы на запчасти для сельхозтехники ниже, чем у нас, а их вполне хватает. Дело в централизованном снабжении. В ФРГ, скажем, запчасти для каждого типа машин сконцентрированы на одном складе на всю страну. Вот и мы в республике вводим постепенно аналогичную систему. Районный склад Эстсельхозтехники в Тюри стал республиканским центром частей для трактора «Беларусь». В Вильянди — специализированный центр для машин из ГДР. В Пайде — центр по комбайнам, в Косе — по резиновым изделиям, в Сауе — по деталям из пластмасс... На очереди новые центры. Затем в каждом районе — склад обменного фонда двигателей. Нужно колхозу отремонтировать мотор — звонок на обменный пункт, и, пожалуйста, немедленно доставят исправный двигатель, а старый заберут в ремонт; отремонтированный, он попадет уже к новым хозяевам. При хорошо налаженной системе на такую операцию вместе с ремонтом уходит неделя, а запасных двигателей надо всего 5 процентов парка.

Сложнее ситуация в третьей сфере. Ежели молокозаводы, мясокомбинаты сами забирают в хозяйствах продукты для переработки, то насчет овощей, картофеля, фруктов такого не скажешь. Здесь и доставка, и хранение, и переработка — в большой мере на плечах хозяйств. Ситуация острая. Крайне не хватает хранилищ, производственных мощностей. Горький результат — порча продуктов, огромные потери труда и денег. Ну разве можно это терпеть?! Не пора ли соответствующим центральным ведомствам кардинально и решительно изменить положение? Создать стройную и действенную систему мирового уровня. — Тынурист помолчал. Скупо улыбнулся: — Видите, сколько рычагов... Но главный — главный, пожалуй, все же есть...

— Люди! — подхватил я.

— Трюизм, хотите вы сказать? Клише? — Мой собеседник уже не улыбался. — Но это и в самом деле так. Без человека все — самые современные механизмы, изощренная технология — мертво. Однако даже не в этом принципиальная суть. Помните у Маркса? Для социализма, всесторонне развивающейся и гуманистической по духу экономики, центром экономической жизни является человек. И не просто как субъект производства, и не просто как потребитель... Все — ради него. Мы достаточно часто это декларируем, но в текучке будней столь же часто упускаем из виду. И в поле зрения остается одно лишь производство — как самоцель...

И куда только девалась невозмутимость Тынуриста?! А я еще опасался — не слышком ли эмоционально говорю в этом кабинете!

## 2

«И в этих, теперь заброшенных среди болот хуторах тоже жили... И то хорошо, была хоть крыша над головой...»

*Из гикторского текста к фильму.*

— Люди... Труднее всего было стронуть с места и повести людей... Тогдашних, всем существом вросших в свой надел, в свой хутор... Сколько когда-то было сказано, что, мол, эстонский мужик — по природе закоренелый индивидуалист, он не захочет, да попросту и не сумеет жить в колхозе. А попробуйте-ка нынешнего эстонского крестьянина вернуть на затерянный в глуши хутор?! Однако сколько же всякого между этими двумя временными координатами вместились — той, давней, и нынешней!..

На заре коллективизации в Эстонии Эдгар Тынурист работал председателем Тартуского уездного исполкома, а вскоре стал министром сельского хозяйства. С самого начала в Эстонии крепко и основательно взялись за подбор колхозных руководящих кадров. Смотрели не на анкетные данные — искали и находили толковых людей с деловой сметкой. Поставив их во главе хозяйств, давали спокойно работать, не трепля им нервы по пустякам, не устраивая чехарду, не снимая за первые же действительные или мнимые ошибки, давая осмотреться, вникнуть, враспе в дело. Потому-то председатель чувствовал, что он не калиф на час, а занял свое многотрудное место всерьез и надолго.

Ну конечно же, жизнь — она шла своим чередом, помалу заменяя старых заслуженных председателей людьми новой формации, обладающими не только хозяйственной, мужицкой сметкой, но и образованием, широким кругозором, возросших на дрожжах новых, современных идей социалистического хозяйствования в деревне, идей, рожденных коллективной научной мыслью партии.

В 1958 году в эстонских колхозах стали в порядке эксперимента вводить денеж-

ную оплату. И тут один журнал выступил с резкой статьей. Осуждая такую практику, статья указывала, что трудоводень неотделим от колхозного строя и тот, кто пытается отменить трудоводень, вольно или невольно замахивается на сам колхозный строй. Сегодня, когда про натуральный трудоводень начинают уже забывать, словно его и не было, история сия кажется странной, не так ли? Но тогда понадобились серьезные усилия, чтобы отстоять и постепенно внедрить денежную оплату в колхозах...

...Позади — целая эпоха. Высокоорганизованный труд с неизмеримо меньшей, чем прежде, затратой физических сил, зажиточность, урбанизированный быт, культура — такова нынче жизнь эстонского крестьянина. В процессе кардинальных перемен, поразительно спрессованном во времени, в этом историческом опыте сверхважен его социальный аспект.

— Вот бы о чем нам порассуждать, Эдгар Густавович? А?

— Это интересно. Но... теперь прошу меня извинить... — Он скользнул взглядом по ампириным, с бронзовыми фигурками часам на каминной доске, единственному «домашнему» предмету в этой строго обставленной комнате. Домашнему — и чем-то неуловимо личному...

### 3

«Хенрикс Нутт», скотник молочной фермы «Рахинге», один обслуживает тысячу коров. Все с помощью машин. Трактор, 9 кормораздатчиков, две косилки-укладчика... Это уже не гнувший спину с утра до вечера мужик, а специалист, владеющий современными методами организации труда...»

*Из дикторского текста к фильму.*

— Так что, попробуем? Нащупаем ракурсы, румбы?

Журналистское везенье меня не оставляло — удалось провести с Тынуристом просторный воскресный день на благословенном морском берегу в Лауласмаа, среди вековых сосен. Пообщаться, что называется, властью, на воле, когда над моим собеседником не висел дамоклов меч повседневных дел и забот.

— Если не ошибаюсь, — сказал я, — суть дела такова. Поскольку Эстонии по ряду причин удалось уже сейчас выйти в некоторых аспектах в новое качество — организовав устойчивое индустриальное сельскохозяйственное производство в масштабах республики, — она столкнулась и с новыми для села тенденциями — социальными, нравственными, психологическими.

— Не забегаете ли вперед? Правы вы в одном: советское общество, развиваясь, решает не просто технические и технологические задачи, а целый комплекс задач социальных. К этому направлены решения XXIV и XXV съездов партии. Современная техника и технология — это необходимое условие, опора движения. А цель его — новая социальная модель села. И как венец исторических усилий всего народа — гармонически развитая личность. Еще в первые годы революции Ленин считал главной заботой советской власти и партии — культурное, духовное развитие народа. При условии, если есть хлеб, добавлял он. Ныне мы на неизмеримо более высоком витке исторической спирали. Хлеб — в широком смысле — у нас есть, хотя его должно быть все больше и больше. На первый план выходит формирование коммунистического человека — самая непосредственная задача. Тут-то начало начал — опять-таки сам человек. Вот как все закольцовано, сопряжено в прямых и обратных диалектических связях.

— А если конкретно?

— Хорошо, давайте конкретно. Мы все еще зачастую хотим брать числом, массой. Но у нас в сельском хозяйстве и так занято слишком много народу, а механизмы нередко используются непродуктивно. Организация труда — тоже отнюдь не повсюду на уровне времени. Конечно, дело не только в инертности, консерватизме или неумелости тех или иных работников. Есть и объективные предпосылки. Ведь в научно-технической революции на селе сочетаются усилия города и деревни. Город дает технику, материалы, химикаты. А село — оно еще пока не совсем готово к быстрым качественным переменам, которые «предлагает» ему город. Хотите любопытную историю?

Конечно же, я хотел.

— Заслуженный агроном республики Юло Ляэнметс отправился не так давно в США. В гости к брату-фермеру. Там он решил испытать, что за штука такая — труд в американском сельскохозяйственном предприятии средней руки. И стал работать вровень с братом. С молодых ногтей привычный к земледелию, Юло выдержал всего лишь неделю! Почему? Иные стандарты интенсивности? И это, конечно: вкалывать, гоня по-нашему, приходясь с напряжением поистине иссушающим. Однако суть-то вот в чем: не только ритм и темп работы требовал критического напряжения, но прежде всего — новая технология.

Технология сельскохозяйственного производства в условиях НТР быстро меняется. Усложняется техника. Человек, не поспевая приспосабливаясь к этой крутой эскалации, отстает. Противоречие? Несомненно. И — существнейшее. Оно требует от всех нас, работников различных сфер науки и практики, искать ключ, или ключи, к проблеме. Не хочешь отстать — будь всегда «в струне», постоянно повышай квалификацию. Известно, что «повелительница века» — НТР заставляет специалистов полностью перучиваться каждые пять, десять, пятнадцать лет в зависимости от уровня, на котором они функционируют.

Словом, в основе сельской части общего нашего дела — перестройка образа мышления крестьянина. Не только профессиональное обучение его, но и прививка ему внутреннего динамизма. Ведь крупному индустриальному производству нужен не работник вообще, а специалист. Ибо оно, как и в городе, немислимо уже без разделения труда.

Любому человеку по плечу освоить более или менее узкую область: стать машинистом кормозавода, оператором машинного доения, скотником-механизатором, телятницей. Применяя приобретенный навык в оптимальных условиях — а такие условия создает хорошо организованное социалистическое индустриальное производство, — он в силах достичь высокого совершенства. Стать мастером.

Овладевший современными — на данное время — методами труда, он теперь специалист. Вот это и есть — в социальном плане — главное, что сближает село с городом. Поднялся не только материальный стандарт жизни крестьянина, но иным стало его социальное самочувствие.

Вот вам реальное лицо — скотник Нутть. Вы видели его в нашем фильме, а я знаком с ним коротко. Он не титан, никакой не супермен. Самый обыкновенный человек. Но — он один кормит и ухаживает за тысячей коров. Нутть доволен своей профессией, своим заработком, своей жизнью, своей судьбой. Он уважаем. Он — живая антитеза порочной формуле «незаменимых у нас нет». Диалектика: крупное производство, разделение труда, когда работник вроде бы лишь носитель технологической функции и потому, казалось бы, может быть заменен любым другим работником той же квалификации, на деле создают у каждого члена трудового коллектива ощущение ценности и единственности своего «я».

И то самое моральное поощрение, вокруг коего мы поломали столько копий, — это не портрет на Доске почета (во всяком случае, не только портрет), а климат, где рождается драгоценное чувство, пришедшее к Хенритсу Нуттью, к доярке Линде Саар, к машинисту Микелису Эрнису, которому — в единственном лице! — подвластна целая фабрика травяной муки, множеству их коллег в колхозах и совхозах. Социалистическое чувство: «Без меня система не сработает». Отсюда — человеческое достоинство. И — ответственность. Вот тут-то прежде всего преимущество социализма.

...Так технологическая цепочка привела нас в сферу социально-личностную. Технология та же, что и при капитализме, а социальный подход и социальный эффект — диаметрально противоположные.

— Вы ни разу не произнесли слов «творчество», «творческий труд»...

— А к чему поминать их все? Творчество — слишком высокое понятие, чтобы превращать его в разменную монету. Творческих видов деятельности не так уж и много, и опасно, на мой взгляд, сеять иллюзии, будто во всяком занятии есть место творчеству. Творчество — всегда создание нового, небывалого. Большая же часть трудовых процессов — репродуктивна.

— Тогда мне интересно, — сказал я, — как вы отнесетесь к такой точке зрения... — И, раскрыв блокнот, процитировал участника заинтересовавшей меня дискуссии в «Вопросах философии»: — «...Непременным условием творчества являются способности, позволяющие личности выходить за пределы освоенных ею интеллектуальных и физических операций. Эти способности именуется обычно одаренностью, талантом, гением и принципиально отличаются от знаний, навыков, умений, направляющих репродуктивную деятельность. Последние обретаются личностью в ходе обучения, тогда как одаренность, талант, гений имеют врожденную психическую основу...»

— Как раньше говорили — «от бога»? Абсолютно согласен. Цитированный вами автор утверждает то же, что я, только я иду от характера труда, он — от его субъекта, от носителя таланта или навыков.

— А не значит ли это, что множеству людей не судьба изведать радость самого процесса труда?

— Почему же?! Нонсенс! Радость труда и творчество — вовсе не сямские близнецы. Люди все разные, склонность к тому или иному делу индивидуальна. То, что одному кажется смертельно скучным, другого увлекает с головой. Множество индивидуумов по своему психическому складу предпочитают работу привычно-однообразную, не требующую интеллектуального или нервного напряжения. Важно научиться обнаруживать в людях их потенциал, помочь их развивать, раскрыть полностью. С тем чтобы, реализуя себя как личность, человек завоевал уважение окружающих и — самоуважение. Вот тогда благо каждого и общественная польза сольются гармонически.

— Вы о профориентации?

— Я — обо всей системе подготовки кадров для села. Мне кажется, мы нашли удачную форму обучения будущих специалистов среднего звена: в Эстонии — сеть сов-

хозов-техникумов. Эффективный институт — ученические сельскохозяйственные бригады. Каждое лето тысячи городских школьников работают на полях и фермах. Ребята прямо-таки рвутся в эти бригады. Это же такая радость — прикосновение к родной земле, жизнь среди природы, вкус самостоятельного труда. Ну и заработок, конечно...

Тут я заметил, что есть у меня в Таллине друзья, сугубо городская семья, да еще из литературно-художественной среды, а старшая девочка, окончив школу, поступила в Эстонскую сельскохозяйственную академию. И не с бухты-барухты — всегда об этом мечтала.

— Что ж тут необычного? — пожал плечами Тынурист. — В ЭСХА конкурс куда выше, чем, скажем, в Таллинский политехнический. Результат? Самая высокая в СССР насыщенность хозяйств агрономами, инженерами, техниками с высшим и средним специальным образованием: на тысячу колхозников — сто, в совхозах еще выше. На втором месте Литва: в колхозах — шестьдесят шесть.

— А средняя по стране?

— Тридцать в колхозах, пятьдесят один в совхозах. Директор совхоза, председатель колхоза, агроном с кандидатской степенью — не такая уж у нас редкость. Одного из них вы видели в нашем фильме — Аво Мельдера, завотделением «Ворбузе» совхоза «Тарту». Именно там, в «Ворбузе», разрабатывались основы индустриального содержания крупного рогатого скота. В тех же коровниках начинал свою научную карьеру и отец Аво — академик Адольф Мельдер. Да, да, тот самый, что возглавил группу лауреатов Государственной премии СССР. Академик уже дедушка: у Аво растет малыш. Кто знает, кем он будет? Пойдет ли по стопам отца и деда? На это не так уж мало шансов. Prestиж сельскохозяйственных профессий в Эстонии высок. И если вернуться к раскладу сил, которые способствовали быстрому прогрессу сельского хозяйства в республике, то концентрация специалистов в хозяйствах — едва ли не решающий «субъективный фактор». Есть кому во всеоружии компетентности практически реализовать научную программу перемен...

## 4

«Назовем свинью, которая содержится на фабрике, так: биомашина. Производительность таких биомашин у нас на высоком уровне — в год от свиноматки не менее 20 поросят. За полгода они превратятся в стокнилограммовых свиней — две тонны мяса беконных кондиций в год».

*Из дикторского текста к фильму.*

— Вот насчет этих самых биомашин... Ведь крестьянина всегда, испокон веку, связывали с животными, растениями, землею особые крепки. Глубоко внутренние, эмоциональные. Лошадь, корова, свинья, даже курица были для крестьянина прежде всего одушевленными, чувствующим, наделенным индивидуальностью существом. В этом была, так я понимаю, и духовная, и этическая, и эстетическая основа всего мировосприятия деревенского человека, его бытия и труда. Позволю себе процитировать двух писателей, знатоков крестьянского мира. Ефим Дорош: «Два дня назад у А. В. стали вылапаться прылята. Вчера и сегодня, вытащив на улицу решетчатый ящик, куда она сажает наседку с ними, она стоит утром, забыв все заботы ожидающего ее дня, и лубуется ими — черными, рыженькими, желтыми с белым, — отличает повадку каждого, говорит, что трое самых слабых еще под наседку спрятались, а вот этот какой шустрый, а самого последнего, совсем слабенького, она отсадила, кормит отдельно, пускай окрепнет, тогда она его подсадит, и как хороши черненькие, они особенные какие-то... Вот это и есть поэзия крестьянского труда. И это же источник нравственной силы, душевной если не чистоты, то очищения». А вот Ионас Авижюс: «...ласковые слова отца, — погрузившись в жизнь этого крохотного мирка, он обращается к скотине, как к человеку. «Что бы ни случилось, крестьянин не будет одинок — у него есть животные...»

Современное интенсивное производство, развивал свою мысль, в корне меняет все устои и понятия. Вместо скотины, живого и близкого существа, — обезличенная «биомашина». Что касается категорий технологических и экономических — здесь, в общем-то, все ясно. А вот как насчет субстанции почти нематериальной (но, кстати, ой-ой как влияющей на сугубо деловые категории урожайности, привеса и удоя!) — души крестьянина? Совершенствуется ли, добреет ли она? Не встает ли меж крестьянином и природой механизм?

Мы шли по берегу, у самой кромки воды. Гладь бухты была усеяна множеством камней, ра бросанных в аккуратном беспорядке. Прямо перед нами, словно туши незнакомых морских животных, купались две огромные рыже-черные глыбы. Тынурист остановился, помолчал.

— Видите ли, современное сельское хозяйство держится на двух китах — индустрии и биологии. И никакие машины, никакая ультрасовременная организация и тех-

нология не изменят сути — того неколебимого факта, что земледелие и животноводство имеют дело с живыми организмами. Именно биологическая основа первична. Почему в Эстонии достигнут стабильный, и довольно высокий, урожай зерна? Машины везде есть, да и земли в других местах плодороднее наших. «Просто» все сельхозработы нам удается по всей республике проводить точно в оптимальные сроки, так, как требует биология. Это, кстати, и влияние «дурной погоды» смягчает. Двух мнений не может быть: трепетное, «одушевленное» отношение крестьянина к живой природе — бесценное его качество. Главный агроном совхоза «Соотага» Макс Тальтс рассказал такой случай. Как-то на картофельном поле он издали приметил: что это там тракторист в борозде копается, с трактора слез? Оказывается, развернулся парень на своей «Беларуси» и нечаянно выдернул куст картофеля из земли. Остановил машину и стал обратно растеньице в землю сажать — осторожно так, бережно...

— У меня тоже в загашнике пример,— заметил я.— В совхозе «Винни» мне рассказали про доярку, фамилия ее Ромашова,— у нее коровы дают по пять с половиной тонн молока в год. Так над нею там посмеиваются: одни уверяют, что она своих коров дрессирует, словно в цирке, другие — будто она к каждой нашла индивидуальный подход, за высокие показатели поощряет морально. Но ведь само то, что агроном Тальтс обратил внимание на заботливого тракториста, мало того — как о чем-то поучительном рассказал о нем вам, или то, что про доярку, которая «разговаривает со скотиной, как с человеком», по селу слагают байки,— доказывает, что такое необычно. Да и правда: может ли скотник Нутть, кормя тысячу коров, знать каждую «в лицо»?

— В принципе вы правы,— согласился Тынурист.— Проблема одна из сложнейших в нашем бурном мире. Она и мне не дает покоя. Да, единственный путь аграрного развития — индустриализация, концентрация, специализация. Но на этом пути человек неизбежно отчуждается от природы. Все меньше остается исконных, естественных, душевных связей между крестьянином и миром живого. Да, корова, свинья, курица теряют свою «индивидуальность», превращаясь в биомашину. Это необходимо, если мы хотим продовольственного изобилия. Однако нужно видеть и обратную сторону медали, понимать не только неотвратимость, но и диалектическую противоречивость процесса. Мало того что понимать — действовать. Искать новые формы таких связей, оптимальных для эпохи НТР. Не только потому, что это важно для производства, ибо живой организм всегда останется живым организмом, в нем тысяча биологических тонкостей и тайн; и скажу вам по секрету — какого бы всемогущества мы ни достигли, а маленьких розовых поросат нам придется получать древним как мир способом... Повторяю: не только во имя производства надо искать формы гармонии с живым — но прежде всего во имя самого человека.

— Значит, крестьянин, став специалистом индустриального типа, должен все-таки душою и сердцем оставаться крестьянином? А не напоминает ли это квадратуру круга?

— Убежден: нет!

— Но как же сберечь в душе современного, все глубже урбанизирующегося человека чувство родства с живым?

Тынурист отвечал, что изрекать готовые рецепты — штука бесплодная. Он знает одно: проблема многообразна, ее быстро не решить, даже «навалившись всем миром». Но внести лепту обязаны все мы вместе и каждый из нас — и те, кто прикосновенен к сфере воспитания, и к сфере производства, и к сфере науки... Драгоценное людское свойство — доброта и гуманность — начинается с чуткости к «братьям нашим меньшим». Сохранение гармонического метаболизма «человек — природа» в сельском хозяйстве — лишь часть злободневнейшей глобальной проблемы «цивилизация — биосфера». Проблемы самого существования человечества на Земле. Но — не только на земле, да простится ему игра слов... Есть одна мысль — он возвращается к ней все чаще и настойчивей... Покуда это скорее вопрос, чем даже подход к какому ответу — одному из множества, по-видимому, возможных. Так сказать, первое приближение к первому приближению... Что, если эзегическая грусть об исчезающих «личных» связях индивидуума с животным — своего рода реликт, как и сами эти связи? Быть может, современный человек, с его усложнившимся интеллектуальным и эмоциональным миром, нуждается теперь в качественно иных — неизмеримо более общих, генеральных — связях с миром природы в целом? Человечество как популяция — часть природы. Не настал ли срок каждому и всем не только осознать, но всем существом — в том числе подсознательно — впитать эту слитность? Не на этой ли тропе ждет нас «лампа Аладдина»?..

Эдгар Тынурист не из тех, кто пробавляется — пусть оригинальными, но одними лишь теоретическими — рассуждениями. Он — страстный деятель на ниве рационального, научного и одновременно поэтического контакта нашего общества с окружающей средой. Кроме работы по государственной линии, он возглавляет республиканское Общество охраны природы. По его, Тынуриста, идее возник первый в СССР национальный парк «Лахемаа» — остров нетронутой природы, необходимый людям и как образец, и как напоминание, и как урок. Замечу, что вообще охрана природы поставлена в Эстонии весьма серьезно.

Как-то попав в лес на исходе лета, я удивился: половодье черники, брусники — а никто не собирает! Ларчик мне отомкнули просто: в республике действуют строгие



правила сбора грибов и ягод. Все ждут газетной публикации: министерство лесного хозяйства и охраны природы разрешает с такого-то числа собирать такие-то ягоды, а с такого-то — такие-то, грибы — тогда-то... Вот после этого, в соответствующие сроки, и начинается массовое паломничество за дарами леса...

## 5

«Есть и еще один путь сближения с селом. Тюри...В местном отделении Эстсельхозтехники работает летом до 1200 человек. Что же такое Тюри — город или село? Юридически — город. Но в объединении трудятся земледельцы, иначе их не назовешь. Потому что все, что они делают, они делают для села».

*Из дикторского текста к фильму.*

— Помните,—спросил Тынурист,—мы говорили, что превращение мужика в специалиста — главное, что сближает село с городом? Главное — но не единственное. Оно влечет за собой многое другое. Исторический процесс — постепенное снятие различий меж городом и деревней — углубляется. Оптимизировать этот процесс поможет, по нашей мысли, интеграция сил. Вижу, вам не ясно.

— Пока не очень.

— Вы, кажется, бывали в совхозе «Винни»? Видели там Дворец культуры? Спортивный комплекс? Бассейн?

— А как же!

— Ну и как они вам?

— Великолепно! Архитектура, оборудование — любой город позавидует.

— Вот именно: позавидует. А двери для вас отпирали специально.

— Откуда вы знаете?..

— Там почти всегда замок. Посудите, откуда в «Винни» взять столько народу, чтоб залы были заполнены? Любителей плавания там вообще раз, два — и обчелся. По-моему, строить такие большие сооружения для трехсот — четырехсот жителей — помпа, показуха, директорский «памятник себе». Своеобразный феномен: коллективное «престижное потребление». А под боком, в нескольких километрах, город Раквере. Двенадцать тысяч жителей, и ни бассейна там нет, ни Дворца культуры, один-единственный на весь город кинотеатр. В Эстонии от районных центров до деревень — два-три десятка километров по отличным дорогам, ни к чему каждому хозяйству швырять деньги на собственные крупные общественные центры. Где же им быть, центрам? Вот сейчас — про это. Вы ведь поняли: «Винни» — затравка. А стратегическая концепция наша такова.

Начну с села. Стиль быта, уровень комфорта во множестве эстонских деревень не отличишь от городского. Но это вовсе не значит, что проблема современного жилья для крестьянина снята. Напротив. Дело в том, что многие крестьяне хотят оставаться на хуторах, в старых семейных гнездах. Что ж, это их право. Но мы считаем необходимым реконструировать такие хутора. Построить и там комфортабельные красивые коттеджи. Как создается арсенал разнообразных — в том числе и по цене — проектов, как убеждают хуторян отказаться на перестройку и как она, эта перестройка, происходит — особая тема. Я — о строителях. Возводит жилые дома, как и производственные, общественные здания на селе, Эстмежколхозстрой, объединение, в котором скооперировали свои средства и силы все хозяйства республики. Строит добротно, красиво, элегантно. У наших сельских строителей завидная репутация. Но...

И собеседник рассказал, что живет объединение в условиях отнюдь не идеальных. Сложно со снабжением стройматериалами: в республике нет своего министерства сельского строительства — какой смысл создавать в маленькой Эстонии сорок первое министерство?! Но из-за этого сельские строители «беспризорные»: союзно-республиканское министерство фондов им не выделяет: мол, выделять-то некому. И тем не менее Эстмежколхозстрой осваивает солидные капиталовложения.

Потом Тынурист несколькими штрихами набросал картину сегодняшней культурной ситуации на селе. Интерес к книге, театру, кино растет, как и по всему Союзу. Хоровые традиции Эстонии известны. По подписке на периодику Эстония (в расчете на душу) на первом месте в мире. Развита сельский спорт. В собственности крестьян множество автомашин и мотоциклов, у колхозов и совхозов — свои автобусы. Так что коллективные и индивидуальные выезды в театр, на концерт — обычное дело.

— Так вот, чтобы вы поняли нашу идею, возьмем тот же Тюри. Современный городок. Но функция его как города ограничивалась административными «обязанностями». С созданием мощного отделения Эстсельхозтехники она кристаллизовалась — Тюри стал естественным экономическим центром притяжения для группы хозяйств района. Почему же не развить функцию Тюри дальше? Именно здесь открыты крупные, современные средние школы, недельные детсады и ясли для соседних сел. Нет никакого смысла держать в каждой деревушке карликовые детские учреждения. Здесь же возникает центр многообразного сервиса, универсам, уютные кафе, рестораны, широкоэкран-

ные или широкоформатные кинотеатры, театр — рассчитанные на жителей всего «куста». Город и село окажутся связанными в крепкую и органическую социальную систему. А поселков и городков в Эстонии — россышь. Вот и создать на каждые четыре, пять, шесть, семь колхозов и совхозов такой вот центр, такой «узел». Скооперировать средства хозяйств в единый фонд, а не расплять, не тратить их кто во что горазд. В наших конкретных условиях концентрация сел вокруг городов — мощный толчок к ускоренному сближению города и деревни. К интегрированному решению проблем не только села, но и города.

Да, именно так! Сближение потому и сближение, что это процесс встречный, обоюдный, в котором город благотворно — в социальном и культурном смысле — воздействует на село, но и село — на город. Маленькие городки обретут смысл существования. Не секрет, что многие из них нынче хиреют, умирают, утратив свой былой статус торгового, ремесленного, транспортного центра. Жителям, особенно молодым, не к чему приложить там свои силы. Иногда такие городки реанимируют, открывая там какое-нибудь производство. Но, во-первых, это не всегда возможно. А во-вторых, «моноиндустриальное» развитие городка тоже не лучший выход — разве это дело, чтобы население чуть не поголовно выпускало запчасти для экскаваторов, к примеру? У людей должен быть выбор занятий, профессий — одно из главных условий, дающих каждому реальную возможность искать и найти свое место под звездами. И в городе — социальном центре сельского «узла» — такой выбор будет.

Городскую жизнь не стоит идеализировать, в ней немало минусов: нервные перегрузки, стрессы, загрязненный воздух, оторванность от природы. «Диффузия» города и села, быть может, смягчит эти минусы, поможет горожанам приблизиться к «серебряной», если не «золотой», середине условий и стиля жизни. Заметьте, в недавнем прошлом многие уходили из села в поисках городской жизни, городского бытового комфорта. А добившись этого комфорта, привыкнув к нему, немало людей ощутило тягу назад — из «Черемухек» к черемухе, к земле, к живой природе. Потому что человеку если верно, что он «мыслящий тростник», свойственно, достигнув чего-то, задуматься: что же дальше? Тем паче деревня-то в Эстонии, да и в некоторых иных районах Союза, стала комфортабельной по городским стандартам. Об этом стоит, ей-богу, поразмышлять...

Да, благодаря упорному труду советского народа, всех союзных республик, руководимых Коммунистической партией, наступил этап, когда мы начинаем ощущать многообразные социальные преимущества крупного, индустриального, специализированного сельскохозяйственного производства. Техническая база, возросшие производительность труда, профессиональный и общекультурный уровень крестьянства позволяют заветные наши мечты превратить в трезвую реальность. Такой реальностью становится и сближение города с деревней, ликвидация вековой их противоположности, это — одна из опор социалистического образа жизни.

...Прощаясь, я заметил на столе Эдгара Тынуриста свеженький, только-только из типографии том. На переплете значилось: «О путях индустриализации сельского хозяйства Эстонии». В основе книги — диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Не торопясь, Тынурист готовится к защите.



# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МЭЛОР СТУРУА



## ОБИТЕЛЬ КАЛИПСО

ЗДРАВСТВУЙ, ГОЦО!

**П**енелопа, Пенелопа, не суди так строго Одиссея!  
...Из глубин Средиземного моря появился солнечный заливок. Вода была сияющая-сияющая, как школьные чернила, и, как школьные чернила, чистая и невинная. Лишь у самых скалистых обрывов она принимала красноватый оттенок благодаря коралловым рифам. Рифы придавали всему побережью вид не то пораженных цингой десен гигантского доисторического животного, не то изгрызенного арбузного ломтя гомерических размеров.

Причал носил такое русское название, что, казалось, стоишь не у Средиземного моря, а у пушкинского лукоморья. Вот только вместо степенных зеленых дубов торчали задиристые кактусы. Да и котов ученых не было видно. Вместо них вокруг кактусов резвились козлята-несмысленши. Причал назывался Марфа, и его карусельная пестрота вертелась перед глазами сарафанами мальвинских баб.

Остров Гоцо был виден с Марфы невооруженным глазом. Всего около четырех миль отделяют его от Мальты. Я стоял у причала в ожидании парома. Он уже подходил к берегу и дрожал от нетерпения пассажиров, сгрудившихся на палубе. Не успели спустить трап, как люди бросились сломя голову на берег и стали брать штурмом разноцветные автобусы, стоявшие в ожидании почти у самой воды.

— Торопятся на экспресс,— пояснил наш водитель.

— На экспресс? — переспросил я.

— Ну да. Вот эти красные пересекают Мальту без остановки.

— Джо, на кой черт сдались вам экспрессы? Пересечь остров из конца в конец можно за двадцать минут, не так ли?

— Работа, работа,— улыбается водитель и вертит в руках форменную фуражку с белым околышем.

Конечно, я могу сказать ему, что работа не волк, в лес не убежит. Но я не говорю этого, ибо, во-первых, на Мальте нет волков, во-вторых, нет лесов и, в-третьих, что самое важное, нет работы для всех. Да, Джо меня не поймет, а если и поймет, то, несомненно, осудит за легкомыслие. Поэтому мы молча наблюдаем, как гоцотяне — так я решил называть вопреки грамматике жителей острова Гоцо — штурмуют красные автобусы-экспрессы, развивающие неслыханную для мальтийских масштабов скорость в тридцать, а иногда и в сорок километров в час.

Наконец автобусы, набитые до отказа людьми, чемоданами и корзинами, трогаются с места. Причал пустеет, и мы можем идти к парома. С Мальты на Гоцо едет куда меньше людей. Несколько туристов. По-моцартовски ясный немецкий язык выдает в них австрийцев. Два священника. Они, словно в ссоре, повернули друг к другу спины и уткнулись в свои третики. Это пассажиры первого класса. Хотя «первоклассные» билеты стоят всего полтора шиллинга, рыбаки и прочий рабочий люд сгрудились на палубе второго класса и в грязном баре парома. Они расправляются с прихваченным из дому завтраком, запивая его подозрительным кофе, солоноватым на вкус и даже на запах. Некоторые развлекаются тем, что бросают хлебную мя-

коть в воду и наблюдают, как мириады маленьких рыбешек набрасываются на нее и в мгновение ока уничтожают. Вода прозрачна, как стекло, и жизнь подводного мира видна с палубы как на ладони.

У паром громкое и гордое название — «Императорский орел». И имя у капитана громкое и гордое, как медь божественной латыни — Публиус Чэклуна. Но паром — древнее, облупившееся корыто с боками, вздутыми, как у таксы. Да и по морю синему бежит он, как такса, неуклюже переваливаясь с боку на бок. Публиус Чэклуна одет в старый китель, мешковатый, прохудившийся и засаленный, в особенности на лацканах. Дерзкая короткая трубка, которую он зажал в зубах, явно пасует перед добротой его глаз. «Я в глазах твоих увидел море», — сказал как-то поэт. В глазах Публиуса Чэклуны нечто иное: мягкий блеск домашнего очага. А промеж глаз утомленным якорем свисает нос.

Мы стоим с Публиусом Чэклуной на капитанском мостике. К штурвалу, у которого сейчас скучает молодой парень с тропической шевелюрой и босыми ногами, могучими, как палица неандертальского человека, прикреплены две цветные фотографии. На одной изображена богородица, на другой семейство. Не святое, а капитанское. На стене еще одна фотография, засиженная мухами и явно довоенного происхождения. На ней некто с фатовато подстриженными усиками и сверхгармонично развитыми бицепсами демонстрирует гамму применения спасательного пояса в чрезвычайной ситуации. (Слава богу, между Мальтой и Гоцо всего четыре мили воды, синей, как ученические чернила, и мирной, как борозда, проложенная землепашцем. А то ведь не каждому дано иметь такие усики и бицепсы, как у дяди на фотографии, не говоря уж о спасательных поясах, наличие которых на пароме мне так и не удалось обнаружить.)

Солнце окончательно высвободилось из объятий Средиземного моря и, не спросив номерка, повисло на вешалке облаков, пригнанных всплесками сирокко с Арабского Востока. Начало припекать.

— По-моему, вы первые русские, которых я везу на Гоцо, — задумчиво говорит капитан Чэклуна.

— А сколько лет вы здесь плаваете?

Слово «плаваете» явно льстит самолюбию капитана.

— Вот уже около тридцати лет курсирую между Мальтой и Гоцо. Вы не судите столь строго «Императорского орла». Когда-то и он был красавцем. На нем совершались увеселительные прогулки.

— Здесь?

— Нет, не здесь, а в Англии. Он ходил по Темзе.

Некоторое время мы молча наблюдаем за тем, как «Императорский орел» лениво раздвигает волны. Парень с тропической шевелюрой совершает какие-то маневры. Видимо, готовится к швартовке. До Мгарра, небольшой гоцотянской бухточки, уже рукой подать.

— Вы не везете с собой, случайно, охотничьего ружья или силков, собаки или хорька? — неожиданно спрашивает капитан.

— Нет. Со мной только записные книжки и шариковые ручки. А что?

— Да это я просто так, в шутку. Дело в том, что еще во времена мальтийских рыцарей был издан эдикт, запрещающий на Гоцо охоту на зверей и птиц. Нарушителей ждали галеры, если они были простолюдинами, и штраф в сорок унций золота, если они были духовного звания или благородного происхождения.

— А эдикт этот сейчас отменен?

— Возможно, отменен, а возможно, и нет. Кто знает.

— Капитан, я вас на всякий случай предупреждаю, что в моем лице вы везете на Гоцо охотника исключительно за новостями. Что сказано на этот счет в эдиктах мальтийских рыцарей?

— А это уже зависит от новостей. — Капитан многозначительно усмехается.

Перед посадкой на паром водитель, коренной мальтиец, ревниво наставлял меня:

— Смотрите не влюбляйтесь в Гоцо, как Одиссей, и поскорее возвращайтесь на Мальту. Мальта все-таки красивее.

— Если встречу Калипсо, то не обещаю, Джо. А если нет, то там видно будет.

Опасения водителя имели все основания. Уже Мгарр — морские ворота Гоцо — пленял своей красотой, не дикой, а древней, библейской и даже добиблейской. То была красота не юного Адониса, а убеленного сединами Соломона, красота пантеистической мудрости. Прямо на мостовой сидели женщины. Они набивали матрацы соломой и сухими водорослями. Люди спят на них, как на морских волнах, видят сны, похожие на сказки о Синдбаде-мореходе, и просыпаются, чтобы вновь уйти в море, на сей раз наяву...

Вся бухта была забита разноцветными лодками, у которых нос и корма загибались подобно чувякам персидских модниц. На каждой лодке у самого носа по обе его стороны были пририсованы глаза. Это «глаза Осириса», защищающие рыбаков от злых духов и притягивающие косяки рыбы в сети.

Ноябрь — конец сезона. Разноцветные лодки болтались без дела на привязи, окружая островок гигантским ожерельем. А рыбаки сидели перед баром под вывеской «Вид на море»; тянули пиво вместо сетей, лениво переговаривались между собой, иногда пели вполголоса или просто дремали, повернув свои смуглые дубленые лица к солнцу, которое уже приближалось к зениту.

Гоцо — второй по величине остров из тех, что составляют государство Мальту. Второй по величине... Эти слова звучат довольно громко для Гоцо, клочка суши в двадцать шесть квадратных миль, на котором живут 26 тысяч человек. Но недаром говорится — мал золотник, да дорог. И недаром именно этот клочок суши облюбовал для своего героя слепой Гомер — самый великий из рапсодов. Когда Одиссей возвращался с Троянской войны, его корабль потерпел крушение перед островом Гоцо, или островом Калипсо, как его называли древние греки. Выброшенный на берег герой оказался в плену у чаровницы Калипсо, дочери титана Атласа, державшего на своих плечах небосвод. Многие годы провел в пещерах нимфы Калипсо Одиссей. Красавица обещала ему бессмертие, если он женится на ней. Искушение было велико. Встревоженный Зевс-громовец послал на остров Гермеса, чтобы он уприсил Калипсо освободить от своих чар Одиссея. Лишь через семь лет тот покинул остров и вернулся к своей преданной жене Пенелопе...

Я стою на возвышенности у самого входа в пещеры Калипсо, уходящие разветвленным лабиринтом вниз, к морю. Там они образуют нерукотворный грот, украшенный кружевами сталактитов и сталагмитов. По ту сторону моря видна Сицилия, видны контуры неукротимой Этны. Надо мной высокое чистое небо. Оно ничуть не изменилось со времен Гомера, и его по-прежнему держит на своих могучих плечах старина Атлас. Внизу расстилается Рамла-бей — Песчаный залив, — равного которому по красоте не сыщешь на всем земном шаре. Берег — сплошной золотой песок, резко переходящий в змаль моря. На берегу ни души. Только одинокая статуя матери божьей, тяжело задумавшейся в христианской отрешенности посреди этого языческого великолепия.

Пенелопа, Пенелопа, не суди так строго Одиссея!

Здесь можно застрять не на семь лет, а на всю жизнь даже без нимфы Калипсо. Вот они, воспетые Гомером роскошные ольховые рощи, черные тополя и ароматные кипарисы. Вот они, сильные виноградные лозы, изящно прогнувшиеся под тяжестью спелых гроздей. Вот они, нежные луга, пскрытые кудрявой петрушкой и фиалками, на которых замедляли шаг даже бессмертные боги, чтобы их сердце наполнилось красотой и благодарностью. Только не бьют фонтаны прозрачной воды и не жуют диковинные птицы, описанные Гомером (видимо, поздно спохватились мальтийские рыцари, введя эдикты против охотников-птицеловов).

Золотым песком Рамла-бея посыпаны страницы летописи Гоцо. Не всегда этот песок впитывал благоухание моря и воздуха. Часто он пропитывался слезами и кровью, пороком и елеем. Здесь устраивали кровавые бани римляне, а затем заставляли покоренных строить серные бани для себя. Их развалины были обнаружены при раскопках курганов, обступивших Рамла-бей гигантским хороводом. Здесь воздвигали свои кельи предводительствуемые святым Россинианом христиане, изгнанные вандалами из Африки. Здесь молились богу августинские отцы и аллаху — берберийские корсары. Отсюда вламывались на Мальту полчища турецкого султана. Напоминанием об этом служат развалины фагоззы. Так назывался длинный туннель, проложенный

мальтийскими рыцарями в скалах, нависших над Рамла-беом. Туннель был набит порохом и каменными глыбами. Когда турецкие корабли причаливали к берегу, фагоззу взрывали, и глыбы скал обрушивались на незваных пришельцев. В последний раз гоцотянская земля возмущалась под бомбами воздушных армад Геринга. Об этом напоминает опирающаяся на коралловый известняк скульптура Карло Пизи, поставленная жертвам второй мировой войны в городском парке...

### ХЛЕБ, ВОДА И ХРИСТОС

Гоцо — житница Мальты. Не надо быть специалистом-агрономом, чтобы догадаться об этом. Вполне достаточно элементарной наблюдательности. В данном случае так называемый поверхностный взгляд оказывается наиболее верным. С птичьего полета Мальта предстает перед вашими глазами в виде гигантской детской площадки с обязательным загончиком для игры в песок и сваленными кучей кубиками из чуть рыжеватого известняка. Лишь изредка высвечиваются между ними пятна полей и садов, словно крапинки зелени на ушибленных коленях и локтях обитателей обычной детской площадки.

Иное дело Гоцо, обитель Калипсо. Здесь возделан буквально каждый квадратный фут земли. Узенькая дорога петляет между разузоренными коврами огородов, садов, полей и лугов. Гоцотянские помидоры будят воспоминания о крыловском огурце, и, как утверждают, ни один лондонский шеф-повар не способен при помощи набора своих химизированных паст воспроизвести их аромат. Здесь возделывают картофель, который, прошу не удивляться, считается деликатесом и важной экспортной статьей, лук, чеснок, капусту, цветную капусту, хлопок. На склонах холмов разбиты виноградники. Передают друг другу эстафету лимоновые и апельсиновые рощи, яблоневые, абрикосовые, грушевые и сливовые сады. На обочинах проселочных дорог то и дело попадаются фиговые и оливковые деревья, словно земное изобилие выслало их вам навстречу в качестве почетного караула.

Этот зеленый ералаш выдыхается лишь у самого побережья, где песчаные пляжи чередуются с искусно выложенными каменными квадратами, в которых из морской влаги выпаривают соль. Гоцо, обрамленный этими белыми квадратиками, напоминает сверху наше московское такси, только вот выкрашенное в необычный зеленый цвет.

Такая резкая разница между Мальтой и Гоцо объясняется строением их почвы. Ни на Мальте, ни на Гоцо нет ни рек, ни озер, ни каких-либо иных пресных водоемов. Люди живут тем, что им небо пошлет. Но глинистая почва Гоцо сохраняет драгоценную влагу лучше, чем мальтийские известняки. Отсюда и разница в сельскохозяйственной палитре островов.

Разная и сама вода. Недалеко от церкви Санта Лючия бьет фонтан, носящий имя Абдул. Абдул был предводителем сарацин. Совершив однажды набег на Гоцо, он отстал от своего отряда, заблудился и попал в плен к местным крестьянам. Они решили приговорить незваного гостя к смерти, умертвив его жаждой. Сидя в заточении, отчаявшийся Абдул стал рыть руками и осколком глиняной чаши земляной пол своей темницы и добрался до источника. Потеряв от радости рассудок, он напился сверх меры и умер. Такова легенда.

Мне, откровенно говоря, вполне понятна жадность несчастного Абдула. После недельного пребывания на Мальте я ужасно стосковался по простой воде, обыкновенному чаю, столовому вину. Пить их на Мальте человеку непривычному довольно трудно. Все отдает привкусом соли. Никакие опреснительные чудеса не помогают. А небесная влага при первом же соприкосновении с грешной землей так и просит соляного налога. Вот почему, приехав на Гоцо, я, презрев все местные деликатесы, в первую очередь приналег на воду. Хорошо еще, что местные друзья предупредили меня, рассказав о зловключениях Абдула.

Вода позволит гоцотянам заниматься и животноводством. Библейское разделение коров на тучных и тощих, по-моему, ведет свое начало с Мальты и Гоцо. Мальтийские коровы — тощие, гоцотянские — тучные. На Мальте лошадей можно встретить лишь запряженными в старомодные брички. На них богатые туристы соверша-

ют ритуальную прогулку от фешенебельных отелей до фешенебельных казино. На Гоцо лошади, мулы, ослы не роскошь, а средство передвижения. У каждой мазанки на вделанном в стену железном кольце покорно топчутся разнообразные представители семейства длинноухих, тоскливо взирающие на прислоненные к плетням вверх оглоблями двуколки, напоминающие головы гигантских улиток, высунувшиеся из раковин. На окрестных холмах рассыпались морскими волнами стада овец и коз, а в загонах трутся друг о друга свиньи. Недалеко от пещер Калипсо, в пещерах Тал-Микета, бьет еще один источник, от воды которого, согласно преданию, животные становятся особенно тучными.

Да, вода на Гоцо чудесная. Она спасение острова, ибо дает жизнь его земле. В противном случае он стал бы необитаемым. И тем не менее эта угроза по-прежнему висит над Гоцо словно фазозза, но только начиненная не порохом, а еще более опасной взрывчаткой — безработицей и следующей за ней по пятам нищеты.

Но прежде чем говорить о хлебе, поговорим о Христе. Мальта — суровая католическая страна, по сравнению с которой даже Сицилия может показаться вольнодумной. Однако для гототян мальтийцы почти еретики, зараженные пороками цивилизации, занесенными с большой земли. Принято считать, что в религиозном плане Мальта соотносится с Гоцо, как Англия с Ирландией. Пожалуй, это сравнение верно с той лишь существенной поправкой, что протестантская Англия далеко не отличается благочестием католической Мальты.

Над островом Гоцо господствует конусообразный холм, носящий название Мерцуг. На самой вершине холма установлена гигантская многометровая статуя Христа, которая видна с любой точки острова. Когда-то на ее месте стоял деревянный крест, затем его сменила каменная фигура, и, наконец, несколько лет назад здесь воздвигли статую из бетона. Утверждают, что Мерцуг — потухший вулкан. Возможно. Но вот католичество — это вулкан действующий. Оно доминирует над жизнью гототян, как статуя Христа над островом.

На двадцати шести квадратных милях островка расположены 44 церкви. На 26 тысяч гототян приходится около 200 священников, не считая семинаристов и других «рядовых» от духовенства. Улицы местных городов — ожившие святцы в переплетах изгородей и глинобитных стен. Так они и тянутся, перелистываются, изредка перекрещиваясь: улица Святой Анны, Святой Марии, Святой Терезы. Иногда названия усложняются, например улица Печалей Старой Женщины или улица Слез Молодой Вдовы. Гототянский год делится, по существу, не на двенадцать месяцев, а на пятнадцать фист — праздников, посвященных пятнадцати святым — хранителям острова.

Католическая религия имеет на Гоцо многовековые корни, восходящие к апостолу Павлу, посетившему остров на пути в Сицилию из Мальты, у берегов которой его судно потерпело кораблекрушение, стоившее ей обращения в веру Христову. На Гоцо находилась резиденция великого инквизитора Мальты. Здесь свивали себе гнезда всевозможные монашеские ордена — францисканцы, августинцы, капуцины и, конечно, иезуиты. Последние появились на острове после того, как они были изгнаны из Сицилии отрядами Гарибальди. Именно они основали на Гоцо духовную семинарию, где у меня произошел весьма любопытный разговор с отцом Томасом Курми, секретарем епископа Гоцо Николаса Кауки.

Кауки — епископ новый и молодой. Он возведен в свой высокий сан сравнительно недавно, а лет ему всего тридцать девять. У епископа открытое, приветливое лицо, и когда он надевает очки, становится удивительно похожим на Пьера Безухова, каким я его представлял до Сергея Бондарчука. Есть, правда, на Гоцо еще один епископ — престарелый прелат, который вдвое старше Кауки. Ему восемьдесят два года, и выполнять свои обязанности он уже не в состоянии. Однако и уходить в отставку не собирается. Вот и пришлось назначить еще одного епископа.

Я не знаю, каковы личные отношения между молодым и старым. Да это не столь уж и важно. Но их сосуществование на Гоцо — живое и драматическое олицетворение многовековой истории острова, в которой перемешались мрак подземелий и свет куполов. Более того, здесь, на этом клочке суши, затерявшемся в Средиземноморье, вы можете стать свидетелем весьма своеобразных отголосков бурь, которые бушуют и в покоях Ватикана и во всем католическом мире, вынужденном приот-

крыть врата своих соборов под напором ветров современности. Эти отголоски на Гоцо тем более сильны, что семинария имеет свой собственный дом в Риме. В нем живут наиболее талантливые ученики, продолжающие свое образование в Вечном городе.

Опуская подробности местного колорита и, естественно, тем самым несколько упрощая сложную палитру, или, если угодно, гамму, разницу между старым и молодым епископами можно охарактеризовать следующим образом: первый — католик больше, чем сам папа, второй рассудительно считает, что незачем лезть в пекло «упередь батьки». Первый обеспокоен подысканием места для собственного саркофага в кафедральном соборе Гоцо, второго больше заботит укрепление епископского трона, находящегося в этом же соборе. (Здесь когда-то финикийцами был воздвигнут храм в честь богини Аштарот, а затем римлянами в честь богини Юноны. Все течет, все меняется.)

Молодой епископ не имеет права забывать о том, что живет во второй половине XX века, что ему еще нет сорока, а править придется, быть может, до начала третьего тысячелетия от рождения Христова. Задача, прямо скажем, не из легких. Во всяком случае, посложнее, чем подыскание места для собственного саркофага.

Я позволил себе это отступление неспроста. Без него нашему читателю трудно будет представить себе хотя бы приблизительно, какое важное значение имело для молодого епископа Гоцо решение дать аудиенцию первому советскому послу на Мальте, который в те дни совершал поездку по острову. Уже сам факт пребывания на Гоцо безбожников-коммунистов, да еще к тому же из Советской России, был событием из ряда вон выходящим. А об их встрече с главой местных католиков на территории духовной семинарии, основанной иезуитами, изгнанными сто с лишним лет назад с Сицилии революционными отрядами Гарибальди, и говорить не приходится.

— Еще несколько лет назад нам такое и во сне не приснилось бы,— чистосердечно и непосредственно признается секретарь епископа, встречая нас у калитки, ведущей в семинарский дворик, похожий на рындынские декорации к балету Прокофьева «Ромео и Джульетта» в Большом театре.

Откровенно говоря, несколько лет назад не снилось такое и нам, безбожникам. Предводительствующие отцом Томасом, могучим, раблезианского склада священником с густым румянцем во всю упитанную щеку, мы пересекли дворик, сопровождаемые испытующими взглядами семинаристов, которые, сгорая от любопытства, вылезли из всех щелей, чтобы поглазеть на дьяволов во плоти.

Епископ принял нас весьма радушно. Служка принес на подносе виски в маленьких рюмочках и сладкое печенье. Католики и безбожники с равным удовольствием опрокинули божественно греховную жидкость, крикнули, как полагается, и беседа началась. На мою долю достался секретарь епископа отец Томас.

— Ну, как вы нашли наш остров? — спросил он меня.

— Восхитительно! Чудесно! — ответил я, добавив к этому еще несколько восклицательных знаков.

— Ну а наш народ?

— Приветливый, гостеприимный... — начал было я перечислять его достоинства, но отец Томас неожиданно прервал меня:

— Наш остров очень бедный, и жители его очень бедные люди.

Не скрою, меня удивило, что он взял быка прямо за рога, опустив приличествующую в подобных случаях увертюру вежливости. Впрочем, тем лучше, подумал я. А отец Томас продолжал:

— Конечно, гоцотянин не голодает. Земля кормит его. Но полный желудок еще не означает полный карман. У гоцотянина нет денег, и он не может позволить себе роскоши покупать даже предметы первой необходимости. А нет денег потому, что нет работы. У нас на острове нет по сути дела никакой промышленности. Отсюда эмиграция. Вы обратили внимание, как много на Гоцо пожилых людей? И это при том, учтите, что около двадцати процентов семей имеют десять детей и больше. (Католическая вера запрещает делать аборт и применять противозачаточные средства.)

— В чем же вы видите выход?

— Наше единственное спасение — туризм.



— Но разве церковь не видит тех опасностей, которые влечет за собой массовый туризм? Ведь для этого вам придется открыть на Гоцо игорные дома, ночные клубы, стриптиз наконец! Готовы ли вы пойти на это?

— Да, готовы,— последовал быстрый ответ. По-видимому, он был давно уже выношен.

— Но ведь это может подорвать моральные устои веры!

— Казино, ночные клубы и стриптиз будут лишь для туристов. Гоцотяне достаточно хорошо иммунизированы от подобных соблазнов.

— У нас говорят, что дай черту палец — он всю руку отхватит.

— Да, конечно, с дьяволом шутки плохи. Но, с другой стороны, без пальца и даже без руки прожить еще можно, а вот без работы никак нельзя. Вы, наверное, видели, как на нашем побережье добывают соль. Если бы мы вместо этих соляных кубиков построили отели, то было бы куда лучше.

— Пицца без соли, отец, в горло не лезет

— Да, но соль без пиццы — это чистая мука, орудие пытки.

Я не стал спорить с преподобным отцом Томасом. По этой части католики, воспитанные в иезуитских семинариях, большие доки.

### РАЗГОВОР В «ПИРАТСКОМ ЛОГОВЕ»

В полудне ходьбы от Викторини, столицы Гоцо, которую жители острова предпочитают называть по старинке Работом, находится очаровательная бухточка Марсалфорн. Дорога к ней петляет через сады, в которых утопают церкви капуцинских монахов и развалины старого крепостного вала. В начале XVIII века правивший тогда на Мальте великий магистр принц Филипп де Вендозм повелел протянуть под водой несколько ниже ее поверхности огромную чугунную цепь и закрепить ее на скалах по обе стороны входа в бухту. Это было сделано в целях предотвращения внезапного ночного нападения на остров кораблей султанского флота. Сейчас от той цепи остался один лишь звон воспоминаний. Нынешние повелители Гоцо протянули вдоль Марсалфорна иную незримую цепь, не чугунную, а магнитную, чтобы не отпугивать, а притягивать иноверцев. На берегу бухты построено четыре отеля. Ради них пришлось потесниться даже церквам. Здесь находят знаменательным тот факт, что наиболее значительный отель, носящий название бухты «Марсалфорн», возведен как раз на том самом месте, где стоял небольшой храм, в котором имел обыкновение молиться апостол Павел (согласно преданию, он высадился на Гоцо именно со стороны этой волшебной бухты).

После беседы с отцом Томасом это совпадение не столько удивило меня, сколько укрепило в мысли о том, что у местного духовенства слова не расходятся с делом, когда они утверждают, что готовы пустить в храм туристов, если только это облегчит жизнь местного населения. Туристы, если не считать валютных формальностей, не менялы. Таким образом, пуская их в храм, вы не нарушаете христианские заповеди. Да и времена сейчас уже не те. Легко было Христу изгонять менял из храма, ибо в его дни еще не знали бизнеса от развитого туризма, а проблемы эмиграции находились в надежных руках чудотворца Монсея.

Обычно на берегу Марсалфорна царит большое оживление. Но в эти ноябрьские дни сезон давно уже кончился и бухта была объята дремотным покоем. На синей воде мирно покачивались разноцветные рыбацкие шхуны, а сами труженики моря сидели тут же за стаканчиком дешевого местного вина в баре с грозным названием «Пиратское логово».

Я опустился на первую попавшуюся свободную скамью, но с таким расчетом, чтобы не оказаться одному за столом. Напротив меня сидели два пожилых рыбака с суровыми и одновременно безмятежными лицами. Это странное сочетание не может не броситься в глаза иностранцу, впервые попавшему на Гоцо. Объясняется оно очень просто: суровость — результат трудной жизни и забот, безмятежность — отражение исключительной душевности и, если угодно, своеобразной философской расщепленности гоцотянской природы.

Рыбаки курили и молчали. Изредка отпивали глоток вина прозрачного светло-кисливого цвета. Аляповатая этикетка на бутылке была снабжена двустушием: «Прекрасен мир, когда смотришь на него сквозь вино». В иных условиях, в ином месте и на столе у иных людей этот незамысловатый перл вакхической поэзии и эпикурейской мудрости мог бы показаться пошлым, не иначе. Однако здесь, в бухте остановившегося времени, оцепеневшего моря и клюющих носом скал, заласканная могучими, изъеденными солью руками рыбаков, этикетка с двустушием выглядела простой констатацией факта, но сопричастной, если немного поразмыслить, к самым великим открытиям.

Для того чтобы найти повод для знакомства и завязать беседу, я спросил своих соседей по столу, какие местные блюда они посоветовали бы мне заказать. Рыбаки перекинулись несколькими фразами по-мальтийски, а затем один из них, по-видимому лучше владевший английским языком, сказал:

— Закажите гоцотянскую пиццу и дендичи. А вино возьмите наше.

Я еще не успел согласиться, а рыбаки уже позвали официанта и стали что-то объяснять ему.

Через некоторое время официант поставил передо мной типичные абхазские хачапури. Гоцотянскую специфику я обнаружил лишь в том, что в расплавленном сыре плавали черные изюминки. Блюдо под названием дендичи, звучавшее как фамилия какого-нибудь прославленного югославского форварда, оказалось местной рыбой, вкусной и нежной. Я, естественно, похвалил рыбу. Рыбаки в знак благодарности вежливо наклонили головы.

— Вам повезло, мистер. Сезон рыбной ловли на Гоцо на исходе. Эта дендичи из последнего улова.

— Чем же вы занимаетесь после того, как свертываете сети и ставите на прикол лодки?

— Пьем вино и думаем, хватит ли выручки до начала нового сезона,— улыбнулся рыбак, что помоложе. Ему было около пятидесяти лет.

Его старший товарищ, плохо говоривший по-английски, сказал:

— Мы не ставим лодки на прикол, мистер. Мы их вытаскиваем на сушу и укрываем в пещерах. Вы их, наверное, видели. Они повсюду на побережье. Их легко можно найти по выращенным в разные цвета деревянным воротам...

— Ну, какое дело мистеру до того, где и как мы сохраняем лодки в межсезонье? — перебил его «молодой».

— Есть дело, раз спрашивает,— возразил старик и важно отхлебнул вино.

Я поспешил уверить его, что дело и впрямь есть, а затем обратился ко второму рыбаку:

— И как, хватает?

— Пещер или выручки?

— Выручки.

Мы оба улыбнулись.

— Нет, конечно. Даже в самый удачный сезон. Одно море не может прокормить нас. Руки освобождаются, а приложить их некуда.

— Чепуха,— отозвался пожилой.— Мне, например, вполне хватает. Заходите ко мне в дом. И пицца всегда есть на столе и вино.

— А кроме пицци и вина? — не унимался «молодой». — Есть у тебя, скажем, радио или новые ботинки? Когда ты покупал своим детям в последний раз джинсы?

— Дети могут ходить и в домотканых штанах. И на кой черт мне сдалось твое радио? Если захочу послушать музыку, пойду к Сэмми. Ты вот жаден до денег, а до добра это не доводит. Такие, как ты, только и ждут, когда на Гоцо цементный завод построят. Ладно, допустим, бог на нас осерчает и завод построят. Пойдешь работать на него в межсезонье. Наскребешь мелочи на радио и ботинки. А дальше? Не будет у тебя ни пицци, ни вина, а главное, некому будет покупать твою дендичи.

— Почему это? — полюбопытствовал я.

— Насчет цементного завода старик прав,— сказал «молодой». — Если его построят, то всем нам крышка. Пропадет Гоцо. И сельское хозяйство подорвет и красоту испортит. Забудут дорогу к нам туристы.

— Тогда зачем вам этот цементный завод?

— Да это не нам, а им.— «Молодой» указал рукой в неопределенном направлении.

В дальнейшем я узнал, что «они» — это английская компания «Виккерс» и защищающие ее интересы четыре члена парламента от националистической партии. Последние шантажируют правительство всевозможными напастями, если оно откажет компании «Виккерс» в лицензии.

— Сейчас иные времена наступают,— продолжал «молодой».— Вы, конечно, слышали легенду о Калипсо и Одиссее. О ней во всех туристических проспектах написано...

— И у Гомера тоже,— совершенно серьезно вставил старик.

— И у Гомера. Так вот никакой Калипсо не под силу удержать наших детей на Гоцо. Только и ждут, когда им стукнет восемнадцать лет, чтобы эмигрировать в Австралию или Канаду. У меня, например, трое сыновей в Австралии. Дома четыре дочери остались. А что прикажете делать с ними? Кружева для туристов вяжут, а сами одеты как огородные пугала.

— Зато здоровые. Бога и семью почитают,— попытался утешить его пожилой.

— Так-то оно так, да жаль мне их. То кружева вяжут, то сети чинят, то свиной кормят. А захотят вот в кои веки в «Джиневру» сходить, ни платья у них подходящего нет, ни денег на это я им дать не могу.

— Упаси их господь от «Джиневры»!

— А что такое «Джиневра»?

— Бар у нас есть такой на Гоцо. В нем молодежь собирается. Сходите посмотрите. Думаю, вам будет любопытно и поучительно.

— Сущий ад,— отозвался старик.

Вино, хотя и легкое, уже начало действовать на него. Он блаженно жмурился, подставляя солнцу свое выразительное лицо все в морщинах, словно гоцотянский рельеф. Его могучая, изъеденная морской солью рука покоилась на длинной, как журавлиная шея, бутылке, закрывая алшоватую этикетку с двустижием: «Прекрасен мир, когда смотришь на него сквозь вино»...

### НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КРЕСТЕ

Сэмми, о котором вскользь упомянул пожилой рыбак из «Пиратского логова», слепой певец. Ему давно минуло сто лет. Я даже не берусь утверждать с полной определенностью, жив он сейчас или нет. Но сравнительно недавно Сэмми чувствовал себя отлично и на вопрос, чего бы ему хотелось в этой жизни, неизменно отвечал: «Жениться еще разок напоследок».

Гоцотянский Гомер Сэмми Аттард в шерстяной шапочке и с распятием на груди любил собирать вокруг себя детвору на улицах Рабата и петь для нее народные песни. Он мог петь их одну за другой от восхода солнца и до захода, песни веселые и грустные, о ратных делах гоцотян и об их мирном труде, о далеком боге и о любви к ближнему. Пел Сэмми высоким тенором, аккомпанируя себе на инструменте, которого не знал Гомер,— он ударял гаечным ключом по спицам велосипедного колеса, извлекая из них необходимые ритмы, то тягучие, как медленно тающая тень развесистого дерева, то быстрые и внезапные, как удар кинжала.

Впрочем, с чего это я стал рассказывать о Сэмми в прошедшем времени? Быть может, он и поныне живет и здравствует, по-прежнему собирается жениться, по-прежнему колдует гаечным ключом на велосипедных спицах, выбивая этим самым ключом, о котором не имел ни малейшего представления Гомер, свою гоцотянскую морзянку — музыкальную азбуку для обступившей его детворы? А вот с чего. Подлинно народная музыка все реже звучит на Гоцо. Когда-то она наполняла остров, как шум морского прибоя — раковину. Знаменитый струнный оркестр «Гад-Дуди»<sup>1</sup>, где смычки передавались из поколения в поколение, шел из пригородов Санта-Лючия по Гоцо и как старый друг не стуча заходил в хижинь: к одним на свадьбу или день

<sup>1</sup> Так звали основателя оркестра, жившего в XVII веке.

рождения, чтобы повеселиться, к другим на похороны или поминки, чтобы разделить горе и утешить душевные раны. Выходил он из пригородов Санта-Лючии после захода солнца, когда труженик, воткнув мотыгу в землю, сложив сети, загнав скотину в хлев, мог отереть пот с лица и позволить себе наконец смеяться и плакать, радоваться и печалиться.

Ныне эта музыка только в дни фист — традиционных празднеств — полноправно расправляет крылья, трепещет где-то на грани религиозного экстаза и целомудрия первожданности. Но в будни она куда-то исчезает — в расщелины скал, в лабиринты пещер, в крепостные развалины — и сидит там, печально сложив крылья и закрыв глаза, как слепой рапсод Сэмми. А над Гоцо, над его холмами, покрытыми виноградниками, над сочными лугами, где пасутся библейские коровы и овцы, над куполами церквей и даже над самой многометровой бетонной статуей Христа, звучат иные песни, которые пахнут бензином и виски, сверкают никелем и неонем, задыхаются от выхлопных газов и психоанализа. Это транзисторы, сидящие, как жаждущие крови соколы, на руках молодежи; это музыкальные автоматы, похожие на обезумевших носорогов. Цивилизация еще не пустила корней в плодородной гоцотянской земле, но она уже завоевала эфир, опрокинутый над ней густым маревом.

Эта музыка как поводырь ведет вас прямо в «Джиневру», в «сущий ад», как вырился старик рыбак из «Пиратского логова». Бар, длинный и узкий, чем-то смахивает на пещеру. Вот только потолок и стены его украшены не сталактитами и сталагмитами, а фотографиями битлзов, Элвиса Пресли и других поющих пророков современной молодежи Запада. По телевизору передают какой-то фильм из Неаполя (благо дело до Сицилии рукой подать). Музыкальный автомат заглатывает с хрустом пластинки, выплевывая популярные мелодии. Парни и девушки (первые явно преобладают) одеты и причесаны с претензией на моду. Мне они напомнили почему-то персонажей из спектаклей некоторых наших театров юного зрителя, напичканных неудобоваримой моралью о вреде стиляжничества. В театрах это происходит от отсутствия вкуса и такта, здесь, в «Джиневре», — от отсутствия денег и товаров.

Посетители бара воздержанны в спиртном и невоздержанны в беседе. Большинство пьет американский подслащенный газированный напиток «7-ап» (седьмое чудо света на Гоцо) и обсуждает последние политические новости, спорт и, конечно, виды на будущее. Все они едины в одном — работу на Гоцо найти почти невозможно. Но вот по поводу эмиграции мнения разделяются.

— Здесь не разживешься. Состояние можно сколотить только в Австралии или Канаде, — говорит парень в ярко-красной рубашке с непомерно длинным воротником и в свитере, наброшенном на спину и завязанном рукавами узлом на шее, хотя на острове стоит жара в двадцать пять градусов, а в баре вообще дышать нечем.

— А ты почему знаешь? — спрашивает его молодой бармен с явной иронией в голосе. — Бывал, что ли, в тех краях?

— Я-то не был, но у нашего соседа сын два года провел в Австралии. Недавно домой вернулся. Двенадцать золотых зубов во рту! А ведь он всего два года отсутствовал.

— Был бы там четыре года, вернулся бы с двадцатью четырьмя золотыми зубами, — вслух подсчитывает бармен. Он улыбается своей шутке, обнажая белые, как гоцотянская соль, зубы.

Парень в красной рубашке соображает, что над ним потешаются, и поэтому «переходит на личности»:

— Ты обо всех по себе судишь. Был в Австралии, а вернулся с пустыми руками. Стоишь за стойкой с пяти утра до полуночи, а еще зубы скалишь.

— Вернулся с пустыми руками, говоришь? Ну что ж, зато в голове кое-какие мысли завелись. Я жизнь за океаном вот этими самыми пустыми руками пощупал. А в твоей голове она пенится и искрится, как «семь-ап». И сладкой издали кажется, как «семь-ап».

— А ты уцепился за своего святого Георгия и думаешь на нем в рай въехать!

В баре воцарилась тишина. Даже в «Джиневре», в этом «сущем аду», подобные слова звучат чудовищным кошунством. Ведь большинство парней и девушек, коротающих здесь долгие гоцотяские вечера, прихожане церкви святого Георгия и го-

молодому искренне верующие католики. Недаром рядом с битлами на стене висит фотография, изображающая деву Марию, а рядом с Элвисом Пресли, насилующим гитару, святой Георгий, поражающий дракона. И, словно венчая эту удивительную разномастную колоду, словно перебрасывая незримый мостик от средневековья к модерну, красуется в окружении джазовых и религиозных идолов распятие. Не простое, а электрическое. Его можно купить недалеко от церкви святого Георгия в магазине, открытом здесь одной канадской фирмой. Магазин торгует электрическими гитарами, электрическими крестами и свечами и прочими микрочудесами века атома и электричества. Подобные кресты и свечи можно встретить лишь в одной или двух гоцотянских церквях. Как мне объяснили местные священники, более широкое наступление цивилизации тормозится бедностью прихожан.

— Ты святого Георгия не поминай всуе,— прерывает парня в красной рубашке бармен. Улыбка внезапно исчезла с его лица, а вместе с ней и зубы, белье, как гоцотянская соль.— Когда наши предки собор в его честь возвели, в Австралии ничего, кроме аборигенов, не было. Да ты и про аборигенов, наверное, ничего не слышал.

Парень в красной рубашке и сам не рад, что ввязался в спор и сболтнул лишнее. Быть может, он слышал об аборигенах, но решает, что лучше промолчать и больше не задираться. Он отходит от стойки бара со стаканом «7-ап» в руках и делает вид, что интересуется происходящей на телеэкране погоней индейцев за поездом. Индейцы мчатся на необъезженных скакунах. Перья их головных уборов живописно развеваются на ветру. А из трубы паровоза валят клубы неестественно густого дыма. Свист гудков и томогавков, грохот колес и цокот копыт на мгновение заполняют «Джиневру».

Я бросаю на стойку полкроны. Бармен вытирает стойку полотенцем и по образовавшейся сухой борозде подталкивает в мою сторону сдачу в несколько медяков.

— Как пройти к церкви святого Георгия? — спрашиваю я бармена, делая вид, что не замечаю медяков.

Лицо парня вновь озаряется улыбкой. Он рад за своего святого, а не чаевым. Парень вытаскивает из заднего кармана брюк большой бумажник. Бумажник туго набит, но не деньгами, а фотографиями родственников в строгих национальных костюмах и кинозвезд в рискованных туалетах, святых и джазовых знаменитостей. Бармен с минуту роется в своей карманной картинной галерее и наконец вытаскивает из нее открытку с погасшим от долгого трения глянецом.

— Вот она, церковь святого Георгия. Возьмите ее на память о Гоцо. Она, правда, не первой свежести. Я ее с собой еще в Австралию возил. А церковь вы найдете без труда. Она стоит в конце сквера, с двумя башенками по бокам...

Нашел я ее и впрямь без труда и долго стоял у входа перед одиноким гигантом, окруженным прекрасными коринфскими колоннами, поддерживающими ее западный фасад. Таких красавиц не встретишь на улицах Сиднея или Торонто. Бронзовые колокола на башенках задумчиво молчали. А святой Георгий над входом показался мне удивительно длинным и тощим, как Дон Кихот, и, как рыцарь печального образа, благородным и одиноким. Он весь светился усталостью от нескончаемых битв с драконами, ветряными мельницами, электрическими гитарами и неоновыми распятиями. И выглядел этот Георгий далеко не победоносцем...

Уже вернувшись на Мальту, я как-то разговорился об увиденном в «Джиневре» с одним видным местным политическим деятелем. Он социалист и одновременно член ордена Госпитальеров, то есть Мальтийского ордена. Выслушав меня внимательно, социалист-рыцарь сказал:

— У вас принято считать религию опиумом для народа. Положим. Но опиум в определенных дозах — лечебное средство. Религия на Мальте и Гоцо помогает в борьбе против глетворного влияния духовного декаданса Запада, против ставшего сейчас модным так называемого разрешительного общества<sup>2</sup>.

— Ну а цивилизация, прогресс?

— Змеинный яд, подобно опиуму, тоже служит лечебным средством...

<sup>2</sup> Общество, где дозволен любой порок.

— В определенных дозах.

— Да, в определенных дозах.

— Если я вас правильно понял, то единственный выход для вашего молодого поколения — это терапия, основанная на комбинированном приеме опиума и змеиного яда... — я сделал паузу, — в лечебных дозах, конечно.

— Можете иронизировать сколько вашей душе угодно, но иного выхода у нас нет.

— Значит, вы уверены, что молодежь из бара «Джиневра» будет всю жизнь потреблять только один коктейль — из опиума и змеиного яда?

— Это только на словах звучит трагично. В действительности ничего страшного в этом нет. Взгляните хотя бы на меня. Я и социалист и член ордена Госпитальеров. И никаких моральных коллизий, заметьте, ничего, кроме преимуществ для моего положения в обществе и блага, которое я приношу этому обществу.

Я последовал совету и пристально взглянул на собеседника. Он был прав. Ничего страшного для существующего режима в этом рычаре и социалисте не было. Лечебные дозы опиума и змеиного яда сделали свое дело.

\* \* \*

Время на Гоцо словно остановилось. Но для человека, который лишь мельком взглянул на этот волшебный островок, оно бежит удивительно быстро.

До свидания, Гоцо, или, вернее, прощай!

Я снова в Мгарре. Пожилые гоцотянки, как и в день моего приезда, сидя прямо на мостовой, набивают сухими водорослями матрацы. Люди спят на них, как на морских волнах, видят сны, похожие на сказки о Синдбаде-мореходе, и просыпаются, чтобы вновь уйти в море, на сей раз наяву.

А меня у причала ждет старое корыто с гордым названием «Императорский орел». Капитан Публиус Чэклуна (ох, до чего же приятно произносить вслух это имя!) высунулся из своей рубки и приветливо машет рукой. Я поднимаюсь по трапу и чувствую, что какая-то незримая сила тянет меня назад. Это уж не ты ли, престелная Калипсо? Не твои ли чары?

Много веков назад у берегов Гоцо бросила якорь заморская шхуна, ее экипаж разбрелся по острову. Кто куда. Один из моряков вошел в собор святого Павла, чтобы помолиться и облегчить душу. Однако увидев на престольную пелену удивительной красоты, покрывавшую алтарь, старый морской волк смугился. Воспользовавшись мгновением, когда мысли остальных были обращены к богу, он стянул пелену и выскользнул из собора никем не замеченный. Пришло время шхуне покидать остров. Капитан отдал приказ поднять паруса, но судно даже не шелохнулось. Моряки пустили в ход весла. Тщетно. Шхуна как прикованная стояла у причала. И лишь когда вор сознался в содеянном, когда на престольная пелена была вновь возвращена на алтарь собора святого Павла, шхуна тронулась с места. Так гласит старинное предание.

«Императорский орел» отдает концы и медленно поворачивается носом к Мальте. Значит, все в порядке. Значит, воспоминания, которые я везу с Гоцо, не в счет. Кроме них, я ничего не забрал у тебя, остров, а оставил взамен частичку сердца.

Синие волны словно отталкивают остров от парома, нежно, но настойчиво. Уменьшаются, а затем исчезают рыбаки, пьющие легкое вино и чинящие сети. Тают кружевницы, искусно перебирающие свое рукоделие, как струны арфы. И узоры из-под их пальцев льются старинной гоцотянской мелодией, которую напевает малышам на улицах Рабата слепой рапсод Сэмми Аттард. Превращаются в черные точки священники с подносообразными головными уборами, как у дона Базилио в «Севильском цирюльнике». А синие волны отталкивают остров все дальше и дальше. Еще мгновение — и он превращается в сплошной зеленый пьедестал, на котором высится гигантская статуя Христа.

Наконец мы на Мальте. Причал с удивительно русским названием Марфа по-прежнему вертится перед глазами карусельной пестротой сарафанов малявинских баб. На этом фоне особенно выделяется черный «мерседес» нашего водителя.

— Ну как? — спрашивает он, испытующе глядя на меня.

— Что как? — Я делаю вид, что не понимаю его вопроса, в котором звучит за-  
таенная ревность каждого мальтийца к Гоцо.

— Ну как Гоцо? — повторяет он свой вопрос в минимально расширенной форме.  
Природная гордость не позволяет ему быть более многословным.

— Пенелопа, Пенелопа, не суди так строго Одиссея! — декламирую я в ответ,  
тщето пытаясь втиснуть в железные формы гекзаметра свое легкомыслие.

— Что-что? — переспрашивает недоумевающий водитель.

— Ничего, Джо, ничего! — кричу я ему с заднего сиденья.—Просто гони маши-  
ну через всю Мальту экспрессом, без остановки до самой Валлетты!



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ



## ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА

### ОБНОВЛЕНИЕ

**К**ак и многие города, современный Берлин строят большие специализированные организации. Комбинаты. Среди таких строительных объединений одно обычно бывает самое мощное, как бы сказали у нас — головное. В Берлине это Первый жилищно-строительный — Вонунгсбаукомбинат. Управление Вонунгсбаукомбината находится на значительном расстоянии от центра города. Сравнительно недавно кварталы восточного района Лихтенберг еще считались окраиной. Здесь есть тихая, застроенная трех- и четырехэтажными домами Рюдигерштрассе. В доме 65 — управление. Небольшое здание обнесено оградой. У железных ворот домик дежурного, исполняющего обязанности вахтера и диспетчера, как это водится во многих деловых домах Берлина.

О людях Вонунгсбаукомбината я слышал давно. О генеральном директоре, Герое Труда и лауреате национальной премии Ойгене Шротере, его заместителе Фрице Краузе, о знаменитых бригадирах Ральфе Тишендорфе, Георге Кольмане, Курте Бромберге, Гюнтере Шольце. Слышал от их московских коллег — рабочих, мастеров, инженеров, руководителей строек, от людей, которых знаю уже не первую пятилетку, с которыми давно дружу.

О том, что Шротера я не застаю, мне было известно еще в Москве. Он был в отпуске. Встретить меня должен был Фриц Краузе — главный инженер и правая рука Шротера. Перефразируя известную поговорку, можно, пожалуй, сказать: «Покажи мне ближайших помощников большого начальника — и я определю, кто он сам».

Фриц Краузе. Он сразу же произвел на меня хорошее впечатление. Есть люди, которым, как говорят, это дано. Из какого человеческого вещества вырабатывается природное или приобретенное обаяние, как появляется эманация человеческой силы, обладающая свойством духовного притяжения, — этого никто еще точно не определил. Но само наличие такой силы бесспорно. Высокий, хорошо сложенный темноволосый человек, в котором все крупно: руки, голова, торс, черты лица, — Краузе даже по комнате двигался с той ощутимой эластичной мощью, в которой проглядывали не только большие запасы энергии, но еще и активное жизнелюбие. Должно быть, и первое и второе доставляли Краузе драгоценную радость существования. Таких людей мне приходилось видеть не раз, и не только на стройках. Привлекает их всегдашняя деловая целеустремленность, свойственная людям, глубоко и бесповоротно увлеченным своим делом, и уже одно это как бы заряжает, индуцирует в тебе энергию и хорошее настроение. Краузе около сорока пяти, но выглядит он моложе. В комбинате работает давно, после того как завершил учебу в Высшей партийной школе в Москве. Он знает нашу столицу, у него здесь хорошие знакомые в строительных комбинатах. К этому времени отnosiтся и непосредственное участие Краузе в зарождении первых деловых контактов между строителями Москвы и Берлина.

Однако начало нашей беседы было посвящено не этому, а тому, что зримо и незримо всегда присутствует, я бы сказал, даже задает тон всякой беседе в кабинетах строительных управлений и комбинатов. Тому, что обычно сразу же привлекает внима-



ние в разного рода схемах, планах, вывешенных на стенах, в макетах и альбомах с фотографиями возведенных и возводимых кварталов и зданий. Я имею в виду деятельность комбината, его историю, размах работы, особенности строительства в Берлине. Да, речь зашла о самом городе, о тяжком наследии войны, о том, каким стал Берлин сейчас благодаря труду строителей, всех его жителей и трудящихся Германской Демократической Республики.

...Берлин сорок пятого! Я его видел сам. Военный корреспондент московского радио, я был в группе, посланной для записи важнейших событий финала войны. Вместе с передовыми частями мы двигались за линией фронта квартал за кварталом к центру города, к рейхстагу и имперской канцелярии. Берлин в пожарах, в развалинах мне запомнился на всю жизнь.

Город тех дней являл собою тяжелое зрелище. Каменное кладбище, протянувшееся на десятки километров. Упавшие дома стерли привычные очертания улиц и площадей. Бои, шедшие на трех уровнях — в воздухе над городом, на земле и под землей, — разрушили все транспортные и жизнеобеспечивающие коммуникации. Железные внутренности большого города, казалось, были вывернуты наизнанку. Люди притаились и жили главным образом в подвалах, в бункерах. Те, кто не успел эвакуироваться из зоны огня, забились в эти бетонные щели, в руины, со страхом ожидая расплаты.

Однако вместо расплаты пришла безвозмездная и бескорыстная, дружеская и благородная помощь Советской Армии, советского народа. Даже и сейчас, через тридцать с лишним лет, событие это не потускнело в своем великом гуманистическом содержании, не утратило исторической значимости и волнующего смысла. И до сих пор все это необычайно впечатляет, достаточно лишь подумать и вспомнить о том, как «странно повели себя недавние враги».

Советские воины сами начали тушить пожары, откапывать людей, засыпанных в подвалах, обезвреживать мины, расчищать улицы, сменив на время работы автоматы на ломы, кирки и лопаты. Это они ухаживали в военных госпиталях за ранеными, которые еще день-два назад стреляли в советских солдат, лечили мирное население, раздавали хлеб голодным немецким ребятишкам, больным и старикам. Действительно «странным» казалось такое поведение надломленному, потрясенному и запуганному обывателю, чьи мозги были давно и прочно завернуты в газетные листы лживой геббельсовской пропаганды.

24 апреля, когда еще шли бои в городе, был назначен первый советский комендант немецкой столицы, командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Н. Э. Берзарин. На следующий день он опубликовал свой первый приказ, в котором говорилось, что советское командование гарантирует мирному населению безопасность и жизнь, приказывает продолжать снабжение жителей продуктами по определенным нормам. Думается, что нелишне будет сейчас вспомнить, что нормы эти, выдаваемые в то суровое время по карточкам, были не ниже тех, что действовали у нас в стране. Сыщется ли в истории другой подобный пример высокой гуманности народа-победителя?

Советские воины с первых же дней всерьез взялись за восстановление города вместе с антифашистами, с мирным населением города, с теми, кого тогда называли «активистами первого часа». Среди них было очень много женщин, которые своими руками расчищали развалины. Вскоре пустили воду, зажглось электричество, появился газ. Начали действовать пекарни, больницы, родильные дома. Уже через два месяца приступило к работе около 600 предприятий. Ожил городской транспорт, в том числе и метро.

В те дни и месяцы новых домов в Берлине еще не строили. Это началось позже и шло по нарастающей — восстановление старого, реконструкция и строительство новой столицы Германской Демократической Республики.

Начало было положено на Унтер-ден-Линден. Первыми здесь начали восстанавливаться университет, Кроль-опера. Затем Карл-Маркс-алле от Берзаринштрассе до Штраусбергерплац, 2115 квартир, 105 специализированных магазинов и ресторанов. Два километра вновь выстроенной Карл-Маркс-алле — это и есть первая страница строительной хроники Вонунгсбаукомбината. А затем на той же улице, но ближе к центру — восьми-десятиэтажные дома, высотное здание отеля «Беролина», ресторан «Москва», реконструкция Александерплац, Карл-Либкнехт-штрассе.

...Фриц Краузе показал мне в своем кабинете интересный альбом, выпущенный к тридцатилетию победы над фашизмом. Называется он по-русски так: «Фотодокументация об успешном социалистическом строительстве столицы ГДР Берлина». Альбом говорит впечатляющим языком фотографий. Сорок пятый год и нынешний. Что может быть убедительнее прямого зрительного сравнения! Вот общий план Александерплац. Слева на фотографии то, что было. Справа то, что стало. Слева — руины, каменный хаос, справа — ныне широко известная площадь, отличающаяся свободной и гармоничной планировкой, редким в таком большом городе ощущением пространства.

Простор — это ведь не только свободное пространство, кстати говоря, в четыре раза большее, чем на довоенной площади с тем же названием. Это и ощущение, создаваемое архитектурой зданий, площади обрамляющих. Главный универмаг «Центрум», высотное, свыше сорока этажей, здание гостиницы «Штадт Берлин», массивный, с большими цветными панно на стенах Дом учителя, знаменитая телевизионная башня с круглой вращающейся серебряной короной.

Унтер-ден-Линден! От Маркс-Энгельс-плац до Бранденбургских ворот всего один километр, но именно здесь находятся многие здания, имеющие большое историческое, государственное, культурное значение. На Маркс-Энгельс-плац здание Государственного совета ГДР, недавно выстроенный Дворец Республики, где будут проходить съезды СЕПГ, сессии Народной палаты, важнейшие международные конгрессы. Здесь же вблизи современное, из стали и стекла, изящное здание министерства иностранных дел.

А посмотрите старую фотографию. Массивный, черного цвета, словно бы весь обуглившийся дом, крыши нет, с правой стороны обрушены все стены, зияют провалы пустых окон. Этот старый дом вовсе не восстанавливался, его снесли и выстроили, по сути дела, новое здание.

И далее на Унтер-ден-Линден — реставрированное здание университета Гумбольдта, здание Государственного оперного театра, памятник жертвам фашизма и милитаризма, дом советского посольства, «Опернкафе».

Ленинплац, Карл-Маркс-алле, Карл-Либкнехт-штрассе, Франкфуртералле — все неузнаваемо изменилось. Ныне уже каждый второй житель миллионного города переехал в новую квартиру.

Бряд ли кто-либо будет оспаривать сейчас, что современный Берлин — один из самых красивых городов Европы. Красота — категория не только эстетическая, а, если можно так выразиться, еще и производительная и даже лечебная. Есть такое медицинское понятие — эстетотерапия. В красивом городе лучше дышится, лучше работается. Поэтому новому Берлину решено было дать больше простора, света, зелени. Красота стала одной из ведущих идей генерального плана реконструкции Берлина, который был утвержден Советом Министров ГДР в 1968 году. Генеральный план имеет длительную перспективу — до начала... третьего тысячелетия! Примечательный факт, относящийся не только к глубокоэшелонированной строительной перспективе, но и к тому чувству уверенности, с которым Германская Демократическая Республика смотрит в будущее.

Строить больше, дешевле, быстрее во всех восьми районах Берлина — вот лозунг современного градостроительства. И львиную долю этой уже совершенной и совершаемой работы взял на свои плечи в Берлине Вонунгсбаукомбинат, награжденный несколько лет назад высшим в ГДР орденом Карла Маркса.

## НАЧАЛО СОДРУЖЕСТВА

Все начиналось с малого, укреплялось и расширялось постепенно.

История содружества строителей Москвы и Берлина теперь насчитывает уже более десяти лет. С 1966 года. Как раз в то время Фриц Краузе заинтересовался работой домостроительного комбината. Новый комбинат основывался на идее полной индустриализации строительства, внедрении промышленных методов, потока, неукоснительно выполняемого графика. Строительная площадка как бы превращалась в цех огромного предприятия под открытым небом, осуществляющего весь комплекс домостроения — от изготовления сборных деталей на заводах до сдачи готовых домов в эксплуатацию. Новаторский опыт москвичей заинтересовал строителей других столиц социалистических

стран. Домостроительные комбинаты стали давать высшую по сравнению с другими организациями производительность в массовом, крупнопанельном строительстве.

Первая деловая поездка берлинских коллег в Москву состоялась в декабре шестьдесят седьмого года. Многое впечатляло и понравилось гостям на комбинате. Сама его организация. Согласованность всех звеньев. Система комплектации, когда на строительные площадки приходят контейнеры с полным комплектом деталей, необходимых для определенной работы. Приходят точно по графику. Немцы, которые с особой взыскательностью относятся к организации любой работы, тогда не имели у себя такой четкой системы на стройках.

Берлинские коллеги по достоинству оценили и экономическую службу. Кроме обычных отделов, на комбинате были созданы нормативно-исследовательская станция и лаборатория экономического анализа. Естественно, что у каждого подразделения свой круг обязанностей, но они действуют и совместно, когда надо поднять темпы, эффективность, создать производственный ритм, скажем, три дня — этаж. Такие высокие темпы порождены приходом в строительную практику массового, крупноблочного, а затем и крупнопанельного строительства.

В Берлине «крупноблочная эра» началась в 1960 году. Первый блочный дом в районе Карлсхорст был всего лишь пятиэтажным. Примерно таким же, как и известная серия домов в Москве, которыми в те годы застраивались у нас в столице целые районы. Берлинские блочные дома в те годы перекочевали из Карлсхорста в районы Лихтенберг, Трентов, на другие окраины. Чем более расширялся строительный плацдарм для возведения этих зданий, тем все более настоятельной становилась потребность в усвоении советского опыта скоростного строительства.

«Счастливым час» в нашей дружбе! Это не строка из стихотворения и не название рассказа. Это фраза из воспоминаний человека, которому этот «час» запомнился на всю жизнь. Человека зовут Герберт Кольман, он рабочий, бригадир, один из ветеранов в семье берлинских строителей, входящий, безусловно, в золотой фонд комбината и республики. Полистайте книгу по истории комбината — и вы увидите его лицо на многих фотографиях, лицо, привлекающее внимание, — крупные черты, открытый высокий лоб, волевые складки около красиво очерченного рта, добрый взгляд из-под густых бровей.

«Счастливым час» — это, конечно, метафора. Точнее, по-деловому надо было бы сказать — счастливые полгода, в течение которых берлинский комбинат, построив несколько типовых и высотных домов, осваивал советскую технологию, метод московских и ленинградских домостроительных комбинатов. Первым в этой серии было здание, вошедшее в историю Вонунгсбаукомбината под названием «дом семидесяти семи дней и скоростного монтажа». Его строили на Георгиенкирхштрассе. Типовой одиннадцатизэтажный дом на 118 квартир. Происходило это в декабре 1968 года.

Обычно от начала работ на нулевом цикле до сдачи домов новоселам у берлинских строителей проходило сто сорок — сто шестьдесят дней. Лучшие бригады на Первом московском домостроительном комбинате продельвали тот же цикл дней за шестьдесят. Разница в темпах выглядела весьма существенной.

Бригада Курта Бромберга, заслуженного, опытного строителя, возводившего эти здания, решила сократить разрыв, попытаться хотя бы приблизиться к уровню достижений московских коллег. Что взял Курт Бромберг и его товарищи из советского опыта? Трехсменный монтаж. Четкий ритм и почасовой график. «Монтаж с колес», как говорят в Москве, когда детали домов доставляются кранами на этажи. Берлинцы взяли еще и московскую схему «монтажных захваток» и так понравившуюся им систему комплектации материалов. И если можно взять на вооружение дух энергии и энтузиазма, плодотворный дух соревнования, то они взяли и это.

Разработку графиков для дома на Георгиенкирхштрассе сделали инженеры Герхард Штильмахер и Отто Пфент. Что-то видоизменяли, приспособляли к своим условиям, механизмам. Освоение опыта друзей не механическое копирование, а тоже процесс, в известной мере творческий. Работа по новой технологии «разогрела ребят», как сказал Бромберг, увлекла. И новый дом был выстроен за... семьдесят семь дней. «Час» действительно стал счастливым!

Примерно через полгода уже и бригадир Герберт Кольман начал возводить по советской технологии высотное двадцатипятиэтажное здание на Ленинплац. И если для дома на Георгиенкирхштрассе учебником были схемы и расчеты московских и берлинских инженеров, то здесь, на Ленинплац, рядом с Кольманом стояли сами мастера скоростного монтажа, люди, чей опыт оплодотворил эти схемы и расчеты. В этом месяце в бригаде Кольмана работали двое советских строителей — ленинградец, Герой Социалистического Труда Семен Ткачев и москвич Анатолий Суровцев.

Анатолия Михеевича Суровцева я знаю давно, не раз писал о нем, это мой друг. Его имя, одного из лучших бригадиров ДСК-1, широкоизвестно. Суровцев — заслуженный строитель РСФСР. Он «рыцарь качества», как говорят в комбинате. И конечно же, не случайно, что в октябре шестьдесят девятого года в Берлин поехал именно он для передачи опыта и, как говорят, «мир посмотреть и себя показать».

Ленинплац! Эта площадь расположена на северо-востоке от исторического центра Берлина. Она граничит с большим парком, зеленая полоса которого образует одну из граней архитектурного ансамбля. Однако это вторжение зелени не мешает ощущению широты, свободного размаха планировки, а, наоборот, придает ей еще большую объемность и простор. На Ленинплац сейчас просторно, легко дышится. Но не так было во время строительства. Тогда, вспоминал Кольман, мы располагались как бы на островке, между Лениналае, Фриденштрассе и Лихтенбергерштрассе, справа к нам примыкал Фолькспарк. Герберт Кольман так писал в своих воспоминаниях:

«Два подъемных крана вздымались в небо. Из своих стеклянных кабин мы могли обозреть весь город. На кранах висели знамена ГДР и СССР как знаки германо-советской дружбы.

В бригаде работало много молодежи. Моя классная комната как руководителя и как учителя молодежи находилась в нашем передвижном красном вагончике, который путешествует со строителями от одного дома к другому. На стенах этого вагончика висели рисунки, схемы, чертежи, поясняющие нам новую советскую технологию скоростного возведения зданий. Я читал тогда планы, как некоторые читают захватывающие романы!»

Так написал Кольман, не считая это преувеличением. Да и какие основания оспаривать то, что он написал? Значит, такова была в ту пору его увлеченность этими планами новой технологии и скоростной работы, таков деловой азарт. Счастливым час — это счастливый час!

Мы сидели как-то у меня дома, я и Анатолий Михеевич Суровцев, и разглядывали цветные фотографии, которые мне подарили в Вонунгсбаукомбинате. Особенно долго смотрели на изображение Ленинплац — я с интересом, а Суровцев, я бы сказал, влюбленно. Высотный дом, на котором он работал в бригаде Кольмана, стоит позади монументального памятника Владимиру Ильичу Ленину. Памятник, обрамленный сквером, — центр площади, он придает ей особенно торжественное и волнующее звучание. Сам же высотный дом — это трехступенчатая пирамида с высокой башней в двадцать пять этажей.

— Я работал на последних, — рассказывал мне Суровцев, — а мой товарищ из Ленинграда Семен Ткачев прилетел в Берлин на монтаж самого верхнего этажа и чтобы уложить вместе с Кольманом последнюю балку перекрытия.

Как мы быстро привыкаем ко многим деталям и приметам подлинной новизны в рабочей жизни. Считаем все обыденно-деловым, заурядным. Заграничные поездки рабочих, совместный труд в интернациональных бригадах. Бывало ли раньше такое? А сейчас это практика наших будней.

Но даже и не это, быть может, самое главное. Не только производственный, не только прагматический смысл, а и нравственное содержание такой работы. Тот политический и гражданственный заряд, который есть в самом факте такого общения рабочих различных стран, в том, что рабочего человека приглашают прилететь за границу на завершение стройки высотного дома.

Анатолий Михеевич долго не мог оторваться от фотографии. Она его волновала.

— Вот этот одиннадцатизэтажный типовой строила бригада Курта Бромберга. Посмотрите — он овальной формы, в виде гигантской подковы. А какая тщательная отделка — все чистенько, аккуратно! Лоджии разноцветные — синие, красные. Цвето-

вое разнообразие, от этого дом лучше смотрится. Вы заметили — дом Бромберга как раз напротив дома Кольмана. Встретились на одной площади. Я и к Курту Бромбергу заходил на этажи, потом мы познакомились ближе, подружились.

Да, Анатолий Суровцев старался взять как можно больше из опыта немецких друзей и передать им свои навыки.

Высотный дом на Ленинплац оказался здесь не только самым большим и внушительным, но и определил собою центральную часть высотного силуэта площади. В канун праздника, уложив на двадцать пятом этаже последнюю балку перекрытия, двое рабочих в белых касках и серых брезентовых куртках подняли на стальную мачту флажштока, установленного на крыше, красный флаг с изображением Владимира Ильича Лезина. Это был коренастый, широкоплечий Кольман и, чуть выше его ростом, ладно скроенный, стройный, Ткачев. Торжественный момент волновал не только обоих рабочих на высоте. Его запечатлели на фотографии. Он волновал всех тех строителей, которые собрались внизу, на земле, и смотрели, задрвав головы, на подъем флага—событие необычное и порожденное, как написал потом в своих воспоминаниях Герберт Кольман, «содружеством, которое принесло богатые результаты и сулит новые перспективы в будущем».

В тот же день Анатолий Суровцев и Семен Ткачев от души поздравили своего товарища Кольмана, он был награжден золотой медалью Героя Труда ГДР.

В книге о берлинском комбинате есть и еще одна фотография с водружением флага на крыше дома. Она датирована 9 мая 1945 года — днем освобождения немецкого народа от фашизма, днем подписания капитуляции. Должно быть, никогда не перестанут нас волновать такие снимки. Сама история насытила их глубиной огромного смысла и содержания.

Я теперь часто перелистываю книгу по истории Вонунгсбаукомбината и вспоминаю, как мы рассматривали эти снимки вместе с Анатолием Михеевичем Суровцевым. Вспоминаю и думаю. Вот он работал на Ленинплац в бригаде Кольмана, жил в Берлине. Так разве мог он, советский человек, рабочий, не размышлять в эти дни о Берлине как о городе, где переплелись судьбы мировой истории? Разве мог он, бывав вместе со своими немецкими коллегами у Бранденбургских ворот, в музее Победы, в Трептов-парке или на Зееловских высотах, не думать в эти минуты о прошлом и настоящем Берлина и не возвращаться снова и снова к мысли о победном окончании войны с фашизмом?

### ПУСТЫРЬ У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ

На пересечении Унтер-ден-Линден и Отто-Гротеволь-штрассе стоит шестизэтажное прямоугольное здание министерства народного образования ГДР. Отсюда метров сорок до Бранденбургских ворот. Шестиколонная композиция с широкими проемами, с полуовальной колоннадой примыкающих крыльев увенчана на фронте центральной части квадригой и трехцветным знаменем ГДР, развевающимся на ветру.

Соседство этих сооружений кажется символическим. Памятник прусской военщины с его напыщенными формами, позаимствованными из древнеримской архитектуры, в соединении с современным обликом здания министерства, в какой-то мере образно выражает прошлое и настоящее Берлина. Прошлое выразительно напоминает о себе еще и простирающимся левее Бранденбургских ворот большим пустырем с перемежающимися полосами кустарника. Это место бывшего квартала центральных учреждений третьего рейха, тут находилась новая имперская канцелярия Гитлера. Теперешний большой и светлых тонов дом министерства был выстроен заново на расчищенном месте. Строил его, как и всю Унтер-ден-Линден, Вонунгсбаукомбинат. Здесь поработали бригады Курта Бромберга и Карла Тишендорфа с ведущим монтажником молодым рабочим Гюнтером Шольцем.

Анатолий Суровцев вместе с Куртом Бромбергом приходил сюда не раз, профессионально зорким взглядом оглядывал здание, оценивал качество монтажа, отделки. Обычно они сидели на скамейке в скверике под теми самыми липами, которые начисто выгорели в сорок пятом, а сейчас вновь бросают широкую тень на песчаные дорожки бульвара. Потом они прогуливались по Отто-Гротеволь-штрассе.

И я, бывая в Берлине, выбираю время и обязательно подхожу к этому пустырю. Собственно, тут мало что меняется с годами. Только становится больше кустов и небольших деревьев, пробивающихся между камнями, меньше бетонных глыб и мусора. Я видел здесь работающий экскаватор: говорят, что в подземелье продолжаются раскопки, расчистка заваленных при взрывах ходов помещений, поиски документов. Сами же здания снесены с лица земли. Это зона отчуждения. Именно такой хаотичный, неприбранный и отталкивающий вид пустыря, думается, более всего соответствует исторической справедливости.

Всякий раз здесь я испытываю сильные чувства. Я ведь помню, как эта улица выглядела в сорок пятом. Тогда она называлась Фоссштрассе и была вся изрыта бомбовыми воронками, завалена камнями и баррикадами.

...В августовский день семьдесят шестого в Берлине было все раскалено: камни, бетон, стекло, воздух. За столиками «Опернкафе», вынесенными на улицу под цветные тенты, ни одного свободного места. Люди укрывались от палящих лучей под тенью лип, на скамейках бульвара. И все же даже днем, в самую жару, у Бранденбургских ворот было многолюдно, оживленно. Наша переводчица Рут Вайе заметила, что Унтер-ден-Линден — любимое место ее прогулок.

Есть одна известная фотография. Ее можно увидеть в музеях, книгах, энциклопедиях. Он популярен, этот снимок сорок пятого года: метрах в сорока от Бранденбургских ворот, еще не расчищенных от баррикад и досок, на том месте, где сейчас красивый сквер, стоит большая самоходная пушка. Вокруг на Унтер-ден-Линден от одного края до другого веселая возбужденная толпа в шинелях, шапках, пилотках, фуражках — это солдаты-победители. Идет митинг. День хмуроватый, но, видимо, теплый, с ветерком. А погода еще весенняя, неопределенная. Опершись плечом о ствол пушки, с листком бумаги в руке, поэт-офицер читает стихи. О том, что русские, советские воины пришли в Берлин, о победе. И митинг ликует!

Теперь этот сквер, и Бранденбургские ворота, и хорошо видное отсюда здание рейхстага — все это в сознании, в памяти миллионов непреложно связано с победой, с историческим переломом в судьбах мира, в истории немецкого народа. Связано прочно и навсегда.

На Отто-Гротеволь-штрассе людей меньше, а в такую жару особенно. Ничто не мешало мне разглядывать пустырь. Смотреть, думать. Если бы со мною рядом находился в те минуты Анатолий Суровцев, я бы, наверно, сказал ему: «Вот видишь, Анатолий Михеевич, рейхстаг. Он в черте Западного Берлина. Не знаю, обратил ли ты внимание на то, что громадное это здание давно уже стоит без купола. Без того известного по тысячам снимков полустекленного овального купола, на который вышли 30 апреля в 22 часа 50 минут Егоров и Кантария и водрузили Знамя Победы».

Купол был поврежден во время боев, но разве за тридцать один год его нельзя было отремонтировать? А знаменитые надписи воинов, дошедших до Берлина, нанесенные на колонны рейхстага? Они все смыты, стерты, уничтожены. Еще бы! Многое, слишком многое они напоминают тем, кто хотел бы умалить значение великой победы!

Пустырь тянется и дальше, туда, где рядом с новой канцелярией находилась старая канцелярия Гинденбурга, которая тоже исчезла. Но стоит на прежнем месте, в конце бывшей Фоссштрассе, здание бывшего нацистского министерства авиации.

Мне говорил Анатолий Суровцев, что как строитель он с любопытством разглядывал это сооружение из темного камня и гранита с прямоугольными колоннами у подъездов, такими, как и в бывшей имперской канцелярии. В его архитектуре дух и стиль старого официального Берлина — громоздкая серая монументальность. Может быть, потому, что здание огромное, занимает целый квартал и оно — единственно уцелевший дом в этом районе, и еще потому, что это бывшая резиденция напыщенного Геринга, я тоже, как и Анатолий Михеевич, долго его рассматривал. Когда-то здесь Геринг, рейхсмаршал авиации, принимал парады своих летчиков. Именно здесь, в самом центре Люфтваффе, успешно работала подпольная группа антифашистов, так называемая Роте Капелле, члены которой были казнены гитлеровцами. Сейчас здесь разместились много важных министерств и учреждений ГДР. Я читаю у подъезда колонку табличек с надписями: «Государственная плановая комиссия», «Комиссия по материально-техническому снабжению», «Министерство машиностроения». Правее — продолжение

этого здания, где находится сейчас министерство путей сообщения, еще правее — одно из отделений Академии наук ГДР, академическое издательство.

Бывший «дом Геринга» стоит на самой границе Западного Берлина. Неподалеку контрольно-пропускной пункт. Ежедневно множество гостей и экскурсантов переходят границу: жители Западного Берлина все имеют право на «суточную визу» для посещения столицы ГДР. Их привлекает красивый и обновленный город, его достопримечательности, исторические памятники, новые кварталы, магазины, музеи — богатая духовная и культурная жизнь.

Я как-то видел на Отто-Гротеволь-штрассе в раскаленном полдень большую, шумную группу молодежи, это были англичане и французы. Они быстро шли по улице, потом остановились у груды камней и кустиков около четырех колонн, оставшихся от имперской канцелярии. Гид, взмахивая рукой, рассказывал, и то, о чем он говорил, казалось, наверно, этим юношам и девушкам чем-то очень давним, невероятным и страшным, во что и поверить трудно. Однако это страшное и невероятное существовало. И тот, кто не хочет, чтобы прошлое повторилось, не должен о нем забывать никогда. Поставив минут двадцать около этого мертвого пустыря, группа молодежи здесь же, на Отто-Гротеволь-штрассе, юркнула под навес бетонной лестницы, спускающейся на перрон подземной станции «Тельманплац», и поехала в сторону оживленного, кипевшего людьми и энергией центра Берлина.

### СОРЕВНОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ

Уже после первой своей поездки в Берлин в шестьдесят девятом году Анатолий Суровцев, как он сказал мне, «начал привыкать к этому строгому и прекрасному городу». От поездки к поездке Берлин все более нравился Анатолию Михеевичу. Не раз Суровцев говорил мне об этом.

Представления о больших городах у Суровцева были не позаимствованы из литературы, не усвоены с чужих слов, а почерпнуты из собственного профессионального опыта. Как специалист-строитель, он побывал в Будапеште, Варшаве, жил в Праге, Белграде.

Шли первые дни пребывания в Берлине гостя из Москвы, и Бромберги старались сделать все, чтобы жизнь Суровцева стала здесь приятной. Вся семья Бромбергов «сопровождала» Суровцева в Государственную оперу на Унтер-ден-Линден и в знаменитый Цейхгауз — музей истории, иногда брали такси и ездили вместе по городу. Поднимались на телебашню и смотрели на город с самой высокой точки Берлина, с высоты птичьего полета. А однажды Суровцев имел возможность рассматривать город «с уровня воды», катаясь вместе с Бромбергом по Шпрее и озерам, которые широкой извилистой голубой лентой пересекают город.

Эта поездка особенно запомнилась Суровцеву. Был пасмурный денек, от Шпрее тянуло свежим ветром, нагонявшим мелкую рябь волны. Они приехали в Трептовпарк и там на пристани взошли на палубу теплохода «Генрих Манн». Курт Бромберг сказал тогда, что у них в республике очень ценят известных писателей, которые прославили немецкую литературу. Теплоход медленно отчалил от пристани, Бромберги и Суровцев устроились на верхней палубе, где было хоть и ветрено, но зато хорошо просматривались берега, дома и парки, оживленное движение судов на Шпрее. Они проплывали мимо районов, которые знал или о которых слышал Суровцев: Баумшиленвед, Шёнефельд — район аэропорта, Кёпеник. Тут было много заводов, старых и новых. Именно отсюда, с палубы теплохода, Суровцев увидел, как много зелени в Берлине и какой это ухоженный и приспособленный для приятного отдыха город. Они плыли мимо дачных поселков, мимо маленьких пристаней, где стояли яхты, моторки, принадлежащие спортивным обществам и частным лицам. Бромберг заметил, что такие дачки, участки, лодки есть и у рабочих Вонунгсбаукомбината. Когда Кристина и Сюзанна немного озябли на палубе, все спустились в салон, где вкусно пообедали, и снова заняли свои места на скамейках вблизи капитанской рубки. В одном месте теплоход вошел в канал, зеленые берега сблизались настолько, что дачные строения казались совсем рядом и можно было разглядеть, что растет на грядках. Приятно, под сурдинку звучала музыка, тихие, чистые немецкие мотивы создавали хорошее настроение.

Перед самым отъездом из Берлина Суровцев договорился с Бромбергом о начале постоянного соревнования их бригад. Если говорить честно, то вначале Анатолий Михеевич не слишком верил в эффективность такого договора. Одно дело, когда «соперник» работает с тобой в одном городе, а еще лучше в одном районе, когда можно наглядно сравнивать результаты соревнования. Другое — когда он отделен двумя государственными границами, а методы строительства, и типы домов, и расценки, и технология разные. Однако жизнь опрокинула сомнения Суровцева. Неожиданно помогло... телевидение! Телевизионные камеры были установлены в Москве и в Берлине, бригадиры не только видели друг друга, но и могли вести прямой диалог, рассказать о своих успехах и трудностях, спросить друг у друга совета.

Увидев Бромберга на экране, Суровцев первым делом спросил его о здоровье жены и дочери, а Бромберг передал свой привет и лучшие пожелания жене Суровцева Валентине Петровне и дочери Ирине. Затем они заговорили о работе, и Курт Бромберг обрадовал своего друга тем, что начал работать по предложенному Суровцевым графику скоростного монтажа, рассчитанному на цикл в шестьдесят дней.

— Ну и как, пошло дело? — спросил Суровцев.

— Пошло, пошло, не так быстро, как в Москве, но пошло успешно, — ответил Бромберг.

— Ну и хорошо, я очень рад. А как результаты?

— Мы довольны. Теперь сдаем типовые здания за сто дней.

— Сто! Ну что ж! Для начала неплохо. Но ты, Курт, сам ведь чувствуешь, что это не предел, что можно еще быстрее. Так?

— Пожалуй что так, — согласился Бромберг. — Ты напиши мне, Анатолий, — попросил он, — о своих делах, может быть, я тебе что-то хорошее и посоветую.

Прошел год, в течение которого обе бригады успешно трудились в Москве и в Берлине. И снова состоялась телевизионная передача по системе Интервидения, наглядно подводившая итоги соревнования. И снова прямая переключка двух бригад и бригадиров. А затем завязалась и деловая, дружеская переписка.

Во второй раз Суровцев приехал в Берлин в 1971 году, будучи участником большого «поезда дружбы». Он ехал тогда не один, а вместе с начальником главка, начальником комбината, директором одного из заводов железобетонных изделий и с другими специалистами. Делегация москвичей главное свое внимание обращала на обмен опытом возведения качественных, эстетически выразительных комфортабельных типовых домов. И это было не случайно.

Качество! Это слово уже и тогда начало завоевывать всенародную популярность. Борьба за качество становилась в заглавную строку всех социалистических договоров о соревновании. Тем более что у немцев было что посмотреть и чему поучиться! Сама жизнь уже тогда заставляла москвичей обратиться к самокритичной оценке некоторых аспектов собственной практики. Но главные события в этом направлении и в московском ДСК-1 и в берлинском Вонунгсбаукомбинате развернулись лишь спустя несколько лет.

## МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Карлсхорст! Если бы меня, так же как и Суровцева, даже не привлекали в этом районе новые типовые дома, возведенные Вонунгсбаукомбинатом, разве мог бы я не побывать в этом удивительном музее, расположенном в двухэтажном, серого цвета здании с острым прямоугольником крыши, с четырьмя прямоугольными колоннами у главного подъезда, где висит табличка с надписью на русском и немецком языках: «В этом здании 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии»?

Есть такие дни в жизни людей, в истории народов, которые не забываются никогда! Каким было это утро 8 мая? Ясное, солнечное, прозрачное — шестое мирное утро в Берлине. Уже не стреляли, и всюду царил тишина, казавшаяся еще непривычной, тишина, удивлявшая уже одним тем, что она повсеместна и что ее так много.

В это утро на аэродроме Темпельгоф приземлилось несколько самолетов — это прилетели военные делегации союзников, прибыл самолет с представителями верхов-



ного командования разгромленной фашистской армии. Вереница машин проследовала по улицам Берлина, где через каждые пятьдесят — сто метров стояли наши автоматчики и девушки-регулирующие, указывавшие путь в район Карлсхорста, к зданию бывшего немецкого военного училища. Сюда же, в этот район, сравнительно сохранившийся и не очень пострадавший от боев, на восточную окраину Берлина, съезжались в то утро машины командующих корпусами и армиями, дипломатов и журналистов, фото- и кинооператоров, представляющих все союзные страны. И наша радиогруппа, аккредитованная при политуправлении 1-го Белорусского фронта, тоже подъехала к особняку на грузовой машине, где размещалась аппаратура. Машина остановилась за домом справа, если стоять лицом к главному подъезду, среди негустых деревьев сада. Здесь мы сбросили на нежную майскую траву длинные кольца электрокабеля, протянули его через парадную дверь и длинный коридор в тот кажущийся сравнительно небольшим скромный зал училища, который срочно обустроивался для торжественного события. Событие это венчало собою победный конец войны.

Есть, пожалуй, одно примечательное свойство нашей зрительной памяти. На прошлое смотришь словно бы сквозь линзы перевернутого бинокля. И время как бы уменьшает рельефно запечатленные картины давно миновавших лет. Может быть, поэтому дом немецкого инженерного училища в Карлсхорсте тогда, в сорок пятом, казался мне выше, массивнее, помпезнее. И весь этот перекресток улиц представлялся объемнее.

Я сейчас думаю, что все это происходило потому, что тогда разрушенный Берлин и весь-то был «меньше ростом». Ниже были его дома, кварталы. На фоне развалин выделялся сохранившийся дом в Карлсхорсте. Но, думается, существовала и другая причина. Ведь масштабность всему, что виделось тогда, придавало еще и само время, ощущаемая всеми нами необычность момента, его историческое значение. И конечно же, незабываемое волнение, охватившее тогда всех нас. Казалось бы, за тридцать с лишним лет оно должно утихнуть, раствориться в иных делах и заботах. Но нет. Я вновь ощутил странное стеснение в груди, меня вновь охватило волнение, когда берлинское такси остановилось у этого особняка на Райнштайнштрассе.

Мы подъехали как раз в перерыв в работе музея. И кстати. Было время пройтись по саду, по его ныне ухоженным газонам и песчаным дорожкам не торопясь, посидеть на скамейках, поставленных здесь для посетителей, и внимательно осмотреть выставку в саду: расположенные и справа и слева от здания на асфальтовых площадках орудия, самоходные пушки, танк «Т-34» — грозную боевую технику Великой Отечественной войны.

Если быть точным, то здесь, на Райнштайнштрассе, строго мемориальным являются лишь сам зал подписания Акта о капитуляции, или, как он именуется официально, Мемориальный зал Берлин-Карлсхорст, и здание инженерного училища. Что же касается остального, то и сад и помещения внутри этого дома — все переоборудовано под экспозиции документов, картин, оружия, макетов, карт, знамен, фотографий, рисующих всю историю войны, героическую эпопею подвигов Советской Армии, пришедшей с победой в Берлин.

Немало уже написано обо всем этом, но будет написано еще больше. Разве все уже рассказано об участниках Берлинского сражения, о гуманизме советских воинов и нашего государства, о нацистских концлагерях, о коммунистическом подполье и антифашистском сопротивлении?! Каждый такой музей-памятник в ГДР требовательно напоминает об этом. Музей в Карлсхорсте особенно.

Вот карта Гитлера с его личными пометками, найденная 2 мая сорок пятого года в подземном бункере фюрера на его письменном столе. Это примечательный экспонат. Карта появилась здесь недавно. Долгое время она находилась в личном архиве маршала Г. К. Жукова и незадолго до смерти передана им самим в музей. Карта старая, пожелтевшая, с глубокими полосами-разрезами на сгибах, исчерканная пометками, стрелами, кружками, линиями. Это обозначения линии фронта, расположения частей, направлений предполагаемых ударов. Линии аляповатые, кружки неровные, словно бы сделанные дрожащей рукой. Опытному глазу военных специалистов карта и сейчас рассказывает о многом. Между прочим, говорит и о том, что оперативные пометки на ней, планы операций сделаны в военном отношении неграмотно.

Рядом с комнатой, где можно увидеть карту Гитлера, зримо и впечатляюще контрастируя с ней, расположена на широком столе-стенде длиною едва ли не во всю комнату разноцветная светящаяся карта нашего наступления в Берлине начиная с положения на 26 апреля.

В карлсхорстском музее есть отличная диорама — фрагмент картины художника Ананьева «Штурм рейхстага». И макет карты наступления и диорама впечатляют необычайно.

Шли ожесточеннейшие бои, лилась кровь на улицах Берлина, умирали наши воины в последние часы, отдавшие войну от мира, четыре года невиданного напряжения и героизма от сорока пяти минут заседания в зале, куда после обхода всех комнат и экспозиций приводят посетителей для завершения экскурсии по музею, чтобы показать этот самый волнующий и самый значительный мемориал Карлсхорста.

Зал подписания капитуляции! Все эти тридцать с лишним лет я видел его мысленным взором так ясно, будто бы все это случилось вчера: три стола — для президиума, для маршалов и генералов, для прессы четырех стран — и четвертый столик поменьше, у входных дверей в зал, для представителей верховного немецкого командования. И балкон на втором этаже, где разместился духовой оркестр. И большие прямоугольные окна, завешанные плотно тяжелыми коричневыми портьерами. И красное сукно на столах, и листы бумаги для пометок, белеющие ровными рядами, и рядом с бумагой ученические ручки, чернильницы и пачки папирос «Беломорканал».

И вот я снова в этом зале, рядом со столами, ступаю по мягкому ковру, занявшему почти всю площадь зала (в сорок пятом, кажется, этого ковра не было), глядя-ваюсь во все, и мне хочется сказать гиду, что столы теперь как будто бы короче, а помнитса, они доходили почти до самой задней стены.

Да, кое-что здесь изменилось, что-то переделали организаторы мемориала. Но это и естественно. Ведь был просто дом немецкого инженерного училища, а стал музей. Конечно, сотрудники музея прекрасно знают, что нет уже в этом доме продолговатого холла, простиравшегося тут же за входными в здание дверьми. А мне запомнился там столик и телефон ВЧ, по которому той же ночью в Москву, в редакции центральных газет дозванивались военные журналисты. Застроен комнатами и коридор, по которому первыми вошли в зал маршал Жуков и с ним представители союзного командования, наши дипломаты. А потом через некоторое время по велению председательствовавшего на заседании маршала Жукова по этому коридору, громко отбивая каблукками правский шаг, промаршировали немцы. Первым в проеме дверей появился Кейтель в парадном светло-сером мундире, при всех орденах, с Железным крестом на груди. Он напыщенно приветствовал победителей взмахом фельдмаршальского жезла.

Теперь эта дверь забита, застроен и балкон на втором этаже, но зато появилась новая дверь у задней стены, ведущая в небольшой кинозал. Здесь для посетителей демонстрируется фильм, заснятый в ночь с 8 на 9 мая. То, о чем кратко рассказывает экскурсовод, можно увидеть в кадрах документальной ленты, запечатлевших для истории процедуру капитуляции. Фильм показывают после осмотра мемориального зала. Но самое сильное и глубокое волнение охватило меня именно в зале, где все можно увидеть воочию, ощутить неповторимую подлинность обстановки.

Хотя глаза мои невольно замечали какие-то детали, совпадающие или не совпадающие с тем, что сохранила память, главным для меня в эти минуты было радостное, если не сказать ликующее, чувство узнавания былого, удивительное ощущение как бы заново переживаемых сейчас торжественных и исторических минут.

Со своей звукозаписывающей аппаратурой мы располагались тогда в самой глубине правого угла зала, метрах в восьми от стола президиума. Примыкал к нему в середине столик для двух переводчиков — на английский и немецкий. Наши микрофоны были установлены тут же. Чуть поодаль находился стол для немцев, за который потом уселись Кейтель, Фридебург и Штумпф. За их спинами выстроились трое адъютантов в соответствующих мундирах родов войск — армии, флота и авиации разгромленной нацистской армии.

В течение всего заседания, продолжавшегося от двадцати четырех часов 8 мая и до ноль часов сорока пяти минут 9 мая, я вел на листе бумаги поминутную запись це-

ремонии в дополнение к тому, что фиксировались через микрофон на пластинку каждое слово, каждый звук.

Две краткие речи маршала Жукова — при открытии и в заключение заседания. Два «яволь» Кейтеля в ответ на вопрос председательствующего, ознакомилась ли немецкая делегация с Актом о полной и безоговорочной капитуляции и готова ли она его подписать. Слова и команды переводчиков, относящиеся к немцам. Немного событийных эпизодов, еще меньше слов.

Но зато как насыщены были эти сорок пять минут эмоциональным напряжением, как выразительны были лица, жесты, глаза, улыбки, как контрастировали ликование и злорадство, радость и ненависть, бессильная, с трудом сдерживаемая! Всем запомнился высокий, с пробором в темных гладких волосах, с Железным крестом на груди адъютант, стоящий за спиной Кейтеля. С какой злобой во взгляде он все время смотрел на маршала Жукова, на других генералов.

Ну, а сам Георгий Константинович! Он почти не смотрел на Кейтеля, Фридебурга, Штумпфа, словно бы его больше не интересовали бытые нацистские вояки, по сути дела именно в эти последние часы войны выбрасываемые на свалку истории. Никогда мне не забыть спокойного, по-деловому слегка озабоченного, сильного и прекрасного в своей волевой сосредоточенности лица маршала Жукова. Он то разговаривал с сидящими рядом генералом Соколовским и дипломатом Вышинским, то подписывал документы, то задумчиво поглядывал куда-то в глубину зала, поверх голов Кейтеля, его сопровождающих и адъютантов.

Закончилась процедура, и майор-переводчик громко передал команду: «Немецкая делегация может покинуть зал». И опять натянуто-вычурным жестом Кейтель выбросил вперед руку с фельдмаршалским жезлом. Круто повернувшись, вновь отбивая ударами сапог прусский шаг, немцы удалились в глубь коридора.

И тогда словно бы вздох радостного облегчения пронесся по залу. На хорах загремел духовой оркестр. Зажглась еще одна люстра, и стало еще светлее. Раздвинулись портьеры на окнах, и на площадку перед домом, где сейчас находятся ухоженные газоны и выставка старого оружия, брызнул свет из первых незамаскированных окон в Берлине. Это был свет мира, окончательного мира, наступившего в столице, во всей Германии, во всей Европе...

...В одной из комнат карлсхорстского музея висит ныне военная форма маршала Жукова. Висит недавно. Это парадный мундир со многими рядами орденских планок, с четырьмя Золотыми Звездами Героя Советского Союза. Здесь же выставлен и мундир маршала Конева. Личные вещи военачальников — это такие же ценные экспонаты, как и карта наступления, как диорама взятия рейхстага. Наверно, с согласия самих маршалов мундиры привезены именно сюда, в Берлин, где так блестяще была увенчана победой их многолетняя трудная ратная жизнь.

Начальник музея, молодой офицер, капитан Севастьянов Вячеслав Михайлович, попросил меня сказать несколько слов в мемориальном зале, когда туда вошла очередная группа посетителей. Это были сначала советские туристы, потом берлинские рабочие, среди них и строители. Возможно, тут находились коллеги по работе Курта Бромберга и Герберта Кольмана. В этой группе я представил себе Анатолия Суворцева, мысленно я обращался и к нему. Капитан Севастьянов представил меня как журналиста, который был в этом зале в ночь с 8 на 9 мая. Я стал рядом с ним на мягкий ковер как раз напротив того стола, за которым в ночь с 8 на 9 мая сидели Кейтель, Фридебург и Штумпф. Как передать те ощущения, с которыми я вновь притронулся к этому столу, к микрофону и к еще одному маленькому столику, примыкавшему к торцу стола президиума? Сюда по указанию маршала Жукова переместились представители немецкого командования, когда им пришлось подписывать Акт о капитуляции.

Сотрудники мемориала в Карлсхорсте, как и полагается в таком учреждении, ведут исследовательскую работу, собрали обширную библиотеку книг, главным образом военных мемуаров, связанных с Берлинской операцией. Здесь хранятся и расширяются музейные фонды 5-й ударной армии, которой командовал генерал Берзарин, других армий и соединений.

Капитан Севастьянов с огорчением заметил, что никак не может установить фамилию дирижера, руководившего военным оркестром в ночь капитуляции. Спросил,

не помню ли я. Нет, я не помнил, не поинтересовался тогда, а по журналистской до-тошности, наверно, это надо было сделать.

Мне понравилось рвение молодого начальника музея. Независимо от значения того или иного лица, принимавшего участие в процедуре, в музее надо знать о нем все, ведь из подробностей и вырастает впечатляющая картина, я бы сказал — художественный образ события, которое нельзя именовать иначе как великим. Надо ли поэтому удивляться тому, что подробности и детали мемориала многим посетителям хочется запечатлеть для себя. В музее разрешено фотографировать. И щелкают аппараты около диорамы и карты нашего наступления на центр Берлина, около большой фотокопии первого приказа, подписанного маршалом Жуковым и генералом Берзариным, объявившего о начале мирной жизни в городе, у боевых знамен и плакатов тех дней. Снимаются и около фотографий, изображающих помощь нашей армии населению города, и широко-известных снимков, показывающих, как солдаты-повара разливают суп из полевых кухонь в миски и ведра голодных берлинцев.

Фашизм повержен, и прошлое никогда не вернется. Как хорошо, что об этом говорит музей своим посетителям, которых много и в жаркий август и в метельный февраль, когда опущены снегом мохнатые лапы небольших елочек в парке вокруг здания и ветер колеблет алое полотнище на высоком флагштоке у парадного входа.

11 ноября 1949 года, в год образования Германской Демократической Республики, в Мемориальном зале Берлин-Карлсхорст состоялась еще одна торжественная церемония — передача функций управления государством премьер-министру Отто Гротеволу. Соответствующий Акт вручал генерал-полковник В. И. Чуйков. Фотография, изображающая это событие, — украшение и гордость карлсхорстского мемориала. Поистине высокий дух мемориала — это дух пролетарского интернационализма и братской дружбы, точно и емко выраженный в кратком вступлении к иллюстрированному путеводителю по музею. А там сказано: «Рука, державшая меч, раскрылась нам для дружеского рукопожатия, и мы в ГДР с радостью приняли эту руку!»

### СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В середине июня семьдесят третьего года Анатолий Суровцев вместе со своим товарищем по комбинату бригадиром Николаем Денисовым, начальником управления Героем Социалистического Труда Г. И. Ламочкиным и главным экономистом комбината П. Д. Косаревым по приглашению Вонунгсбаукомбината прилетели в Берлин на празднование Дня строителя ГДР.

Для Суровцева эта поездка в ГДР была уже третьей. Однако, как и в первый раз, он ощущал все тот же ничуть не померкнувший и не погасший интерес к поездке, все то же состояние перегруженности разнообразными впечатлениями, жажду новизны. Воздушное путешествие содержит в себе возможность резкой, быстрой и приятно возбуждающей перемены обстановки. Два часа полета — и вот уже подступы к аэродрому Шёнефельда; под крылом самолета очертания Берлина, многоцветный, многоликий городской пейзаж.

Как мы все ни привыкли к воздушным перемещениям, а все же каждый полет — это малое чудо. Едва строители успели перекусить в самолете, едва познакомились с соседями, с группой ученых, среди которых был восьмидесятидвухлетний академик, не уставший летать, путешествовать и общаться с зарубежными коллегами, как уже полет закончился и можно было, выйдя на трап, вдохнуть всей грудью воздух Шёнефельда, пахнущий нагретым асфальтом, машинным маслом и острым холодком бензина.

Все дороги от аэропортов в центр больших городов похожи в главном. Широкая асфальтированная лента, дорожные знаки, встречные потоки машин, постепенная нарастающая густота строений слева и справа от шоссе, большие промышленные сооружения. Дорога от Шёнефельда в центр Берлина не составляет в этом смысле исключения. И все же есть здесь своя особенная. Это аккуратность и чистота, прямолинейность планировки, это начало того главного архитектурного мотива, той градостроительной увертюры, которая потом мощно развернется уже на окраинах города.

В июньский ясный и солнечный день казались особенно оживленными и Карл-Маркс-алле, и Александерплац, и подъезды к берлинскому небоскребу — гостинице «Штадт Берлин», возведенной строителями Вонунгсбаумкомбината. Здесь и остановились гости из Москвы.

На следующий день началась программа Дня строителя — встречи, новые знакомства непосредственно на строительных площадках, на заводах, деловые совещания на комбинате. Одно из них более других запомнилось Суровцеву, быть может, потому, что было многолюдным, самым, если можно так выразиться, многоязычным, что наиболее полно выразило интернациональный дух праздника, широту связей и контактов строителей социалистических стран. В этот день все делегации собрались в зале ресторана «Москва». Мне потом рассказывал Анатолий Михеевич с улыбкой легкого смущения, которое не так уж часто появляется на его лице, что в тот день его более всего удивил большой «круглый стол», как на важных международных конференциях, с местами для делегаций из Польши, Венгрии, Болгарии, Чехословакии.

На этом совещании Суровцев с большой определенностью почувствовал, что у строителей в социалистических странах много общих проблем и общих закономерностей в практике домостроительных комбинатов. А если и имеются различия, то в частности, в поисках своих подходов к решению проблем, в том или ином национальном своеобразии работы. Нагляднее же всего все это раскрывалось в непосредственной практике строительства, на рабочих площадках. Вот туда-то Суровцев и поехал на следующий день после совещания. Поехал в бригаду к своему другу Курту Бромбергу, с которым увиделся еще на аэродроме Шёнефельд, когда Курт встречал московских друзей. Едва они обнялись и поздоровались, в аэропорту, а затем в машине по пути в город и на заседании за «круглым столом» Суровцев настойчиво повторял Бромбергу, что главное, зачем он теперь приехал, то самое важное, чем он намерен заняться сейчас, это проблема качества.

Любая строительная организация — это развивающийся общественный организм. Как всему живому, ему свойственны различные периоды жизнедеятельности. Случаются и периоды трудные, переломные, а порою даже и кризисные, когда идет суровая переоценка сложившейся практики. Именно такое и случилось в семьдесят третьем году. Для московского комбината наступило трудное время. Тот типовой девятиэтажный дом, который долгое время возводили все двадцать потоков комбината, уже не устраивал ни москвичей, ни самих строителей. Началась перенастройка строительного конвейера на другой тип дома — шестнадцатизэтажный. И поиски новых качественных решений при сохранении высоких темпов, ежегодного прироста объемов и производительности труда. И не случайно в то лето несколько групп строителей выехали в столицы социалистических стран, в том числе и в Берлин, чтобы перенять лучшие достижения в процессе взаимного обмена опытом.

Как-то Суровцев сказал Бромбергу, когда они ходили по строительной площадке в Берлине:

— Вот, Курт, дома у вас серийные, а смотри — какие же они все не похожие друг на друга. В каждом какое-то отличие. И по конструкции и по цвету. Керамические плитки вон у вас какие веселенькие — голубые, красные, желтенькие. И глазу и душе приятно.

— Это так. — Курт кивнул, соглашаясь.

— Мне нравится, — продолжал Суровцев, — что все входы в дома смотрят на главную магистраль. Это улице придает нарядность. И торцы зданий все разные, а не на одно лицо.

— Все это требует и труда больше, — заметил Бромберг.

— Само собою. Но ведь ты, Курт, понимаешь, — и тут Суровцев выразительно вздохнул, — что не все зависит и от нашего труда. А если нет соответствующих материалов? Заводы не изготовляют крупноразмерную глазурованную плитку. А если где-то и начинают делать, то одного цвета. Скажем, салатно-белого. И все дома получатся как близнецы. И свой-то дом не сразу найдешь.

Курт усмехнулся. Может быть, он хотел сказать, что было время, когда эта похожесть и однообразие мешали и берлинским строителям создавать красивые и эстетически впечатляющие кварталы. И что недовольство Суровцева ему понятно.

— Мы работаем с архитекторами. Тут многое от них зависит. Это архитекторы помогают нам придумать что-то новое, на другое не похожее для каждого дома. Чтобы он имел свою физиономию,— заметил Бромберг.

— Вот это хорошо! — воскликнул Суровцев. — Вот это то, что всем нам надо! Курт, у вас и порядка на строительной площадке больше,— с самокритичной беспощадностью к себе заметил тогда Суровцев. — Как будто бы и мусора-то нет. А мы у себя убираем, убираем. И черт его знает, откуда он берется?

— Привычка к аккуратности есть, конечно, в нашем народе,— сказал Бромберг. — Мы и детей приучаем к исполнительности и аккуратности. С детства. А все же, Анатолий, я больше верю в хорошую организацию труда. И требовательность. Если много с себя спрашиваешь, то можешь спокойно требовать и с других. Они поймут. И будут делать. Так ведь и привычки вырабатываются — от усилий, от труда.

— Я согласен,— ответил Суровцев и был в этом искренен.

Он с удовольствием слушал Бромберга. Всегда получаешь удовлетворение от того, что твои мысли совпадают с тем, что думает, как смотрит на мир твой товарищ по труду, по профессии.

— Я хочу подчеркнуть, что поощрение здесь очень важно,— живо откликнулся Суровцев с желанием развить эту тему о требовательности, о качестве работы. — Конечно, и у вас и у нас есть премии, если бригада сдала дома на отлично. Но знаешь, Курт, я бы их увеличил. Я бы больше вознаграждал именно за качество, и не только деньгами. Не одним рублем, как говорится, жив человек! И я добавлю — рабочий человек! Качественная работа — она требует почета, большого уважения от общества.

— Да, да,— кивал Бромберг.

Но Суровцев высказал не все. Не случайно кто-то в управлении прозвал его рыцарем качества. Он гордился этим неофициальным званием и действительно много думал о том, как надо теперь работать, и частенько беседовал об этом со своими ребятами в бригаде. Поэтому, помолчав немного, он добавил:

— Понимаешь, Курт, количество — это хорошо, это необходимо, и штука это определенная и ясная, ее всегда измеришь. А качество — это твое старание, душа твоя, ему предела нет, качество — это совесть рабочего!

Так, разговаривая, они переходили с этажа на этаж только что выстроенного, уже сданного комиссии, но еще не заселенного типового здания. Ходить по такому чистенькому дому, где все, как говорится, пока еще с иголочки, все новое, блестит, сверкает, всегда приятно. Площадки на этажах, еще пахнущие бетонной крошкой, краской, квартиры с запахом свежей столярки — все это радовало сердце строителя Суровцева. И пока они ходили по квартирам, он все расспрашивал Бромберга о заделке швов между наружными панелями. На московском комбинате тогда существовала практика плотного заделывания наружных швов твердой бетонной массой. Но все здания со временем дают осадку, нередко часть бетона при этом выкрашивалась, и через щели в квартиры начинала проникать влага. Теперь Суровцев видел, что немецкие коллеги поступали по-иному. У них пазы панелей плотно входили друг в друга, а кроме того, на стыках прокладывались шнуры из синтетического материала. Они-то и задерживали любую влагу. Еще Суровцева удивило, что немцы не белят стены, а только клеят обои, это быстрее и выглядит наряднее.

— А что, если мы пришлем к вам наших маляров подучиться?

— Пожалуйста,— развел руками Бромберг.

Суровцев слышал от Ламочкина, что делегация договорилась с руководством берлинского комбината о посылке в Москву нескольких маляров. В ГДР этой профессией занято немало мужчин. Выходило, что и в малярном деле могут быть свои профессора.

— Заделка швов между панелями нас особенно беспокоит,— сказал Суровцев Бромбергу. — Вот как у вас просто и хорошо выходит. Хорошо бы нам это перенять.

— Будем очень рады,— откликнулся Бромберг. — Мы давно в долгу перед вами.

— За что же?

— А система комплектации, скоростные графики монтажа. Мы быстрее стали строить дома. По вашему примеру.

— Ну, если так... А вообще-то, Курт, я частенько думаю: что такое соревнование? — спрашивая и тут же живо отвечая себе, продолжал Суровцев. — Если человек

соревнуется, то он как бы берет на себя обязательство быть душевно щедрым. Есть люди, которые любят дарить. Легко подарить какую-то вещь, но труднее — то, что нашел, чего сам трудом добился.

Бромберг слушал заинтересованно.

— А мы, соревнующиеся, дарим это друг другу и никогда не жалеем потом. Чем больше даришь, тем больше приобретаешь в конечном счете. Это благородный обмен, от которого и жизнь богаче и дело наше общее быстрее идет вперед. Согласен, Курт? — спросил Суровцев.

Курт Бромберг только кивнул и молча, но выразительно пожал Суровцеву руку.

*(Окончание следует)*



---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. Б. ХРАПЧЕНКО



## ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

I

**И** значение искусства и литературы, их судьбы в современную эпоху в последнее время привлекают к себе пристальное внимание писателей, социологов, философов, искусствоведов. В горячих дискуссиях, которые ведутся по этим вопросам в мировой печати, наиболее крайние суждения высказываются воинствующими представителями ультралевого интеллигенции на Западе. Художественное творчество, заявляют они, утратило свое былое значение, прежнее место в духовной жизни людей. В важнейших своих видах и формах оно стало, в сущности, бесполезным, ненужным и будет быстро отмирать. Но этот процесс вовсе не исключает того, что различные явления современного искусства выполняют негативную функцию.

Некоторые левые писатели и критики особо подчеркивают следующую мысль: произведения литературы и искусства, создаваемые в наши дни в капиталистическом обществе, неизменно выражая буржуазную идеологию, оказывают отрицательное воздействие на публику и потому должны быть решительно отвергнуты.

Что же приходит на смену художественному творчеству, согласно взглядам его немолчаливых ниспровергателей? По этому поводу среди левых теоретиков и «практиков» существуют разные точки зрения. Одни из них настаивают на развитии «антиискусства», под которым нередко понимают создание разного рода «предметных» конструкций либо даже те или иные комбинации «впечатляющих» вещей; в литературе это замена «вымысла» документально-публицистическими жанрами, репортажами. Другие

ниспровергатели искусства ставят превыше всего словесное и всякое иное экспериментаторство, третьи защищают необходимость появления новой системы знаков, обозначений, способной заменить образное раскрытие мира, и т. д.

По решительности отрицания роли художественного творчества с позициями ультралевого в определенной степени сопрягаются идеи тех кибернетиков, «молодых» физиков, которые считают, что бурный рост современной науки и техники оттесняет искусство, особенно у молодежи. При этом выдвигалось и нередко выдвигается сейчас положение, что литература и искусство не оказывают заметного влияния на развитие общества. В наши дни они неспособны дать их «потребителям» что-либо важное, весомое в сравнении с наукой. Споры «физиков» и «лириков», взволнованно обсуждавших эти вопросы, в сущности, не прекратились. Но теперь эти споры приобрели в немалой степени кулуарный характер.

Современные ученые, разумеется, высказывают и иные точки зрения. Одна из них состоит в том, что искусство, несомненно, обладает общественной ценностью. Однако его эволюция в XIX и XX веках, крупные изменения, характеризующие его «жизнь», зависели и зависят от развития науки и техники. И это особенно ясно, по мнению сторонников такого взгляда, проявляется в эпоху нынешней научно-технической революции, глобальным образом воздействующей на общество, его духовную культуру.

Единственный путь, который сулит настоящие завоевания современному искусству, часто заявляют ученые различных



специальностей, — это сближение его с наукой. Только тут для него и открываются реальные перспективы, новые возможности. Да и о чем спорить? — с горячностью заявляют некоторые литературоведы и искусствоведы. Ведь искусство уже вступило на этот путь и, идя по нему, достигло в последние годы немалых успехов. Никто не станет отрицать, продолжают эти новые участники дискуссии, того, что современной литературе, театру, кинематографу свойственно широкое обращение к реальным фактам жизни, к документам как основе литературных, сценических произведений. Документализм представляет собой знамение эпохи. Уже сейчас он становится одним из ведущих направлений в современном искусстве. В его значительном росте и укреплении, в большом тяготении к нему и выражаются в первую очередь процессы сближения искусства с наукой. Они касаются не только объектов художественного исследования, но и самих его методов. Вот лишь некоторые из тех многих суждений о судьбах художественного творчества в современную эпоху, которые представляют несомненный интерес в разных планах — как в силу их известных соприкосновений между собой, так и вследствие их различий.

Следует сразу же сказать, что развитие современной литературы и искусства, основные начала, ферменты их роста реально выявляются в неизмеримо более сложном виде, чем они представляются сторонникам быстрых и безапелляционных приговоров, прямолинейных решений. Но как бы ни были спорны или просто неприемлемы эти приговоры и решения, важно выяснить их происхождение, общественный смысл нигилистических теорий, а затем попытаться определить действительные соотношения искусства и науки, которые составляют одну из фундаментальных проблем современной эстетики.

Во взглядах радикальных ниспровергателей искусства можно проследить по крайней мере две основные тенденции. У одних теоретиков и «практиков» отрицание художественного творчества своим источником имеет негативное отношение к самой возможности и целесообразности воплощения в произведениях искусства общезначимого, объективных художественных ценностей. Крайние модернисты всегда считали, что художественная деятельность должна быть решительно отделена от тревог и волнений жизни. На протяжении десятилетий

в центре их внимания было создание искусства чистых форм. Уход от действительности, калейдоскопическая смена разного рода школ и направлений, полностью отвергавших как предшественников, так и своих соседей, привели к тому, что, в сущности, исчез предмет, объект искусства как общее, исходное начало творческого труда. Цели, которые так или иначе увлекали художников, становились столь аморфными и неясными, что они оказались не в состоянии стимулировать настоящее творчество.

Отказ от искусства в среде крайних модернистов не явился чем-то неожиданным. Идеи эти созрели постепенно в течение сравнительно длительного времени. Отрицание художественного творчества модернистами представляет собой историческое и логическое следствие того постепенного разрушения искусства, которое достаточно ясно сказалось в абстракционизме, поп-арте и многих других модернистских течениях. И в своих общих предпосылках и в своих конкретных формах явление это несомненно одно из выражений глубокого кризиса буржуазной художественной культуры, которая в значительной степени утратила свои связи с реальным миром, человеком нашего времени, не в состоянии ответить на духовные потребности людей современной эпохи.

На левых деятелей культуры, в той или иной мере связанных с демократическим движением, на их отношение к художественному творчеству сильное влияние оказывает подчеркиваемая ими обособленность литературы и искусства капиталистических стран от коренных процессов жизни, в особенности жизни людей труда. По их мнению, здесь — помимо всего иного — обнаруживается неспособность художественного творчества проникнуть в сущность современных социальных явлений, приблизиться к удовлетворению духовных запросов демократических слоев общества. На этой основе и возникают идеи о бесплодности художественного творчества, идеи, которые известным образом соприкасаются со взглядами «правверных» модернистов.

Немецкий писатель (ФРГ) Ганс Магнус Энциенбергер писал о том, что у литературы и искусства капиталистического мира «не существует сколько-нибудь важной общественной функции», «политическая безвредность всей литературной и даже всей художественной продукции видна невоору-

женным глазом». Вследствие всего этого, как утверждает Энциенсбергер, «литераторы празднуют конец литературы. Поэты доказывают себе и другим невозможность создания поэзии».

К этим мыслям Энциенсбергера очень близки высказывания и ряда других западноевропейских и американских писателей, теоретиков. «Можно сказать,— заявляет Петер Хотьевич,— что литература как таковая полностью элиминирована, осталось лишь одно воспоминание о том, что она была». Французский критик и литературовед Ролан Барт подчеркивает: «Когда искусство скомпрометировано пред историей и обществом, в самих художниках рождается стремление разрушить его».

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что левые деятели культуры, причисляющие себя к демократическому или даже революционному направлению мысли, в оценке современного художественного творчества колеблются между отношением к нему как бесполезному и признанием его, напротив, действенным, но наносящим идейный вред вследствие его буржуазного характера. И если Энциенсбергер обосновывает первую точку зрения, то, например, французский писатель Филипп Соллерс защищает вторую.

Относятся весьма критически к современной литературе и искусству, Ф. Соллерс находит крайне необходимым «попытаться разоблачить то, что буржуазия напыщенно называет творчеством», разоблачить ту мистификацию, от которой оно неотделимо. В противовес образному освоению мира Ф. Соллерс и его соратники из группы «Тель-Кель» на первый план выдвигают изучение языка, лексические и синтаксические эксперименты. Язык, с их точки зрения, является важнейшим средством господства буржуазии. Поэтому «борьба за присвоение и кодификацию языка теснейшим образом связана с классовой борьбой». Необходимо «сделать каждого активным обладателем языка — такая программа интеллектуального авангарда, связанного с революцией». В том же духе высказывается и видный теоретик французского неоавангарда Ж.-П. Фай: «...создание нового общества начинается с нового языка, которому предстоит сформировать, определить это общество».

Нет никакой необходимости доказывать совершенную наивность, иллюзорность этих взглядов. В свое время Б. Брехт по

другому поводу высказал суждение, которое в полной мере может быть отнесено и к неоавангардистам: «...они освободились от грамматики, но не от капитализма».

И тем не менее при всей своей иллюзорности взгляды неоавангардистов демократической ориентации отражают, нередко в весьма искаженной форме, реальные противоречия социальной жизни буржуазного мира, противоречия культурного развития в условиях капитализма. В отношении к искусству как чему-то ненужному либо чуждому по-своему преломляются процессы отрыва культуры, художественной в частности, от широких слоев народа, людей труда, процессы, которые происходят несмотря на то, что современное буржуазное общество создало массовую коммерческую культуру, которая в значительной своей части представляет собой не что иное, как суррогат, имитацию подлинных культурных ценностей.

Интересные факты, касающиеся разобщения культуры и демократических слоев общества, приводит французский исследователь Ален Ланс. Каждый второй француз, сообщает он, вообще не читает книг. Среди рабочих и крестьян процент людей, не пользующихся и не имеющих возможности пользоваться книжной продукцией, значительно выше. Не читают книги трое из четырех рабочих, четверо из пяти крестьян. 32 департамента Франции не имеют библиотек с выдачей книг на дом и т. д.

Во многих капиталистических странах телевизор стал всеобщим заменителем культуры. И при этом, несмотря на его широкую распространенность даже в такой развитой стране, как Италия, значительные слои населения не пользуются им. Существенно то обстоятельство, что большее число телезрителей в Италии не владеют грамотой. Но и грамотность в капиталистических странах далеко не всегда служит средством приобщения к культуре. Из 100 итальянских телезрителей 65 никогда не читают книг, и отнюдь не только вследствие своей неграмотности, 15 пользуются ими крайне редко. 43 человека из них никогда не читают газет, 6 покупают газету раз в неделю, 4 — один раз в пятнадцать — двадцать дней. Большинство итальянских телезрителей (51 процент) никогда не ходят в кино<sup>1</sup>. Сходные явления характери-

<sup>1</sup> А. В. Кукаркин. Буржуазное общество и культура. М. Политиздат. 1970, стр. 285.

зуют развитие культуры и ряда других капиталистических стран. В условиях всеобщего кризиса капитализма отмеченные процессы и тенденции проявляются значительно резче.

Но суть вопроса не сводится к простой констатации такого рода фактов и тенденций. Из них можно сделать разные выводы. Исторически наиболее оправданным является тот вывод, что передовую культуру надо сделать достоянием народа, а для этого надо изменить социальный порядок, мешающий развитию творческих сил людей труда, освоению ими лучших культурных ценностей. Но возможными оказываются и иные умозаключения, взгляды — отказ от художественного творчества, от многих завоеваний культуры, по крайней мере до тех пор, пока какие-либо трансформации вроде, например, перестройки языка не создадут более совершенного общества.

Все эти умозаключения при несомненной связи их с коллизиями современного буржуазного общества одновременно свидетельствуют о том, что ультралевые весьма далеки от истинного понимания подлинных потребностей и стремлений народа. В то время как демократические слои капиталистического общества в приобщении к знанию, передовой культуре видят важное средство для достижения больших исторических целей — социальной справедливости, изменения самой структуры общества, — левые ниспровергатели надеются, что движение вперед человека и общества может произойти с помощью «освобождения» людей труда от культуры.

При этом решительно игнорируется опыт социалистических стран, который необычайно убедительно показал, что переустройство социальных отношений, с одной стороны, открывает широчайший доступ трудящимся к общечеловеческим ценностям культуры, а с другой — освоение завоеваний отечественной и мировой культуры является подлинным катализатором творческой энергии трудящихся, мощным стимулом их созидательного труда, труда по строительству нового общества.

Игнорирование опыта реального социализма с особой отчетливостью выявляет ограниченность и уязвимость культурных концепций ультралевых теоретиков. Стремление не замечать важные исторические факты никогда не приводило к большим

теоретическим завоеваниям. И более эффективные, на первый взгляд убедительные концепции терпели крушение, когда они противоречили тенденциям, законам исторического развития. Столкновение общих выводов, программы левых ниспровергателей культуры с ходом социальной, духовной жизни современного общества в достаточной мере очевидно.

«Забывчивость» ультралевых в отношении культурной политики и практики реального социализма представляется тем более странной, что они во многом повторяют теории некоторых советских деятелей культуры 20-х годов. Приверженцы футуризма, Пролеткульта, а затем и Лефа, как известно, решительно настаивали на том, что литература и искусство в своих прежних — дореволюционных — формах полностью изжили себя. То, что называется классической литературой, классическим искусством, считали они, совершенно не нужно пролетариату. Новому обществу чужды сам характер, сущность деятельности, которой прежде были заняты писатели, художники, композиторы.

Видный теоретик футуризма, а позже и Лефа, О. Брик писал: «Сапожник делает сапоги, столяр столы. А что делает художник? Он ничего не делает; он «творит». Неясно и подозрительно... Коммуне ни жрецы, ни дармоеды не нужны. Только люди труда найдут в ней место. Если художники не хотят разделить участь паразитирующих элементов, то должны доказать свое право на существование. Труд художника должен быть точно определен и зарегистрирован в списках коммунальной биржи труда»<sup>2</sup>. Автор статьи далее заявляет, что художники, которые только умеют «творить» и «где-то там служить красоте», неизбежно погибнут. Однако есть художники, которые готовы делать полезное для пролетариата дело.

Искусство, заявляли многие теоретики футуризма, Пролеткульта, Лефа, должно слиться с производством, раствориться в жизни. Живописцам и скульпторам вместо картин и скульптур нужно создавать, конструировать разного рода вещи, которые могут найти себе широкое применение. Литераторы призваны писать агитационные, публицистические произведения. Непосредственная практическая польза

<sup>2</sup> О. Брик, «Художник и коммуна» («Изобразительное искусство», 1919, № 1, стр. 25—26).

должна быть целью деятельности представителей и всех других видов искусства. А рядом с этим в среде футуристов процветал культ «самовитого» слова, с которым несомненно перекликается словесное экспериментаторство некоторых французских авангардистов.

В середине 20-х годов левовцы выдвинули теорию, согласно которой новая литература должна стать литературой факта. Репортаж, описание реальных значительных событий и фактов — вот что нужно обществу, вот чем должны заниматься писатели, если они не хотят стоять в стороне от жизни, если они не намерены отгородиться от требований, которые она предъявляет к ним. Литература художественного вымысла — это прошлое, к которому нет возврата.

Близость идей современных ультралевых к положениям, которые защищали некоторые нигилистически настроенные деятели советской культуры в 20-е годы, бесспорна. Во взглядах тех и других ясно проявляется левацкое упрощенчество, которое в разных формах нередко возникает в переломные периоды общественного развития, эпохи острой социальной борьбы. Отличительную черту левацких упрощенцев составляет не только их нежелание видеть сложность происходящих процессов, не только их неспособность тщательно анализировать социальные явления и делать из анализа трезвые и дальновидные выводы, но и неудержимая склонность ко всякого рода «крайностям», экстремизму, склонность, которая у деятелей культуры временами проявляется в виде анархической словесной бравады.

«Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., проч. с Парохода современности», «Сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы», — провозглашали футуристы и некоторые пролеткультовцы. Сходные идеи звучат и во многих выступлениях современных ультралевых. В этом смысле, может быть, особенно примечательно высказывание Ж.-П. Сартра. В интервью корреспонденту журнала «Эсквайр» в ответ на вопрос, пытался ли бы он помешать сторонникам «культурной революции» сжечь Национальную библиотеку, Мону Лизу и другие ценности искусства, культуры, Сартр заявил: «Что касается «Моны Лизы», то я позволил бы ее сжечь, даже ни минуты не раздумывая, но при этом, вероятно, попы-

тался бы предохранить некоторые другие вещи. Удалось ли бы это мне — другой вопрос...»<sup>3</sup>.

Сартр разделяет принципы маоистской «культурной революции», сторонники и участники которой отнюдь не ограничивались словесной бравадой и подвергли уничтожению немало ценнейших памятников культуры китайского народа. Дистанция между левой анархической фразой и разрушительными действиями здесь была довольно быстро преодолена.

В свете общественных и идейных событий XX века с особой силой выступает историческая прозорливость В. И. Ленина. Последовательно отстаивая бережное отношение к культурному наследию, защищая необходимость освоения и переработки всего ценного, что есть в культуре прошлого, он неизменно подчеркивал огромную важность формирования нового большого искусства, которое сможет и должно стать достоянием широчайших слоев трудящихся. Подлинный революционер, В. И. Ленин со всей решительностью отвергал мнимореволюционные взгляды, программы футуристов и пролеткультовцев, он ясно видел живые связи культурного наследия с настоящим и будущим, перспективы роста художественной культуры социализма.

Претворение в жизнь ленинских принципов явилось идейной основой, существеннейшим фактором развития нового, динамичного, богатого по содержанию и своим формам искусства в нашей стране, позже и в других странах социализма, искусства, которое занимает важное место в современной мировой культуре. Его значение в духовной жизни общества неуклонно возрастает. В решениях XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза отмечено, что неотъемлемой частью роста нашего общества в предстоящие годы является «дальнейшее повышение роли социалистической культуры и искусства в идейно-политическом, нравственном и эстетическом воспитании советских людей, формировании их духовных запросов».

Время показало, что судьбы литературы и искусства в современном мире в значительной мере связаны с развитием и укреплением социализма, с освободительной борьбой рабочего класса, широких слоев

<sup>3</sup> «Литературная газета», 14 ноября 1973 года.

трудящихся в капиталистических странах, с национально-освободительным движением. И что бы ни говорили апологеты буржуазного образа жизни о неизбежности упадка искусства в условиях, когда мастера культуры создают идейные, художественные ценности для народа, факты решительно противостоят их предвзятым теориям и суждениям.

В то же время история искусства XX века с полной очевидностью подтверждает правильность положения Маркса о враждебности капитализма «известным отраслям духовного производства, например, искусству и поэзии». Этому вовсе не противоречит то обстоятельство, что со времени Маркса капитализм создал целую индустрию по производству искусства массового потребления. Ведь Маркс имел в виду подлинное искусство, подлинную поэзию, а не подделку под них, каким чаще всего является массовое коммерческое искусство. Широчайшее его распространение предпринимателями имеет своей целью не только извлечение прибыли, хотя это является важнейшей стороной дела, но и внедрение в общественное сознание «охранительных», реакционных идей. Враждебность капитализма известным отраслям духовного производства получает свое продолжение в создании им массового коммерческого искусства, в значительной своей части чуждого подлинным человеческим стремлениям, враждебно прогрессу.

## II

Развитие современной литературы и искусства — и это в общих чертах очевидно — близко соприкасается с гигантским и быстрым ростом науки и техники в нашу эпоху. Как уже отмечалось, некоторые теоретики полагают даже, что и судьбы искусства, литературы определяются той ролью, которую научно-техническая революция играет сейчас и призвана выполнять в будущем.

Каковы же реальные соотношения и связи искусства и науки, каково их место в жизни человека и общества? В чем различия и черты общности между ними? Какие изменения в роли и функции того и другого вида культуры произошли в нашу эпоху? Вопросы эти отнюдь не новые, особенно первых два. Они давно составляют предмет напряженных раздумий, и не только художников, но и ученых. Часто они становятся объектом углубленных ис-

следований. Обостренное внимание к ним в наше время объясняется прежде всего тем, что значение науки, ее реальное влияние на развитие общества сильно возросло. В связи с этим и возникают, во-первых, стремления произвести переоценку различных факторов социальной и духовной жизни человека, а во-вторых, появляется невольное желание представить исторические взаимодействия науки, техники и искусства в соответствии с той новой моделью их соотношений, которая, однако, учитывает лишь некоторые стороны современного их поступательного движения. Прошлое модернизируется в духе современных «концепций», и сама эта модернизация используется в качестве существенного аргумента в пользу новой модели.

Однако как в прошлом, так и в настоящем взаимоотношения искусства, науки и техники отнюдь не однозначны, они многогранны и нередко достаточно противоречивы. И именно потому, что события и процессы исторического прошлого, рассмотренные непредвзято, помогают понять современные явления, нам не обойтись без обращения к историческим фактам.

Итак, немного истории. Периоды в той или иной мере гармонического сочетания наук и искусств зачастую чередовались с временами их разноречий и расхождений. Восхищение развитием науки и техники нередко сменялось скептическим отношением к ним. XVIII век был веком культа разума, науки, научных знаний. Поэты воспевали и сами науки и выдающихся ученых, прославивших себя крупными открытиями. Поэзия науки особенно широко была представлена во Франции. В русской литературе этого времени тема действительной силы науки нашла свое воплощение в произведениях Ломоносова, Радищева, Карамзина и других писателей.

Завоевания научного, технического прогресса привлекали к себе живейшее внимание Пушкина. Одно из заветных стремлений поэта было «и в просвещении стать с веком наравне». Просвещение в понимании писателя включало в себя в качестве важнейшей составной его части развитие наук. В незавершенном стихотворении 1829 года Пушкин писал

О сколько нам открытий чудных  
Готовят просвещенья дух  
И Опыт, сын ошибок трудных,  
И Гений, парадоксов друг...

Интерес к достижениям различных областей науки и техники у Пушкина органически сливался с тем универсализмом творческого освоения жизни, который составляет характерную черту его художественного гения. Подводя итоги исследования о восприятии Пушкиным развигия современной ему науки и техники, М. П. Алексеев отмечает: «Он приветствовал русский технический прогресс как сумму завоеваний цивилизации, которые неизбежно послужат ко благу родной страны и народа. Он верил в науку, считая ее одним из важнейших двигателей культуры, но он был так же далек от односторонних увлечений в науке, как и от односторонних упреков по ее адресу...»<sup>4</sup>.

Пушкин был одним из первых крупных художников слова XIX века, кто уловил противоречия технического и социального прогресса. В главе седьмой «Евгения Онегина» нарисована картина будущего развития России, картина, в которой ясно ощущается некоторый иронический отенок:

Шоссе Россию здесь и тут  
Соединив, пересекут,  
Мосты чугунные чрез воды  
Шагнут широкою дугой,  
Раздвинем горы, под водой  
Пророем дерзостные своды,  
И заведет крещеный мир  
На каждой станции трактир.

Иронический отенок касается не только, если пользоваться современной терминологией, темпов и сроков освоения новых достижений техники («...по расчисленью философических таблиц, лет чрез пятьсот»), но и, самое главное, спутников прогресса. «На каждой станции трактир» — это и есть тот спутник, по поводу которого иронизирует и сокрушается поэт. По существу своему его ирония заключает в себе глубокий смысл.

В значительно более широкой перспективе противоречия прогресса как многогранного явления раскрыты в «Медном всаднике». Основной конфликт «петербургской повести» заключен не только в столкновении маленького человека с самодержавным властелином, но и в резком разладе его с людьми беспечной жизни, с Петербургом внешнего великолепия и роскоши. Реальное выражение и символ об-

щественного, технического прогресса — чудесный город, «полнощных стран краса и диво», город, выросший «из тьмы лесов, из топи блат», в глубинах своего бытия таит острые коллизии. Маленький человек не в состоянии достичь в нем самого скромного благополучия, найти себе крохотное счастье. Его робкие надежды на то и другое терпят крушение. Большой город равнодушен к его судьбе.

XIX столетие обычно называют веком пара и электричества. На его протяжении было осуществлено значительное число крупных научных открытий и технических усовершенствований. Но характерно, что большая литература этого периода откликнулась на них довольно скупо. На первый взгляд явление это кажется не очень понятным. Однако если иметь в виду тот дух острого критицизма по отношению к буржуазному общественному развитию, которым была проникнута передовая литература XIX столетия, станет в определенной мере ясным ее малый интерес к темам научно-технического прогресса.

Внимание литературы было сосредоточено на психологии, судьбах человека, оказавшегося в новых социальных условиях. Писатели раскрыли, с одной стороны, процессы приспособления к этим условиям, внутреннюю «перделку» людей, а с другой — показали формирование и рост сопротивления обстоятельствам, всему строю социальных связей и отношений, нравственным нормам капиталистического общества. Все, что буржуазия называла социальным прогрессом, вызывало у передовых писателей демократических слоев общества решительные возражения и протест, ибо страдания, бедствия людей, прежде всего людей труда, не уменьшились, а возросли. Общественная справедливость, под знаменем которой буржуазия завоевывала господствующее положение, была, как и прежде, попорана. Научно-технический и социальный прогресс не только не совпадали друг с другом, но и вступили в конфликт между собой. Именно поэтому в литературе XIX века сравнительно редко то восторженное восприятие роста научно-технической мысли, которое было свойственно эпохе Просвещения.

Одним из крупных художников слова, в творчестве которого получили сильное выражение мотивы победного шествия науки и техники, был Уолт Уитмен. В строках,

<sup>4</sup> М. П. Алексеев. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л. «Наука». 1972, стр. 159.



У Гюго есть стихотворение «Закон прогресса». В нем он горестно замечает:

Неужто смерть и скорбь без края и без  
 С прогрессом мировым в союзе дна  
неизменно?  
 Какой же странный труд творится во  
вселенной!  
 Каким таинственным законом человек  
 К расцвету через ад введом из века в век?

Среди проблем, тесно связанных с пониманием прогресса, Гюго затрагивает и тему развития науки. Поэт подчеркивает, что ее достижения требуют огромных усилий и немалых жертв. Завоевания постоянно соседствуют с глубокими разочарованиями. В жизни мечтатель и ученый часто идут рядом друг с другом.

...вступив на путь побед,  
 Упорней человек, смелей, неутомимей.  
 Но гляньте, сколько жертв принесено  
во имя  
 Прогресса! До того чудовищен итог,  
 Что смерть изумлена и озадачен рок!

Отношение Гюго к прогрессу в известной мере близко к той оценке развития науки и техники, которая делалась рядом писателей и публицистов XIX века с позиций социальной справедливости, с точки зрения нравственных критериев. Свое наиболее рельефное выражение такой подход получил в публицистике Льва Толстого. В статье «Прогресс и определение образования» (1862) писатель указывает, что неизменно восхищающий «образованное общество» прогресс нисколько не улучшил положения простых людей, народа. По мнению Толстого, «прогресс принес больше зла, чем пользы народу; народу, т. е. большей части людей»<sup>5</sup>. Именно поэтому в народной среде и существует отрицательное к нему отношение.

Завоевания техники далеки от жизни и потребностей народа, ими он совершенно не пользуется. И когда заходит речь о таких технических изобретениях и усовершенствованиях, как «пар, железные дороги и столь восхваленные пароходы, паровозы и машины», по убеждению Толстого, необходимо решить главный вопрос — «содействует ли развитие прилагания пара к передвижению и к фабричному производству, увеличению благосостояния наро-

да». На этот вопрос писатель дает отрицательный ответ.

Позже, в конце 80-х — начале 90-х, а затем в 900-е годы, Толстой много внимания уделял роли науки и искусства в жизни людей. В это время им на первый план выдвигаются нравственные требования к науке и искусству, этические критерии при рассмотрении их роли и значения. Согласно взглядам позднего Толстого, наука, так же как и искусство, может быть истинной и ложной. Подлинной наукой он признавал лишь только знание того, что нужно делать всякому человеку, чтобы как можно лучше, нравственнее прожить свою жизнь. «Для того же, чтобы знать это, как наилучшим образом прожить свою жизнь в этом мире, надо прежде всего знать, что точно хорошо всегда и везде и всем людям и что точно дурно всегда и везде и всем людям, т. е. знать, что должно и чего не должно делать. В этом и только в этом всегда и была и продолжает быть истинная, настоящая наука»<sup>6</sup>. Положительное значение других наук Толстой не признавал.

И это вовсе не было проявлением какой-либо экстравагантности, тут мы встречаемся с настойчиво защищаемой позицией, хотя и несомненно ложной. Не составит особой трудности оспорить взгляды Толстого на прогресс, роль науки в обществе. В рамках данной статьи критический анализ их не представляется необходимым. Признавая неосновательными, ошибочными конечные выводы Толстого, не следует упускать из виду то обстоятельство, что и принцип социальной полезности науки, из которого писатель исходил, и идеи о нравственной ответственности ученого за направление, гуманистический смысл его исследований являются весьма актуальными и в наше время.

Однако главное заключается не в этом. Очень важно подчеркнуть, что ошибочные суждения Толстого о науке, так же как и другие его неверные представления и идеи, ни в какой мере не могут принизить общечеловеческую ценность великих художественных открытий писателя, того бесценного вклада, который он внес в мировую культуру. И это, думается, следует рассматривать, в частности, с той точки зрения, что суждения Толстого о науке и технике непосредственным образом не

<sup>5</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. М. Государственное издательство «Художественная литература». 1936, т. 8, стр. 335.

<sup>6</sup> Там же, т. 38, стр. 135—136.



пересекались с его творческими исканиями, не оказывали на них существенного влияния. Сфера естественных наук — природа, закономерности ее существования и развития; мир Толстого-художника — человек, общество. В этом своем мире писатель открыл такие явления, процессы, которые безмерно обогатили понимание общественной, духовной жизни людей. Что же касается отношения Толстого к социально-политическим дисциплинам его времени, то тут ясно сказывалось его резкое неприятие многих господствующих идей эпохи, взглядов, оправдывавших социальное неравенство.

Среди современников Толстого были писатели, которые отличались значительно большей, чем он, чуткостью к движению научной мысли, научным открытиям. И не только чуткостью, но и проицательностью относительно перспектив развития отдельных отраслей знания. Тут сразу же возникает имя Жюль Верна, который очень много сделал для установления связей между наукой и художественной литературой. В своих научно-фантастических романах он с успехом использовал как уже сформулированные научные принципы и положения, так и некоторые новые идеи, гипотезы, которые выдвигал он сам, и гипотезы, получившие затем научное обоснование. Мы справедливо восхищаемся творческим предвидением Жюль Верна, отдаем должное его увлекательному воплощению научных идей и гипотез, его мастерству повествователя. И в то же время вряд ли кто-либо решится не то чтобы сказать о преимуществе Жюль Верна перед Толстым, но хотя бы в той или иной мере сопоставить творческие завоевания того и другого художника. Величины эти малосонизмеримые, несмотря на то, что Жюль Верн был ярким пропагандистом науки, а Толстой отрицал ее значение. Это одно из свидетельств — в ряду других — сложности внутренних соотношений науки и литературы.

Но вместе с тем сложность эта сама по себе отнюдь не служит неустрашимым препятствием к их взаимодействию. В специфической форме оно нашло свое выражение в произведениях Герберта Уэллса — младшего современника Толстого и Жюль Верна, произведениях, которые очень выпукло отразили стремительно возрастающую во второй половине XIX — начале XX века роль наук: и техники в жизни людей. Научное, техническое творчество, их про-

мадный внутренний потенциал стали одной из важнейших тем литературного труда Уэллса — художника и публициста. Автор «Машины времени», «Войны миров» значительно расширил временные и пространственные рамки повествования о научно-техническом прогрессе, смело введя в него координаты будущего, космические соизмерения.

Большую заслугу Уэллса составляет то, что он показал поистине необъятные возможности человека в познании мира, в использовании законов движения материи для создания все более удивительных технических устройств. Следует сказать, что писатель, обладавший широкой эрудицией ученого, предугадал, например, использование энергии атома, в том числе в военных целях (роман «Освобожденный мир»). Однако всем этим не исчерпывалось изображение технического прогресса, каким он предстает прежде всего в его научно-фантастических произведениях. Успехи техники, ее рост и совершенствование не сопровождаются духовным ростом и совершенствованием самого человека, преобразованием отношений между людьми.

Машина времени переносит уэллсовского Путешественника в отдаленное будущее — в 802 701 год. В жизни людей, в окружающей их среде произошли огромные перемены. Исчезли собственность, семья, болезни, терзавшие человечество, изменилось и многое другое. Но общество остается разделенным на две резко отличающиеся одна от другой группы — элов и морлоков. Элои живут на земной поверхности и освобождены от труда; их время посвящено праздности и увеселениям. Весь труд лежит на морлоках, живущих под землей, снабжающих элов всем, в чем они испытывают потребность. Постоянная и чрезмерная обеспеченность привела элов к физическому и духовному вырождению, к утрате ими многих человеческих способностей — активности, силы, любознательности, умения творить, создавать новое. Они превратились в изнеженное и немощное племя. В свою очередь морлоки, обреченные на постоянный труд и существование в глубоких подземельях, оказываются крайне непривлекательными, звероподобными существами.

Марсиане, изображенные Уэллсом в «Войне миров», находятся на более высокой стадии технического прогресса, чем жители Земли. Они владеют значительно

более совершенной техникой, но используют ее для тотального разрушения. Им свойственна ничем не сдерживаемая несокрушимая жестокость. Необыкновенное открытие, сделанное героем романа «Человек-невидимка», не сближает людей, а разделяет их. Оно становится источником глубокой вражды. Сам герой романа противопоставляет себя всему остальному миру, считает себя сверхчеловеком, который вправе нарушать любые общественные, общечеловеческие нормы. Свое открытие он хотел бы превратить в инструмент своей власти над другими людьми.

Научно-фантастические романы Уэллса тесно соприкасаются с его реалистическими произведениями о современной жизни, в которых он подвергает острой критике капиталистическое общество. Как те, так и другие в разных аспектах раскрывают несоответствие научно-технического прогресса с преобразованием общества, совершенствованием человека. В этом смысле Уэллс в определенной мере примыкает к писателям XIX века — критикам буржуазного «прогресса». Но его отличие от них состоит в ясном понимании того, что научно-технический прогресс является неотъемлемой и важнейшей частью развития общества; его нельзя остановить или видоизменить, исходя из чисто этических соображений и принципов. Научно-технический прогресс, по убеждению писателя, явление стихийное, нерегулируемое.

Безоблачный оптимизм покорения мира, который был свойствен Уитмену и Жюль Верну, в творчестве Уэллса сменяется сильно выраженными пессимистическими нотами. Но они не отличались непреклонной устойчивостью и постоянством. Писатель колеблется между общественным пессимизмом и живыми надеждами на лучшее будущее. В романе «Люди как боги» (1923) Уэллс нарисовал будущее человечества в радужных оптимистических тонах. При этом он очертил новый духовный склад человека в сравнении с его современным обликом. Характерно, что писатель в этом романе не отмечает особо значения техники, отводя большое место длительному воспитанию новых человеческих качеств.

Здесь уместно сказать об отражении научно-технического прогресса в изобразительном искусстве второй половины XIX — начала XX века. Разумеется, сопоставления в этой области неоднородны с теми,

которые можно сделать при рассмотрении развития литературы.

В пору, когда крупные завоевания научно-технического прогресса следовали одно за другим, в живописи, преодолевая сильное сопротивление, возникло новое течение — импрессионизм, внесший большой вклад в мировое изобразительное искусство. В своих основных творческих стремлениях течение это непосредственно никак не было связано с ростом научно-технических достижений. Более того, его основатели и участники во многом преднамеренно сторонились индустриальной тематики, всего того, что характеризовало поступь «железного» века. Центром их художественных интересов было пристальное изучение природы, воссоздание ее красочного богатства, передача той зримой изменчивости, которая свойственна окружающему нас миру. Принцип изменчивости импрессионистами был перенесен и на изображение человека, его эмоций, чувств.

И если прямых, непосредственных соотношений импрессионизма с развитием научной мысли не существовало, то, вероятно, можно говорить об опосредованном ее воздействии на художников-импрессионистов. Оно, думается, нашло свое выражение прежде всего в самом пафосе исследования природы, «натуры», присущем импрессионистам, пафосе, принимавшем иногда характер своеобразного культа. Но не только в этом. Историки живописи XIX века Р. Мутер справедливо отмечает: «Они (импрессионисты.— М. Х.) обогатили искусство новыми угонченными живописными оттенками, в которых проявляется развитие красочного чутья и восприимчивости человеческого глаза. В их творчестве обнаружилось, что свет — движение и что вся жизнь — движение»<sup>1</sup>. Нельзя не признать, что в этом состоит одно из замечательных художественных завоеваний импрессионизма, которое созвучно общему направлению развития научной мысли эпохи.

В то время как импрессионисты избегали широких общеполитических деклараций, теоретики кубизма, а затем абстрактного искусства довольно часто заявляли, что «новое» искусство — кубизм, абстракционизм и другие виды авангардизма — имеет своими исходными принципами великие открытия физики XX века. Один из теоре-

<sup>1</sup> Р. Мутер. История живописи в XIX веке. С.-Петербург. Издание товарищества «Знание». 1900, т. II, стр. 447—448.

тиков кубизма, Габо, писал по этому поводу: «Когда мы просматриваем концепцию мира по живописи кубизма, с нами происходит то же самое, как когда мы входим в здание, которое мы видим только издали,— оно удивительно, неизвестно и странно. Происходит то же, что произошло в мире физики, когда новая теория относительности разрушила границы между веществом и энергией, пространством и временем, между тайной атома и чудесами галактики». Разложение кубистами предметного мира на отдельные частицы и «собрание» их в новом виде некоторыми теоретиками искусства оценивались как творчество, аналогичное труду и творчеству ученых.

Сходные мысли развивал и теоретик абстракционизма Марсель Брион: «Бесформенное искусство в живописи есть эквивалент взрывов, начатых опытами ученых, специализирующихся в ядерной энергии». Под бесформенным искусством М. Брион понимал абстрактное искусство, которое, по его мнению, представляет собой высокое завоевание художественной культуры.

Но ни заявления о выдающемся вкладе кубизма и абстракционизма в мировое искусство, ни утверждения, что авангардизм является художественным аналогом научной революции XX века, не имеют под собой оснований. Разложение и «синтез», осуществляемые авангардистами, не заключают в себе, по существу ничего схожего с научным анализом и синтезом в современной физике. В то время как творческая деятельность физиков приводит к созданию новых источников энергии, деятельность авангардистов чаще всего означала разрушение силы, энергии искусства.

### III

В XX веке научно-технические завоевания довольно часто отождествлялись с поступательным развитием человечества в целом, в том числе с социальным прогрессом. И чем значительнее, масштабнее были успехи науки и техники, тем сильнее раздавались и раздаются голоса о всеобщей, единой, преобразующей их роли вне зависимости от тех общественных условий, в которых происходит использование достижений научно-технической мысли. Однако факты свидетельствуют о том, что и в пору нынешней научно-технической революции воздействие ее на человека и общество неоднозначно. В то время как в со-

циалистическом обществе завоевания науки и техники служат средством изменения социальных отношений, мощным средством улучшения жизни, благосостояния народа, в капиталистическом мире научно-технический прогресс зачастую тесно связан с такими явлениями, как массовая безработица, обрекающая людей труда на голод и нищету, безжалостная эксплуатация трудящихся, рост преступности и т. д.

Наряду с самой высокой оценкой научно-технического прогресса в наши дни проявляются не только сомнения в его безусловно положительном значении, но и страх перед его последствиями. Сомнения и страх вызывает возможное применение достижений науки и техники для разрушений невиданной силы, угроза ядерной, химической, бактериологической войн, загрязнение окружающей среды и т. д. Идеи и настроения пессимистического характера активно используются реакционными силами в целях борьбы с передовыми общественными взглядами, согласно которым социальный мир может быть построен на основах разума и справедливости.

Исходя из различий научно-технического прогресса при капитализме и социализме, XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул задачу исторической важности — «органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства».

Рассматривая соотношения современной науки, литературы и искусства, необходимо особо отметить плодотворное воздействие марксистско-ленинской теории на развитие прогрессивной художественной культуры нашего времени, формирование и рост социалистической литературы и искусства. Марксизм-ленинизм оказывает свое действительное влияние прежде всего на мировоззрение явлений социальной жизни, духовного мира человека. И так как творческий процесс тесно связан с мировоззрением писателя, композитора, мастера изобразительного искусства, то влияние марксистско-ленинской теории ясно сказывается на характере эстетического претворения действительности.

Но все это не только не исключает, а как раз предполагает самостоятельность творческих исканий художника, самобытность его образного видения жизни, оригинальность его художественных обобщений. Марксистско-ленинская теория подчерки-

вает, что подлинная сила социалистической литературы и искусства заключена в сочетании идейно-творческого единства их создателей с богатством, многогранностью образного содержания, глубиной творческих открытий, разнообразием стилей, выраженным в их произведениях. Впитывая великие идеи марксизма-ленинизма, социалистическая художественная культура неразрывно связана с развитием действительности.

Во многом иначе обстоит дело с воздействием научно-технического прогресса на современную литературу и искусство. Воздействие это неоспоримо, но оно поразному и в различной степени затрагивает отдельные виды художественной культуры. Известно, что одно из наиболее массовых искусств — кино — своим возникновением обязано достижениям научно-технической мысли. И в развитии киноискусства, в его изобразительных и выразительных средствах техника играет весьма существенную роль. Значительное влияние технические достижения оказывают на архитектуру и прикладное искусство. В первую очередь оно связано с теми новыми материалами, которые создаются техникой, с особенностями их конструктивного использования. Совершенно очевидно необыкновенно возросшие возможности распространения произведений искусства, предоставляемые их творцам современной наукой, техникой, в частности телевидением. Неуклонно расширяется аудитория слушателей, зрителей, более или менее соприкасающихся с искусством. Несомненно, что тем самым видоизменяются связи и отношения между создателями искусства и его «потребителями».

Это, однако, не означает, что научно-технический прогресс решительно преобразовал самый характер художественного творчества, в особенности таких его областей, как литература, живопись, музыка, театр. Замена гусиного пера стальным, а затем пишущей машинкой не произвела революции в литературе, использование синтетических красок вместо натуральных также не стало этапом в развитии живописи, сочинение музыки с помощью электронно-вычислительных машин, по общему мнению, не внесло существенного вклада (может быть, пока) в мировую музыкальную культуру.

Не произошло в последнее десятилетие решительных художественно-технологиче-

ских перемен, скажем, и в музыкальном исполнительском искусстве. Появление джаза в большей мере характеризует рождение новых форм музыки, чем ее технологическое «первооружение». Хорошее исполнение талантливых музыкальных произведений симфоническим оркестром в его прежнем составе, на давно известных сольных инструментах — рояле, скрипке, виолончели и других — продолжает, как и раньше, по-настоящему волновать слушателей. Электронные музыкальные инструменты не оправдали возлагавшихся на них больших надежд, хотя они известным образом и обогащают средства музыкальной выразительности.

Сложные процессы и изменения, которые происходят в литературе и искусстве нашего времени, невозможно объяснить ходом современной научно-технической революции, влиянием ее завоеваний. Изменения эти и процессы обусловлены движением жизни в широком смысле слова, они связаны с изменением в социальном бытии, психологии людей. Но, разумеется, современная действительность в ее реальном содержании включает в себя в качестве весьма существенной своей стороны научно-технический прогресс. Поэтому неверным представляется как игнорирование его значения для развития современной художественной культуры, так и абсолютизация его роли.

Между тем с настойчивым и весьма сильным преувеличением воздействий научно-технической революции на литературу и искусство нашего времени мы встречаемся довольно часто. Пожалуй, особенно ясно это проявилось на недавних дискуссиях по этому вопросу. В различных вариациях высказываются мысли, сводящиеся к тому, что воздействие современного научно-технического прогресса не ограничивается отдельными явлениями художественной культуры, оно трансформирует саму природу, сущность искусства.

Вот некоторые суждения, касающиеся данной проблемы. «Оказавшись включенным в систему массовых коммуникаций, искусство не осталось неизменным», — пишут О. Генисаретский и А. Мидлер. «Есть даже основания считать, что природа его изменялась весьма основательно... Поэтому эстетика только тогда способна служить осознанию искусства в системе массовых коммуникаций, когда она включает технические средства и условия на равных с дру-

гимн элементами творческой деятельности в состав своего предмета исследования»<sup>8</sup>.

С этой точки зрения появление таких, например, средств массовой коммуникации, как радио и телевидение, ознакомление с их помощью широкой аудиторией слушателей и зрителей с произведениями искусства, литературы значительно меняет характер самого искусства, природу различных явлений художественной культуры. Но где доказательство? Их не существует. Стихотворные произведения, проза, переданные по радио, не приобретают новых свойств, не становятся совсем иными в сравнении с восприятием их в чтении, с их звучанием на эстраде. Балетные спектакли, скажем «Лебединое озеро», «Спартак», показанные по телевидению, не претерпевают решительной трансформации в своей художественной структуре, в своей эстетической природе. Это же относится и к драматическим спектаклям. Известная их перестройка, связанная с техникой телевидения, имеет бесспорно меньшее значение, чем различные режиссерские интерпретации драматургических произведений, интерпретации, которые оставляют органическую особенность полнокровной жизни театра.

«Научно-техническая революция... — утверждает К. Разлогов, — служит своеобразным генератором новых форм (и новых вариантов старых форм), возникновение и развитие которых, особенно в ряде пограничных явлений, непосредственно «выводит» нас в различные отрасли научного знания». По мнению автора, «даже в тех... видах, которые ранее считались абсолютно «чистыми», художественный момент сохраняет главенствующее значение лишь в определенных аспектах»<sup>9</sup>. Хотелось бы подробнее узнать, что же это за новые формы в искусстве, которые генерирует научно-техническая революция. Но автор лишь бегло упоминает о документальных жанрах и различных видах художественного оформления окружающей среды. К. Разлогов, в сущности, уклонился от серьезного разговора о месте этих новых форм в художественной культуре нашего времени, а было бы очень интересно ознакомиться с его суждениями по этому вопросу.

<sup>8</sup> Сб. «Искусство и научно-технический прогресс». М. «Искусство». 1973, стр. 164.

<sup>9</sup> «Вопросы литературы», 1976, № 11, стр. 48, 49. Разрядка моя.

Декларативность, умозрительный подход вместо конкретно-аналитического преобладают и в других аналогичных высказываниях, так же как и в тех, которые затрагивают вопросы современной культуры в целом. «Научно-техническая революция, — пишет К. Ким, — существенным образом определяет характер современной культуры. Сциентификация (то есть сближение с наукой, использование ее методов. — М. Х.) всех сфер материальной и духовной деятельности, жизненного уклада и стиля мышления является в глазах современного человека одной из ярких примет времени»<sup>10</sup>. Отмечу, что автор не приводит различий между культурой социалистических стран и стран капитализма. Из его суждений следует, что и художественная культура современной эпохи как одна из областей духовной деятельности человека овладевает или уже овладела научным подходом к процессам действительности. Заявление это нельзя признать сколько-нибудь обоснованным.

К. Ким не опирается да и не может опереться на реальные факты искусства, подтверждающие его выводы, и поэтому он вынужден прибегать к категории должностояния. Художник «должен вырабатывать и применять в своем творчестве новые средства и приемы художественной выразительности, рассчитанные на... «сциентизированного» (?) реципиента»<sup>11</sup>. Этот в значительной мере выдуманный, насквозь пропитанный наукой современный человек, ни шагу не делающий без того, чтобы не согласовать свои поступки и решения с последними научными данными, решительно заслоняет обыкновенных советских людей с их значительными делами, глубокими духовными потребностями, которые в угоду «сциентификации» временами либо недостаточно учитываются, либо просто игнорируются.

Сущность положений, выдвинутых К. Кимом, заключается в сведении богатства, разнообразия творческой деятельности людей к одной из ее форм, хотя и такой важной, как наука. Если бы в духовной жизни человека, в развитии культуры наблюдались те явления, о которых говорит наш автор, это означало бы весьма значительное их объединение. Реальный же процесс роста культуры — я говорю о духовной

<sup>10</sup> Сб. «Научно-технический прогресс и искусство». МГУ. 1971, стр. 82.

<sup>11</sup> Там же, стр. 83.

культуре социализма — состоит в расширении и углублении различных ее форм, в становлении ее новых областей. Происходит это в тесном взаимодействии с динамичной жизнью, духовными запросами людей.

Односторонний подход к искусству, о котором сейчас идет речь, иногда распространяется и на классическое художественное наследие. В этой связи интересными и одновременно спорными представляются суждения видного советского ученого-физика М. В. Волькенштейна. «Влияние науки,— пишет он,— сказывается и на содержании, и на форме, и на стиле художественных произведений. Так, отголоски сугубо логичного, реалистически наглядного метода классической физики XIX века звучат в литературе критического реализма, в романах О. Бальзака и Стендаля, Г. Флобера и Э. Золя. Надо думать, что эти писатели не понимали по-настоящему открытий А. Ампера или О. Френеля. Но литература XIX века, даже и романтическая, неразрывно связана с развитием естествознания, с заменой умозрительной метафизики представлениями, возникшими в результате точного и рационального изучения природы»<sup>12</sup>.

Следует сказать, что отзвуки метода классической физики в литературе критического реализма и неразрывная связь литературы XIX века с развитием естествознания — не одно и то же. Однако общая мысль автора ясна. Она-то и вызывает вопросы и возражения. Известно, в литературе первой половины прошлого века сравнительно долго сосуществовали, часто находясь в острых столкновениях, реализм и романтизм. Возникает вопрос: как, каким образом метод классической физики мог оказывать сильное и плодотворное влияние в одно и то же время на эти разные литературные направления? Ведь различия между ними касались не частных, а творческих принципов. Представить себе это одновременное воздействие довольно трудно, еще труднее обосновать его реальными фактами.

Ясного ответа требует и другой вопрос: где, в каких произведениях Байрона, Шиллера, Новалиса и других романтиков звучат отголоски «сугубо логичного, реалистически наглядного метода классической физики»? Указать эти произведения просто невозможно хотя бы уже потому, что ро-

мантики, борясь с классицизмом, постоянно восставали против рационализма, логичности художественного творчества. Более того, отдельные течения внутри романтизма настойчиво утверждали идеи иррационального восприятия мира.

Да и к творчеству многих крупнейших писателей-реалистов XIX века логический метод классической физики не имеет непосредственного отношения. Если в произведениях Бальзака и Золя, в их методе еще можно найти определенное отражение естественнонаучных идей, то Стендаля, Гоголя, Толстого, Достоевского никак нельзя отнести к числу тех художников слова, которые в своем творчестве исходили из достижений, принципов естественных наук. То же самое можно сказать и о ряде выдающихся художников XX века, создавших свои произведения в пору еще большего размаха научно-технического прогресса.

Исходя из положений, высказанных М. В. Волькенштейном, нельзя понять также, например, генезиса символизма, в равной мере как и модернистских течений XX века. Одной из характерных черт символизма был интуитивизм, глубоко скептическое отношение к рациональному познанию мира. Несмотря на то, что некоторые из модернистов оправдывали свою художественную практику ссылкой на революцию в современной физике, их творческая деятельность не имеет ясных соприкосновений с наукой, что должен был отметить и наш автор. Но это и означает, что подлинное понимание явлений искусства, их происхождения невозможно без широкой социальной их интерпретации.

По мнению некоторых ученых, в том числе и М. В. Волькенштейна, наука оказывает влияние не только на содержание, метод произведений искусства, но и на их стиль. В последние годы немало высказывалось различных соображений о едином стиле современного искусства, будто бы складывающемся или даже сложившемся под воздействием современного научного мышления. Характерными особенностями этого нового стиля считаются лаконизм, ясность, простота, экономность в использовании деталей. Его защитники утверждали, что читатель, зритель, слушатель нашей бурной, насыщенной событиями эпохи испытывают острую потребность в лаконичном искусстве, жаждут именно его.

Но все это оказалось мифом. Какое уж тут тяготение к лаконизму, когда кинема-

<sup>12</sup> Сб. «Художественное и научное творчество» Л. «Наука». 1972, стр. 98.

тографисты создают фильмы в десяти, пятнадцати и даже двадцати семи сериях, а зрители с захватывающим интересом смотрят их день за днем в течение непостижимо длинного для искусства времени — на протяжении двух недель или даже целого месяца. Так было с лентами «Семнадцать мгновений весны», «Сага о Форсайтах». С тех пор на нашем телевидении появляются фильмы преимущественно многосерийные, нередко довольно бедные по содержанию, без основания занимающие значительное время. Однако любовь зрителей к обстоятельному, многоплановому кинематографическому повествованию несомненна, что, конечно, никак не исключает и других «привязанностей». В литературе также пользуются успехом эпопейные произведения, крупномасштабные романы, в двух, трех и более томах.

Следует подчеркнуть, что единый стиль как результат воздействия науки на искусство просто-напросто не существует. Идеи о его развитии вступают в противоречие с поступательным ростом социалистической литературы и искусства. Богатство, разнообразие индивидуальных стилей — одна из важнейших черт художественной культуры социализма, существенный признак ее зрелости. В этом ее свойстве проявляются как своеобразие творческих исканий и открытий отдельных художников, так и многоликость самой действительности, которая получает претворение в их произведениях. Художественный стиль и оригинальность — понятия, тесно связанные между собой. У писателей, художников малоодаренных временами бывает общий («единый») стиль, у подлинных же мастеров он всегда особенный, свой.

Любая попытка той или иной унификации индивидуальных стилей — в том числе и под знаком требований эпохи научно-технической революции — нанесла бы огромный ущерб художественной культуре. Не следует забывать, что определенный стиль — это не только писатель, композитор, художник, но в известной мере и читатель, слушатель, зритель, ибо крупный мастер всегда имеет свою аудиторию, которой особенно близко его творчество.

#### IV

Реальные связи современного искусства и научно-технического прогресса особенно ясно проявляются в том, что наука, ее творцы, ее проблемы органически вошли в

образный мир, создаваемый писателями, художниками, стали его неотъемлемой составной частью, важным объектом художественного творчества. И в искусстве прошлого темы науки временами занимали видное место. Помимо периода Просвещения, о котором уже шла речь, здесь следует вспомнить и об эпохе Ренессанса, когда художники глубоко интересовались значительными научными явлениями своего времени. Существенно иные взаимодействия научно-технического прогресса с жизнью, духовной, художественной культурой возникли в нашу эпоху на основе тех новых, необыкновенно действенных возможностей, которыми обладают современные наука и техника, и прежде всего в результате того, что наука превратилась в непосредственную производительную силу.

Восприятие и образное осмысление научно-технического прогресса в литературе и искусстве нашего времени весьма многообразны. Процессы эти отнюдь не сводятся к воссозданию образов ученых, инженеров — творцов новой техники, интерес к которым, бесспорно, очень значителен. Наука и техника оказывают сейчас воздействие на различные стороны жизни человека. С развитием науки, использованием научно-технических достижений часто связываются судьбы не только отдельных групп людей, тех или иных регионов мира, но и судьбы человечества в целом. Все это так или иначе находит отражение в литературе и искусстве, естественно неодинаковое у разных мастеров. Подлинно художественное воплощение явления эти получают тогда, когда они характеризуются не в рациональной, логической своей сущности, не сами по себе, а глубоко раскрываются через человека, его духовный мир, его жизненные стремления.

Самые важные научные проблемы, технические завоевания остаются для искусства мертвым грузом, если их не осветило, не согрело пламя больших человеческих исканий, волнений, если они не рожают трепетного ощущения сопричастности их к радостям, горестям, судьбам людей. Образное осмысление любых явлений жизни неотделимо от эмоционального к ним отношения, от воплощения нравственных критериев человеческого поведения. Именно поэтому чисто «просветительская» обрисовка явлений научно-технического прогресса противопоказана искусству, так же как и преднамеренно описательная demonstra-

ция научно-технических завоеваний. В литературе, кино, живописи одно время наблюдалось увлечение техникой. Мы помним живописные картины, изображающие заводские корпуса, различные станки, машины; романы, в которых на первом месте находилось описание производственных процессов; художественные кинофильмы, фиксирующие внимание прежде всего на использовании новинок техники. Но все эти произведения оставляли зрителя, читателя равнодушными, ибо они выносили за скобки человека.

В наше время часто пишут и говорят о сближении искусства и науки, пишут и говорят об этом как о непреложной истине. Между тем многие суждения, высказываемые по этому поводу, непреложной истиной вовсе не являются. Вряд ли кто станет утверждать, что современная наука — в своем содержании, в своих методах — делает шаги по направлению к искусству, так или иначе приближается к нему. В качестве существенных доказательств сближения обычно приводятся многочисленные примеры живейшего интереса крупных ученых к художественному творчеству, различным явлениям искусства. Примеры эти чаще всего очень интересны и в определенном отношении, несомненно, важны. Однако увлеченность многих ученых искусством не изменяет ни общего направления развития науки, ни ее методов.

Известно, что впечатления от произведений искусства нередко бывают возбудителями творческой энергии видных ученых, и притом возбудителями весьма сильными. Они, эти впечатления, не только стимулируют труд исследователя, но в той или иной степени помогают ему решить сложные научные проблемы. Высказывание А. Эйнштейна: «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс» — выразительнейший пример такого рода воздействия. Но при этом все же следует сказать, что психология научного творчества и развитие науки не одно и то же. Важны факты, характеризующие те или иные существенные начинания, изменения в движении самих наук, происшедшие под влиянием искусств. Такие факты трудно назвать, во всяком случае они никем не были указаны. Тем не менее было бы совершенно неверно отрицать положительное значение творческого опыта художников для поисков и открытия истины многими учеными.

В этой связи справедливо отмечались эстетический элемент и, более того, эстетический импульс, которые часто присутствуют в исследовательском труде. Анри Пуанкаре заявлял, что не только достижение конкретного научного результата, социальной пользы направляют деятельность ученого в его изучении природы. «Он изучает ее потому, что это доставляет ему удовольствие, потому, что она прекрасна. Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы труда, который тратится на ее познание, и жизнь не стоила бы труда, который нужен, чтобы ее прожить». Роль эстетического начала в познании мира, значение стремлений к достижению совершенства, красоты научных построений, концепций отмечали М. Планк, П. Дирак и другие выдающиеся исследователи. В данном случае речь идет скорее о «зонах» соприкосновения между наукой и искусством, чем о воздействии конкретных явлений современной художественной культуры на науку. Существование этих зон совершенно естественно, ибо социальные функции науки и искусства — при всем их существенном различии — не отделены друг от друга непреступной стеной. В реальном движении жизни, развитии культуры искусство и наука находятся в непрерывных соприкосновениях, многообразных взаимодействиях между собой.

Но процессы эти возникли не сегодня, они развиваются на протяжении весьма длительного времени. Несомненно, что в середине XX века, и особенно в последние десятилетия, они приобрели более интенсивный и сложный характер, чем раньше. Тем не менее нет оснований полагать, что границы между наукой и искусством в современную эпоху стерлись или даже существенно сместились, что они быстро сближаются друг с другом, превращаясь в нечто объединенно-среднее или, по крайней мере, в две разновидности одного и того же. И если нельзя сказать, что наука трансформируется под влиянием искусства, то, исходя из теории сближения, вероятно, надо бы признать следующее: литература и искусство согласно велению времени движутся в сторону науки, стремясь освоить ее способы познания мира. Однако и такого рода тенденции, если рассматривать основные направления и формы развития современного искусства, не наблюдаются.



Иные явления характеризуют пограничные зоны между искусством и техникой. Здесь прежде всего привлекает внимание искусство дизайна — художественного конструирования машин, многих предметов массового потребления, целесообразной организации предметной среды. Сфера его применения непрерывно расширяется. Оно все глубже проникает в повседневный быт человека.

Если в прошлом прикладное искусство было во многом производством уникальных вещей, то искусство дизайна в значительной своей части рассчитано на массовое распространение. Необходимо отметить и еще одну его особенность. В этой пограничной зоне не искусство, если можно так сказать, «техникуется», а машины, объекты массового потребления «эстетизируются», приобретают ту художественную форму, которая повышает их потребительские свойства, увеличивает возможности, масштабы их использования. При всем том художественные начала здесь не играют самостоятельной роли, они вступают в соприкосновение не только с техникой, но и с быстро изменяющейся модой.

Сближение таких важнейших видов искусства, как литература и кино, с наукой чаще всего видят в развитии документальных жанров, которые будто бы и являются реальными проводниками научного подхода к явлениям жизни в литературе и кино. Вопрос о документализме в современном искусстве будет рассмотрен особо в следующем разделе этой статьи. Сейчас же следует сказать лишь о том, что явление это сложное и его никак нельзя оценивать однозначно, преимущественно под знаком воздействия науки на искусство.

Если же документализм пока оставить в стороне, то никаких других явлений, характеризующих их неуклонное сближение, найти невозможно. В самом деле — о каком сближении с наукой может идти речь, например, в музыке, в оперном театре, балетном искусстве, живописи, скульптуре? Самые лучшие способы и формы «онаучивания» этих видов искусства, так же, впрочем, как и других, могли бы привести к утере ими природного своеобразия, к разрушению присущих им средств эстетического воздействия на человека. Но самое главное заключается в следующем: существует ли реальная общественно-эстетическая потребность в «онаучивании» искусства? Доказать это до сих пор никому не

удалось. Искусство непрерывно обогащается своими новыми способами и средствами освоения мира, социального и духовного бытия человека. Это и дает ему возможность успешно анализировать, обобщать новые явления жизни, запечатлеть движение человеческих стремлений и чувств.

Одна из основных предпосылок теории сближения искусства с наукой (мнение это чаще всего ясно и открыто не высказывается) состоит в том, будто искусство — низшая в сравнении с наукой форма духовной деятельности человека, будто произведения искусства не только не обладают сопоставимой с наукой силой влияния на общество, но и несут в себе существенно меньшую по объему и значению информацию. Приобщение искусства к науке способно поэтому серьезно обогатить его, увеличить его общественный вес, придать ему большую действенность. Вторая предпосылка, так или иначе связанная с первой, гласит: в эпоху величайшей научно-технической революции искусство не может остаться в стороне от нее, оно неизбежно должно испытывать ее влияние, постепенно сближаться с наукой.

Обе эти предпосылки следует признать совершенно необоснованными. Несостоятельна мысль, что искусство представляет собой какого-то недоросля, нуждающегося по крайней мере в университетском образовании, а еще лучше в основательной аспирантской подготовке. Современное прогрессивное искусство отнюдь не является чем-то несовершенным, неразвитым, оно находится на уровне больших идей и великих стремлений эпохи. И это происходит потому, что крупные художники в своих творческих исканиях близко соприкасаются с движением современной мысли, преисполнены желания овладеть широкими знаниями, испытывают духовную потребность быть с веком наравне. При всем этом действенность искусства вовсе не зависит от меры приближения его к науке. Она определяется прежде всего тем, насколько глубоко и объемно художники раскрывают характерные начала жизни, ее тенденции, насколько ярко и впечатляюще они воплощают свои творческие открытия. Образное освоение мира было и остается основным свойством искусства, выражением его неиссякаемой энергии и мощи.

Сторонники сближения, хотя и того или не хотят, исходят из принципа: лите-

ратура и искусство в наше время могут играть лишь вспомогательную, подсобную роль. Их лучшие завоевания должны быть еще скорректированы и «апробированы» научной мыслью. Сходную точку зрения с несколько иных позиций высказывают некоторые современные кибернетики. Американский ученый-кибернетик Дональд Кнут заявляет: в интересах прогресса следует «постоянно стремиться к трансформации каждого вида искусства в науку»<sup>13</sup>.

Очевидно, что если искусство осуществляет лишь вспомогательную функцию, то, как бы ни подкреплять его витаминами науки, оно не может быть в подлинной мере действенным. Теряя свою самобытность, оно утрачивает и свою настоящую силу. Прямолинейное «сближение» искусства и науки обычно приводит к созданию произведений, которые, ничем не обогащая научную мысль, перестают быть явлениями искусства.

В то же самое время литература и искусство в социалистическом обществе призваны выполнять и выполняют весьма ответственную общественную миссию. Своими специфическими средствами они активно участвуют в коммунистическом воспитании трудящихся, в формировании нового человека, действительно помогают росту и укреплению социалистической нравственности, высоких принципов и норм, отношений между людьми социалистического общества. Хорошо известно, что воспитание нового человека является важнейшим звеном в нашем движении по пути к коммунизму. То огромное влияние, которое оказывают литература и искусство на духовный мир человека, ничем не может быть заменено. Им, несомненно, принадлежит здесь пальма первенства.

Нельзя в этой связи не вспомнить о том, какую крупную роль сыграли советская литература, кино, музыка перед Великой Отечественной войной и в ходе войны в формировании духа мужества, уверенности в своих силах, духа героизма, в воспитании горячей любви к социалистической родине, преданности ей. В новых условиях, в период зрелого социализма советская литература и искусство продолжают и умножают свои достижения, основанные на активном вмешательстве в жизнь, на раскрытии нового, значительного в социалистической действительности.

Таким образом, с большим правом можно и следует говорить о содружестве искусства и науки, нежели об их сближении, содружестве, которое имеет своим источником как черты близости, так и различия в их социальной функции. Известный физик Р. Опенгеймер говорил: «Человек науки и человек искусства всегда живут на краю непостижимого. Оба постоянно должны приводить в гармонию новое и уже известное, чтобы установить некоторый порядок во всеобщем хаосе. В работе и в жизни они должны помогать друг другу и всем людям».

Черты близости между искусством и наукой обусловлены тем, что ведущей их целью является познание, освоение окружающего нас мира, познание человека и общества, содействие их развитию и совершенствованию. Различия проистекают из того, что сущность искусства отнюдь не сводится к познавательным началам и само познание имеет в искусстве иной характер, чем в науке.

Марксистская философия подчеркивает то положение, что отражение явлений действительности в духовной деятельности человека и активное их познание не тождественны друг другу. Архитектура, прикладные искусства, в том числе и такие, как дизайн, определенным образом отражают реальные черты эпохи, ее духовные устремления, но эти виды искусства не участвуют в активном познании мира. Их цель — обогащение жизни людей, окружающей их среды созданиями, в которых воплощены начала гармонии, красоты, созданиями, имеющими практическое назначение. Принципы гармонии и красоты сохраняют свою важную роль во всех видах искусства, где они вступают в тесное взаимодействие с другими идейно-структурными, эстетическими началами.

Специфика освоения действительности в искусстве состоит прежде всего в том, что оно сконцентрировано на познании человека, его внутреннего мира, его деятельности, связей с окружающим миром. Но этим, однако, не ограничивается своеобразие познавательного процесса в сфере искусства. Если открытие научной истины, закона предполагает устранение субъективности и сама истина, закон лишены «личностных» черт, то художественное обобщение всегда несет на себе сильный отпечаток творческой индивидуальности мастера.

<sup>13</sup> «Вопросы литературы», 1976, № 11, стр. 44.

В искусстве объективное и «личностное» сливаются в органическое целое. Устремленная на открытие нового, значительного в жизни человека, ищущая субъективность художника, которую надо постоянно отличать от субъективизма, не только не мешает выявлению общезначимого, типического в действительности, но представляет собой неотъемлемую особенность их познания и воплощения. Следует подчеркнуть, что эмоциональное отношение к объекту познания, идейно-эстетическая оценка разнообразных явлений жизни человека составляют важнейшее свойство искусства. Не говорю здесь о различиях между художественным обобщением и научной истиной, законом, которые также весьма значительны. В единстве различных своих сторон и свойств искусство — в постоянном содружестве с наукой — помогает человеку понять мир и себя в нем, разглядеть в сложном развитии действительности прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое, оно увлекает людей своей эмоциональной взволнованностью, своим пафосом, вызывая к жизни новую творческую энергию.

## V

А теперь вернемся к вопросу о документализме, который представляет интерес не только с точки зрения отношений искусства и науки, но и с более общих позиций — характеристики путей развития художественной культуры нашего времени.

Суждения о возрастающей роли документализма в литературе как рельефном выражении все усиливающихся связей между современной наукой и искусством неосновательны, и неосновательны уже потому, что литература на протяжении многих эпох довольно часто обращалась к изображению подлинных фактов жизни, реальных лиц и событий. Вот некоторые примеры тому. В V веке до нашей эры «отец комедии» Аристофан в своих произведениях язвительно рисовал некоторых реальных исторических деятелей. В комедии «Облака» среди персонажей выступают Сократ и его ученики. Своего современника Клеона, лидера радикальной демократии, Аристофан изобразил в комедии «Всадники». Тяготение к описанию реальных лиц и событий наблюдается и в средневековой литературе, в частности в древнерусской. «Литература XI—XVI вв... — отмечает Д. С.

Лихачев, — не знала вымышленного героя. Все действующие лица русских оригинальных произведений действительно жили, а не созданы только художественным воображением. Черты действительности могли поэтому особенно легко проникать в литературу. Реальные факты биографии способствовали сохранению реальных черт характера и препятствовали полному подчинению изображаемых лиц феодальному идеалу»<sup>14</sup>.

Среди произведений последующего времени, возникших на основе подлинных фактов, необходимо отметить «Житие протопопа Аввакума», «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Былое и думы» Герцена, «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Из деревенского дневника» и другие очерки Глеба Успенского, «Историю моего современника» В. Короленко, автобиографическую трилогию М. Горького и другие.

К тому же роду литературных сочинений по своим основным творческим свойствам относятся «Железный поток» А. Серафимовича, фурмановский «Чапаев», «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. В этих произведениях проявилось не стремление приблизиться к научному методу исследования действительности, а горячее желание запечатлеть живой облик реальных людей — людей героического подвига, — передать черты необычных, в том числе и драматических событий эпохи. В различных своих формах особенность эта свойственна многим другим литературным явлениям нашего времени. Она ясно выражена, например, в таких широкоизвестных произведениях, как «Огонь» А. Барбюса, «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика, рисующих вместе с драматизмом жизненных ситуаций мужество и стойкость человека.

В XIX веке крупные писатели нередко высказывали неудовлетворенность сложившимися формами художественного отражения жизни, той ролью, которую в нем играет творческий вымысел. Флобер был убежден в том, что в литературе наступит пора строго объективного описания жизненных явлений, людей, описания, которое неотделимо от пристального изучения того, что происходит в действительности.

<sup>14</sup> Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. М. «Наука». 1970, стр. 60.

Эдмон Гонкур писал в своем дневнике (3 июня 1889 года): «Да это положительно так: роман — вроде «Сильна как смерть», меня теперь больше не интересует. Мне сейчас нравятся только книги, содержащие куски самой жизни, книги, авторы которых не заботятся о развязке, не приспособляются к глупому читателю, не выполняют требований, необходимых для бойкой распродажи».

Еще более решительны отдельные высказывания Л. Толстого по этому поводу. В письме к И. Ф. Наживину он заявлял: «Я давно уже думал, что эта форма (роман.— М. Х.) отжила, не вообще отжила, а отжила как нечто важное. Если мне есть что сказать, то не стану я описывать гостиную, закат солнца и тому подобное. Как забава, не вредная для себя и для других,— да. Я люблю эту забаву. Но прежде на это смотрел как на что-то важное. Это кончилося»<sup>15</sup>.

Эти высказывания помимо неудовлетворенности традиционными способами повествования, жанрами, в которых постепенно накапливались всякого рода штампы, говорят о поисках новых форм художественной выразительности. В творчестве Толстого свое яркое отражение они нашли как в «Севастопольских рассказах» с их сильной документальной основой, так и в «Войне и мире», произведении, которое отличается, помимо всего иного, оригинальным сочетанием описаний реальных исторических лиц и «вымышленных» героев. Поиски новых художественных средств, если говорить о последнем периоде творчества писателя, рельефно проявились также в «Воскресении» и «Хаджи-Мурате», повести, которая вобрала в себя весьма интересные достоверные факты жизни.

В наше время стремление создавать документальные литературные произведения сталкивается с горячей защитой творческого воображения. Подчеркивая огромную роль художественного вымысла в литературе, Горький заявлял: «Факт — еще не вся правда, он — только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства»<sup>16</sup>. Об этом же пишет и

К. Федин: «Факт в большинстве случаев — лишь точка приложения силы, которую мы зовем фантазией». По мнению писателя, в его диалогии «соотношение вымысла и факта» как 98 к 2»<sup>17</sup>. Свообразным гимном творческому воображению звучат слова К. Паустовского в его «Золотой розе»: «Воображение создало закон притяжения, бинном Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бэмби». Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как и воображение бесплодно без действительности»<sup>18</sup>.

Однако при всем том современная документальная литература становится все более обширной и разнообразной и популярность ее, особенно мемуаров, велика. Что же вызывает столь активный и даже напряженный интерес к ней читателей? Несомненно, что первостепенное значение здесь имеет желание знать правду о происшедшем и происходящем, правду без сторонних примесей, без элементов творимой легенды. Сложные события, противоречивые явления нашей бурной эпохи далеко не сразу вырисовываются в своем реальном облике. Вокруг них нередко возникают ложные представления, иллюзии, своего рода мифы. Обращаясь к документальной литературе, читатель хочет узнать, понять подлинный характер, смысл этих сложных явлений и событий.

Но он ищет в ней не только это, но и непредвзятый рассказ о человеческих биографиях, часто поразительных судьбах реальных людей. В этом смысле весьма примечательны, например, история создания «Брестской крепости» С. Смирнова, всенародное признание этого произведения. И выступления писателя по телевидению о его поисках героев Бреста, и сама книга вызвали широкий отклик у зрителей, читателей, которых глубоко взволновали героические эпизоды защиты крепости, драматические испытания оставшихся в живых участников ее обороны, восстановление в отношении их всех настоящей истины.

<sup>15</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. М. Государственное издательство художественной литературы. 1956, т. 76, стр. 203.

<sup>16</sup> «Русские писатели о литературном труде». Л. «Советский писатель». 1956, т. 4, стр. 67.

<sup>17</sup> К. Федин. Писатель, искусство, время. М. «Советский писатель». 1957, стр. 509, 510.

<sup>18</sup> Константин Паустовский. Собрание сочинений в шести томах. М. Государственное издательство художественной литературы. 1957, т. 2, стр. 625.

Читателей документальной литературы привлекает к себе как правда трезво-аналитического освещения реальных явлений, так и правда дерзновенных порывов, героического подвига. Не случайно, что во многих значительных документальных произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, чаще всего соединяются эти два начала, две линии.

И если документальная литература нередко сталкивается с мифами и заблуждениями, развеивает их, то нужно сказать, что и вокруг нее самой складывается и, пожалуй, уже сложилось немало иллюзий и мифов, притом неоднозначных по своему содержанию. В то время как одни горячие поклонники документальных произведений настаивают на том, что их возникновение тесно связано с влиянием на художественную культуру современной научно-технической революции, другие их сторонники склонны полагать, что документальность так или иначе свойственна всем настоящим литературным произведениям. «Считается, например,— отмечает Сергей Залыгин,— что принцип документальности реализуется лишь в очерке и мемуарах. Мне кажется, что это неверно. Принцип, а лучше—метод документальности определяется тем, как подходит автор к своему материалу. Если автор утверждает, что все, о чем он пишет, было именно так, а не иначе, внушает читателю чувство полной достоверности, даже и не очень широко используя документы и реальные факты,— это будет произведение документальное — таков его ключ... Вообще документальность в той или иной мере присутствует почти в каждом художественном произведении — всегда действует принцип: «Факт — хлеб литературы»<sup>19</sup>.

Сказать, что для документальной литературы характерно прежде всего само стремление автора убедить читателя в достоверности изображаемого, значит, не заметить ее своеобразия, не увидеть в ней того, что отличает ее от других видов и форм литературного творчества. Писатели разных направлений в различные исторические периоды времени стремились так или иначе убедить читателей в правдивости, а нередко и в фактической достоверности описанного. С этой целью авторы ссылались и часто

ссылаются в наше время на то, что в их распоряжение попали записки, дневники, письма реальных людей, с некоторыми изменениями или даже без изменений публикуемые в книге. Вспомним в этой связи, например, «Робинзона Крузо» Д. Дефо, где герой сам описывает свои «необыкновенные и удивительные приключения», и роман того же писателя «Молль Флендерс», содержащий рассказ героини о превратностях ее судьбы; обратим внимание на особенности романов в письмах «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Новая Элоиза» Руссо, «Бедные люди» Достоевского и другие. Здесь же можно назвать и недавно опубликованный роман В. Каверина «Перед зеркалом», также построенный в целом на переписке двух близких друг другу людей. Средством усиления истинности служили и служат столь часто создаваемые писателями персонажи — очевидцы событий, рассказчики, которые своим участием в развитии действия призваны свидетельствовать о его реальности.

Имея в виду все это, никак нельзя согласиться с расширительным пониманием документальности, с тем мнением, что она присутствует всюду и везде и без нее как прежде, так и сейчас не мог и не может обойтись ни один настоящий писатель. Если тем самым хотят оказать своего рода честь классикам художественной литературы, то подобный акт вежливости следует признать излишним, не достигающим своей цели хотя бы уже потому, что, опираясь на реальный жизненный материал, они огромное значение придавали творческому воображению. Расширительное понимание документальности затрудняет анализ и оценку определенного явления, течения в современной и, как было отмечено, не только в современной литературе.

Характерной особенностью документального искусства, несомненно, является обрисовка реальных событий, фактов, использование документов с целью оказать идейное, эмоциональное воздействие на читателей, зрителей, слушателей. Бесспорно также и то, что одна из важнейших предпосылок этого воздействия — подлинность изображенного, описанного в произведении. Однако существенно здесь не столько само по себе желание автора, скажем, документально-литературного сочинения убедить читателей в достоверности его содержания, а прежде всего важен тот жизненный материал, который в нем пред-

<sup>19</sup> Сергей Залыгин, «Замысел, Работа, произведение» («Вопросы литературы», 1973, № 4, стр. 165, 166).

ставлен, его характер, особенности. В силу своих зримых свойств он воспринимается читательской аудиторией как подлинный, «невыдуманный».

При этом бывают и исключения. Иногда достоверное вызывает впечатление сочиненного, а вымысел без колебаний признается описанием реальных событий, лиц. Так, роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого...» при всей его подчеркнутой документальности не является произведением о реально происшедшем. В его создании решающая роль принадлежала творческому воображению писателя, и сами «документы» — результат творческого труда. Роман этот своего рода стилизация, но стилизация осуществлена с таким мастерством, что у читателя создается полное впечатление невыдуманного рассказа. Уже одно это характеризует немалые достоинства произведения, которое может и, судя по всему, должно восприниматься в иной, чем сейчас, эмоциональной проекции.

Но исключения, как известно, лишь подтверждают правило. А оно и состоит прежде всего в том, что характер жизненного материала, воссозданного в произведении, определяет важные свойства документального искусства. Необходимо отметить, что во многих произведениях документальный материал выступает в сочетании с художественным домыслом и вымыслом. Формы такого сочетания различны, «доля» творческого вымысла бывает весьма неодинаковой. Нередко она становится преобладающей. В этом случае документальность либо растворяется в иных формах повествования, либо отступает на задний план. Утрачивая эффект фактической достоверности, произведение приобретает новые качества.

В литературе об Отечественной войне мы находим и различные формы документальности, и очень несхожие между собой сочетания рассказа о реальных людях и событиях с вымыслом, и «свободное» повествование о героях, в котором использованы подлинные факты, биографии реальных людей. Это хорошо можно показать на примере, скажем, таких произведений, как «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Блокада» А. Чаковского, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» К. Симонова. Очень интересные связи реального жизненного

материала и художественного повествования раскрываются при сопоставлении романов К. Симонова и его военных дневников.

Поклонники документальной литературы убеждены в том, что только этот вид творчества может донести до читателей всю правду жизни, правду как она есть, что документальные жанры искусства находятся вне влияния разного рода идей, концепций, способных исказить истину. Такого рода мнения следует признать одной из легенд, появившихся на волне успеха документального искусства. Несомненно, что искусство это — в своих лучших образцах — передает, и передает впечатляюще, правду действительности. Но оно не обладает теми исключительными свойствами раскрытия правды во всей ее глубине, которые ему приписываются, и что весьма существенно — документальное искусство отнюдь не изолировано от идейных процессов нашего времени, это вовсе не безыдейное искусство. Более того, как раз приобщение к прогрессивным идеям, концепциям и делает его по-настоящему правдивым.

Не подлежит сомнению, что уже начальный отбор фактов, документов, интересующих писателя, связан с определенным отношением к ним, обусловлен той или иной его позицией. И потом, если автор даже ограничивается простым монтажом документов, в установлении их связей, в их сцеплении проявляется его взгляд на происходящее. Затрагивая эту тему, кинорежиссер-документалист Л. Махнач следующим образом оценивает роль автора в документальном фильме: «Документальное кино — это мир нашими глазами. Но глаза ведь у всех разные. И прежде всего здесь нужно говорить о позиции документалиста. Позиция может выразиться на любом этапе работы, начиная с выбора темы, отношения к ней и кончая методом съемки и обработки материала...»<sup>20</sup>.

С другой стороны, пользуясь уже готовым документально-кинематографическим материалом, режиссер, исходя из определенного понимания жизни, может создать фильм, по своему идейному содержанию весьма далекий от тех мировоззренческих установок, которыми руководствовались авторы, снимавшие «исходные» документальные ленты. Весьма интересным примером совершенно новой интерпретации

<sup>20</sup> «Искусство кино», 1972, № 6, стр. 73.

кинематографической документалистики, выполнявшей до того свою ясную функцию, является фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм». На материале документальных лент, кинематографической хроники, прославлявших цели, идеологию фашистского движения, деятельность Гитлера и его соратников, М. Ромм путем отбора и сопоставления характерных кадров создал яркий, убедительный антифашистский фильм.

Документальное искусство, разумеется, не идентично простому воссозданию фактов, монтажу документов, хотя и такого рода сочинений существует изрядное количество. Если говорить о документальной литературе, то она включает в себя различные жанры, в том числе очерк, мемуары, повесть во многих ее разновидностях, неоднородные формы документальной драмы, романа и т. д. В Соединенных Штатах Америки сейчас, например, большой популярностью пользуются романы-репортажи, которые чаще всего посвящены описанию сенсационных событий. Естественно, что в этих жанрах позиция автора приобретает еще большее значение, чем в той или иной композиции документов или, скажем, в репортаже. Использование документалистики в реакционных целях — явление заурядное в капиталистических странах. Все это вместе и подчеркивает несостоятельность мнения о совершенной обособленности документального творчества от социально-идейных противоречий и конфликтов.

Некоторые горячие сторонники документального искусства заявляют, что своими успехами во многом обязаны своеобразной дискредитации художественного вымысла, утере доверия к нему. Они считают, что художественный вымысел раздражает современного читателя. Но как объяснить тогда существующий сейчас колоссальный интерес к классической литературе, в которой творческий вымысел выполняет столь важную функцию? Хорошо известно, что в Советском Союзе, в других социалистических странах произведения классиков пользуются огромным спросом. У нас они издаются обычно тиражами в несколько сот тысяч или даже миллион экземпляров, и тем не менее их трудно найти на прилавках книжных магазинов. Это же относится и к полным собраниям сочинений классиков русской, народов СССР и зарубежной литератур. Если говорить о лучших произ-

ведениях советских писателей (не документального жанра), то и здесь наблюдается тот же самый процесс. Их тиражи исчисляются сотнями тысяч экземпляров. Это ли не доказательство того, что идея о скомпрометированности художественного вымысла также представляет собой миф.

Выходит, что документалистика не создала ничего нового и интересного и ничем не обогатила нашу культуру, так же как и культуру других стран? — скажут защитники документального жанра. Нет, это я как раз и не утверждаю. Для меня представляется несомненным, что документальное искусство, в частности документальное кино, внесло немало ценного и значительного в нашу духовную жизнь, в социалистическую и демократическую культуру. Возражаю же я — и притом решительно — прежде всего против теории об особой, преимущественной по сравнению с другими видами искусства роли документалистики в открытии и защите истины, многогранной правды жизни. Теория эта явно не соответствует действительности.

## VI

В документальном искусстве есть свои сильные и слабые стороны. Сила его воздействия — и это неоднократно отмечалось — заключена в первую очередь в достоверности изображения. Затем она обуславливается тем эмоционально-идейным коэффициентом, который соединяется с описанием совокупности фактов, обрисовкой реальных людей, «представлением» документов. При обращении к определенным явлениям жизни, в том числе к тем, которые можно назвать болезненными, достоверность — живой источник одновременно важной информации и достаточно сильных впечатлений.

Однако достоверность отнюдь не тождественна «всей» правде. Достоверное изображение нередко схватывает лишь некоторые черты истины. Для того чтобы правда выступила в ее реальной объемности и полноте, зачастую необходимы не только очевидные факты, но и выявление скрытых от наблюдателя сторон происходящего или происшедшего. Именно поэтому авторы документалистики охотно прибегают к домыслу и вымыслу в качестве «дополнительных» средств для установления истины.

Несомненно, а нередко и велико значение документалистики как своего рода очевидца и свидетеля совершающегося и свер-

шившегося. Говорят, что правдивое искусство — летопись эпохи. Но, пожалуй, больше всего мысль эта относится к документальному творчеству. С неотразимой убедительностью запечатлевает оно облик времени, облик сменяющихся поколений. С каким волнением и интересом мы всматриваемся, например, в документальные кинокадры, передающие события периода Великой Октябрьской революции, поры пятилеток, времени Отечественной войны, различные явления зарубежной жизни, и как много эти кадры нам дают. Это же относится и к многим произведениям документальной литературы, хотя, пожалуй, и в меньшей степени.

В этой связи вспоминаются суждения Мериме, несколько по иному поводу сказавшего: «...я охотно бы отдал Фукидида за подлинные мемуары Аспазии или какого-нибудь Периклова раба, ибо только мемуары, которые представляют собой непринужденную беседу автора с читателями, дают нам то изображение человека, которое интересует и занимает меня».

Но и здесь мы сталкиваемся с определенными противоречиями. Как только угасает интерес к тому или иному конкретному событию, нашедшему свое отражение в документальном произведении, резко снижается и интенсивность «жизни» его самого. В тех случаях, когда документальность имеет преимущественно информативный характер, наблюдается явление, которое можно было бы назвать эффектом одностороннего действия. Читатель и зритель, обратившись однажды к произведению информативной документалистики, не испытывают потребности новых общений с ним. Желание ознакомиться с интересной для него информацией удовлетворено. Другие же функции такого рода документалистике не свойственны.

По-иному обстоит дело с произведениями документальных жанров, которые несут в себе содержание, не сводящееся к простой информации, содержание, широко раскрывающее социальную действительность. Это обстоятельство и определяет длительный интерес к ним читателей или зрителей, потребность нового ознакомления с ними.

Иногда высказываются сомнения относительно самой возможности творческих обобщений в документальном искусстве. Принципиально сомнения эти неверны. Бесспорно, что значительные произведения в этой области отличаются яркими образ-

ными обобщениями нередко большой силы. Ведущие мастера документального искусства понимают их важность, их социально-эстетическое значение. Один из крупных писателей-документалистов, Петер Вейс, отмечает: «Сила документального театра заключается в том, что из фрагментов действительности он создает некую общую модель современных исторических процессов, практически приложимую ко многим различным ситуациям»<sup>21</sup>. В этих словах подчеркнута существенная особенность художественных обобщений — возможность их проецирования на неодинаковые жизненные обстоятельства.

Одно дело стремление к созданию обобщений, а другое — их реальное воплощение. Тут художник-документалист часто находится в более трудном положении, чем мастер, свободно использующий и преобразующий жизненный материал. Не всякие конкретные факты действительности, даже примечательные в том или ином отношении, содержат в себе нужную концентрацию «весомых» общезначимых черт, из которых «образуется» обобщение.

Для того чтобы достичь значительных образных обобщений на документальном материале, помимо таланта автора (что, разумеется, составляет главную предпосылку успеха), необходимо отобрать такие факты и события, изображать таких реальных людей, которые сами по себе обладают рельефными типическими чертами, свойствами. Выявление этих свойств (что тоже далеко не простое и легкое занятие), раскрытие их в «своей» эмоционально-идейной тональности, а также в определенной исторической перспективе и представляет собой действенный путь создания выразительных художественных обобщений. Этот путь творчества в немалой степени отличается от тех способов художественного претворения действительности, которыми постоянно и успешно пользуются мастера литературы и искусства.

В создании крупных образов писатели нередко опирались и опираются на прототипы — характеры реальных людей. Но в то время как в «свободном» художественном повествовании прототипы чаще всего являются своего рода строительным материалом, реальные лица в документальном произведении — живой объект изображения. Различия здесь не столько в степени,

<sup>21</sup> «Иностранная литература», 1968, № 7, стр. 213—214.



сколько по существу, это различия способов образного раскрытия мира, из которых каждый приносит свои результаты. Необходимо при этом заметить, что такой жанр искусства, как портрет, в сущности, всегда был «документальным». И это не мешало ему достичь великолепных успехов.

Как в искусстве художественного вымысла, так и в произведениях документального творчества постоянно соседствуют явления разного уровня, различного качества. И это совершенно естественно. Неудачи в художественном претворении действительности часто следствие отрыва писателя от жизни, результат легковесного сочинительства. Источником существенных недостатков и поражений в документальных произведениях обычно является «принципиальное» копирование реальности, возведение отдельного факта в степень непреложной истины. Заключая в себе важные положительные качества, документальная достоверность нередко превращается в бескрылую описательность, «обогащенную» в одних случаях раздумьями автора на актуальные темы, в других — публицистическим пафосом. Когда же документальность сводится к репортажу, а репортаж противопоставляется художественному творчеству, ущерб претерпевает не искусство в своей сущности, а преимущественно документализм, нередко неправоммерно сводимый к его наиболее элементарным формам. Именно таким серьезным упрощением и грешат теоретики, практики неоавангардизма, о которых ранее уже шла речь. Не удивительно поэтому то, что многие документальные сочинения неоавангардистов, равно как и их лингвистические экзерсисы, находятся вне подлинного искусства.

Характеризуя сильные и слабые стороны документального творчества, нужно сказать и о том, что ему обычно малодоступно изображение внутренней жизни человека во всей ее сложности. И это понятно. Внутренний мир людей невозможно наблюдать прямым образом, непосредственно. О нем можно судить по многим признакам, проявляющимся в действиях человека, его словах, жестах, выражении лица и т. д., о нем можно догадываться. Художники слова обстоятельно проанализировали несоответствие между внешним обликом людей, их поступками, словами и внутренним течением их мыслей, чувств. Писатели успешно пользуются многими

разработанными раньше и разрабатываемыми в нашу эпоху способами раскрытия психологии человека. В их числе и такой действенный способ, как внутренняя речь, внутренний монолог.

Следуя принципу полной, фактической достоверности, оставаясь в рамках «чистых» документальных жанров, писатель-документалист не имеет возможности дать развернутый анализ психологии действующих лиц своего произведения, и он обычно избегает его. Избегает потому, что способы выявления логики фактов и динамики внутренней жизни людей разные.

Между тем художественное раскрытие, анализ психологии современного человека имеют первостепенный интерес. Они важны уже вследствие того, что человек со своими стремлениями, мыслями и чувствами всегда был и остается основным объектом искусства. Освещение его внутренне-го «я», его интимного отношения к явлениям сложного современного мира во многом открывает путь к познанию социальных связей.

Особую важность психологический анализ имеет для понимания процессов становления и роста нового человека, процессов, имеющих кардинальное значение для развития социалистического и коммунистического общества. Анализ этот выявляет и то, как складывается новое мироощущение, новые побудительные стимулы человеческого поведения, и трудности, противоречия в формировании новой, социалистической личности.

В последнее десятилетие наблюдается обостренное внимание к внутренней жизни человека как у художников стран социализма, так и у прогрессивных мастеров других стран. И это, несомненно, отражение духовных потребностей широких слоев читателей. Как это явление сочетается с живым интересом читательской аудитории к документальной литературе, документальному искусству? Тут же следует учесть и отмеченную ранее популярность широкого этико-драматического повествования в литературе и кино. А комедия, научная фантастика? Ведь они также пользуются не меньшей любовью читателей. Можно назвать и многие другие их «увлечения». Все дело в том, что духовные потребности народа, социалистического общества многогранны и не замыкаются на каких-либо отдельных видах, течениях,

формах искусства, свое удовлетворение они находят в художественных открытиях и ценностях, которые создаются искусством большим, оригинальным и разнообразным.

Оценивая развитие современной литературы, рассматривая ее будущее, некоторые критики и литературоведы склоняются к весьма спорной характеристике ее основных тенденций, образующих ее начал. Часто подчеркивается кризис доверия к художественному вымыслу, возрастающая роль документального творчества, которому, по мнению ряда теоретиков, и принадлежит будущее. «Одна из отличительных черт литературы нашего времени,— пишет В. Ивашева,— повышенный интерес к разнообразным, но, по сути, однотипным документальным произведениям, в особенности к репортажу. Заметна тяга к профкольной точности, порой даже прямой фактографичности»<sup>22</sup>.

И это, по твердому убеждению ученого, тесно связано с общими изменениями в современной духовной культуре, с серьезной трансформацией эстетических вкусов. Художественный вымысел в том его виде, который удовлетворял человека предшествующих столетий, утратил якобы свое значение. «Время предъявляет к литературе новые требования: аутентичности и убедительности, внимания к фактам, которые зафиксированы, к достоверности документа»<sup>23</sup>. И чтобы в полной мере «аутентично» изложить точку зрения В. Ивашевой, приведу еще одно ее высказывание: «Документализм, видимо, одно из проявлений мощного (хотя и не всегда осознанного) влияния научных методов познания мира и рационального стремления к проверке и обоснованию, также порожденного развитием «точных» наук»<sup>24</sup>.

Ранее уже было отмечено, что документальная литература в разных своих проявлениях существовала задолго до нашего времени, а в современную эпоху развивалась и развивается во многом независимо от научно-технической революции. Но главное в суждениях В. Ивашевой о современной литературе и, пожалуй, духов-

ной культуре заключается все же не столько в ссылках на НТР (их можно найти во множестве статей и книг), сколько в представлениях ее о духовном облике современного «потребителя» литературы. Оказывается, его основную черту составляет рациональное стремление к проверке и обоснованию, потребность в точном знании окружающей реальности, интерес к фактам, к достоверности документа. Вот, в сущности, и все. Но ведь это круг стремлений и интересов бизнесмена, и то преимущественно в деловой обстановке, за ее пределами они тоже меняются. Интересы же и стремления человека социалистического общества ни в какой мере не могут быть сведены к тому, что обозначено в высказываниях В. Ивашевой. Формирование гармонически развитой личности как одна из целей социалистического и коммунистического строительства предполагает широту, глубину знаний, стремление познать происходящее во всем мире, и творческую деятельность, и высокую культуру чувства, подлинное богатство духовных эстетических запросов.

Какие же основания всерьез говорить о том, что современный человек, человек социалистического общества, может найти полное удовлетворение своих интеллектуальных потребностей в систематическом чтении однотипных (по словам самой В. Ивашевой) документальных произведений? Откуда следует, что репортаж должен стать едва ли не главным компонентом духовной пищи, предназначенной для людей нашего времени? Ниоткуда такие выводы и не следуют; чисто умозрительным путем к ним можно прийти. Суждения апологетов документального творчества весьма далеки от жизни.

Телевидение — довольно чуткий барометр духовных, эстетических потребностей широких слоев народа. Творческая деятельность работников телевидения и неоглятное количество писем, получаемых ими, показывают, не говоря о многих других свидетельствах, насколько многогранны интеллектуальные, художественные запросы советского человека. Теоретические концепции и прогнозы, основанные на упрощенном представлении о них, естественно, не могут выдержать испытания на достоверность.

Точку зрения, признающую преимущественное значение документального творчества в современной литературе, мнение

<sup>22</sup> В. Ивашева, «Почерки новой эпохи» («Вопросы литературы», 1975, № 9, стр. 79). Разрядка моя.

<sup>23</sup> Там же. стр. 85.

<sup>24</sup> Там же.

о его большом будущем разделяет и П. Палиевский. Но он исходит из иных предположений, которые состоят в том, что факт, документ представляют собой саму жизнь в ее целостной непосредственности и динамике. «...серьезную причину успеха документа,— пишет П. Палиевский,— составила его способность пробывать существующий штамп»<sup>25</sup>. По мнению исследователя, факт уже давно настойчиво стучится в двери большого здания художественного творчества. На первых порах наступление факта на художественный вымысел не принесло ему значительных завоеваний. Однако позднее — в первые десятилетия XX века — положение существенно изменилось.

Широкому проникновению факта, документа в литературу, убеждает нас П. Палиевский, способствовало творчество Горького, благодаря которому факт получил равноправие, «отвоевал себе позицию» и «вырвался на оперативный простор»<sup>26</sup>. Однако хорошо известно мнение Горького о значении художественного вымысла в литературном произведении (ранее было приведено его высказывание о роли факта в искусстве), и оно не соответствует суждениям и выводам П. Палиевского на эту тему.

Согласно взглядам Палиевского свою силу и свое преимущество документальные образы берут из самодвижения жизни. «В их незаконченной, сырой форме мерцают тысячи красок и закономерностей (разрядка моя.— М. Х.), идущих к нам изнутри,— направление, которое в искусстве всегда стоит предпочесть другому, профессиональному, где идет атака на смысл вместо того, чтобы дать ему свободно вылиться». Пока знатоки форм, «мастера-виртуозы следят за нововведениями друг друга, документальный образ пробует третий путь: дать выход таланту самой жизни»<sup>27</sup>. Позиции автора определены с достаточной отчетливостью. В профессиональном искусстве — художественная классика, судя по всему, отсюда не исключается — происходит наступление на

смысл. Этому противостоят документальные образы, выражающие неорганизованную стихийную мощь реального, действительности. Как можно понять П. Палиевского, необработанность, сырая форма жизненного материала как раз и представляет особую ценность, всякая его обработка приводит к искажению его существа, содержания.

Нетрудно заметить, что при этом оказывается ненужным искусство как таковое, ибо искусство означало и означает прежде всего обработку, то или иное претворение материала действительности в художественные образы. Не без оснований поэтому искусство и рассматривается как творческая деятельность. Следует спросить автора: если излишней и даже вредной нужно считать обработку жизненного материала, то как возникают те документальные образы, о которых он с таким восторгом пишет? Это довольно трудно представить себе. Самодвижение, талант жизни — все это хорошо, но талант жизни сам по себе еще не создает творческие обобщения, образы. Их создает талант художника. А вот с ним-то в концепции П. Палиевского происходят явные нелады.

Оставаясь на позиции, утверждающей самоценность сырой, незаконченной формы материала действительности, нужно признать, что писателю принадлежит роль преимущественно собирателя удивительных фактов, фактов-самоцветов, отливающих тысячами красок. В лучшем случае он может быть человеком, который так или иначе их komponует. Писатель как творческая личность, как создатель новых идейных и эстетических ценностей оказывается не у дел. При том развитии событий, которое намечается в результате предполагаемого победоносного наступления факта, документа, он, в сущности, и не нужен.

Не случайно П. Палиевский придает большое значение литературе, которая не числит за собой авторов в точном смысле этого слова. Это письма, дневники и т. д. По мнению исследователя, в наше время «появилось нечто уж совсем новое — вид литературы без писателя, собственно — литература человеческого документа. Ее стали пополнять все те подлинные свидетельства, которые заносились на бумагу без каких-то литературных намерений, но потом — вследствие разных непредусмотренных обстоятельств — получили распро-

<sup>25</sup> П. В. Палиевский, «Роль документа в организации художественного целого» (сб. «Проблемы художественной формы социалистического реализма» в двух томах. М. «Наука». 1971. т. 1. стр. 404).

<sup>26</sup> Там же, стр. 394.

<sup>27</sup> Там же, стр. 404, 405.

странение на правах художественных произведений»<sup>28</sup>.

П. Палиевский упускает из виду то, что произведения — человеческие документы не являются достоянием, отличительной особенностью современной литературы. Они появлялись и в прежние времена. Выразительным примером таких сочинений могут служить «Хождение за три моря» купца Афанасия Никитина, «Житие протопопа Аввакума», о котором уже шла речь, и другие. Но в этих произведениях, особенно в «Житии», личность «повествователя» выступает как раз очень сильно. Популярность произведений — человеческих документов обычно во многом определяется незаурядностью их авторов. Как ни оценивать эти сочинения, несомненно, что они не составляют новый вид литературы.

Документальное творчество занимает свое место в художественной культуре нашего времени, но оно не определяет основной путь развития современной литературы и искусства, в особенности социалистического искусства и литературы. Глубокое и свободное исследование самых различных явлений и фактов действительности, ее тенденций, широкое их осмысление и образное обобщение, в котором весьма важную роль играет творческое воображение, сохраняют и в нашу эпоху свою действенность и первостепенное значение. Это не значит, что не меняется характер связей искусства с жизнью. Вместе с изменениями, которые переживает человек и общество, вместе с эволюцией самого искусства трансформируются и их взаимодействия. Но связи эти и взаимодействия не сужаются и обедняются, а расши-

ряются, становятся более богатыми и объемными.

Зародившись на заре цивилизации, родное искусство на протяжении тысячелетий было добрым другом и задушевным спутником человека, выразителем его сокровенных дум, чувств, намерений и свершений. В лучших своих созданиях оно выполняло и выполняет сейчас высокую миссию глашатая гуманистических идей и принципов. Широкие просторы для развития литературы и искусства в современную эпоху открыли Великая Октябрьская социалистическая революция, новый общественный строй. Строительство социалистического общества, раскрепощение творческих сил народа, создание условий для всестороннего раскрытия возможностей и способностей нового человека представляют собой ту благодатную почву, на которой вырастают замечательные плоды социалистической художественной культуры. Социалистическая литература и искусство не отделяют себя от мирового художественного развития нашего времени и воспринимают все передовое, ценное, создаваемое крупными художниками в различных странах света. В то же самое время литература и искусство социалистических стран являются несомненным ориентиром для прогрессивных мастеров иных направлений современного искусства, они вызывают живейший интерес и любовь у читателей, зрителей, слушателей многих народов мира. Международное признание, которое завоевала социалистическая художественная культура, неразрывно связано с тем, что она передает волнующую правду о новом обществе, о новых человеческих отношениях, ее сила — в ярком воплощении идей социальной справедливости и гуманизма, мира и дружбы между народами, идей общественного прогресса.

<sup>28</sup> Там же, стр. 409.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Осноцкий.** Из глубины веков к девятьсот семнадцатому...—Винтор Боков.  
Поэзия мысли.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Юрий Корольков.** «Я не щажу себя никогда...» — Валентина Елисева. Секретарь обкома.

## Литература и искусство

### ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ К ДЕВЯТЬСОТ СЕМНАДЦАТОМУ...

**Сергей Алексеев.** Повести. М. «Детская литература», 1976. 336 стр.  
**Сергей Алексеев.** Октябрь шагает по стране. Рассказы. М. «Детская литература», 1977. 92 стр.

Сам объект исторического исследования имеет эстетическую структуру,— утверждает философ А. В. Гулыга в книге «Эстетика истории», видя в этом основу взаимодействия исторической науки и литературы, искусства.

Именно в эстетической действенности исторического знания и заключено неослабное идейно-воспитательное значение художественных произведений, посвященных темам и образам прошлого, событиям и героям, которые отдалены от нас веками или десятилетиями. «Знание прошлого необходимо для того, чтоб молодежь научилась думать исторически»,— говорил Горький.

К произведениям детской и юношеской литературы, разрабатывающим темы многовековой отечественной истории, горьковские слова имеют прямое и непосредственное отношение. Нет надобности искусственно изолировать эти произведения от многонационального литературного процесса в целом, выделять в автономный, ведомственный ряд. Лучшие из них решают те же социально-аналитические и идейно-нравственные задачи, что и вся наша литература, создаются в русле единых зако-

номерностей современного развития, типологически преломляют в себе общие стилевые направления, тенденции, искания. Но в то же время бесспорно и своеобразие этих произведений, обусловленное возрастными особенностями читательского восприятия.

Обо всем этом и позволяет судить творчество Сергея Алексеева, историка по образованию и писателя по призванию, автора книг, обретших постоянную прописку среди едва ли не самой сложной, но зато и самой чуткой, отзывчивой, благодарной читательской аудитории — детей младшего школьного возраста. К широкоизвестным его книгам «Сто рассказов из русской истории», «Грозный всадник», «Небывалое бывает» и другим прибавилось два новых издания. Книга «Повести», объединившая «Историю крепостного мальчика», «Жизнь и смерть Гришатки Соколова», «Сына великана», «Братишку», ведет в увлекательное, познавательно интересное и художественно своеобразное путешествие по векам истории, закономерно венчаемое эпохой Великого Октября в переизданной книге «Октябрь шагает по стране». Глубоко по-своему проявляется в этих книгах принци-

ально важное в исторической прозе соотношение документальной основы повествования и творческого воображения писателя, доподлинного факта, события и создающего иллюзию достоверности вымысла. Простое воспроизведение действительных событий в форме хроникального, скажем, повествования здесь мало что дало бы. Заняться об обогащении юного читателя предметным знанием прошлого, детский писатель не может не беспокоиться об увлекательном и доходчивом изложении. Подмена непосредственного действия длиннотами описательности, докучливая дидактичность вместо эмоциональной увлеченности, опасные в любом произведении, в данном случае были бы губительны. Это хорошо понимает писатель и, осознавая, вменяет себе в специфические художественные задачи и необходимую остроту сюжета, занимательность фабулы, динамику действия, не избегающего приключенческой интриги, и непрерывную доступность повествования, требующую предельно естественной, литературно не усложненной авторской интонации, и несомненную поучительность отобранного материала, его объективно познавательное значение. Черпая в книгах С. Алексеева начальные исторические представления, юный читатель обретает исходный опыт гражданского самосознания, социального мышления, патриотического и интернационального чувства.

В самом деле: как иначе конкретизировать горьковское понятие «думать исторически»? Прежде всего оно и означает — осознать неразрывную связь времен и поколений в поступательном беге времени, в неостановимом движении исторического прогресса. Это означает, далее, органично принять в свой нынешний социальный и нравственный опыт духовное наследие многовекового прошлого, общественной мысли, культуры. Наконец, «думать исторически» — значит воспитать в себе такое понимание народного прошлого и его духовного наследия, которое опирается на четкие социально-классовые представления об истории как многотрудной летописи освободительной борьбы, на социально-классовые критерии в понимании преемственности ее лучших, прогрессивных, демократических и революционных, героических и патриотических традиций. Эти традиции опозитивированы в повестях С. Алексеева «История крепостного мальчика» и «Жизнь и смерть Гришатки Соколова».

Обе повести обращены в то далекое время, когда крепостное право было жестокой реальностью жизни многих сверстников нынешних читателей книги. Легко представить, как поразит воображение ребенка нелепая экзекуция, которую обедневшая помещица Мавра Ермолаевна — всего и крепостных-то у нее двое да третий Митька, купленный по дешевке, — учиняет каждую субботу после бани. И как страшна та молчаливая покорность подневольной судьбе, которая поражает даже малолетка Митьку, недоуменно вопрошающего: за что?

Так конкретным содержанием наполняется отдаленное понятие «крепостное право», с которым юный читатель С. Алексеева сталкивается, может быть, впервые. Тем более, значит, важно, избегая однозначных художественных решений, донести до него реальную сложность, жизненную многозначность этого понятия. Тяжким бременем ложась на хрупкие плечи Митьки или малолетней крепостной балерины Даши, сгоревшей в чухотке, крепостничество порождает не только уродливые фигуры бар и господ вроде выжившего из ума «блаженного» князя Юсуповского или их прихлебателей-чужеземцев, но и таких, как удалой «поручик лейб-гвардии императорского полка» Вяземский, в общем-то незабываемый малый, чье воинское геройство отмечено самим Суворовым. По бесшабашной доброте он пригревает у себя беглеца Митьку, а потом, ничтоже сумняшеся, ставит на него в азарте карточной игры, хоть и был обязан ему спасением в бою под Измаилом. Чудовищна и холопская мораль, рабская психология, которыми крепостнические порядки отзываются в сознании людей, покорно воспринимающих собственное унижение и бесправие. А иной раз даже извлекающих из них лакейские привилегии. «Мужику всыпать, так это же не в помах. Откуда, думаешь, недород? Людишки ленятся — отсюда и недород», — рассуждает дед Кобылин. А ведь не из барских прихвостней — всего лишь бывший камердинер в доме оренбургского губернатора, определенный ныне по старости в вдовозы. Сколь же многолико то вьезшееся крепостничество, которому С. Алексеев сумел противопоставить неистребимое чувство человеческого достоинства, жизнестойкий дух непокорства и вольнолюбия своих героев! Тот же Митька, проданный на торгу, обмененный на пуховую перину, проигранный в карты, не только в переносном, но и

в прямом смысле проходит огонь, воду и медные трубы, чиня правую месть над управляющим-немцем или внося под Измаилом свою лепту в подвиг русской воинской славы. А Гришатка Соколов вообще вырастает в бунтаря, становится борцом за крестьянскую волю, и сам «вождь и заступник народный» Емельян Иванович Пугачев ведет его за собой, зовет к «делу великому».

Повторим: повести С. Алексеева обращены к читателям, которым от роду семь—десять лет. Они еще не знают ни поэмы Сергея Есенина, ни романа Вячеслава Шишкова. Сведения о пугачевском восстании почерпнуты ими из нескольких страниц учебника по истории для начальной школы. «Недолгий мальчишеский век» Гришатки Соколова закрепит в их памяти как символ крепостного труда железные цепи, которыми «вечноотданные» на уральские заводы крестьяне, «мученики и перемученики», до конца дней своих прикованы к тачкам. Расскажут, как «запыхали огнем Оренбургские степи. Всколыхнулся Яик. Из дальних и ближних мест» на клич Пугачева потянулся «несметными толпами измученный и измордованный барами люд». Судьба вымышленного Гришатки Соколова становится той нитью, на которую нанизываются действительные события народной истории. И тем ближе она современному восприятию ребенка, чем правдивее характер героя повести, выписанный во всей мальчишеской непосредственности, щедро наделенный чувством справедливости, необузданный на фантазию, неутомимый на озорство.

Непосредственностью природы, живостью характеров, по-своему преломивших в себе историческую правду эпохи, интересны и значительны юные герои повестей «Сын великана» и «Братишка». События в них разворачиваются непосредственно в дни свержения самодержавия, в дни Великого Октября, гражданской войны. Изобретательно найденный, драматически острый и напряженный сюжет помогает писателю охватить действительность революционной России и вширь и вглубь. Так, Лешка из первой повести — совсем «один, как неокрепший дубок на нескончаемом поле», — волею своей сиротской судьбы сначала наблюдает в Питере события Февральской революции, затем попадает в село Голодай, развороченное и вздыбленное стихией крестьянского бунта, потом в полуголодную

митингующую и бастующую Москву и даже на русско-австрийский фронт под Галичем, пока наконец снова не оказывается в Петрограде на легендарном Путиловском, рабочие отряды которого штурмуют Зимний. Революционный Кронштадт, крестьянская коммуна под Лугой, бой с белогвардейцами вблизи станции Сергиева Пустынь, всего в пятнадцать километрах от Петрограда, и опять Кронштадт, эсминец «Гавриил» в последнем своем рейсе перед гибелью — таков путь, которым проводит писатель девочку Нюту во второй повести. Подобная многособытийность повествования, разветвленного и насыщенного, позволяет создавать панорамные картины народной жизни, убедительно обосновывающие историческую неизбежность победы Великого Октября, показывающие, какой высокой ценой оплачена защита его завоеваний.

И в этих повестях С. Алексеев обнаруживает безошибочное знание читательской аудитории, психологии восприятия книги детьми младшего школьного возраста, он целеустремлен и последователен в плодотворном стремлении представить историю не в публицистических выводах, не в научных обоснованиях, но в живых, ярких, запоминающихся деталях, эпизодах, сценах. Таков, например, впечатляющий рассказ солдата Акима Пятихатки о том, как четверо его братьев погибли под Галичем, а город «как был у австрияков, так и остался». В соотношении с ним большим человеческим, революционно-гуманистическим смыслом наполняются большевистские лозунги «Мир без аннексий и контрибуций!», «Долой войну!». О том, как глубоко отвечают они коренным жизненным нуждам народов, втянутых в мировую империалистическую бойню, убедительно говорят и мажорная сцена братания русских и немецких солдат, и драматические картины новых боев, ужаснувшие Лешку видом смерти: «Немцы, австрийцы, русские перемешались как тогда, при братании. Валялись лицами вниз и вверх животами. Лежали скорчившись, словно сведенные в судороге. Затихли, сбросив руки, как будто спали. Валялись один на одном, как снопы, слетевшие с воза». Высокой патетики, усиливающей эмоциональное воздействие повествования, достигает слово автора при описании Путиловского завода — кузницы питерского пролетариата, Смольного — боевого штаба революции, штурма Зимнего, сигналом к кото-

рому послужил «одиночный пушечный выстрел» с легендарной «Авроры». В ряду этих сцен стоит особо выделить сцену из повести «Братишка», которая ведет нас в кремлевский кабинет В. И. Ленина.

Доходчивым языком образов С. Алексеев приближает к детскому сознанию сложные социально-классовые понятия и представления. Сыном великана называет сироту Лешку рабочий-путиловец Андрей Зотов, понимая под великаном трудовой люд, поднявшийся на борьбу, О непобедимости народа, совершившего революцию, толкует девочке Нюте комиссар Лепешкин, раскрывая непонятную ей суть слов «коммунизм» и «партия». Не пройдет даром такая политбеседа, едва ли не самая трудная для комиссара. Точь-в-точь как он и его словами скажет вскоре Нюта деревенским ребятам в Ромашках: «Партия — это не просто толпа людей. Это есть боевой отряд. Цвет трудового класса».

Добрую память о людях выносит из пережитого маленькая героиня повести

«Братишка». Благодарную память о сибирских партизанах, которые уберегли ее от колчаковских карателей, о крестьянах-коммунарах из деревни Ромашки, о моряках Красного Балтийского флота. С мечтой вырасти большевиком, как рабочий-путиловец Андрей Зотов, вступает в жизнь героиня повести «Сын великана». «Да кто же тебя возьмет?!» — недоумевает друг Пашка. «Возьмут,— убежденно проговорил Лешка.— Вот увидишь, возьмут. Я, как дядя Андрей, за дело рабочих и крестьян». Ну а их сегодняшний сверстник — с какими чувствами он закроет книгу повестей Сергея Алексеева?

Думается, что главным среди них будет чувство приобщения к истории, осознания себя частицей народа, прошедшего такой долгий, такой большой и трудный путь. И пронесшего через века и десятилетия своей жизни и борьбы эстафету героических подвигов, ставших непрерывной традицией его исторического бытия.

**В. ОСКОЦКИЙ**



## ПОЭЗИЯ МЫСЛИ

**Алексей Прасолов. Осенний свет. Стихи. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 1976. 131 стр.**

Книга Алексея Прасолова «Осенний свет», изданная в Воронеже тиражом в 10 тысяч экземпляров, была мгновенно раскуплена, ее нет, а между тем творчество безвременно ушедшего от нас поэта столь значительно, что поэзию Прасолова должен узнать и всеосознанный читатель.

В поэтическом лесу поэта хмуро и тенисто, среди старых сосен и елей робко пробивается зеленая травка, но, удивительное дело, прасоловский лес по мере чтения стихов становится все ближе душе твоей, и тебя тянет дальше и дальше вглубь, и ты не хочешь выходить из него.

В формальном смысле Алексей Прасолов не сказал ничего особенно нового, он традиционно устойчив и в чем-то даже литературно старомоден.

Это не помешало ему быть современным, не лишило его поэзию драматизма и напряженности. Упорная, незатихающая работа мысли, проникновение в тайное тайных человеческой души, тяга к духовному самовоспитанию и совершенствованию — вот что составляет основу поэзии Алексея Прасолова. Он воинственно активен, пассивной

позиции не найдешь у него ни в одном переживании, ни в одной мысли. Даже то, что у других обычно созерцательно-спокойно, у Прасолова исполнено остроты восприятия. Кто не писал о дожде? Кто не находил в нем пользы для полей, лугов и всего живого? Прасолов и в дожде увидел свое:

Рожденный там, на высоте,  
Он замертво на землю ляжет.

Неожиданная ассоциация падающего дождя с замертво падающим человеком развивается в стихотворении дальше:

А дождик с четырех сторон  
Уже облег и лес и поле  
Так мягко, словно хочет он,  
Чтоб неизбежное — без боли.

О смерти не говорится прямо, она названа другим словом — неизбежное, и эта замена обостряет выразительность и новизну образа, философски высоко поднимает звучание стиха.

А. Твардовский писал как-то одному из своих корреспондентов: «...и вот что пока-



мест мешает вашим стихам: рассудочность, рационалистичность. Думать нужно, без этого нет поэзии. Но построениями чисто «головного» порядка не заменить живого впечатления и эмоции, порожденной им». Мысль Прасолова опирается на живое впечатление: именно из живого впечатления и возникают все раздумья поэта, его выводы и умозаключения, ощущение его причастности к человеку, к земле, к мирозданию. Лучшие стихотворения Прасолова — это своего рода взрыв, потрясение, сгусток эмоций и мыслей:

Даль живет, дымитца и грохочет,  
Свой бессонный двигатель укрыв.

Бессонный двигатель, укрытый далями, — мыслящая душа, умное сердце поэта. В извечную лирику расставания Прасолов вносит свою трактовку, свой современный сюжет и бытовую фактуру. Расставание не у реки, не под месяцем, не в беседе наконец, не на перроне у поезда — расставание на летном поле. Любимая улетает. Все происходит под высоким небом, под звездами, все крупно и пространственно.

Уже огромный подан самолет,  
Уже округло вырезанной дверцей  
Воздушный поглощается народ,  
И неизбежная, как рифма «сердце»,  
Встает тревога и глядит, глядит  
Стеклом иллюминатора глухого  
В мой глаза — и тот, кто там закрыт,  
Уже как будто не вернется снова.

Тебя на хищно выгнутом крыле  
Сейчас поднимет этой легкой силой. —  
Так что ж понять я должен на земле,  
Глядящий одиноко и бескрыло?  
Что нам — лететь? Что душам суждена  
Пространства неизмеренная бездна,  
Что превращает в точку нас она,  
Которая мелькнула и исчезла?

Пусть так. Но там, где будешь ты сейчас,  
Я жду тебя, — в надмирном постоянстве  
Лечу, — и что соединяет нас,  
Уже не затеряется в пространстве.

Что же соединяет двух людей в этом мире, где сам человек — бесконечно малая точка? Не самолет, не звезды, не мироздание, но великое чувство — любовь. Пока это чувство всесильно, два человека пребывают в союзе — они неразлучны. Удивительное стихотворение!

Алексей Прасолов воспринимает историю, самого человека в движении, в перспективе:

...А очередь к нему текла,  
В день скорби взяв свое начало,

И в ответах добра и зла  
Неразделимое несла  
И судьбы новые включала.

И в самый страшный час — гляди —  
Народный ход бедой не прерван,  
Лишь выбывают впереди  
Застигнутые сорок первым.

Увидеть очередь людей к ленинскому Мавзолею в такой вот неоднозначной, многомерной перспективе не всем дано.

Духовные искания Прасолова остропрямлены, он пытается подвергать постоянной проверке на значительность и осмысленность все происходящее вокруг:

Сварки нездешние светы.  
Шов — к неостывшему шву.  
В яркой тревожности этой  
Очень давно я живу.

В стихах поэта — тревожное неустанное постижение тьмы и света, жизни и смерти, вечности и мига:

Летучий гром — и два крыла за тучей.  
Кто ты теперь? Мой отрешенный друг?  
Иль в необъятной области созвучий  
Всего лишь краткий и суровый звук?

Стихи посвящены летчику. Может быть, испытывая самолет, он уже стал суровым звуком? Готовность к подвигу поэт принимает за норму жизни и потому славит жизнь в борении, в поисках нравственной высоты, в утверждении бесстрашия.

Поэзии Прасолова свойственны большие скорости, учащенное дыхание. От обостренного восприятия мига, времени, задачи, от постоянной мысли о роковом часе прощанья возникали такие почти конвульсивные эмоции:

Пусть этот вечер длится, длится,  
Чтоб пристальней в его окне  
Я мог бы вглядываться в лица,  
Летающие навстречу мне.

За ними стоял глубоко мыслящий и чувствующий человек, который строже всех судил самого себя. Характер поэта отличался крупностью и решительностью. Отсюда и стихи, в которых не было ни потребительского отношения к жизни, ни благодушья, ни попытки приспособиться.

Мажор и минор, свет и тень, жизнь и смерть — это соседствующее контрастное сопоставление может быть взято на вооружение нашими молодыми поэтами, которые порой изображают действительность в одном плоскостном измерении. Контраст-

ность художественного сопоставления — один из любимых приемов Прасолова. Она у него варьируется и звучит всегда по-новому:

И веком нежность и суровость  
В нас нераздельно сведены...

Чтоб мир застать в его недобрый  
Иль напоенный солнцем час...

Не страшно споткнуться о горе—  
Боюсь наступить я на счастье...

Твоей несправедливой обиды  
Также праведные слезы...

Когда от боли берегусь,  
Я каждый раз теряю радость...

Непамятливых памятью не мучай,  
А помнящим хоть час забвенья дай.

Именно контраст помогал Прасолову сконцентрировать мысль, довести ее до афористичности, лаконизма. Так распорядиться словом может только зрелый мастер.

Стихотворение «Вознесенье железного духа» свидетельствует о больших поэтических возможностях таланта Алексея Прасолова. Сюжет стихотворения прост: поэт рассказывает о старухе, которая решила лететь на самолете. Сила этого прекрасного стихотворения в том, что героиня насколько реальна, конкретна, настолько и символична. Не старуха летит над землей — древняя Мать человечества. Так много видела она в жизни, столько людей подарила земле. «Затерялись в дыму и в тумане те, кого народила она». Величавости самой истории исполнена мудрая Матерь Жизни. «И подвержено все без раздела одобренью ее и суду». Прасолов отстаивает право старших, умудренных опытом, судить обо всем, что сегодня делает человек. Этот нравственный поворот важен и прогрессивен. Образ старухи — это своего рода эпос, и лирика, и философия. Философское начало выражено в образе, в подобии реального человека. Это делает поэзию Прасолова сильной и ясновидящей.

В Прасолове вообще есть та русская исповедальность, которая шемше звучала у Чехова, Льва Толстого, Достоевского. Повиниться перед людьми, раствориться в общем людском потоке — вот что прельщало Прасолова, когда он подводил черту:

Под шум и лепет затоскую,  
Как станет горько одному,

Уйду — и всю молву людскую,  
Какая б ни была, приму.

Вспоминается описанная Иваном Бунным встреча с Антоном Чеховым. Чехов собирался пойти по селам и деревням с котомкой, чтобы слушать и слушать людей, их исповеди и судьбы. «До самой смерти росла его душа», — заключает этот эпизод Бунин. Непрерывно росла душа и Прасолова. Потому он так понимал страдания другого человека. Страдание матери:

Мать.  
В томительных лучах  
Перед тучей  
Черной, черной.  
Вижу,  
Как кровоточат  
Руки, ссаженные терном.

Страдание поверженной грозой рощи.

Увидел я... И все предстало здесь  
Побойщем огромным и печальным.  
И полоса поникнувших берез,  
С которой сам я в мире этом рос,  
Мне шестивьем казалась погребальным.

Страдание девочки, узнавшей, что отца нет в живых:

И, глядя пристально  
И слепо,  
Меж сосен девочка пошла.  
В руке,  
Распертая нелепо,  
Авоська стала тяжела.

А тот,  
Что вынес весть навстречу,  
Не отводил усталых глаз  
И ждал:  
Вот-вот заплачут плечи,  
Сутулясь горько и трясясь.

Глубоко гуманная поэзия Прасолова как птица билась грудью о встречный ветер жизни, была наполнена великим вниманием к человеку, верила в него, в его творческие возможности. Это так ярко выражено поэтом в стихотворении «Все гуще жизнь в душе теснится». Вот его нравственный кодекс:

Томясь потерями своими,  
Хочу обманчивое смыть,  
Чтобы единственное имя  
Смогло на каждом проступить.

И еще:

Прикрыв глаза, себя увидишь ты  
В живом потоке напряженным стеблем.

И еще:

Среди людской горячей нивы  
Затерян колосом и я,  
И сердце полнится наливом —  
Целебным соком бытия.

Целебным соком бытия наполнена оригинальная, самобытная поэзия Алексея Прасолова, она не должна затеряться. Вместе с нами она будет яростно бороться за духовно богатого человека социалистическо-

го общества. Заканчиваю разговор о Прасолове цитатой из стихов о Пушкине:

— Что значит — время?  
Что — пространство?..  
Для вдохновенья и труда  
Явись однажды и останься  
Самим собою навсегда.

Будем помнить эту заповедь, будем требовать от человека — стать личностью!

**Виктор БОКОВ.**



### Политика и наука

#### «Я НЕ ЩАЖУ СЕБЯ НИКОГДА...»

О Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Воспоминания, статьи, очерки современников. М. Политиздат. 1977. 303 стр.

К столетию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского в Издательстве политической литературы вышел сборник воспоминаний его современников — товарищей, ближайших родственников, соратников по подполью и борьбе с контрреволюцией. Они шагали с ним рядом на демонстрациях, сидели в царских тюрьмах, шли в далекую сибирскую ссылку, знали Дзержинского по совместной государственной и хозяйственной работе, вместе с ним спасали голодающих беспризорных детей.

Эти отдельные рассказы (их более пятидесяти), написанные в разное время и теперь заботливо собранные воедино, с необычайной силой воскрешают благородный образ верного соратника Ленина, легендарного рыцаря революции, названного Владимиром Ильичем совестью партии, совестью пролетариата. Мы узнаем много нового и важного, порой забытого — о чертах его характера, о богатстве души, о гуманизме, сочетавшемся с железной волей борца, вечного труженика и бесстрашного солдата великих боев. Воспоминания о Дзержинском написаны разными людьми и, естественно, отличаются по манере письма, но каждое из них дополняет другое, каждое изобилует драгоценными деталями и штрихами, воссоздающими волнующую атмосферу революционной эпохи, показывающими духовный мир и борьбу Дзержинского на разных этапах его жизненного пути.

Интересны воспоминания сестры Альдоны, с которой Феликс Эдмундович всю жизнь был связан нежной, трогательной

дружбой. А рядом воспоминания Климентя Ефремовича Ворошилова о совместной партийной работе на заре нового века, рассказы Софьи Сигизмундовны, жены, подруги, соратницы Дзержинского, его сына Яна Феликсовича. Подпольщик Андрей Гульбинович пишет о первых годах революционной борьбы вместе с молодым Феликсом в Вильно. Юзеф Красный рассказывает о жизни в царской тюрьме. В сборник включены воспоминания бессменного шофера председателя ВЧК Сергея Тихомолова, который в течение восьми лет изо дня в день находился рядом с Феликсом Эдмундовичем. Есть здесь и воспоминания младшей сестры Дзержинского Ядвиги, написанные о своем брате еще в 1926 году...

В сборнике выступают Менжинский, Луначарский, Клара Цеткин, Тухачевский, Бонч-Бруевич, Стасова, Кржижановский и многие другие.

Вместе с тем и письма Дзержинского, многие его высказывания, которые приводятся в воспоминаниях, помогают глубже познать его внутренний мир, неиссякаемую волю, беззаветную преданность делу, которому он служил. «Я нахожусь в самом огне борьбы, — писал он Софье Сигизмундовне в разгар гражданской войны. — Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом... Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время — это одно непрерывное действие... Мысль моя заставляет меня быть

беспощадным, и во мне твердая воля идти за мыслью до конца. Кольцо врагов сжимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу... Каждый день заставляет нас прибегать ко все более решительным мерам».

Но едва начинает ослабевать накал борьбы, как Феликс Эдмундович настаивает: «Знаете ли вы, что фактически мы уже победили силы контрреволюции? Теперь нам нет смысла думать об ответном терроре. Мы переходим к созиданию, к строительству, к восстановлению разрушенного... А сейчас первое, с чего мы начнем нашу полумирную жизнь, это позаботимся о голодных детях... И спасением детей будет заниматься Чрезвычайная Комиссия... Вот наш гуманизм! Мы сделаем человечество счастливым, хотя сейчас, в разрухе и голоде, это может показаться несбыточной мечтой...»

Каждое из выступлений авторов в книге — самостоятельные, специально написанные ими воспоминания о Дзержинском. Но сколько еще страниц, фактов, эпизодов, связанных с жизнью Дзержинского, разбросано по другим мемуарам, вышедшим в разные годы у нас и за рубежом! Золотая россыпь! Книги о минувшем Клавдии Тимофеевны Свердловой, Джоча Рида, Якова Ганецкого, Здислава Ледера.. Всех не перечислить. Собрать бы воедино эти золотые крупички! Вот одно из таких забытых, но несомненно интересных впечатлений о встречах с Дзержинским, содержащихся в воспоминаниях английской художницы — скульптора Шеридан. Она приехала в Москву в двадцатом году, чтобы создать портреты советских руководителей. Дзержинский долго отнекивался, уклонялся позировать, наконец согласился и пришел в мастерскую художницы, оденную ей в Кремле.

«Сегодня пришел Дзержинский,— писала Шеридан.— Он позировал спокойно и очень молчаливо. Его глаза выглядели, несомненно, как омывтые слезами вечной скорби, но рот его улыбался кротко и мило. Его лицо узко, с высокими скулами и впадинами. Из всех его черт нос как будто характернее всего. Он очень тонок, и нежные бескровные ноздри отражают сверхтонченность. Во время работы и наблюдения за ним в продолжение, вероятно, полутора часов он произвел на меня странное впечатление. Наконец его молчание стало тягостным, и я воскликнула:

— У вас ангельское терпение, вы сидите так тихо!

Он ответил:

— Человек учится терпению и спокойствию в тюрьме.

На вопрос, сколько времени он провел в тюрьме, Дзержинский ответил:

— Четверть моей жизни. Одиннадцать лет.

Революция освободила его. Несомненно, что не абстрактное желание власти, не политическая карьера, а фанатичное убеждение в том, что зло должно быть уничтожено во благо всего человечества... сделало из подобных людей революционеров».

А вот яркий отрывок из мемуаров Клавдии Тимофеевны Свердловой, жены Якова Михайловича Свердлова, опубликованных двадцать лет назад:

«Однажды Свердлов предложил поехать к Феликсу Эдмундовичу: «Не нравится он мне последнее время. Вид архискверный. На квартире у себя совсем не бывает, пропадает круглые сутки на работе. Надо посмотреть, как он живет».

Пришли мы на Лубянскую площадь в ВЧК.. Пока мы шли по бесконечным коридорам большого здания, многие встречавшиеся нам сотрудники здоровались с Яковом Михайловичем... Многих чекистов он знал раньше, ведь партия послала в ЧК лучших большевиков, кому же как не Свердлову было знать их...

Дошли до кабинета Дзержинского, заходим. Феликс Эдмундович согнулся над бумагами. На столе перед ним полупустой стакан чая какого-то мутно-серого цвета и небольшой кусочек черного хлеба. В комнате холодно, часть кабинета отгорожена ширмой, за ширмой кровать... Мы сели к столу, причем я ясно видела кровать Дзержинского, покрытую простым солдатским одеялом. Поверх одеяла была небрежно брошена шинель, подушка смята. Было ясно, что Дзержинский как следует не спит, разве приляжет ненадолго не раздеваясь.

Просидев у Дзержинского около часа, мы вышли на улицу. Яков Михайлович был необычайно сосредоточен и задумчив. Некоторое время шли молча. «Плохо живет Феликс,— заговорил он,— стогит. Не спит по-человечески и питается отвратительно. Нельзя так. Надо с Ильичем посоветоваться, но без семьи ему нельзя. Пропадет Дзержинский...»

Подобных страниц немало разбросано в

мемуарной литературе. Есть настоятельная необходимость собрать их. Это прямой наш долг, обязанность литераторов-документалистов.

Настоящие строки — не только рецензия на хорошую, нужную книгу, Книга-сборник, книга-памятник всколыхнула во мне собственные воспоминания.

Феликса Эдмундовича я видел только раз в жизни — на Красной площади в день похорон Ленина. Феликс Эдмундович шел впереди, нес вместе с другими гроб вождя к воздвигнутому за несколько суток временному мавзолею. Скорбное лицо, шинель, заиндевевший шарф. Рядом Калинин и Ворошилов. Когда гроб подняли с поста-мента, протяжно загудели фабричные гудки, на перегонах остановились поезда, замерли машины и станки. Наступили тяжкие минуты прощания. Все, кто стоял на Красной площади, обнажили головы, не замечая жгучего сорокаградусного мороза. Траурная процессия приближалась к мавзолею. Спины стоящих впереди заслонили ее от меня...

Феликс Эдмундович скончался через два с половиной года. Этот день глубоко запаал в мою память. Я стоял на стремянке с молотком и шлямбуром — тянул под карнизом электропроводку. Зашел Некрасов, мой добрый наставник, партприкрепленный к нашей комсомольской ячейке. О нем уважительно говорили — старый большевик-подпольщик, хотя было ему не более сорока. Нам он казался куда старше, возможно, потому, что носил окладистую каштановую бороду. Говорили, что в подполье он работал с Феликсом Эдмундовичем. Некрасов тихо окликнул меня, я спустился вниз. Дрогнувшим голосом он сказал:

— Умер Дзержинский...

Как понять мое тогдашнее состояние?.. Дзержинского видел только раз в жизни, но незримо он всегда присутствовал среди нас. Я молча застыл и отвернулся, чтобы скрыть слезы. Некрасов обнял меня за плечи, что-то говорил, старался успокоить, а у самого на глазах тоже навернулись слезы...

Для нас Феликс Дзержинский всегда был живым примером, символом борца за революцию. Это потом Маяковский в поэтических строках выразил наши чувства:

Юноше,  
обдумывающему  
жизнь,  
решающему —

сделать жизнь с ного,  
скажу  
не задумываясь —  
«Делай ее  
с товарища  
Дзержинского».

А тогда мы просто любили Дзержинского...

Поэт обращался к юношам и девушкам своего времени, но его призыв нашел живейший отклик в молодых сердцах многих и многих поколений. А те первые, к которым поэт обратил свои вехи слова, в годы испытаний неизменно являли пример беззаветного служения отечеству, будь то на мирных стройках или на фронтах войны с фашизмом — всюду, где требовался патриотический порыв, выполнение интернационального долга. Многие из них отдали жизнь за дело революции, другие, ныне уже седовласые, продолжают дело своих отцов, создавая новое общество. И в наши дни продолжается великая переключка поколений, прошлого, настоящего и грядущего. Несомненно, книга воспоминаний о Феликсе Дзержинском как нельзя лучше способствует воспитанию молодежи в духе высоких идейных и нравственных принципов.

В своих воспоминаниях Софья Сигизмундовна рассказывает об одном эпизоде из жизни Феликса Эдмундовича в его последней ссылке в глухом сибирском селе Тасеево. Было это за несколько лет до начала первой мировой войны.

В партии политических ссыльных, уходивших на вечное поселение, находился восемнадцатилетний революционер Вербанович, самый молодой среди ссыльных. Вскоре после прибытия ссыльных в Тасеево бандит-уголовник напал на Вербановича, пытался отнять серебряные часы, единственно ценную у него вещь. Защищаясь, Вербанович, сам того не желая, убил грабителя. А в царских тюрьмах и ссылках существовал непреложный закон: такой ссыльный, прав он был или не прав, приговаривался к смертной казни. Над Вербановичем нависла угроза смерти. Собрались в доме кузнеца Крогульского, тоже ссыльного, уже много лет жившего в Тасеево. Думали, прикидывали, гадали, что делать, и решили — Вербановичу надо бежать, и немедленно, еще до того, как начнется расследование. С этим были согласны все. Но как это устроить без денег, без паспорта? Деньги еще можно набрать, но где добыть

паспорт? Положение складывалось безвыходное. Сидели понуро, размышляли... И тогда Феликс ушел в свою каморку, покопаясь в вещах, вернулся и положил на стол припасенные для своего побега паспорт и деньги. Ради спасения товарища он расставался со своей мечтой выйти на волю. Третий раз Дзержинский попадал в ссылку, дважды бежал, намеревался бежать и на этот раз. А сейчас не раздумывая обрекал себя на долгую ссылку. В ту же зимнюю ночь запрягли лошадей, отвезли Вербановича за полсотни километров на станцию. Что стало с ним дальше, никто не знал. Следы его затерялись, одни говорили, будто ему удалось благополучно вернуться в родные края, другие предполагали — беглеца арестовали в пути.

Прошло больше полувека, и в памяти остается только благородный поступок Феликса Эдмундовича...

Несколько лет назад я работал над повестью о жизни Дзержинского «Феликс — значит счастливый...». Назвал книгу так потому, что имя Феликс означает счастливый, а молодой большевик-подпольщик, человек тяжчайшей личной судьбы, считал высшим счастьем дело, которому он служил. В книге я рассказал, что случилось в Тасееве. Новых материалов найти не удалось, неизвестно было даже имя ссыльного Вербановича. В повести назвал его вымышленным именем Григорий.

Книга вышла. И вот через несколько месяцев я получил вдруг письмо из Белоруссии. Писала дочь того самого ссыльного, которого спас Дзержинский. Она деликатно писала, что в повести допущена ошибка, речь безусловно идет о ее отце, но имя названо другое. Звали его не Григорием, а Владимиром Адамовичем. События эти происходили еще до ее рождения, но она хорошо знает о них из рассказов отца.

Позже Анна Владимировна Киндель (Вербанович) прислала мне копию приговора царского суда ее отцу, его фотографии, донесения охранки, найденные в архивах. Все это хранилось в ее семье. Анна Владимировна писала, что вот уже третье поколение в их семье бережно хранится память о Феликсе Эдмундовиче, а его портрет — самая дорогая реликвия в семье. И о серебряных часах написал. Отцу достались они от деда, но не только в этом была их ценность. Ссыльные поселенцы жили коммуной, складывали вместе у кого

что было. Но часы Вербановича брать не хотели, как он на этом ни настаивал. Говорили — отложим до будущих времен, когда станет совсем уж голодно. А тут схватка с бандитом... Перед побегом он все же оставил часы товарищам...

Владимир Вербанович благополучно добрался тогда до королевства Польского, а паспорт на фамилию Кароль позволил ему уехать в Америку. Феликс Эдмундович передал ему не только паспорт, передал также пароль, явку — адрес надежного человека, к которому следовало обратиться в Америке. Но оказалось, что этот человек, русский эмигрант, знал Дзержинского лично, заподозрил провокацию и уклонился от дальнейших встреч. Так и остался Вербанович в чужой стране, живя по чужому паспорту, мыкая горе, нужду. Недоразумение выяснилось только через много лет, когда Владимир снова встретился с человеком, фамилию которого назвал ему Дзержинский. К тому времени Вербанович уже женился на белорусской девушке, эмигрировавшей с родителями в Америку. Вскоре он возвратился на родину, в Западную Белоруссию. Умер Владимир Адамович после второй мировой войны, завещая детям свято беречь память о человеке, спасшем ему жизнь, сохранившем род Вербановичей.

Была и еще одна чудесная находка, тоже связанная с работой над повестью о Феликсе Дзержинском. Случилось это в Варшаве, куда я приехал в поисках материалов о раннем периоде революционной деятельности Дзержинского. Ходил по музеям, осматривал мрачные казематы варшавской тюрьмы-цитадели, где томился Феликс, гуляя по улицам новой Варшавы, восстановленной, поднятой из руин после войны с фашизмом. Сквозь новый и чудесный облик польской столицы стремился увидеть до-революционный город глазами Дзержинского. Таким, каким был город много десятилетий назад. Часами просиживал в центральном партийном архиве над комплектами старых газет, перебирал страницы документов — воспоминания участников былых событий, дела царской охранки, надеясь обнаружить упоминание фамилии Дзержинского.

Командировка близилась к концу. И вот день счастливых находок! В картотеке с помощью внимательных, предупредительных сотрудников архива обнаружил почти забытую папку: «Письма Ф. Э. Дзержинского к Сабине Ледер». Но владелица пи-

сем когда-то передала их в архив с условием обнародовать только после ее смерти. Такое распоряжение было написано рукой Сабины на пакете с письмами. А дальнейшей судьбы Сабины Ледер никто не знал. Начались поиски ее родных.

Сабина Ледер была сестрой известного польского большевика-подпольщика Здислава Ледера, связанного с Дзержинским долгими годами дружбы, работы в революционном подполье. Сабина Ледер прожила долгую жизнь. Во время фашистской оккупации действовала в подполье под фамилией Марчак, участвовала в варшавском восстании, а после освобождения работала в министерстве иностранных дел Польской Народной Республики. Умерла в 1964 году, ей было тогда около девяноста лет. Феликс Дзержинский писал ей из Швейцарии и с Капри, где отдыхал и лечился после побега из сибирской ссылки. В варшавском архиве сохранилось двадцать девять писем, в которых с удивительной силой вырисовывается духовный мир, мир высоких помыслов Дзержинского, его цельная, поэтическая натура, раскрываются новые грани характера, влюбленность в Добро и Красоту. В письмах он рассказывает и о встречах, о дружбе с Горьким. Вот некоторые отрывки из этих писем.

«Боген. 10.I.1910 год.

Час назад был у врача Миакалиса. Профессор сам болен чахоткой. А я совершенно здоров! Только истощение, я похудел и измучен... Советовал поехать в Рапалло, но не возражает и против Кардоны. Речь идет только о покое, о регулярном образе жизни, о питании. Я еду завтра или послезавтра самое позднее...

Я еще не решил, куда мне ехать. Решу по дороге. Меня влечет море. Мне кажется, когда я его увижу, забуду обо всем, найду новые силы. Как во сне все сейчас переплелось. Десятый павильон, дорога, товарищи. Потом изгнание, кладбищенская тишина лесов, покрытых снегом. Обратный путь. Сестра и ее дети.

Потом снова товарищи давние. Они ждали меня...»

«В дороге. 18.I.1910 год.

Что за прелесть — какая чудесная дорога! Каждое мгновение открывается что-то новое — прекрасные виды, все новые краски. Без конца слежу за всем и все впитываю в себя. Хочу все видеть, забрать в свою душу. Если сейчас не впитаю величия этих скал и этого озера, не возьму, не

перейму их красоту — никогда уж не вернется моя весна.

Еду один. Временами принять этого не могу. Охватывает смятение. Нет, нет! Весна вернется!.. Зацветут долины и холмы... Еду на Капри. Получил письмо от Горького. На один день задержусь в Милане. Оттуда напишу».

«28.I.1910 год.

До сих пор не могу ни понять, ни осознать моря. Оно приковывает, волнует, привлекает, встает передо мной как вечная тайна, как моя собственная жизнь, как та, которую люблю и которая не моя... Его нельзя ни понять, ни похитить. И ты — как это море, переменчивое и неразгаданное, волнуемое, как святыня. Я чувствую красоту моря и его грозы, стремлюсь к красоте этой, хочу жить ею...»

«30.I.1910 год.

Здесь я познакомился с молодым польским поэтом... Стихоплет без поэзии в душе, индивидуалист спесивой жизни... Чтобы не потерять ничего «от своей индивидуальности», он ничего не читает и ничему не учится. Представляю себе его произведения. Несмотря на то, что я порой далек от поэзии, но чувствую, что если бы у нас пробудился истинный дух поэзии, познавшей унижение, все муки, страдания и нищету, такой поэт мог бы создать произведение, которое потрясло бы основание мира...

Уже ночь. Тихо. Сквозь открытое окно слышу неустанный шум моря, словно отдаленный топот шагающих людей. И снова слышу голос в душе, что с ними, с этими людьми, я должен идти на долю и недолю...»

«6.II.1910 год.

И вот я уже не один — с Горьким. Наступило какое-то мгновение, разрушившее то, что нас разделяло. Не заметил, когда это случилось. Из общения с Горьким, из того, что вижу его, слышу, много приобретаю. Вхожу в его, новый для меня, мир. Он для меня как бы продолжение моря, продолжение сказки, которая мне снится. Какая в нем сила! Нет мысли, которая не занимала бы, которая не захватывала бы его. Даже когда он касается каких-то отвлеченных понятий, обязательно заговорит о человеке, о красоте жизни...

Позавчера были на горе Тиберио, видели, как танцевали тарантеллу. Каролина и Энрико исполняли свадебный танец. Они без слов излили мне историю их любви.

Не хватает слов, чтобы передать то, что я пережил. Какое величайшее искусство! Гимн любви, борьбы, тоски, неуверенности и счастья. Танец длился мгновения, но он и сейчас продолжает жить во мне, я до сих пор вижу и ощущаю его. Смотрел, зачарованный, на святыню великого божества любви и красоты. Танцевали они не ради денег, но ради дружбы с теми, гостем которых я был. Ради Горького. И в свой танец они вложили столько любви!..

А два дня назад я сидел над кипой бумаг, разбирался в непристойных действиях людей, приносящих нам вред. В делах провокаторов, проникших к нам. Как крот, я копался в этой груди и сделал свои выводы. Отвратительно подло предавать товарищей! Они предают, и с этим должно быть покончено...»

Феликс Дзержинский, снова погруженный в повседневную изнурительную жизнь подпольщика, стремился на передний край борьбы. И снова были тюрьмы, были кандалы, тяжелые невзгоды... Но они не могли сломить его убежденности. «Не стоило бы жить, если бы человечество не озарилось звездой социализма, звездой будущего».

Даже там, на Капри, у Горького, среди чарующей природы, в самую бурю захвативших его глубоких чувств, Феликса Дзержинского никогда не покидала мысль о деле, которому он служил. Но письма с Капри к Сабине Ледер передают и многие другие стороны характера «железного Феликса», его увлеченной, кипучей натуры, раскрывают новые грани духовного мира революционера, умевшего с одинаковой силой любить и ненавидеть. «Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить,— так он писал.— Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего...»

Положение в варшавском подполье в эти годы все больше волновало, тревожило Дзержинского. Участились провалы, аресты подпольщиков. Двести арестов и каторжных приговоров за год! Где-то рядом орудовали агенты охранки, филеры, шпики, свершавшие непристойные действия, приносящие вред. Со всей страстностью он писал: «Ясно вижу, что в теперешних условиях подпольная деятельность наша в стране будет сизифовым трудом до тех пор, пока не удастся обнаружить и изолировать провокаторов. Надо обязательно организовать что-то вроде следственного отдела».

Во главе этой сложнейшей работы стал Дзержинский. Мог ли он тогда предполагать, что через несколько лет возглавит Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией в молодой Советской республике, что накопленный опыт по охране революционного подполья поможет ему стать надежным «телохранителем революции»!

Дзержинский рвался на эту опаснейшую работу, жажда вступить в неравную схватку с царской охранкой. «Не возражайте против этого,— писал он в Главное правление партии,— ибо я должен либо быть весь в огне и подходящей для меня работе, либо меня свезут... на кладбище. Дело со мной обстоит хуже, чем Вы полагаете, и Ваша политика не пускать меня в страну, лишая меня возможности делать то, что мне приказывает не только мой партийный разум, но и все мое существо, кончится тем, что я бесславно погибну для дела».

С Дзержинским наконец согласились. Перед нелегальным отъездом в Варшаву он написал письмо товарищам, звучащее как завещание: «Я еду в страну вопреки настойчивому желанию Главного правления, чтобы в связи с состоянием дел в варшавской организации и несомненным фактом проникновения в нее и хозяйничанья провокации я отказался от своего намерения. Я еду, несмотря на то, что на меня в Варшаве охранка, хорошо осведомленная о моем прибытии, постоянно устраивает охоту, как это имело место в январе, когда только благодаря случайности мне удалось уйти от рук полиции и не попасть в западню».

К сожалению, я более чем уверен, что из этой поездки я не вернусь. Будучи уже «лишенным прав» и имея приговор поселения, мне полнагается сейчас за один только побег с поселения получить каторгу. Возможно, я покидаю вас на долгие годы... Я должен выполнить то, что считаю своей обязанностью, так мне велит моя партийная совесть... Я не буду жалеть, если сейчас придется идти на каторгу, в том случае, если это поможет оторгнуть от партии чуждые элементы... Я имею в виду провокацию».

Из поездки Феликс Дзержинский не вернулся, он был арестован. Из каторжной тюрьмы его освободила Февральская революция.

В последние часы своей жизни, выступая со страстной речью на пленуме Центрального Комитета партии, он сказал: «Вы знае-



те отлично, в чем заключается моя сила. Я не щажу себя никогда. И потому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей душой...»

Таким был Феликс Дзержинский, названный Лениным совестью партии, совестью

пролетариата. Таким он вошел в мое сердце, в мою душу в ранней юности и в зрелые годы, когда мне посчастливилось соприкоснуться с его жизнью, работая над книгой об этом пламенном революционере.

Юрий КОРОЛЬКОВ.



## СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА

Н. С. Патолитчев. Испытание на зрелость. М. Политиздат. 1977. 287 стр.

«Партийный работник, уходя из той или иной партийной организации, — пишет Н. Патолитчев, — не может не задавать себе вопрос: а что он сделал в ней? Какой след оставил в коллективе? Выдержал ли экзамен? И это не личный вопрос».

Ответить на него не так-то просто. Можно сослаться на цифры — они весомо покажут, каких успехов добилась область, руководимая секретарем обкома (имярек), в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, что нового появилось в науке, сколько открылось школ, клубов. Такой итог. разумеется, скажет порой больше, чем иные красочные описания содеянного.

Но цифры не могут ответить на самый главный вопрос: как? Почему завод, не выполнявший план, с теми же людьми и на том же оборудовании начал не только справляться с заданием, но и перевыполнять его? Почему повысились урожаи, а коровы стали давать больше молока? Почему поднялся трудовой энтузиазм и кипучее стала общественная жизнь? Почему..

Когда задаешь себе эти вопросы, в памяти обязательно оживают и литературные и живые герои, чья жизнь и труд в той или иной степени отвечают на все эти «почему». Сколько ярких достоверных образов директоров, председателей колхозов, начальников строек создали наша художественная литература и публицистика, раскрывая то главное, что позволяло этим людям становиться не просто хорошим специалистом, умелым администратором, а подлинно советским руководителем.

А секретарь обкома? Это ли не один из самых сложных, интересных и трудных для познания образов партийного руководителя, пока не нашедший, к сожалению, еще полноценного отражения в нашей литературе. Между тем какой богатый материал, охватывающий все стороны нашей жизни с острейшими конфликтными ситуациями,

глубочайшими морально-этическими проблемами, дает изучение даже малого отрезка времени, к примеру, хотя бы одного дня секретаря обкома. Об этом невольно думаешь, читая книгу Н. Патолитчева «Испытание на зрелость».

Те, кому приходилось работать в Ярославской или Челябинской областях в годы, когда партийным руководителем здесь был Н. Патолитчев<sup>1</sup>, пожалуй, будут единодушны в своем мнении: из великого множества знаний, которыми должен овладеть партийный руководитель, наиболее глубоко, успешно и неустанно он познавал основную для секретаря науку — человековедение в его марксистско-ленинском понимании.

Если позволительно сопоставить деятельность партийного работника с педагогической, на мысль приходят два метода: один — это когда педагог, сумев открыть в классе наиболее одаренных ребят, все силы готов положить на развитие их способностей, но при этом неизбежно в некоем забвении у него пребывают остальные; другой, думается, наиболее трудный, благородный путь, избранный советской педагогической наукой, ее виднейшими представителями Н. Крупской, А. Макаренко, В. Сухомлиным, — увидеть в каждом человеке искру, распознать, на что он способен и в какой области с наибольшей полнотой может себя проявить. Именно подобный морально-этический принцип — внимание к духовному миру человека, умение каждому найти дело по его силам и способностям, другими словами, то, что мы облекаем в привычную формулу «правильная расстановка кадров», — и есть ленинский стиль работы партийного руководителя, которому неустанно стремился следо-

<sup>1</sup> Книга «Испытание на зрелость» завершается 1948 годом, когда автор был избран секретарем ЦК ВКП(б). Ныне Н. С. Патолитчев — министр внешней торговли СССР.

вать молодой партийный секретарь, автор книги «Испытание на зрелость».

В книге сжато материал, охватывающий сравнительно небольшой срок партийной работы Н. Патоличева — восемь лет (я не включаю сюда годы учебы в Военно-химической академии), но какие величайшие события всемирно-исторического характера вобрали в себя для нашей страны годы от 1938-го до 1946-го. Автор все это время находился на передовой линии героического трудового фронта, был одним из его руководителей, поэтому так ценен его правдивый, достоверный, взволнованный рассказ о пережитом, о людях, их подвиге в годы войны и о том, какое испытание на зрелость пришлось выдержать самому автору, ставшему первым секретарем обкома партии крупной промышленной и сельскохозяйственной области в свои тридцать лет.

Н. Патоличев часто повторяет: «Мне везло на хороших людей». Думается, само это «везение» прямо связано с его стилем руководства, стилем партийной педагогики, позволяющей распознавать духовный мир человека, находить наиболее верные пути человеческого общения. Поэтому не удивительно, что в книге такое значительное место отведено встречам с интересными людьми, напряженным, порой драматическим эпизодам, когда обкому во главе с его первым секретарем приходилось проявлять не только терпение и выдержку, но почас большое мужество и партийную принципиальность, отстаивая ценного работника, хорошего коммуниста, если по ошибке ли, по недоразумению ли, а то и злему умыслу над его головой сгустились тучи. Так бывало не раз. В делах значительных и малых. Вот один из подобных случаев.

В 1941—1942 годах начальником Южно-Уральской железной дороги работал Леонид Петрович Малькевич. Н. Патоличев характеризует его как отличного работника, потомственного железнодорожника, прошедшего путь от «фэззушника» до руководителя крупной железнодорожной магистрали. В 1942 году он был награжден орденом Ленина. «А через несколько месяцев после этого,— читаем мы далее,— произошло нечто невероятное. В октябре 1942 года поступившим к нам неожиданно-негаданно постановлением предписывалось начальнику Южно-Уральской железной дороги Малькевича с работы снять и отдать под суд». Автор отмечает, что Южно-Уральская дорога в те

военные годы действительно с трудом справлялась с заданиями, но «для столь сурового вывода, на наш взгляд, оснований не было: железнодорожники работали с полной отдачей сил... Как быть?». Нелегкая борьба завершилась победой — победой, основанной на партийной убежденности, доверии к человеку.

Весьма характерна, к примеру, и следующая история. В 1938 году Центральный Комитет партии направил Н. Патоличева парторгом на Ярославский резинокомбинат, одно из главных предприятий страны, производившее 80 процентов автомобильных покрышек. Комбинат в ту пору лихорадило — семь лет он не выполнял производственной программы, хотя, как пишет автор, в нем сложился хороший коллектив рабочих и инженерно-технических работников. Новый парторг имел к тому времени сравнительно малый опыт партийно-комсомольской работы и лишь недавно защищенный диплом инженера Военно-химической академии. Между тем первые же шаги его на новом поприще дали весьма ощутимые результаты: если в июле комбинат давал 5 тысяч покрышек в сутки, то к концу года — 12 тысяч.

Не стану подробно пересказывать, как, каким путем удалось достичь таких успехов, читатель найдет это в книге. Оговорюсь лишь: вместе с другими ярославцами, работавшими в то время в области, мы были очевидцами тех разительных перемен, что произошли на резинокомбинате. При этом не было ни грозных приказов (а. Н. Патоличев умел быть суровым к нерадивым), ни скоропалительной смены людей, ни бесконечных заседаний, ни той жесткой деловитости, коими столь щедро наделяют некоторые авторы своих положительных героев из числа командиров производства. Терпеливо и настойчиво разматывал парторг вместе с коммунистами, передовыми работниками комбината тугой клубок, сплетенный из множества нитей, ведущих к первопричинам неполадок.

«В партийном комитете мы находились час, максимум два в сутки,— вспоминает Н. Патоличев.— Главным считалась работа в цехах, в том числе и в ночных сменах. Только такая связь ежедневно сталкивает тебя «лицом к лицу» со сложнейшими и разнообразнейшими вопросами жизни и труда большого коллектива и отдельных людей. На них надо отвечать. Здесь не скажешь: «Есть предложение вопросы зада-

вать в письменном виде». Образно говоря, здесь рабочий класс учит и экзаменует. Экзаменует на «право» быть партийным руководителем».

Как ни многообразна и сложна экономика и культура Ярославской области, парторга комбината (я уже упоминала, что было ему тогда тридцать) избрали в 1939 году первым секретарем обкома партии. На этом посту он успешно проработал до 1942 года, когда пришло новое, еще более трудное испытание на зрелость — избрание Н. Патоличева первым секретарем Челябинского обкома партии и первым секретарем горкома.

Откровенно, с позиций тех лет и тех раздумий автор пишет: «В Ярославской области, как известно, металлургических предприятий не было, и мне даже видеть не приходилось «живой» домны, мартеновской печи, блюминга. Но в Ярославле я прошел первую школу выучки у ярославских коммунистов. И, не будь этой школы, трудности первых месяцев в Челябинске для меня, первого секретаря обкома, были бы просто не под силу». И далее, как бы завершая эту мысль: «Нет ничего хуже, когда руководящий работник, не зная чего-то важного, боится в этом признаться. Болезнь загоняется вглубь. Много я знал таких примеров, да и сам в этом не был безгрешен».

В новой для него области он также начал с главного — со знакомства с людьми, изучения их деловых и нравственных качеств, утверждая с первых же шагов тот ленинский стиль руководства, которому неуклонно следовал. Один из первых документов, отредактированных Н. Патоличевым, здесь стал как бы камертоном. Дело обстояло так. Магнитку в годы войны возглавлял выдающийся металлург Григорий Иванович Носов. Автор впервые познакомился с ним на пленуме обкома и вынес о нем мнение как о серьезном, собранном, немногословном человеке. Но затем секретарь обкома услышал жалобы на Носова — его недисциплинированность, другие грехи. А вскоре на подпись Н. Патоличеву приехал письмо на имя Г. Носова. Тон письма категорический, приказный. Содержались в нем и подробные указания, для каких целей нужен металл и как важно выдать его досрочно. Редактура записки стоит того, чтобы привести целиком цитату, связанную с ней.

«Я задумался над текстом: почему такая приказная, категорическая форма? Неужели

Носов нуждается в столь подробных разъяснениях? А в конце записки стояло: «Об исполнении доложить».

Когда посмотрел тексты телеграмм и записок, посылавшихся директору комбината ранее, понял, что все они были написаны таким «стилем». Они отражали характер отношений между обкомом и директором Магнитки... Правлю текст записки красным карандашом. Именно красным. Вместо обком «предлагает» (не лучшая это форма, она чаще всего употребляется от бессилия) пишу: «Обком просит» — и далее, по тексту. «Об исполнении доложить» зачеркиваю и, не перепечатывая, подписываю... Мое «редактирование» записки, — заключает этот эпизод автор, — вскоре стало достоянием всего аппарата обкома, а затем горкома и райкомов. И не помню, чтобы еще приходилось прибегать к красному карандашу за все годы работы в Челябинске».

Страницы, повествующие о труде челябинцев в годы войны, исполнены волнующими подвигами, героикой, сложнейшими ситуациями, требовавшими от партийного руководства, и прежде всего от первого секретаря, от коммунистов, беспартийных смелости, отваги, риска, полной самоотдачи делу, и читаются они с неослабным интересом.

«350 процентов! Таков был рост производства в 1943 году по сравнению с 1940 годом... За время войны в Челябинской области построили в черной металлургии 6 доменных печей, 5 коксовых батарей, 28 мартеновских и электросталеплавильных печей, 8 прокатных и трубпрокатных станков...» Продолжение этого перечня заняло бы не одну страницу. Но говоря о книге «Испытание на зрелость» (кстати, очень меткое название), я не случайно чаще обращаю внимание читателя на стиль, методы работы партийного руководства, ибо они-то и содержат «секрет» успеха.

Будучи доверенным лицом при выдвижении Н. Патоличева кандидатом в депутаты Верховного Совета Союза ССР, я видела, с каким глубоким уважением, любовью говорили ярославские избиратели о своем кандидате, подчеркивая в первую очередь его партийность, принципиальность, демократичность и справедливость в решении любого вопроса. С интересом слушали они рассказ о жизненном пути, пройденном Николаем Семеновичем — сыном прославленного командира кавалерийской бригады бу-

денновской конармии. (Лишь позднее, в 1940 году, на одном из заседаний в ЦК ВКП(б) он услышал, что его отца хорошо знали Сталин, Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Хрулев, Тюленев, Лелюшенко и другие. Сам Н. С. Патоличев из книг С. М. Буденного узнал подробности о героической гибели своего отца в 1920 году.) После смерти отца Н. Патоличев вместе с братьями потянулся на завод — крупный химический завод Дзержинского района Горьковской области. Это и было для него началом, школой жизни, как и для сотен молодых ребят, выхваченных революционным вихрем из самых дальних глубин России. С мешком картошки за спиной, в лапотках, в синих штанах, перекроенных из отцовских галифе, в стареньком картузе предстал он перед директором фабрично-заводского училища, убедив зачислить его в «фабзайчата», хотя образование у него и было «всего-то незаконченное низшее».

«Интересная штука — жизнь.. Идет человек по ее дорогам. Встречаются люди. Разные. Одни проходят мимо, не оставляя никакого следа, а другие запоминаются надолго, на всю жизнь, ибо они сыграли в ней большую, а может быть, и решающую роль. И как же это важно, чтобы человеку, особенно когда у него еще неуверенная походка, встретились и были рядом хорошие люди».

Этот взгляд на место человека в жизни, ответственность за идущего рядом сопутствуют Н. Патоличеву на протяжении всей его жизни и работы. Нынче много говорят и пишут о наставничестве, о людях, чей долг быть примером гражданственности, морально-этических норм, коммунистического отношения к труду. Думается, в идеале первым таким наставником должен быть партийный руководитель, и если речь идет об области — секретарь обкома.

В книге Н. Патоличева читатель встретится со многими людьми. Скромный в оценке своих дел, автор не скупится на добрые слова, когда речь заходит о тех, с кем он работал, кто шел с ним рядом в немыслимо трудные годы войны. Тут и командиры производства, партийные работники, рядовые рабочие, колхозники. Он с признательностью вспоминает об артисте Театра имени Волкова С. Ромоданове, давшем согласие остаться в подполье, если немцы войдут в

Ярославль, десятки других имен, неустанно повторяя: «Мне везло на хороших людей».

С уверенностью можно сказать, что сотни людей, с которыми довелось работать автору, обратят эти слова к нему же. Н. Патоличев часто вспоминает о собраниях партийных активов. Возвращается он к ним потому, что каждый раз в самые сложные моменты мира и войны они являлись той силой, с помощью которой разрабатывались тактические и стратегические планы экономики, обороны, перестройки промышленности. А главное — создавалась та партийно-нравственная атмосфера, что свежим ветром вливалась на заводы, в колхозы, научные, культурные учреждения.

В заключение еще об одной важной грани. Доброжелательный к людям, Н. Патоличев умел быть суровым и нетерпимым к разгильдяйству, ленивости. С особой неприязнью относился к подхалимству, попыткам оклеветать, опорочить честного человека. О том, как решительно надо пресекать подобные попытки, автор напоминает не раз и не два. На XVIII съезде партии Н. С. Патоличев получил возможность выступить по докладу А. А. Жданова «Об изменениях в Уставе ВКП(б)». «Посоветовавшись, — пишет он, — мы решили осветить вопросы борьбы со всякого рода перестраховщиками, карьеристами, клеветниками, которые еще имелись в партийных организациях к тому времени и наносили большой вред нашей партии. Нужна была большая бдительность. И в тех случаях, когда эта бдительность проявлялась в достаточной степени, им давался решительный стопор. Но были случаи, когда допускалась беспечность, и от этого страдали партийные организации. Были такие факты и в нашей области...» Факты, подкрепляющие эту мысль, отобраны в книге точно и дают представление о значимости их для периода, о котором идет речь, о высокой принципиальности темы самого выступления на съезде партии.

«Испытание на зрелость» наталкивает на размышления, ибо содержит множество важнейших проблем, связанных с работой партийного руководителя. Поэтому и рождается желание, всегда возникающее при знакомстве с книгой, обогатившей тебя, — чтобы возможно больше людей прочли ее.

Валентина ЕДИСЕЕВА.

---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**М. РОЛЬНИКАЙТЕ. Я должна рассказать.**  
Л. «Советский писатель». 1976. 558 стр.

Думается, что нет нужды представлять читателю литовскую писательницу Марию Рольникайте. Ее книга-дневник «Я должна рассказать», впервые изданная несколько лет назад, обошла, как и дневник Анны Франк, многие страны, была переведена на восемнадцать языков мира. Маша Рольникайте, в годы фашизма еще девочка, подросток, вела свои дневниковые записи в застенках гитлеровского гетто и концентрационных лагерях. Эдуард Межелайтис писал об этих записях так: «Ее дневник — одна из ужасных страниц истории XX века, написанная кровью. Это не беллетристика. Это подлинный документ, где конспективно изложены муки человека и его великое упорство, трагизм и героизм. И наконец, это документальное обвинение тех, кто ответствен за убийство невинных людей, за зверства».

Прошли годы, но писательница Мария Рольникайте не может оставить эту тему — тему изобличения фашизма: «Пепел Клааса стучит в наши сердца»...

Сейчас в ее книгу «Я должна рассказать», кроме одноименной документальной повести, вошли еще две повести — «Три встречи» и «Привыкни к свету», для которых также характерна антифашистская направленность.

Становлению личности в страшные годы фашизма, формированию человека — гражданина, борца посвящена повесть «Три встречи». Пугливой, бездумно принимающей проповеди ксендза предает перед нами в начале повести гимназистка Ирена. При облаве в кафе ее предает друг и соклассник Альгис. Девушка попадает в публичный дом, но ей помогает убежать оттуда врач фрау Гертруда, немка по национальности, интернационалист и гуманист по убеждениям. Гертруде приходится подвергать себя немалой опасности, спасая таких, как Ирена.

Ирена же, примерная гимназистка, робкая, нерешительная девушка, надеется еще «легально» обрести душевное равновесие и покой, и когда фрау Гертруда предлагает ей спрятаться в гетто (домой нельзя, мать арестовали, документов у Ирены нет), она почти возмущена — ей в гетто!..

Однако выбора нет. В гетто девушка встречает таких же ни в чем не виновных лю-

дей, как и она сама. Она понимает, что все они жертвы одной жестокой, все уничтожающей машины. Вырвавшись «на волю», столкнувшись с людьми, оказывающими сопротивление фашизму, «новому режиму», с людьми, пытающимися подорвать этот режим, она уже не может быть в стороне. Думать только о себе. Она становится борцом; сознательно рискуя, девушка помогает людям.

Эта повесть не автобиографична, как первая. Но каждая строчка в повести (кстати говоря, очень сдержанной, лаконичной, вы не найдете здесь ни натурализма, ни искусственного нагнетания страшных сцен) дышит жизненной и художественной правдой.

Воспоминания о прошлом, о потерянных близких у тех, кто перенес фашистскую оккупацию, кто вырвался из цепких лап смерти, останется на всю жизнь. Долго такого человека, а особенно если он совсем еще молод, как, например, Нора, героиня повести «Привыкни к свету», будут преследовать воспоминания о прошлом, о пережитом. Оказывается, очень трудно привыкнуть к доброму свету, хорошим людям, свободе. Чтобы не ожесточиться от всего, что пришлось перестрадать, сохранить свою любовь и доверие к людям, нужно многое передумать и переоценить, быть философом и мужественным человеком. Адаптация в хорошем — это тоже нелегкий процесс. Об этом третье произведение писательницы.

Однотомник, которым отмечено пятидесятилетие М. Рольникайте, — еще одна страница в героической летописи Великой Отечественной войны.

К. Семенова.



**МАРК ЕЛЕНИН. Добрый деловой человек.**  
Л. «Советский писатель». 1977. 350 стр.

«Все, что видел он, проходя «главной» улицей, радовало его». Эту фразу, дающую, как мне кажется, ключ к центральному характеру романа, мы читаем на первой его странице. Счастливое чувство сопричастности большому делу, чувство создателя, видящего плоды своей работы, присуще Глебу Базанову.

С этим героем читатель познакомился уже несколько лет назад, когда вышла первая книга дилогии — «Дни доброй надежды».

Там Глеб, ленинградский школьник, идет на фронт. Раненный, он встречается в тыловом госпитале с геологом Юлдашем Рахимовым, который зажигает его рассказами о сказочных богатствах недр среднеазиатского края. Следующие двадцать лет жизни Глеба — геологические экспедиции, поиски золота в пустыне. Орден Ленина. Короткое время счастливого супружества, затем внезапная смерть жены. И — инфаркт, который «свалил внезапно и сорвал жизненно важные планы».

В новом романе — второй книге дилогии — молодой уже Глеб Семенович Базанов начинает жизнь «с нуля», с дела, до сих пор незнакомого. Его назначают парторгом на строительство большого комбината в те самые места, где когда-то со своими геологами он нашел золото. В романе много — порой возникает ощущение, что слишком много, — производственных эпизодов, разговоров на совещаниях, коллегиях министерств, партийных семинарах. Но каждая из таких сцен так или иначе добавляет новые штрихи к образу героя, позволяет глубже понять роль партийного руководителя на современном крупном производстве, его мирозерцание, отношение к людям.

Одна из привлекательных черт героя романа — умение находить настоящих людей, видеть и развивать в человеке то, что есть в нем хорошего. Так, выводит он на верную дорогу бывшего заключенного, механизатора Василия Лысого, втягивает в активную жизнь пенсионерку Надежду Витальевну, зажигает своей убежденностью всех, кто его окружает. «Слушай, геолог, откуда ты таким человеком стал?» — не без зависти говорит ему начальник строительства Богин, энергичный, знающий, но волюнтаристского склада. И хотя оба, и начальник и парторг, на строительстве «леском умывались, солнышком вытирались», во многом они были антиподами. «Тихий» Базанов непримирим, когда он выступает против известного положения «план любой ценой», против бездушного отношения к людям.

Мечтой Глеба Базанова становится создание в пустыне города Солнечного — не очередного блочного ширпотребца, а «красивого, целесообразного, экономичного», удобного людям. Такой город, по мысли Базанова, оказывал бы влияние и на нравственный облик людей, помогая строить коммунизм «не только на земле, но и в душах людей».

— Главная задача — комбинат! — утверждал начальник строительства.

— И город! — не уступал парторг.

Отстаивая свою идею, Базанов на протяжении романа преодолевает многие трудности. И какое же удовлетворение должен испытывать он, глядя с высоты первого девятиэтажного дома в Солнечном — и, оказывается, во всей Средней Азии, — на новый город в пустыне, прекрасный город строителей!

Глубокая нравственная чистота и коммунистическая идейность проявляются в больших и малых делах и поступках Глеба Базанова. И, думается, не нужно было автору вкладывать в уста героев длинные декларации, замедляющие темп повествования, ста-

вящие иногда художественное произведение на грань с «деловым» газетным очерком.

Но будем справедливы. Автор взял на себя трудную и почетную задачу рассказать о новом и прекрасном по своей духовной высоте человеке социалистической действительности. Рассказать о нашем современнике, о коммунисте.

К. Воробьева.



**ИВАН СКАЛА. Утренний поезд надежды. Перевод с чешского. М. «Художественная литература». 1976. 206 стр.**

Когда лет тридцать назад появилась первая книга Ивана Скалы «Огниво», стало ясно, что в чехословацкую литературу вошел поэт, которому есть что сказать о своей эпохе. Этой книгой Иван Скала доподняет и продолжает поэтический путь, начатый Франтишекком Галасом, одним из ведущих стихотворцев поколения, в последние пятьдесят лет задававшего тон в чешском поэтическом творчестве.

И. Скала в своей поэзии всегда молод, всегда при этом идеологически точно определен: журналист-коммунист, который не может обойти сложные человеческие и общественные проблемы, не может оставить их без отклика. Все это мы видим и в его книге «Утренний поезд надежды».

Чешский критик Ян Петрмихал назвал Ивана Скалу поэтом времени и пространства, потому что в его стихах человек активизируется в синтезе своей вековой истории, как ответственный носитель материальной и духовной культуры человечества.

Иван Скала — гражданский поэт. Он всегда в гуще жизни, постоянно связан с той частью нашей планеты, где особенно горячо, будь то Испания или «Сталинград в рассвете». Его герой, мы встречаем и в «Октябре 1917»; это дни, когда народ «ленинский обрел расцвет». Гражданский лирик Иван Скала чарующе и сильно представляется нам своими стихами об испанской революции. Какие глубокие следы оставила в его поэзии испанская революция, наглядно дает почувствовать стихотворение «Моя Испания»:

Бутылка вина испанского.  
Алая струя.  
Испания горячая,  
Испания моя...

Любовная лирика занимает значительное место в творчестве Ивана Скалы. Но его самые сокровенные переживания всегда глубоко связаны с проблемами общества, с диалектикой постоянного совершенствования. Сквозь его стихи, сквозь метафоры, логичные конструкции и пластику всегда можно увидеть большой интеллект, четкую дисциплинированность и общественную сознательность.

Иван Скала — достойный продолжатель своих предшественников С. К. Неймана, Незвала, Галаса, Библа, Завады. Вот что

сказал поэт 1 мая 1975 года: «Мы часто встречаемся с таким представлением, что социалистическая программа поэзии будто бы сужает ее границы. Но четыре чешских гиганта, чья поэзия представляет неиссякаемый источник творчества...—С. К. Нейман, Волькер, Незвал и Новомеский, четыре совершенно различных поэтических мира убедительно доказывают, какой широкий диапазон может быть у социалистической поэзии. То, что у этих поэтов общее — это их принадлежность к борцам за социализм...»

Таков мир Ивана Скалы, публициста и журналиста, гуманиста и коммуниста, лирика нежных чувств, поэта, стихи которого мы находим во всех уголках света, на всех меридианах, на разных глубинах человеческих культур и человеческих судеб.

Свое вступительное слово к книге стихов Ивана Скалы «Утренний поезд надежды» Р. Рождественский начинает словами: «Завидую критикам». Я же с удовольствием добавляю: «Завидую и читателям!»

Васил Икономов.



**ВЛ. ВОРОНОВ. Чингиз Айтматов. Очерк творчества. М. «Советский писатель». 1976. 231 стр.**

Чингиз Айтматов, без сомнения, принадлежит к числу художников, о которых нельзя писать бесстрашной, пусть даже и опытной рукой. Хорошая, могущая рассчитывать на успех у читателя книга об Айтматове просто обязана быть сегодня — по глубине и свежести восприятия мира художника — столь же талантливой (исходя из законов, разумеется, литературно-критического жанра), как и сами произведения писателя. Выпущенная издательством «Советский писатель» монография Вл. Воронова не может не привлечь к себе читателя уже потому, что автору ее эта истина совершенно ясна.

Монография снабжена подзаголовком «Очерк творчества». Строго говоря, подзаголовок этот не совсем точен. Потому что (об этом предупреждает в первой же, вводной, главе книги сам критик) и публицистика Айтматова и его драматургические произведения оказываются вне поля зрения исследователя. И вместе с тем об этом формальном «несоответствии» подзаголовка содержанию забываешь, едва раскрываешь монографию: свежий взгляд на, казалось бы, давно и хорошо известные произведения, точность и доказательность оценок очень скоро заставляют поверить, что, сосредоточив свое внимание на рассказах и повестях Айтматова, критик постоянно помнит о необходимости рассматривать сквозные закономерности творческого пути писателя.

Показать читателю, что становление личности художника определялось не одними фактами его биографии, но и «судьбой его родного народа, его современников, эпохой

важнейших исторических и социальных сдвигов», что становление писателя неотрывно от движения времени, в котором он творит,—это замысел определил и круг проблем, решаемых исследователем, и композицию книги Вл. Воронова. От первых рассказов и повестей, составивших впоследствии сборник «Лицом к лицу» (1958), от произведений, уже в те далекие годы отмеченных ярким поэтическим видением мира, пристальным вниманием к жизни человеческой души, драматизмом действия,—к «Джамиле» с отчетливо и полно заявленной в ней концепцией человека. От «Тополька моего в красной косынке», произведения на современную тему,—к «Первому учителю», «Материнскому полю», «Ранним журавлям» с их глубоким эпическим дыханием, художественным раскрытием диалектики индивидуального и типического. Наконец, «Прощай, Гульсары!» и «Белый пароход (После сказки)» с открывшимся поновому в этих повестях народным жизнеописанием происходящих событий, с высвечиванием в них социальных взаимосвязей отдельного человека и мира, выявляемых не только в характере отношений между людьми, но и в отношении их к природе... Этот непростой путь движения таланта Вл. Воронов прослеживает, опираясь и на художественную ткань прозы писателя и на многочисленные его высказывания, рассыпанные по страницам различных периодических изданий, привлекая в союзники себе (а порой полемизируя с ними) работы исследователей-предшественников, также обращавшихся к творчеству Айтматова.

Как несомненное достоинство монографии хочется отметить непринужденность, доверительность авторского тона: делясь своими наблюдениями, восторгами, сомнениями, Вл. Воронов никогда не навязывает их, ибо гораздо более озабочен тем, чтобы заставить читателя самого еще раз задуматься над ставящимися в книге проблемами, стремится к тому, чтобы путь этого читателя к утверждаемой критиком истине стал бы одновременно и путем самостоятельного «открытия» мира художника и его героев.

Завершая рецензию, не стану утверждать, что все в книге Вл. Воронова в равной мере удачно. Лично мне кажется, что о книге «Лицом к лицу», например, разговор ведется излишне суммарно: справедливо замечая, что рассказы, составившие эту книгу, содержат в себе, пусть в неразвитой форме, почти все основные признаки, отличающие прозу зрелого Айтматова, Вл. Воронов явно спешит перейти к разговору о наиболее известных произведениях писателя, в результате глава «Начало» своей тональностью, обзорным характером заметно отличается от последующих. Встречаются в книге — пусть редко — и «общие» места, расхожие мысли из числа кочующих из одной литературно-критической работы в другую (в книге, повторяю, яркой и отмеченной печатью авторской индивидуальности такие места особенно заметны).

Но в целом работа Вл. Воронова — нужное, по-настоящему интересное исследование, во многом дополняющее наше знание об Айтматове и его прозе, существенно обогащающее наше восприятие редкого, обаятельного, честного таланта.



А. Старков.

**Н. А. ГОНЧАР. Вильям Сароян и его рассказы. Ереван. Издательство Ереванского университета. 1976. 218 стр.**

Лет сорок назад Егеше Чаренц сказал Сарояну: «Ты пишешь по-английски, тем не менее ты армянский писатель». Дело, разумеется, обстоит не так просто. Проза Сарояна, равно как и его драматургия, всецело принадлежит американской литературе, порождена американской действительностью и без нее совершенно непредставима. Любопытно, однако, вот что. Вспоминая о своем разговоре с Чаренцем, Сароян и не подумал оспорить утверждение собеседника; напротив, первая же после их встречи сарояновская книга вышла в свет с посвящением «английскому языку, американской земле и армянскому духу».

«Дух» — понятие в достаточной степени отвлеченное, и все же это посвящение не удивит тех, кто читал Сарояна; минувшей осенью писатель вновь приезжал в Армению, и тех, кто слышал его армянскую речь — а говорить он старался только по-армянски, — оно не удивит тем паче.

Нет ничего странного и в том, что первая у нас монография о творчестве Сарояна появилась именно в Ереване. Ее автор Наталья Гончар знает материал своих исследований, что называется, изнутри: она перевела на русский язык роман «Что-то смешное», повесть «Папа, ты сошел с ума», несколько сарояновских рассказов и эссе. К слову сказать, в рецензируемой книге Н. Гончар вводит в литературный обиход добрый печатный лист не переводившегося прежде текста, преимущественно отрывки из ранних рассказов Сарояна и его поздней эссеистики.

В книге три главы. Первая из них прослеживает творческий путь, а также рассматривает некоторые черты биографии Сарояна, оказавшие очевидное воздействие на его писательскую работу. Сароян происходит, как он сам говорил, «из среды армян и простого рабочего люда»; связь со «старой родиной», с традиционно армянским укладом жизни и национальной культурой в широком ее понимании имела для Сарояна значение если и не определяющее, то весьма существенное. Именно из наблюдений над тем, как прививается (или же не прививается) армянский «дух» на американской почве, возникли многие страницы Сарояна. Это верно уловлено и точно — без нажима и домислов — показано автором монографии.

Перейдя к основной своей теме — сарояновской новеллистике, Н. Гончар останавливается на двух лучших работах писателя в этом жанре: книгах «Отважный юноша

на летящей трапеции» и «Меня зовут Арам». Рассказы всех остальных сборников, полагает Н. Гончар, неизменно тяготеют к двум этим книгам, так или иначе варьируя их мировоззренческие и стилевые особенности.

Монография отличается широтой подхода к затронутым проблемам и нескованностью мышления. Н. Гончар вовсе не ограничивается разбором сарояновских рассказов; свободно ориентируясь в том поистине бурном и безбрежном море, какое являет американская проза XX века, она привлекает себе на помощь самый разноплановый литературный материал. Назову хотя бы краткую, но убедительную характеристику Шервуда Андерсона и несколько неожиданный, но не менее убедительный сопоставление творческих методов Сарояна и Томаса Вулфа. Жаль только, что исследовательница не воспользовалась здесь интереснейшим эссе Сарояна о Вулфе, ею же самой в свое время опубликованным.

Что касается характеристики Сарояна-рассказчика, то она глубоко и хорошо мотивирована. Говорит ли Н. Гончар о стихийном артистизме писателя, о его как бы нарочитой безыскусственности — «средстве, имеющем своей целью искусство», — подчеркивает ли открытую его моралистичность, вдумывается ли в сарояновское понимание гуманизма, она не навязывает нам оценок (оценок она, кстати, вообще не выставляет), а исподволь по ходу анализа подводит нас к своему заключению. Отмечу также, что Н. Гончар отлично чувствует и природу художественности и природу поэтической цельности текста, которую совсем не просто подвергнуть аналитическому разъятию. Примеры тому — прекрасный разбор «Поездки в Ханфорд» и «Лета белого коня».

В заключение скажу, что монография написана с подлинным увлечением и нескрываемой любовью к предмету исследования. Эта любовь ничуть не мешает Н. Гончар видеть слабости и заблуждения Сарояна и, лишая книгу налета мнимой учености, не лишает ее значительности.

Георгий Кубатьян.



**Н. Т. ФЕДОРЕНКО. Меткость слова (Афористика как жанр словесного искусства). М. «Современник». 1975. 255 стр.**

Когда придворный английского короля Карла I застал приехавшего с дипломатической миссией Рубенса за мольбертом, он спросил: «Господин посол Нидерландов иногда становится живописцем?» «Нет, — ответил Рубенс, — живописец иногда становится послом».

Речь идет не о равенстве талантов, не о сходстве исторического момента, но мне невольно вспоминается ответ великого художника, когда я думаю о литературном творчестве Н. Т. Федоренко. Это имя неоднократно встречалось на страницах нашей политической прессы, и памятью о между-



народной деятельности осталась книга «Дипломатические записки», где автор вспоминает многое из того, что видел и слышал, находясь на дипломатической работе.

В других трудах Н. Т. Федоренко проявляет себя как историк, искусствовед, как знаток государств и культур дальнего Востока. Читателю памятливы его книги «Земля и легенды Китая», «Краски времени. Черты японского искусства», «Японские записки», где чувствуется прекрасная осведомленность автора во всем, что связано с гражданской историей и историей культуры двух восточных государств. Особенно проникновенно пишет Н. Т. Федоренко о японском искусстве. Многие страницы, посвященные этой теме, читаются как лирический монолог, и в то же время во всем соблюдена та мера объективного взгляда на вещи, которая придает повествованию характер полной достоверности. Если в книге о Китае поражает обилие легенд, которыми Н. Т. Федоренко свободно оперирует, держа их, что называется, под рукой и в нужный момент вводя в строй своих рассуждений, то в работах о Японии поразительно знание бытового фольклора, обилие пословиц и поговорок, которыми щедро оснащен авторский текст.

Кстати, именно пословицам и поговоркам (не только восточного происхождения) посвящена последняя работа Н. Т. Федоренко «Меткость слова». Это книга густой мысли, концентрат вековой мудрости человечества. Собственно, она представляет собой большую статью об афоризме как таковом. В виде приложения здесь собраны афористические высказывания ученых, поэтов, художников, политических деятелей. И наряду с ними те пословицы и поговорки разных народов, которые также можно причислить к афоризмам. Во вступительной статье автор дает исчерпывающую характеристику жанра, показывая афоризм в разных его аспектах. Вот разделы этой статьи: «Жанровое своеобразие», «Типизация явлений», «Творческие истоки» (афоризма), «Зоркость наблюдений», «Восток и Запад», «Источник мудрости», «Наследие и современность». Но эти заголовки далеко не охватывают всех мыслей и сведений, которыми автор насыщает свои страницы. И перед читателем проходит вся мировая литература. На одной странице могут встретиться Декарт и Лев Толстой, Гельвеций и Гегель, Монтень и Линкольн. А в приложении, где даны уже сами афоризмы, нередки и еще более причудливые встречи. Античная мудрость подает здесь руку древнему Востоку и они оба — средневековой Руси.

Работа собирателя афоризмов схожа с работой ловцов жемчуга в океане, да и то последним заранее известно, какие глубины и какой рельеф дна предпочитают жемчужницы и где легче за ними охотиться. Что же касается афоризмов, то они могут попасться где угодно, вне зависимости от логики рассуждений, от композиции книги или от какой-либо другой системы.

Каждый из писателей, поэтов, мыслителей, творения которых дали Н. Т. Федорен-

ко материал для его книги, сыграл свою роль в истории мировой культуры, каждый в свое время стоял на вершине человеческой мысли. И все они как будто знали высказывание Гоголя об афоризме, которое я повторяю вслед за Н. Т. Федоренко: «Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятность».

В заключение скажу, что, прочитав книги Н. Т. Федоренко, я стал на какую-то долю образованнее. А разве не в этом, не в познавательной роли, заключается ценность книги, особенно книги научно-популярной! И разве не вправе мы сказать, перефразируя выдающегося французского художника: «Если у тебя знаний (он сказал: мастерства.— В. Л.) на миллион франков, купи себе еще на один франк»...

Вильгельм Левик.



**М. ЕФЕТОВ. Письмо на панцире. Повесть. М. «Детская литература». 1976. 160 стр.**

Правдивая детская книга всегда интересна для взрослых. И хотя впечатление взрослого читателя никогда не будет адекватным детскому, книга помогает заново пережить те забытые, стертые временем впечатления, без которых просто-таки не может сложиться человеческая индивидуальность.

Героиня повести М. Ефетова, маленькая школьница из Новгорода, находится в том возрасте, когда формируется не только сознание человека, но рождается и потребность в самоосознании — главном стержне личности. У Виты умерла мама, и, может быть, поэтому симпатичная рыженькая девочка с удивленными, как у игрушечного Бемби, глазами, уже познавшая на своем опыте смысл слов «навсегда», «никогда», обладает особой впечатлительностью к правде. В остальном это обычная девочка — она ходит в школу, учит уроки, с удовольствием возится с малышами-первоклассниками, которые отвлекают ее от не названного еще словом, но уже пережитого одиночества, и, горячо, до самозабвения любят отца, единственно близкого теперь человека...

А тот часто рассказывает дочке о своей молодости, совпавшей с войной, о своем первом бое в Севастополе, и море, горы, пальмы и кипарисы, даже сами крымские названия Артек, Адалары, Аю-Даг в детском воображении прочно связываются с судьбой отца, а значит, и собственной. И когда однажды отец рассказал ей о матросе из своего батальона, защищавшем товарищей до последней пули и погибшем возле Артека, Вита начинает мечтать о том, чтобы узнать имя этого мужественного человека. Девочка в самом деле попадает в Артек. И про то, как ей и ее новым товарищам живет в лагере, рассказывает повесть «Письмо на панцире».

Одна из глав книги начинается знаменательной фразой: «Вита любила правду».

Правду по глубокой внутренней потребности любят все дети, и очень грустно, если, взрослея, они начинают любить ее меньше. Не последнюю роль в укреплении или ослаблении этого высокого нравственного чувства играют прочитанные в детстве книги. Даже обыкновенная безвкусица, проявившаяся в том, что мы называем образной системой и что для ребенка является маленькой моделью безмерно огромного и сложного мира, куда он вступает, оставляет трудно стираемый позже след.

Если бы автор взглянул на свою книгу с этой точки зрения, он без сомнения увидел бы, как иногда сам же разрушает сформулированный им принцип. Когда, например, он утверждает, что море, которое Вита знала до поездки в Артек только по иллюстрациям к сказкам Пушкина, представлялось ей похожим на голову в бигуди, начинаешь сомневаться: неужели настолько убог и далек от правды внутренний мир этой впечатлительной девочки? В не меньшей степени, чем к подобным словесным «бигуди», упрек этот относится и к сконструированным по банальным парадигмам «крымской романтики» легендам, которые, очевидно, для большей увлекательности смонтированы в сюжет повести (одна из них даже дала ей название).

Крым действительно принадлежит к самым героическим, мужественным и трагическим страницам последней войны. Оборона Севастополя, керченский десант, Аджимушкай — все это и сегодня не может не волновать тех, кто пережил войну, и должно волновать тех, кто родился спустя многие годы. Понятно желание автора приобщить к этому волнению, этой горькой и священной памяти детей. Важно, чтобы прекрасную идею преемственности нравственного, исторического опыта человечества ребенок постигал не из приукрашивающих и облегчающих правду сюжетов...

К счастью, книга не сводится только к этому, и лучшие ее страницы как раз о том, как учится девочка доброте и человечности, как рождается дружба и познается верность, как с позиций своих собственных нравственных убеждений ребенок судит себя и постигает мир, как велика в жизни каждого человека сила и власть первых впечатлений.

И. Евгеньева.



**ЮРИЙ ОКУНЕВ.** Ответ. Лирика. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство. 1976. 112 стр.

«Хочу уйти от поэмы и от фальши», — говорит поэт в одном из своих стихотворений. Это не формула, не просто строка. Это внутреннее побуждение — значительность поэмы, игра словами, условность ради формы чужды поэзии Юрия Окунева.

В книге можно встретить литературности, натолкнуться на слабую строку, но постоянно ощущаешь, как с предельной искренностью поэт стремится отозваться на каж-

дый значительный поворот времени, на события давней давности.

Юрий Окунев то и дело возвращается к пройденным жизненным рубежам — детству, фронту... В стихотворении «По дороге из Уварова в Тамбов» он как бы приоткрывает дверь в былое и, охватывая его взглядом человека, прошедшего долгий путь, хочет снова увидеть, пережить то, что «потеряно, упущено в любви, быть может, или на войне». При этом автор всем строем поэтического чувства хочет подтвердить молодость души, сказать своим современникам: «Заката в жизни нет...» Книга Ю. Окунева пронизана любовью к мирному небу, к человеку, к своей земле, к женщине. Поэт понимает, какую огромную силу дает ему это чувство — любовь. «Я нищий без нее. А с ней — поэт».

Поэта волнуют судьбы детей, молодежи. Ведь «дети, как всемирный сад: на Волге, в Чили, в Конго, на Аляске», — это дети, которых «спасали люди всех легенд», спасал и он сам, защищая Сталинград.

Нераспавшаяся связь времен. Единство людей мира. Единство любящих сердец.

Я стою на своем, я стою на своем:

Я хочу, чтобы двое остались вдвоем.

В сборнике можно выделить и традиционные темы, которые поэт стремится осмыслить по-своему, — тема поэта и поэзии, тема труда...

Однако порой поэтические размышления автора оказываются сведенными к тому сиюминутному событию, настроению, которые и явились непосредственным поводом к написанию стихотворения. И похоже, что именно острота сиюминутного восприятия приводит к незавершенности поэтической мысли, рождает штампы — речевые, стилистические. И профессиональные критики, и просто читатели могут считать эти недостатки существующими, но, вероятно, могут заглянуть и за их пределы, почувствовать подлинность поэтического мироощущения поэта.

Е. Новачадова.



**В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.** Сердце, отданное людям. Ташкент. «Еш гвардия». 1976. 144 стр.

Имя Цолы Драгойчевой, соратницы Георгия Димитрова, легендарно не только в Болгарии, но и в нашей стране. Участница баррикадных боев сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии, она в условиях фашистской диктатуры выбрала полный опасностей путь подпольной борьбы. Летом 1925 года Цолу арестовывают и приговаривают к смертной казни.

«Мой сын родился в тюремной камере-одиночке, где я ожидала приведения в исполнение... смертного приговора. Через восемь недель после его рождения меня должны были повесить... Но мне повезло: энергично выраженная воля всей европейской общественности — и прежде всего советской — отменила постановление фашистско-

го суда... Семь лет я провела в тюрьме. Первые три из них вместе с моим сыном Чавдаром».

Об этом мы узнаем из беседы члена Политбюро ЦК БКП, председателя Всенародного Комитета болгаро-советской дружбы Цолы Драгойчевой с автором книги В. Архангельским. Сейчас ей семьдесят восемь лет. А сын ее Чавдар — известный в Болгарии хирург.

И вопросы автора и ответы его героини исполнены глубоких раздумий. В. Архангельский стремится раскрыть нравственную основу мировоззрения убежденной коммунистки, женщины, матери. Острые вопросы, а равно и ответов направлено не только в прошлое. Беседа поучительна и для современных поколений, перед которыми встает извечный вопрос «делать жизнь с кого?».

— Я мечтаю о полном и всемирном торжестве коммунистических идей, — отвечает Драгойчева на вопрос автора: «Ваша заветная мечта?».

Прав Мэлор Стурау, отмечавший в предисловии, что книга В. Архангельского пронизана «философией исторического оптимизма».

В книге мы встречаемся и с другим борцом за коммунистические идеалы — Луисом Корваланом-младшим.

— Кем вы хотите вырастить своего сына? — спрашивает автор сына вождя чилийских коммунистов.

— Коммунистом. Похожим на деда, — следует ответ.

Корвалан-младший интересно рассказывает о своем отце, о детстве. Первыми учебниками русского языка для маленького Луиса были книги А. Гайдара, А. Фадеева и других советских писателей. И здесь автор использует тот же емкий метод беседы со своим героем. Но как и в первом случае, это не просто интервью. Это беседа-раздумье единомышленников.

Третий очерк книги — «Бухенвальдский набат». Один из главных героев его — Николай Симаков, руководитель русского военно-политического подпольного центра. По его инициативе выходила подпольная рукописная газета «Правда пленных» и даже производилась пристрелка оружия, тайно изготовленного в лагере, чтоб в нужный момент обратиться его против фашистских палачей. Узники лагеря — русские, немцы, французы, евреи, люди разных национальностей и убеждений, — объединились для борьбы с мучителями.

Ох, Вухенвальд...  
Я не могу тебя забыть,  
Потому что ты судьба моя...  
Кто тебя покинет,  
Только тот оценит,  
Как прекрасна свобода...

Что это за песня? Как ее истолковать? Она могла быть написана тоскующим узником. Между тем создана она, как явствует из книги, по приказу коменданта и по его же приказу исполнялась хором заключенных. Нравственный садизм? Да, именно. Как и весь установленный в лагере режим. И

этот нравственный садизм последовательно проводился в жизнь изуверами, написавшими на воротах лагеря «каждому — свое» и «вежливо» спрашивавшими смертника, куда он хочет получить пулю — в лоб или в затылок.

Проклятый фашизм, проклятая его человеконенавистническая философия. Но ей, как мы видим, мужественно противостояла и одержала победу философия исторического оптимизма.

С. Борисов.



**И. Б. ЛИТИНЕЦКИЙ.** Бионика. М. «Провещение». 1976. 336 стр.

Здание, чей проект срисован у опавшего древесного листа, эхолот, конструкцию которого подсказала летучая мышь, планетход с кинематической схемой движения насекомого... Подобные примеры выстроились в столь длинный ряд, что уже перестали быть только арифметической суммой технологических решений, подсказанных природой, но стали закономерностью созидательного мышления века НТР.

...Над одним из аэродромов ФРГ, оборудованном самыми совершенными электронными устройствами, произошла катастрофа — в воздухе столкнулись четыре самолета. Расследование показало, что все диспетчерские приборы и обслуживающий их персонал работали безукоризненно. Не удалось также выявить ни профессиональных ошибок в пилотировании, ни каких-либо неисправностей в навигационном оборудовании самолетов. Заключение экспертов было неожиданным. Объективным виновником катастрофы оказалось то обстоятельство, что радарная диспетчерская установка не умела «видеть» так, как видит... лягушка. Эволюция снабдила лягушку таким зрительным аппаратом, который реагирует только на быстро летящие вблизи предметы: летит муха вблизи — лягушка мгновенно среагирует, ту же муху, летящую вне пределов досягаемости, она просто не увидит.

Экран аэродромных локопоров фиксировал не только взлетающие и садящиеся самолеты, но был засорен помехами от неподвижных предметов — строений, линий высоковольтных передач, деревьев и т. д. И наступил момент, когда реакция диспетчера не смогла справиться с резко возросшим общим объемом информации. Этот случай заставил исследователей, конструкторов в предельно короткие сроки создать электронный искусственный «глаз лягушки» — ретинатрон. В настоящее время уже известно несколько модификаций его. Приводя подобные примеры, И. Литинецкий как бы приглашает взглянуть на весь механизм существования бионики не только с точки зрения практических достижений ее, но и с философских и стратегических проблем современного созидания.

Человек — творец Второй Природы. Вне ее современная жизнь невозможна. Но какие

законы управляют жизнью этой рукотворной природы? Создание автомашины — проблема техническая. Жизнь миллионов автомашин в современном городе — это уже сложнейшая система, функционирование и развитие которой обусловлено определенными законами, и над их изучением работают коллективы ученых. Пионеры авиастроения, к примеру, вовсе не задумывались над проблемами управления движением самолетов над аэродромами. Но каждый раз — в любой сфере Второй Природы — подобные проблемы возникали. И человеческой мысли, первопричине их возникновения, требовалось искать средства их решения. Так или иначе, с той или иной степенью надежности решения появлялись. Но если проследить основной принцип причинно-следственных взаимоотношений между складывающимися ситуациями и их разрешениями, то нетрудно заключить — решения шли вслед за возникновением проблемы. Человек как бы отражал наступление проблемы, а не предугадывал заранее «направление будущего удара» ее. Сейчас уже невозможно ждать, пока проблема созреет. Ускорение темпов научно-технического прогресса не оставляет для этого времени. И поэтому перед человечеством во весь рост встала неотложная задача — создание таких технологических систем, теоретическая надежность которых всегда будет опережать практическую их «эволюцию».

Человек не просто создатель Второй Природы. Продолжая образ, можно сказать: он полностью ответствен и за ее эволюцию. Именно в этом одна из основных особенностей современного научно-технического прогресса — необходимость стратегического предвидения, без которого невозможно управлять этим прогрессом. И здесь у человека есть мудрый учитель — живая природа. Ведь в самом деле, разве система «самолет—ретинатрон» не является рукотворным аналогом рожденной естественной эволюцией системы «насекомое — лягушка»?

До недавнего времени основная стратегия человека в его взаимоотношениях с природой была преимущественно потребительской. Ныне мы вступаем в качественно новую эпоху, эпоху взаимообогащающего диалога. Бионика, детище этой эпохи, — наука еще очень молодая. В октябре 1952 года при Президиуме АН СССР была создана группа для поисков путей превращения биологических знаний в поставщика конкретных «конструкторских» идей. Всего лишь за четверть века направление технической мысли превратилось в полнокровную науку, производящую сложнейшие технологические системы по законам, выработанным в процессе эволюции живой природой.

И не случайно своей очень нужной и своевременной книге И. Литинецкий предпослал провидческие слова В. И. Ленина: «Законы внешнего мира, природы... суть основы целесообразной деятельности человека».

**В. Левин.**



**С. И. РУДЕНКО.** Крылья победы. М. Воеиздат. 1976. 412 стр.

Книга Героя Советского Союза, маршала авиации С. Руденко, пожалуй, одна из многих в мемуарной литературе о Великой Отечественной войне, где с такой широтой и масштабностью охвачены все стороны боевых действий различных видов авиации (бомбардировочной, истребительной, штурмовой, разведывательной) на многих фронтах и на всех этапах войны.

С. Руденко — участник битвы за Москву, а в сражениях под Сталинградом, на Курской дуге, в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях командовал воздушной армией. Он прошел нелегкий путь, руководя авиацией и поддерживая сухопутные войска от Москвы и до Берлина. И даже мучительная малярия, бросавшая его то в жар, то в холод, не могла оторвать видного военачальника от штурвала управления.

Автор «Крыльев победы» рассказывает о внутренней жизни и боевых делах авиации, многие подробности которых подчас мало известны широкому читателю, знакомит с замечательными примерами мастерства, героизма, мужества летчиков, штурманов, техников и других представителей славного отряда авиаторов. Кажется, мы не находим в изданных до сих пор книгах по авиации такого обширного показа характеров. Вот один из многочисленных примеров. С задания не вернулся штурмовик Орел. Через некоторое время сообщили, что летчик нашелся. Руденко сам решил поговорить с ним. И вот перед ним в землянке (дело было под Москвой) невысокий худощавый летчик начал свой рассказ.

«Мы атаковали, — говорит он, — раз, два, три и, перед тем как возвращаться домой, нанесли последний удар... Когда я, — докладывал летчик, — перевел самолет в горизонтальный полет, в хвосте разорвался снаряд, машину дернуло. Товарищи стали разворачиваться, и я, значит, ручку отклоняю и ногу даю. А самолет идет прямо, не реагирует. В чем дело? Ручка, педали работают, нигде управление не заклинило. Значит, тросы управления перебиты, соображаю. «Ил» идет по прямой... Кругом лес... скоро и горючее кончится... Но как садиться? Я немного газ прибору — самолет опустит нос, скорость увеличится, газ прибавлю — машина нос задирает, скорость падает. Так, с помощью газа и управляя «Илом» при снижении. И посадил его... Вылез из кабины, глянул и испугался, Хвоста-то нет совсем! Киль и рули высоты разбиты».

«Рассказывал он весело, — вспоминает автор, — хотя говорил об опаснейшей ситуации. Видно, у летчика был такой же большой «запас надежности», как и у его боевого друга «Ила».

Это, конечно, трагикомический случай, а сколько приводит автор других эпизодов мужества, смелости, находчивости летного

состава, выполнявшего боевые задания, несмотря на, казалось бы, неминуемую гибель.

Маршал приводит и такой эпизод. В боях над Белоруссией совершил подвиг штурман Павел Денисовец. Летчик был тяжело ранен в голову и потерял сознание. Когда сильно поврежденный самолет начал беспорядочно падать, штурман звена Денисовец сумел выровнять машину и довести до своего аэродрома. Только исключительное мужество, сила воли и знание техники — пишет С. Руденко, помогли ему стойко перенести все трудности, спасти жизнь командира и самолет.

Автор подробно рассказывает о борьбе советской авиации за господство в воздухе, а затем о ее боевых действиях во время контрнаступления. Висла, Варшавская, Лодзинская и другие операции, ликвидация «померанского шатра», наконец, смерч над логовом в Берлине и свет победы — все это сам пережил автор и умело передает потомкам пережитое.

Большой интерес представляют воспоминания С. Руденко о встречах с руководителями партии и правительства, с выдающимися нашими военачальниками Г. Жуковым, К. Рокоссовским, В. Чуйковым, В. Кузнецовым, А. Василевским, В. Соколовским, А. Еременко и другими, с военачальниками союзных армий. Маршал Руденко приводит знаменательные слова Георгия Константиновича Жукова, сказанные им за общим столом после подписания капитуляции германским командованием:

«Сейчас мы переживаем поистине исторические дни. Всем светит наша победа. А вспомните бои под Москвой... А под Сталинградом что было?... Противник рвался вперед, а у нас силы на пределе. Взять хотя бы авиацию: у нас было 40 истребителей против 1000 вражеских. Мы делали все тогда на сверхнапряжении, на героизме, начиная с солдата и кончая командующим. И выдержали, одолели... Потому что мы коммунисты. Потому что мы советские люди...»

Мемуары маршала авиации С. Руденко — исторический документ о самоотверженности и героизме советской авиации. Наше молодое поколение, прочитав книгу, лучше узнает о том, как ветераны Великой Отечественной сражались с фашистскими захватчиками в огне боев за наше мирное будущее.

Д. Павков.



**Э. А. ПОЗДНЯКОВ. Системный подход и международные отношения. М. «Наука». 1976. 159 стр.**

В наш век всеобщей грамотности и развитых средств массовой коммуникации, пожалуй, нелегко отыскать человека, считающего себя несведущим в вопросах международной жизни. Это прежде всего связано с возросшей ролью, которую международные отношения играют в современной общественной жизни. Тем более может показаться странным, что до сих пор не существует полной ясности в понимании феномена международных отношений, хотя

их изучением занимается не одно поколение профессионалов.

Но каждая из представляемых ими наук — история международных отношений и дипломатии, мировая экономика, международное право — исследует лишь специфически «свой» аспект этой широкой области, оставляя в стороне все остальные. По меткому выражению одного из советских авторов, произошло своеобразное «растаскивание» международных отношений по различным историческим, экономическим и юридическим «ведомствам». Здесь была своя логика, обусловленная тем, что долгое время многие отрасли науки развивались преимущественно в направлении все более глубокой дифференциации и специализации.

Усложнение процессов и явлений современной международной жизни, повышенный их динамизм вызывают насущную необходимость совершенствования теоретических и методологических подходов к исследованию. Традиционные методы нередко уже не дают удовлетворительного решения многочисленных и запутанных проблем международных отношений. В этой связи выход рецензируемой книги, несомненно, является заметным событием в международно-политических исследованиях.

Как известно, под системным подходом понимаются принципы теоретического исследования объектов, представляющих собой сложные развивающиеся системы. Международные отношения — типичный пример подобного рода. Тем не менее до последнего времени системный подход, с успехом применяемый в целом ряде областей, практически не использовался в изучении международных отношений. В отличие от многих традиционных подходов к исследованию отношений между государствами, идущих от отдельного государства к системе, метод, применяемый автором, предполагает комплексное исследование системы межгосударственных отношений как определенной целостности, обладающей «особым общесистемным механизмом функционирования и развития».

Э. Поздняков оговаривает, что он не ставил перед собой задачи создать законченную методологию системного подхода к изучению международных политических отношений. Его цель — наметить основной круг проблем, возникающих при использовании системного подхода к изучению международных отношений и попытаться раскрыть некоторые из этих проблем. Основная задача автора состояла в том, чтобы показать (и доказать) возможность системного подхода к изучению межгосударственных отношений и наметить целостную (хотя и незавершенную) концепцию системного анализа межгосударственных отношений, нарисовать новую картину взаимосвязей, взаимозависимостей внутри комплекса межгосударственных отношений в свете их системного анализа. Взявшись за реализацию своей нелегкой задачи, автор, естественно, столкнулся с проблемой определения и уточнения понятий, которыми ему предстояло оперировать. Многие поня-

тия он впервые вводит в научное обращение.

Один из наиболее интересных выводов автора, имеющий немалое практическое значение, относится к проблеме поддержания равновесия системы международных отношений как основного закона ее функционирования. В книге подвергнуты убедительной критике различные «силовые» концепции, выдвигаемые буржуазными авторами (Г. Моргантау и другими). «В межгосударственных отношениях, — пишет Э. Поздняков, — при определенных условиях самая могущественная держава, самая «сильная» держава может оказаться бессильной. Лучший тому пример из нашего времени — вьетнамская авантюра Соединенных Штатов. Здесь комплекс различных, в том числе и системных, характеристик и условий превратил «силу» в бессилие».

Автор показывает, что движущей силой системы межгосударственных отношений является классовая борьба в ее специфической форме, характерной для межгосударственных отношений. Именно в учете классовой сущности, идеологической и политической направленности выводов и обобщений, как подчеркивается в книге, состоит подход ученых-марксистов к исследованию межгосударственных отношений и его отличие от подхода буржуазных ученых-системников. В книге интересно поставлен ряд методологических проблем предвидения и прогнозирования международных отношений. Э. Поздняков убедительно показывает, что всякое «вольное» обращение с системой международных отношений, грубое нарушение ее внутренних законов никогда не проходит безнаказанно и может приводить к конфликтам и кризисам, часто не вызываемым объективным развитием событий:

Рецензируемая работа, думается, привлечет к себе внимание не только специалистов-международников, но также философов, социологов, историков, всех интересующихся проблемами международных отношений.

**П. Черкасов,**

*кандидат исторических наук.*



**ОЛЕГ ВОЛКОВ.** *Чур, заповедано! М. «Советская Россия». 1976. 399 стр.*

Как хорошо, что в наш бурный и стремительный век, век научно-технической революции, есть на Земле тщательно оберегаемые уголки первозданной природы, где тенистые дубравы и чистые источники, где в тишине лесов не умолкает разноголосое пение птиц, где безмятежно пасутся олени и лоси, где в рощах и на полянах дикие, нетронутые цветы, нетоптанные травы...

Об этом я думал, читая книгу писателя Олега Волкова, который побывал в десяти российских заповедниках, и не просто побывал, а жил в них, путешествовал, исходил пешком много километров, ездил верхом, плыл в лодке, поднимался на горные кручи, забирался в глухие таежные дебри, встречался, подолгу беседовал с замечательными

людьми, призванными охранять мир живой природы; обо всем этом интересно и увлекательно рассказал в книге «Чур, заповедано!».

Глубокое знание заповедного дела автор сочетает с яркой художественностью описаний, умением передать поэзию родной природы, ее очарование. «Опустившееся солнце еще освещает деревья, а в логу уже разлилась прохлада и роса окунула травы и закрывшиеся цветы. Роса обильная, седая, и сморенная дневным жаром зелень расправляется и свежеет, покрывшись обильной влагой. Над бочажками пересохшего ручья копятся крохотные облачка тумана». Так мастерски, зримо описывает О. Волков предвечерний час в лесу в Центрально-Черноземном заповеднике, и подобных страниц в книге немало.

Заповедники, пишет автор, предназначены быть «лабораториями в природе». Нелегко, кропотлив труд людей, ведущих «круглый год наблюдения за жизнью дикой природы, со сложившимися в ней естественными связями и взаимозависимостями». Они заняты важнейшим, благородным делом, насущно необходимым не только всем нам, ныне живущим на Земле, но и нашим потомкам, грядущим поколениям. С большим уважением и благодарностью пишет автор об этих бескорыстных и самоотверженных защитниках и исследователях природы. Кто они? Научные сотрудники — орнитологи, почвоведы, лесоводы, зоологи, фенологи, энтомологи, ихтиологи... И звероводы, и егеря, и лесники... Энтузиасты, влюбленные в свою профессию, умеющие переносить трудности и, когда нужно, проявлять мужество и стойкость.

Безусловно, в заповедниках уже многое сделано ради охраны и умножения богатств животного и растительного мира. Взять, к примеру, факты, о которых упоминает автор: в стране полностью восстановлена численность соболя, считавшегося полвека назад вымирающим; по всему европейскому Северу ныне расселились бобры, прежде почти поголовно истребленные.

Но остаются проблемы большие и малые, есть нерешенные вопросы. Нередко еще равнодушными или беспечными людьми наносится непоправимый ущерб природе. Так, в связи с наплывом посетителей в заповедниках растет опасность пожаров. С болью вспоминает автор о том, как по вине двух подвыпивших туристов сгорело более шести тысяч гектаров кедрово-лиственничных лесов в Баргузинском заповеднике. А какой вред заповедным уголкам причиняют браконьеры!

Ряд серьезных проблем может быть решен лишь в результате совместных усилий ученых и хозяйственников. Известно, например, что общее уменьшение стока Волги сказало отрицательно на природной обстановке в дельте реки — в Астраханском заповеднике. Большое значение имеет осуществление мер по сохранности кедровой тайги в Сихотэ-Алинском заповеднике...

Автор неоднократно возвращается к вопросу о создании в стране национальных

парков. «Большинство специалистов и ученых,— пишет О. Волков,— склонны, на основании накопленного опыта, считать, что заповедники не могут ни при каких обстоятельствах быть объектами массового туризма, путь которого— в национальные парки...» Такие парки, служащие своего рода буферными зонами, позволят оградить заповедники от чрезмерного наплыва посетителей. И в то же время будут удовлетворены интересы многочисленных туристов: им будут созданы все условия для разнообразного и увлекательного отдыха, походов, экскурсий.

Здесь названа лишь часть проблем, о которых с публицистическим, подлинно гражданским пафосом и взволнованностью пишет Олег Волков.

«Чур, заповедано!» — это единая, научная в своей основе и исполненная высокой поэзии книга о царстве нетронутой природы, непуганых птиц и зверей. Книга, затрагивающая ряд важных и актуальных проблем охраны и дальнейшего развития заповедных урочищ, где, как справедливо подчеркивает автор, «человек постигает жизнь природы, тайны ее непрерывности, связь явлений, устанавливающих равновесие в хаосе и не дающих иссякнуть животворному началу».

**О. Добровольский.**



**М. КНЕБЕЛЬ. Поэзия педагогики. М. ВТО. 1976. 527 стр.**

В предисловии к этой книге Г. А. Товстоногов называет ее уникальной, и каждый, обратившийся к ней, согласится с таким обязывающим определением. Книга М. О. Кнебель, замечательного режиссера, актрисы, педагога, ни в коем случае не является учебником, сводом правил для режиссеров-преподавателей, хотя такие книги, необходимые для тех, кто преподает и кто учится в театральном учебном заведении, писала Кнебель прежде. Нынешняя книга не относится и к жанру театральных мемуаров (несколько лет назад в этом жанре она написала книгу «Вся жизнь»).

«Поэзия педагогики» продолжает предыдущие работы Кнебель и в то же время является совершенно самостоятельной по отношению к ним. Это рассказ о том, как человек приходит к театру и как он становит-

ся режиссером. Тем художником, без которого немислим современный театр. Художником, который создает произведение искусства на основе пьесы, объединяя своим видением, своим театральным прочтением весь коллектив, над этой пьесой работающий. Она пишет о том, как создается, как воспитывается человек, достойный своей труднейшей профессии. Как редок истинный талант режиссера и как он многосторонен.

Истинными талантами предстают в книге ученики Кнебель на том отрезке их жизни, какой заключен между «набранным курсом» и курсом, кончающим ГИТИС. Удивительно свободно и точно написаны характеры этих учеников. Студенты обозначены в книге как Таня П., Саша Б. и так далее. Но они живут перед нами в этюдах-импровизациях (бывает, и не совсем удачных), в сценах из пьес, в своем прочтении, иногда весьма оригинальном, «Грозы» или «Вишневого сада». И совершенно естественно эти Саши Б. уживаются в книге с такими ее героями, как Станиславский с его удивительными педагогическими приемами, Алексей Попов (он показан на уроке в ГИТИСе) да и сама автор книги, которая неистощима в работе над сценами, которая вводит своих первокурсников в мир Пушкина, Островского, Станиславского, сочетая благоговение перед учителями и ощущение единства с ними, общности непрерывного дела театра. Поэтому так свежи в книге лица театральной молодежи, так узнаваемы люди старшего поколения театра.

Это замечательная способность (тоже свойство истинного таланта) — вернуться вдруг к «Пиру во время чумы» или к «Вишневному саду», заразить живым волнением и точностью воплощения стиля писателя не только режиссеров — героев книги, но читателя этой книги. А Кнебель умеет это сделать, казалось бы, легко, ненавязчиво и так точно, так просто...

Книга называется «Поэзия педагогики». В этом названии выделяется слово «поэзия», которое не покажется ни излишне обязывающим, ни излишне ответственным всем тем, кто прочитает эту книгу. А прочитать ее стоит не только режиссерам и вообще не только людям театра, но всем, кому интересна огромная тема становления человека, выбора им истинного дела, нужного самому себе и другим людям.

**Е. Полякова.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



### ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Доклад о революции 1905 года. 23 стр. Цена 3 к.  
**В. И. Ленин.** Марксизм и ревизионизм. 16 стр. Цена 3 к.  
**В. И. Ленин.** Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 24 к.  
**В. И. Ленин.** Последние письма и статьи. 71 стр. Цена 8 к.  
**И. Гуро, А. Андреев.** Горизонты. Повесть о Станиславе Косноре. («Пламенные революционеры») 407 стр. Цена 1 р. 47 к.  
**Ленинские принципы и методы партийного руководства.** 351 стр. Цена 1 р. 38 к.  
**Научно-техническая революция и идеологическая борьба** (Коллективный труд ученых социалистических стран). 335 стр. Цена 1 р. 54 к.  
**Рассказы о партии.** В 3-х тт. Т. 3. 415 стр. Цена 2 р. 41 к.  
**А. Тэнасе.** Культура и религия. Перевод с румынского. 127 стр. Цена 44 к.  
**И. Филоненко.** Сотвори красоту (Повести о делах и людях партии). 239 стр. Цена 37 к.  
**XXV съезд КПСС: единство теории и практики.** Вып. 1. 560 стр. Цена 91 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- А. Авдеенко.** Войди в огонь, в котором я горю. Слово о Магнитке. 374 стр. Цена 1 р. 47 к.  
**В. Боровик.** У града Китежа. Хроника села Заречицы. 262 стр. Цена 77 к.  
**Я. Брыль.** Краюха хлеба. Повесть, миниатюры, лирические записи. Перевод с белорусского. 183 стр. Цена 52 к.  
**Воспоминания о Заболоцком.** 350 стр. Цена 1 р. 42 к.  
**И. Громович.** Семья Вишневых. Рассказы и повесть. Перевод с белорусского. 358 стр. Цена 1 р. 28 к.  
**А. Евтых.** Глоток родниковой воды. Роман. 320 стр. Цена 1 р. 19 к.  
**Д. Иванов и В. Трифонов.** Стол на перекрестке. Юмористические рассказы и фельетоны. 262 стр. Цена 70 к.  
**А. Кудрейко.** Если оглянуться. Книга стихов. 160 стр. Цена 42 к.  
**И. Кузьмичев.** Писатель Арсеньев. Личность и книги. 237 стр. Цена 64 к.  
**А. Кулешов.** Две поэмы. Перевод с белорусского. 192 стр. Цена 70 к.  
**Б. Полевой.** Анюта. Повесть. 215 стр. Цена 61 к.  
**А. Хинт.** Берег ветров. Роман. Книга 1-2. Перевод с эстонского. 752 стр. Цена 2 р. 78 к.  
**М. Чиботару.** Сеятели. Роман. Перевод с молдавского. 358 стр. Цена 1 р. 25 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- А. Айлисли.** Сказка о хрустальной пепельнице. Избранные повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. Предисловие С. Залыгина. 317 стр. Цена 75 к.  
**Баба Тахир.** И небу, и земле... Четверостишия. Перевод с персидского. 141 стр. Цена 22 к.  
**Г. Горбовский.** Монолог. Стихи. 253 стр. Цена 81 к.

- Г. Клейст.** Избранное. Драммы, новеллы, статьи. Перевод с немецкого. 542 стр. Цена 2 р. 34 к.  
**Д. Ковалев.** Мое время. Избранная лирика. 333 стр. Цена 46 к.  
**Л. Кэрролл.** Приключения Алисы в стране чудес.—Зазеркалье (Про то, что увидела там Алиса). Перевод с английского. 303 стр. Цена 4 р. 80 к.  
**Г. Мелвилл.** Повести. Перевод с английского. 287 стр. Цена 1 р. 54 к.  
**Польская поэзия XVII вена.** Переводы. 206 стр. Цена 1 р. 4 к.  
**Русские советские песни 1917—1977 гг.** Составители Н. Крюков и Я. Шведов. 751 стр. Цена 2 р. 87 к.  
**М. Твен.** Приключения Тома Сойера.—Приключения Гекльберри Финна. Повести. Перевод с английского. 384 стр. Цена 70 к.  
**И. С. Тургенев.** Записки охотника. 285 стр. Цена 36 к.  
**А. Штейн.** На вершинах мировой литературы. Очерки. 270 стр. Цена 83 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Г. Аламина.** На рассвете. Стихи. Перевод с абхазского. 31 стр. Цена 12 к.  
**А. Алексин.** Третий в пятом ряду. Повести и рассказы. 510 стр. Цена 1 р. 7 к.  
**И. Нуруллин.** Тукай. («Жизнь замечательных людей»). 238 стр. Цена 1 р. 13 к.  
**Поэзия.** Альманах. Вып. 19. 191 стр. Цена 89 к.  
**Разведчики разоблачают...** Книга о шпионской и подрывной деятельности радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа». 176 стр. Цена 43 к.  
**Е. Рожнов.** Белым-бело. Рассказы. («Молодые писатели») 192 стр. Цена 57 к.  
**Формула творчества** (Рассказы о лауреатах премии Ленинского комсомола в области науки и техники). 208 стр. Цена 96 к.  
**М. Шагинян.** Лениниана. Семья Ульяновых. Тетралогия.—Очерки и статьи. 814 стр. Цена 1 р. 64 к.

### «СОВРЕМЕННОК»

- В. Иванов.** Арслан. Повести. Перевод с марийского. Предисловие М. Казакова. 270 стр. Цена 1 р. 16 к.  
**В. Колыханов.** Дикие побегы. Роман. 445 стр. Цена 1 р. 91 к.  
**В. Крупин.** До вечерней звезды. Рассказы и повести. 302 стр. Цена 1 р. 14 к.  
**Б. Пастернак.** Поэмы. («Российская поэма») 93 стр. Цена 46 к.  
**Г. Поженян.** Тендровская коса. Стихи («Новинки «Современника») 126 стр. Цена 57 к.  
**В. Разумневич.** Зарево. Повести. Предисловие С. Михайлова. («Новинки «Современника») 349 стр. Цена 1 р. 47 к.  
**В. Ситников.** Русская печь. Повесть и рассказы. 272 стр. Цена 1 р. 15 к.  
**В. Суботин.** Жизнь поэта. Литературные очерки. 303 стр. Цена 84 к.  
**В. Цаголов.** Послы гор. Роман. 304 стр. Цена 1 р. 40 к.



## ВОЕНИЗДАТ

- Е. Богданов.** Долгий путь к тишине. Повесть. 319 стр. Цена 1 р. 21 к.  
**У. Видах.** Война разбивает иллюзии. Повесть. Перевод с немецкого. 352 стр. Цена 2 р. 15 к.  
**Вчера и сегодня.** Сборник рассказов кубинских писателей. 192 стр. Цена 1 р. 23 к.  
**О. Кириллов.** Лихолетье. Роман. 501 стр. Цена 2 р. 6 к.  
**О. Кожухова.** Ранний снег. Роман. 317 стр. Цена 1 р. 60 к.  
**В. Кондратенко.** Полюшко-поле. Роман. 294 стр. Цена 95 к.  
**Л. Попов.** Горчайшая романтика моя. Стихи и поэма. 126 стр. Цена 47 к.  
**С. Сартаков.** Философский камень. Роман. 552 стр. Цена 2 р. 72 к.

## «ИСКУССТВО»

- В. Боровков, Федор Никитин.** («Мастера советского театра и кино») 176 стр. Цена 66 к.  
**В. Василенко.** Русское прикладное искусство. Источники и становление. I век до нашей эры — XIII век нашей эры. 464 стр. Цена 4 р. 29 к.  
**Н. Минц.** Дэвид Гаррик и театр его времени. 127 стр. Цена 80 к.  
**Передвижники.** Сборник статей. 127 стр. Цена 2 р. 14 к.  
**С. Рассадин.** Драматург Пушкин. Поэтика. Идеи. Эволюция. 359 стр. Цена 1 р. 69 к.

## «ПРОГРЕСС»

- Г. Бырдаров.** Социология и партийная работа. Перевод с болгарского. («Общественные науки за рубежом. Философия и социология») 119 стр. Цена 39 к.  
**Исследования и разработки в странах — членах СЭВ.** Статьи. Перевод с немецкого. («Социализм: опыт, проблемы, перспективы») 247 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**Социальная политика.** Перевод с польского. («Социализм: опыт, проблемы, перспективы») 400 стр. Цена 94 к.  
**Человек, социализм, научно-техническая революция.** Перевод с польского. («Социализм: опыт, проблемы, перспективы») 187 стр. Цена 1 р. 10 к.

## «НАУКА»

- И. Видуэция.** А. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс. 167 стр. Цена 51 к.  
**Древнерусское искусство.** Проблемы и атрибуции. Редактор-составитель О. Подобедова. 462 стр. Цена 3 р. 86 к.  
**В. Ерошенко.** Избранное. Переводы с японского, китайского и эсперанто. Составление и вступительная статья Р. Белоусова. 263 стр. Цена 97 к.  
**Идеологическая борьба и современные литературы зарубежного Востока.** Сборник статей. Ответственный редактор Л. А. Аганина. 238 стр. Цена 1 р. 54 к.  
**Проделки хитрецов.** Мифы, сказки, басни и анекдоты о прославленных хитрецах, мудрецах и шутниках мирового фольклора. Составление, вступительная статья и общая редакция текстов Г. Пермянова. («Сказки и мифы народов Востока») 543 стр. Цена 2 р. 58 к.  
**Собрание народных песен П. В. Киреевского.** Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. Т. 1. Подготовка текстов к печати и статья А. Соймонова. («Памятники русского фольклора») 328 стр. Цена 2 р. 40 к.  
**Чехов и его время.** Сборник. Редакторы Л. Опульская, З. Паперный и С. Шаталов. 354 стр. Цена 1 р. 49 к.  
**Юань Мэй.** Новые [записи] Ци Се (Синь Ци Се), или О чем не говорил Конфуций (Цзы бу юй). Перевод с китайского и предисловие О. Финшман. («Памятники письменности Востока», т. 55) 504 стр. Цена 3 р. 39 к.

## «МЫСЛЬ»

- С. Жилинский.** Роль КПСС в укреплении законности на современном этапе. 215 стр. Цена 78 к.  
**Г. Козлов.** Развитой социализм: вопросы экономической теории. 183 стр. Цена 42 к.  
**Г. Курсанов.** Ленинская теория истины и кризис буржуазных воззрений. 350 стр. Цена 1 р. 35 к.  
**Проблемы развития материально-технической базы социализма.** 271 стр. Цена 1 р. 7 к.

---

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
 Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
 Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 22/VI 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/VIII 1977 г.  
 А 09838 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
 Тираж 180.000 экз. Заказ 2117.

Набрано и сматрицировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.  
 Отпечатано в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 03924.

Цена 70 коп.

70636